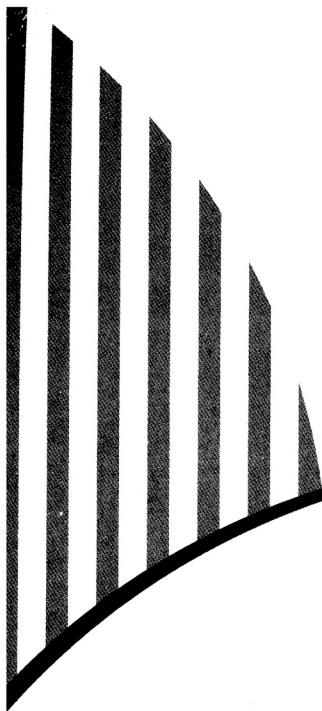


# Nota Bene

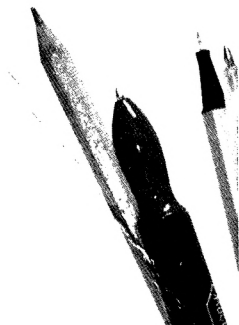
ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 18 ДЕКАБРЬ 2006 • ИЕРУСАЛИМ

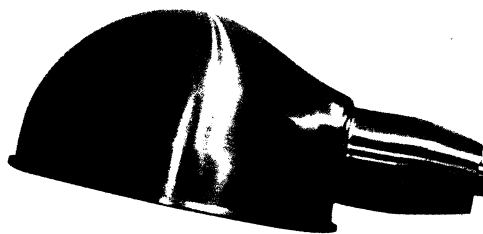
- ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ. Толик Чулков
- МЕИР ШАЛЕВ. Как несколько дней...
- МАРК АМУСИН. «ЖД» и вокруг
- ВАДИМ РОССМАН. Под сенью русских муз
- ИГОРЬ ВЕСЛЕР. Возвращение в гнездо кукушки
- ЛЕВ БЕРДНИКОВ. Первый российский «мент»





העמותה לקליטת עלייה  
רח' י. ל. פרץ 20 חיפה 34100  
ספריה  
8477  
מס' .....





# *Nota Bene*

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№18

ДЕКАБРЬ 2006  
ИЕРУСАЛИМ

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛИТЕРАТУРА

- 3** Владимир Войнович. Толик Чулков  
**10** Меир Шалев. Как несколько дней...  
**70** Станислав Полещук. Письма Луцию  
**79** Микки Вульф. Толки у притолоки  
**95** Нина Горланова. Горланова как достояние человечества. Кто так делает?!

### ТОЧКА ЗРЕНИЯ

- 109** Игорь Веслер. Возвращение в гнездо кукушки  
**120** Михаэль Дорфман. Израильская советская социалистическая республика. Кровавый навет: опыт деконструкции

### НАД ТЕКСТОМ

- 168** Марк Амосин. «ЖД» и вокруг  
**179** Олег Юрьев. Бедный юноша, ровесник... О поэтах как рыбах  
**186** Михаил Юдсон. Река Проза, или Другой берег Губермана

### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

- 192** Вадим Россман. Под сенью русских муз: Славянские чертоги европейских интеллектуалов и художников  
**210** Владимир Фрумкин. Легкая кавалерия большевизма. Кремлевские сосиски, или Исчезнувшая речь Хрущева  
**237** Владимир Буковский, Павел Строилов. Явление по имени Кеннеди, или Американец и Москва

### ИСТОРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

- 247** Лев Бердников. Кровавый шут на троне. Лейб-медик императрицы. Первый российский «мент»

### ВЫБРАННЫЕ МЕСТА... (дайджест)

- 277** Михаил Гуревич. «Русский роман». Попытка прочтения после прочтения  
**282** Владимир Воронов. Военные игры мулл  
**288** Самсон Мадиевский. «Сила через страх»  
**295** Александра Свиридова. Мы – рабы. «За такое кино надо убивать...»  
**317** Игорь Яковенко. Размышления о предательстве, революциях, мятежах и духовной свободе  
**329** Михаил Глобачев. Глокая куздра общей судьбы  
**336** Виктор Калашников. Порождение взаимного страха  
**342** Александр Мелихов. Аполлонийцы и меркурианцы  
**346** Владимир Война. Главная очередь советской эпохи

ISSN 1565-5318

העיתון "הארץ" יצא לאור  
ביום חמישי 20 במרץ 2004

8417





автор таких широко известных книг, как «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Путем взаимной переписки», «Иванькиада», «Шапка», «Москва 2042», «Антисоветский Советский Союз», а также пьес «Трибунал» и «Фиктивный брак», множества рассказов, очерков, фельетонов, сказок и стихов. Член Союза писателей Москвы и Международного ПЕН-клуба, Баварской академии изящных искусств, Сербской академии наук и искусств, почетный член американского Общества Марка Твена. Книги Владимира Войновича переведены на 30 языков. Живет то в России, то в Германии.

## ТОЛИК ЧУЛКОВ

Осенью 1956 года, после двухмесячных мытарств в Москве, я устроился на работу плотником в Бауманский ремонтно-строительный трест и получил койку в общежитии по адресу Доброслободский переулок, дом 22, у Разгуляя. Общежитие по тем временам образцовое. Новый четырехэтажный дом, большие светлые комнаты, широкие коридоры, просторные кухни, и на первом этаже, как водится, Красный уголок, он же Ленинская комната, то есть помещение, где в свободное время можно отдохнуть, полистать подшивки газет «Правда» и «Московская правда». Субботними вечерами эта комната превращалась в танцевальный зал. Обитатели общежития одевались во что получше и спускались сюда на танцы под радиолю. Обстановка была обычная. Парни, чаще всего подвыпившие, приглашали девушек или стояли просто так, разглядывая танцующих. Девушки бросали на понравившихся парней тайные взгляды, надеясь с кем-нибудь из них соединить свою жизнь, для чего они и приехали сюда из своих деревень. Две воспитательницы – Тамара Андреевна и Надежда Николаевна, – застыв у входа, бдительно следили за порядком, зная, что танцы это всегда такое место, где разгоряченные водкой, движением и кружением парни могли затеять драку, а то и пырять ножами. Впрочем, драки случались крайне редко, обычно все шло тихо и мирно: музыка играла, пары танцевали, но вдруг по

залу и особенно среди девушек проносился легкий шелест, и, если прислушаться, в этом шелесте можно было расслышать передаваемое по цепочке имя: Толик. И девушки, даже танцующие, теряли интерес к своим кавалерам и поворачивали головы к дверям, в которых только что появился он, причина шелеста – Толик Чулков, молодой человек двадцати пяти лет в форме флотского офицера, без погон. Роста немного выше среднего, широкоплечий, с темными слегка вьющимися волосами, с темными, аккуратно подстриженными и, наверное, с точки зрения девушек, привлекательными усиками. Когда он оглядывал переодевшихся в крепдешин наших крановщиц, электросварщиц и подсобниц, у них у всех, я думаю, сердце замирало в тайной надежде, что пригласит хотя бы на танец. Не говоря обо всем прочем. Не замирало только у тех, кто на такое чудо и не надеялся.

В морской форме Толик ходил не для форсу, а потому что действительно еще несколько месяцев тому назад был лейтенантом флота и другой выходной одежды пока не имел. А из флота он был уволен, как все в общежитии знали, за разврат. В чем проявился этот разврат, никто не знал, но сама эта легенда лелеяла слух и делала личность Толика загадочной и еще более для девушек привлекательной. Так, я думаю, девицы предыдущих эпох когда-то относились к гусарам, наказанным, а тем более разжалованным за участие в дуэли.

Я, между прочим, с Толиком жил в одной комнате. А познакомились мы еще до того, в очереди перед отделом кадров. Куда оба явились для устройства на работу. У тесной прихожей перед кабинетом сидели тогда несколько человек, и он среди них. Толик спросил меня, кем я собираюсь работать. Я ответил: «Плотником. А ты?» «А я не знаю, кем лучше, – сказал он, – каменщиком или маляром». «Что значит не знаешь, кем лучше? – не понял я. – Ты кто по профессии?» «А никто, – пожал он плечами. – Был морской офицер, а теперь никто. Но мне говорили, что тут все без профессии, записываются кем придется, а потом по ходу дела учатся».

Толик ошибался: у некоторых из поступавших профессия была, а у меня даже и с избытком – я был столяром-краснодеревщиком, то есть, по Чехову, плотник против меня был, как Каштанка супротив человека. Тем не менее я объявил себя именно плотником, а Толик записался маляром и, как впоследствии выяснилось, вполне для этого дела оказался пригоден.

Нас в комнате общежития было восемь человек, из них пятеро – провалившиеся при поступлении в институты. Я не прошел творческий конкурс, другие срезались на приемных экзаменах и решили зацепиться в Москве до следующей попытки. Трое из нас метили в престижные вузы (я – в литинститут, Володька Кузнецов в МГИМО, Алик Гришин в ГИТИС). Сашка Шмаков считал своим призванием медицину, а Толик готов был учиться чему попроще и нацелился на строительный институт, который располагался от нашего общежития через дорогу.

Когда я сошелся с Толиком поближе, он оказался скромным бесхитростным парнем, неприхотливым, уживчивым со всеми и услужливым. Несмо-

тря на колоссальный успех у девушек, он ими, кажется, совсем не интересовался. На танцы приходил, танцевал то с одной, то с другой, но не заигрывал и никаких намеков не делал, отчего казался еще более загадочным. Может быть, потому проявлял он такое равнодушие к девушкам, что собирался учиться, стать инженером и не хотел обременять свою жизнь тем, что могло помешать исполнению планов.

Он был обыкновенный молодой человек из простой рабочей семьи, со средним в прямом и переносном смысле образованием, ни особых способностей, ни ярких черт характера я за ним не замечал. Сам он разговорчивостью не отличался, но с большим интересом слушал других. Если было смешно, смеялся. В свободное время, надеясь на поступление в институт, занимался понемногу математикой и что-то читал. Большого интереса к литературе не проявлял, но пару раз ходил со мной в литобъединение «Магистраль», слушал стихи молодых поэтов.

Вообще мало что мог я о нем сказать. Славный, добрый, скромный, застенчивый человек, и загадки в нем не было вроде бы никакой. А вот чем-то он кого-то привлекал, и, может быть, не только морской формой.

Летом у нас у всех был отпуск, я навестил своих родителей в Керчи, он – своих в Пятигорске. Вернулись. Через некоторое время он по секрету рассказал мне странную историю. Уезжая в Пятигорск, он, как обстоятельный человек, приехал на вокзал задолго до отправления поезда и сидел в зале ожидания на собственном чемодане, когда подошел к нему прилично одетый мужчина, представился Михаилом Борисовичем и стал расспрашивать, кто он, откуда, где живет, чем занимается, куда направляется. До отхода поезда времени все еще оставалось достаточно, а тайн у Толика не было никаких. И он новому своему знакомому рассказал всю свою жизнь, включая и службу, и теперешнюю работу, и так далее. Тот ответил взаимной откровенностью и рассказал о себе. Что работает в министерстве культуры, ведает театрами, живет на Арбате, один со старенькой мамой. Была у него жена, известная киноактриса, но жизнь у них как-то не сложилась, оказалось, что слишком разные интересы, пришлось разойтись. Но остались друзьями. Теперь он чувствует себя очень одиноким и будет рад, если Толик когда-нибудь его навестит. Да и Толику, может быть, будет небезынтересно посетить его, выпить хорошего вина, послушать интересные пластинки. Он продиктовал Толику свой адрес, номер телефона и предложил сообщить телеграммой, когда будет возвращаться. Пообещал, что встретит на вокзале. Толик этим знакомством был несколько заинтригован. Ему было непонятно, чем он мог привлечь внимание столь важного и интересного высокого пост человека. В серьезность предложения Михаила Борисовича встретить его на вокзале Толик не поверил, телеграмму не послал, приехал сам. Но не успел приехать, как пришла открытка: Михаил Борисович приглашал его к себе на ужин. «Как ты думаешь, – спросил меня Толик, – что бы это значило?» Я ничего про это не думал. Через несколько дней пришла вторая открытка: Михаил Борисович повторял приглашение

очень настойчиво и в таких выражениях, которых я теперь уже не помню, но что-то там было о первом взгляде, о возможном соединении одиноких душ. Письмо было такое страстное, что я заподозрил самое худшее.

– Толик, – сказал я, – он хочет тебя убить.

Толик и сам склонялся к той же мысли, но не понимал (и мне было непонятно), зачем его жизнь понадобилась этому незнакомому человеку. Мы даже обсудили, не обратиться ли ему в милицию, но после следующего послания решили разобраться сами. Я вызвался быть при Толике сопровождающим.

Помню, был морозный и ветреный вечер. Мы долго блуждали по каким-то околоарбатским переулкам, наконец нашли этот бревенчатый двухэтажный дом с высоким крыльцом, со старинным звонком, при котором была ручка-барашек с надписью, прочитанной при свете спички: «Прошу покрутить». Мы покрутили, и, едва слабый звонок продребезжал внутри, как слышались торопливые шаги по лестнице, дверь распахнулась, на пороге стоял мужчина лет сорока пяти в темном костюме с бабочкой.

– Вы не один? – спросил он разочарованно.

– Да вот с товарищем, – смущенно сказал Толик. – Я ему рассказал про вас. Он тоже хочет с вами познакомиться.

Я не заметил большой радости на лице нашего хозяина. Но, человек вежливый, он провел нас внутрь и на первом этаже представил своей маме, полной пожилой женщине в темном платье с пуховым платком на плечах. Горбясь и кутаясь в платок, она сидела в углу у телевизора КВН с экраном размером чуть больше пачки папирос. Вид этой мирной старухи меня слегка успокоил, мне трудно было представить, чтобы сын в ее присутствии умерщвлял завлеченных им в свои сети людей. Хотя потом, много лет спустя, посмотрев фильм Хичкока «Психо» о сумасшедшем молодом хозяине гостиницы, убивавшем своих постояльцев как бы по повелению своей мертвой матери, я почему-то вспоминал этот дом на Арбате и его хозяев.

Старушка спросила, как на дворе погода. Мы ответили, что погода неважная (а была она и впрямь самая подходящая для мокрого дела), после чего были приглашены Михаилом Борисовичем к ужину. Поднялись по скрипучей деревянной лестнице наверх, где посреди большой комнаты стоял покрытый скатертью стол, тоже скрипучий, с приборами на две персоны и со свечой в серебряном подсвечнике посередине.

– Извините, – сказал мне хозяин, – я на вас не рассчитывал.

И выждал паузу, может быть, ожидая, что я пойму, что я здесь лишний, и удалюсь. Но я не понял, и третий прибор был вынут из серванта и неохотно поставлен на стол. В комнате было еще два стула: на одном – стопка книг, а другой – пустой.

– Извините, – сказал хозяин, – этот стул сломан, если позволите, у меня есть еще вот это...

Из темного угла он принес и поставил мне крашеную табуретку. Я потом, но не сразу, а спустя годы подумал, что табуретка вместо стула, это бы-

ла попытка меня унижить, не состоявшаяся, потому что испытать унижение – значит его осознать. Но я не осознал.

Стали говорить о том, о сем. Я расспрашивал нашего хозяина о его работе, он отвечал неохотно. Толик, чтобы повысить интерес его ко мне, сказал ему, что я поэт, посещаю литературное объединение и иногда даже печатаюсь. После этого представления я хотел, чтобы Михаил Борисович попросил меня прочесть стихи, он не попросил, а сам навязаться я постеснялся. Он говорил со мной вежливо, но со скрываемым раздражением. Раздражение я все-таки заметил и думал, что оно вызвано тем, что я мешаю ему спокойно убить и расчленить Толика. Я вернулся к своим подозрениям, несмотря на то, что у него была мать. У него была мать, но глухая, а, кроме того, я все-таки не исключал мысли, что и мать может быть пособницей в таком деле. Тем не менее, благодаря моему присутствию, убийство не состоялось, и мы около полуночи ушли с подаренными нам билетами в ВТО на концерт юмориста Виктора Ардова.

Мы были люди наивные, сейчас, наверное, любой четырнадцатилетний мальчик догадался бы об истинных целях Михаила Борисовича, но я только через несколько лет, вспомнив эту историю, понял, какими мы были дураками. Кажется, после нашего визита Михаил Борисович потерял надежду на Толика, а Толик его и вовсе забыл, потому что был традиционной ориентации (по тем временам), и его сдержанное отношение к противоположному полу не означало полного безразличия. Что проявилось в его отношениях с Шурой Голевой.

Шура, как большинство деревенских девушек, работала на стройке разнорабочей. Она была высокая, некрасивая с лошадиным лицом, шумная. Любила выпить, а выпивши, бузила. Бегала по этажам, что-то громко кричала, громко хохотала, громко материлась и вообще вела себя экстравагантно, но именно поэтому мужчин не привлекала. Однажды влипла в историю тем, что решила подзаработать. Кто-то подговорил Шуру заняться проституцией и научил конкретным действиям. Наученная, она встала недалеко от входа в гостиницу «Метрополь» и, сложив на груди руки, два пальца правой руки выставила как сигнал для возможного покупателя.

– Ну что, пойдём? – спросил молодой человек, взяв ее за эти два пальца.

– Пойдем, – согласилась Шура, наверное, с волнением, поскольку освоить этот заработок пыталась впервые.

Молодой человек привел ее туда, где числился секретным сотрудником, то есть в милицию.

Разразился скандал. Мелкий, но для бесправной лимитчицы достаточный. Над Шурой возникла угроза лишения московской прописки и отправки домой в деревню, откуда она, может быть, с невероятным трудом когда-то вырвалась. Но за нее заступились Тамара Андреевна и Надежда Николаевна. И она осталась в общежитии с предупреждением, что еще раз, и Москвы ей уже не видать.

Женская часть общежития была на четвертом этаже, и туда, естествен-



но, по вечерам поднимались жильцы этажей пониже. Там, по углам широкого коридора, при тусклом свете пары обнимались, целовались и занимались любовью, стоя или сидя, или в каких-нибудь еще неприметных позах. Как-то на четвертом этаже рядом с Шурой Голевой был замечен и Толик. Он стал появляться там каждый вечер, и, в конце концов, я его спросил, не завел ли он с Шурой роман.

– Нет, – сказал он твердо, – у меня с ней ничего нет, но я решил ее воспитывать. Я ее ругаю. Я ей сказал: как тебе не стыдно, ты молодая женщина, а пьешь водку, материшься, бегаешь за мужиками и даже готова была сама себя продать за деньги. Тебе еще только двадцать три года, а что с тобой будет лет через десять?

– А что она? – спросил я.

– Она меня слушает, – сказал он, довольный собой. – И сказала, что больше пить не будет. У нее в тумбочке было полбутылки водки, она отдала мне, и я вылил ее в туалет.

Шура постепенно исправлялась, но процесс воспитания не закончился: Толик каждый вечер пропадал на четвертом этаже.

В конце концов, отношения его с Шурой продвинулись далеко и однажды он спросил меня, немного смущаясь:

– Знаешь что, ты не можешь мне сказать, а где у женщины п..?

Наш разговор услышал Сашка Шмаков, который засмеялся и сказал:

– Под мышкой.

Меня вопрос насмешил еще больше, я долго смеялся, а потом спросил:

– Толик, за что тебя уволили из флота?

– За разврат, – повторил он не без гордости уже известную мне формулировку.

– А в чем этот разврат проявился?

– Понимаешь, я на корабле был интендантом, и в моем распоряжении был весь корабельный спирт. У меня офицеры просили спирт, и я им давал. Двадцать третьего февраля я дал им шесть литров, все перепились, устроили драку, а замполит откусил ухо штурману. И во всем оказался виноват я, хотя сам я не пил.

Теперь выяснилось, что Толик был не только не развратник, а вообще девственник. Тем временем его роман развивался и однажды принял драматический оборот. К Шуре пришел ее бывший любовник и на глазах Толика стал ее домогаться. Она ответила отказом, он вынул из кармана самый настоящий пистолет ТТ – такое оружие в те времена даже у отъявленных бандитов водилось нечасто. Когда он навел пистолет на Шуру, Толик кинулся на него, выбил пистолет, а самого его скрутил, положил лицом к полу и сидел на нем, пока не появился вызванный наряд милиции. После чего авторитет Толика в нашем общежитии возрос еще выше, тем более что большинство все еще считало его уволенным из флота за разврат.

Через некоторое время с помощью Шуры Толик познал ее анатомию и, как честный человек, вскоре на ней женился.

Никакой свадьбы не было. Шура хотела отметить событие вдвоем. Купила и выставила на стол четвертинку.

– В нашей семье никаких выпивок больше не будет, – сказал Толик и вылил водку за окно.

После такой свадьбы он достал из-под кровати свой чемодан со всем своим тогдашним имуществом и перенес на четвертый этаж к Шуре. Где они и зажили тихой семейной жизнью, отгородившись от других обитательниц комнаты занавесками из простыней. С тех пор я его встречал редко. Но, встречая, спрашивал, как течет семейная жизнь и можно ли ожидать продолжения рода.

Оказывается, нельзя. Поскольку в результате сексуальной жизни в организме Шуры никаких изменений не происходило, молодые супруги обратились к гинекологине, которая им обоим объяснила, что у Шуры отмечено что-то вроде загиба матки, при котором сперматозоиды не могут достигнуть яйцеклетки. Врач посоветовала проделать Шуре небольшую операцию по открытию матки, но молодые решили, что сделают это попозже. Пока понаслаждаются друг другом, а потом сделают операцию и заведут потомство. Я Толика потом встречал еще несколько раз в течение нескольких лет, и чем дальше, тем более печальным он выглядел. Кажется, жизнь его не удалась. Шура оказалась более бесплодной, чем предполагалось, но очень скандальной. Ругала Толика за то, что мало зарабатывает денег, и, не желая жить на стипендию, не допустила поступления его в институт. Она не пила, но он запил. И крепко. Она, как многие другие, в день полочки бегала в кассу и требовала, чтобы деньги отдавали ей, и ей отдавали. Но он был маляр и иногда подхалтуривал, и на это покупал водку. И пил. А она его била. В институт он так и не поступил. Но, соблазненный моим примером и, должно быть, от отчаяния когда-то решил стать поэтом. А я к тому времени уже кое-что написал, напечатал и даже стал членом Союза писателей. И вот Толик пришел однажды ко мне со своими стихами. Очень плохими. И я ему сказал, что стихи ему писать не стоит.

– Я тоже так думаю, – сказал он и ушел.

---



израильский писатель, автор книг «Русский роман» (см.: «NB», № 11), «Эсав», «Как несколько дней...», «В доме своем в пустыне» (см.: «NB», № 1) и «Фонтанелло». Живет в Израиле.

## КАК НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ...\*

### Первая трапеза

#### 1

В теплые дни от стен моего дома поднимается слабый запах молока. Стены давно уже затерты и покрыты штукатуркой, и земля под плитками пола тоже плотно утрамбована, но слабый запах молока все равно сочится из мельчайших пор и трещин, упрямый и вкрадчивый, как испарина забытой любви.

Когда-то здесь был коровник. Жилище жеребца, ослицы и нескольких дойных коров. Большие деревянные ворота были в нем, перехваченные по всей ширине железным засовом, бетонные кормушки, бычья упряжь, хомуты, стойла, доильные клетки, молочные бидоны.

И жила в том коровнике женщина – работала там, и спала там, и видела там сны, и плакала во сне. И там же, на мешках из-под корма, родила себе сына.

Голуби важно расхаживали по гребню крыши, а в углах под стропилами трудились ласточки, склеивая свои гнезда из комочков глины и грязи, и непрерывное трепетанье их крыльев было таким упительным, что я слышу его и по сей день, – оно поднимается из колодцев моей памяти и размягчает мое лицо, разглаживая борозды, прорезанные возрастом и гневом.

По утрам солнце вычерчивало на стенах квадраты окон и золотило танцующие в воздухе пылинки. Роса сгущалась в крышках бидонов, и по кучам соломы юркими серыми молниями проносились полевые мыши.

Ослица, – пересказывала мне мать воспоминания, которые хотела сохранить во мне, – была своевольная и очень себе на уме, она лягалась да-

\* Главы из романа, который в мае 2007 г. выйдет в российском издательстве «Иностранка».

же во сне, а когда ты, Зейде, забирался к ней на спину, она тут же мчалась к выходу, нагибалась и протискивалась под засовом, и, если ты не успеваешь прыгнуть, Зейделе, *майн кинд*\*, железная полоса сваливала тебя на землю. А еще эта ослица умела воровать ячмень у лошади, хохотать во весь голос и стучать копытом в дверь, требуя конфету.

И еще рос там во дворе могучий эвкалипт, широко раскинув вечно шестящую душистую крону, – то ли кто неведомый когда-то посадил его здесь, то ли невеста какой ветер занес сюда его семья. Куда громадней и старше годами всех своих собратьев из ближней эвкалиптовой рощи, высился он здесь и ждал в одиночестве задолго до основания деревни. Я не раз забирался на его вершину, потому что там гнездились вороны, а меня уже тогда интересовали повадки ворон.

Сейчас моя мать давно уже умерла, и то могучее дерево срублено, и тот коровник стал моим домом, а те бывшие вороны давно сменились другими, и те тоже обратились в прах, и новые вылупились из яиц им на смену. Но, несмотря на все это, те бывшие вороны, и те рассказы, и тот коровник, и тот эвкалипт – всё они заякорены в моей памяти, все они врезаны в нее навсегда.

Дерево было примерно двадцати метров в высоту, вороны гнездились у самой его вершины, а в утолщении нижних ветвей еще можно было разглядеть остатки «тарзаньей хижины», сооруженной когда-то ребятишками, которые забирались сюда и прятались здесь задолго до моего рождения.

На старых аэрофотоснимках британских пилотов и в рассказах деревенских стариков этот эвкалипт виден еще отчетливо и резко, но сегодня о нем напоминает лишь чудовищный пенек с выжженной на нем, точно дата смерти человека, датой кончины дерева: 10 февраля 1950 года. В тот день Моше Рабинович – человек, во дворе которого я вырос и в коровнике которого живу, человек, который дал мне свою фамилию и завещал свое хозяйство, – вернулся с похорон моей матери, наточил большой топор и предал проклятое дерево смертной казни.

## 2

Три дня подряд рубил он этот эвкалипт.

Снова и снова взлетал топор и опускался – снова и снова. Человек шел по кругу и врубался со всех сторон, и со стоном поднимал топор, и опускал – с хаканьем и стоном.

Невысокого роста он, Моше Рабинович, но плотный и широкий, с толстыми короткими руками. За силу и выносливость, даже под старость, в деревне называют его Быком, и вот уже третье поколение детей играет с ним в «страшного медведя»: он загребаёт в свою широкую ладонь сразу три тонкие детские ладошки, а дети, крича и хохоча, пытаются вырваться из его тисков.

---

\* «Мой мальчик» (*идиш*).

Разносились в стороны щепки и надсадные стоны, капали пот и слезы, взметались и танцевали вокруг снежные хлопья, и хоть у нас в деревне чуть не о каждом воспоминании идут бесконечные споры, но об этой страшной мести никто не спорит, и даже малые дети знают о ней во всех подробностях:

Дюжину полотенец перевел Рабинович, вытирая лицо и затылок.

Восемь топорищ сломал он и сменил.

Двадцать четыре литра воды и шесть кувшинов чая он выпил.

Каждые полчаса он заново затачивал топор на точильном круге и правил лезвие стальным напильником.

Девять буханок хлеба с колбасой он за это время умял и целый ящик апельсинов.

Семнадцать раз ложился он на снег и шестнадцать раз поднимался и начинал рубить снова. И все это время все тридцать два его зуба были стиснуты и десять пальцев плотно сцеплены друг с другом, и плачущее дыхание стлалось туманом в холодном воздухе, пока не раздался сильный, скрежещущий треск и послышались негромкие вздохи стоявших вокруг людей, похожие на тот шумок, что поднимается в Народном доме, когда гаснет свет, только громче и тревожней.

А потом – испуганные возгласы и топот разбегающихся ног, и за ними – тот смертный шум, который не с чем сравнить, кроме как с ним самим: шум падения и смерти огромного дерева, который никто из слышавших никогда не забудет – внезапный, как взрыв, треск разламывающегося ствола, и нарастающий гул падения, и хлещущий, свистящий звук удара о землю.

Конечно, смерть человека сопровождают другие звуки, но ведь и при жизни звуки дерева и человека тоже различны, и разную тишину оставляют они после своего ухода.

Тишина после срубленного дерева – она словно темная завеса, которую тут же разрывают тревожные крики людей, секущие порывы ветра да испуганные возгласы птиц и животных. А тишина, что заполнила мир после смерти моей матери, – чиста и светла была она, словно прозрачный хрусталик глаза, и такой же светлой остается, не истаявая, и поныне.

Вот она – всегда со мной, рядом со всеми прочими звуками мира. Она не вбирает их в себя, и они не смешиваются с нею.

### 3

Фликт ди маме федерн  
Федерн ун пух  
Зайделен – а кишеле  
Фун хелн-ройтн тух.

Эту песенку я напевал куда раньше, чем понял, что в ней говорится.

А говорится в ней о матери, которая щиплет перья, чтобы сделать сыночку Зейделе перинку из пуха и розового полотна.

Эту песенку, я думаю, напевали многие матери, и каждая вставляла в нее имя своего ребенка. Зейделе – это как раз мое имя. Нет, не прозвище, а настоящее имя. *Зейде*, то есть на идише «дедушка», «старичок», – так назвала меня мать при рождении.

Многие годы я носился с идеей сменить себе имя, но так и не сделал этого. Поначалу мне недоставало решимости, потом – силы, а под конец мы оба отчаялись – я и мое имя – и примирились друг с другом.

Мне было несколько месяцев, когда мать шила мне перинку, напевая эту песенку, но мне кажется, что я хорошо помню те вечера. Холодными были вечера и ночи в коровнике Моше Рабиновича, и мать еще летом договорилась с нашим соседом – Элиезером Папишем, который выращивал гусей, и в обмен на пух, который он ей дал для моей перинки, сшила перины ему и всем его домашним.

Этого гусяного Элиезера Папиша, кстати, называли у нас в деревне не иначе, как Деревенский Папиш, чтобы отличить от брата-богача, который торговал в Хайфе разным инструментом и строительными материалами – того прозвали Городским Папишем, и я еще, может быть, расскажу о нем потом.

Ну, вот, меня, стало быть, зовут Зейде, Зейде Рабинович. А имя моей матери – Юдит, но в деревне ее называли не иначе как «Юдит нашего Рабиновича». Мамины руки приятно пахли лимонными листьями, голубая косынка всегда была повязана на ее голове. Она плохо слышала левым ухом и сердилась, когда ей говорили слева.

Как звали моего отца, никто не знает. Я безотцовщина, тот сын-молчун, что, по Талмуду, умолкает, когда у него спрашивают отцовское имя, хотя меня считали своим сыном сразу три человека.

От первого из них, Моше Рабиновича, я унаследовал хозяйство, коровник и соломенные, золотистые волосы.

От второго, Якова Шейнфельда, – великолепный дом, красивую посуду, пустые клетки для канареек и вислые плечи.

А от Сойхера – «торговца», как называли в деревне Глобермана, перекупщика, который скупал у людей скот, а потом продавал его на бойню, – *а кнупеле мит гельд*, то бишь узелок с деньгами, да огромные, не по росту, ступни.

Но при всей этой путанице с отцами от своего имени я страдал куда больше, чем от обстоятельств рождения. В нашей деревне, а уж в Долине подавно, были и другие дети, родившиеся от чужих отцов или от неведомых людей, но во всей Стране, а может, и во всем мире не было другого мальчика, которого звали бы Зейде. В школе меня дразнили Мафусаилом и Старикашкой, а дома, в ответ на все мои жалобы и расспросы, мать говорила только: «Если Ангел Смерти увидит, что Зейде – это маленький маль-

чик, он сразу поймет, что пришел не по адресу, и пойдет к какому-нибудь другому человеку».

И, поскольку у меня не было выхода, я поддался этим уговорам, пове-рил, что мое имя защищает меня от Ангела Смерти, и превратился в бесстрашного сорванца. Даже тех древних страхов, что таятся в душе каждого человека еще до его рождения, я был начисто лишен.

Я без всякого опасения протягивал руку к змеям, которые гнездились в щелях нашего птичника, и те следили за мной, с любопытством поворачивая длинные шеи, но не шипели и не кусали меня. Я не раз поднимался на крышу коровника и, зажмурив глаза, бежал по крутому черепичному скату. Я смело приближался к деревенским собакам, которых всегда держали на привязи, от чего они становились жадными до крови и мести, и эти псы лизали мне ладонь, дружелюбно помахивая хвостами.

А однажды на меня, восьмилетнего старичка, напала пара ворон, к гнезду которых я подбирался. Тяжелый и темный удар обрушился на мой лоб, все вокруг стало медленно кружиться, и я отпустил ветку, за которую держался рукой. В обморочном наслаждении летел я все ниже и ниже, но мягкие объятия молодых побегов замедлили мое падение, а моей беззащитной спине были заботливо подостланы плотный ковер листьев, рыхлая земля и мамино суеверие.

Я вскочил и помчался домой, и мать смазала мои царапины йодом.

«Ангел Смерти всё делает по правилам. У него есть карандаш и тетрадка, и он всё-всё записывает, – смеялась она, как смеялась каждый раз, когда меня обходила стороной очередная верная погибель. – А вот на *Малах фон Шлоф*, на того ангела, что распоряжается нашими снами, – на него никогда нельзя полагаться. Этот ничего не записывает и ничего не помнит. Бывает, что он приходит вовремя, а бывает, что сам засыпает и совсем забывает прийти».

Ангел Смерти всегда обходил меня стороной, и лишь лицо мое то и дело оведали в невидимом взмахе полы его плаща. Впрочем, как-то раз, осенью сорок девятого года, за несколько месяцев до смерти матери, я увидел его лицом к лицу.

Мне было тогда десять лет. У огромной кобылы Деревенского Папиша началась течка, наш жеребец услышал ее возбужденное ржание и принялся крушить ограду. То был добродушный, покладистый конь каштанового цвета. Моше Рабинович, который делал все «как положено», и посему не брался со своими животными больше, чем было принято и необходимо, этого своего коня баловал поглаживаниями и сладкими рожками, и однажды я даже подглядел, как он заплетал ему хвост в толстую золотистую косу, вплетая в нее для красоты синие ленты.

Он даже отказался его кастрировать, несмотря на все доводы и советы. «Это жестоко, – сказал он. – Это издевательство над животным».

Иногда жеребец выпрямлял свой член и с размаху бил им по животу. Он мог делать так часами, с тяжелой и отчаянной настойчивостью. «Мучает-

ся, несчастный, – говорил тогда Сойхер. – Яйца ему оставили, бабу ему не дают, и рук у него нет, – что ему остается?»

В ту ночь жеребец перескочил через ограду и присоединился к кобыле, а наутро Моше дал мне уздечку и велел привести его обратно.

«Ты просто посмотри ему прямо в глаза, – наставлял меня Моше, – и скажи: "Поди-поди-поди-поди". Но если он глянет таким особенным взглядом, так ты не заводись с ним, Зейде, слышишь? Ты тут же оставь его и зови меня».

Стояло раннее утро. Нетерпеливое мычание голодных телят наполняло воздух. Крестьяне сердито выговаривали своим размечтавшимся коровам. Деревенский Папиш уже бегал вокруг загона с криками и бранью, но влюбленная пара не обращала на него никакого внимания. Их глаза были мутны от желания, с их чресел капали пот и семя, к их обычному лошадиному запаху прибавились новые, незнакомые оттенки.

«Ты что – пришел забрать жеребца?! – воскликнул Деревенский Папиш. – Этот Рабинович просто сдурел – посылать мальчишку по такому делу!»

«Он доит», – сказал я.

«Он доит? Я бы тоже мог сейчас доить!» – Он нарочно кричал так громко, в надежде, что Моше услышит.

Я вошел за ограду.

«А ну, выходи оттуда сейчас же! – крикнул Деревенский Папиш. – Это очень опасно, когда они вместе!»

Но я уже занес уздечку и пропел волшебное заклинание.

«Поди-поди-поди-поди...» – и жеребец подошел ко мне и даже позволил набросить на него уздечку.

«Он сейчас взбесится, Зейде! – крикнул Папиш. – Немедленно оставь его!»

Мы с жеребцом уже выходили за ограду, когда кобыла заржала. Жеребец остановился и толкнул меня на землю. Его глаза взбухли и налились кровью.

«Брось веревку, Зейде! – закричал Деревенский Папиш. – Брось и быстрее откатись в сторону!»

Но я не бросил.

Жеребец поднялся на задние ноги, веревка натянулась, и меня подбросило и швырнуло навзничь. Его передние копыта ударили по воздуху и взметнули грязь. Меня окружила стена пыли, за которой я увидел Ангела Смерти с тетрадью в руке. Он смотрел на меня в упор.

«Как тебя зовут?» – спросил он.

«Зейде», – ответил я, но веревку не бросил.

Ангел Смерти отпрянул, словно оглушенный невидимой пощечиной. Он послунил палец и принялся листать свою тетрадь.

«Зейде? – раздраженно переспросил он. – Как это может быть, чтобы маленького мальчика звали Зейде?»

Мое тело дергалось и моталось по земле, страшные копыта свистели ря-



дом, как те ножи, которые в цирке швыряют в девушек с завязанными глазами. Руки, вцепившиеся в веревку, выворачивались из плечевых суставов, комья земли сдирали кожу с ладоней, но я ощущал лишь спокойствие и уверенность.

«Зейде! – повторил я, глядя на Ангела Смерти. – Меня зовут Зейде».

В столбе сверкающего белого пламени я видел, как он облизывает карандаш, снова перелистывает тетрадь и понимает, что произошла ошибка.

Потом он гневно лязгнул челюстями и исчез, угрожающе и злобно фыркнув, видимо, направившись в другое место.

Громкие вопли Деревенского Папиша заставили Моше Рабиновича броситься мне на помощь. Тяжелым бегом он одолел те десять метров, что разделяли оба двора, и то, что я увидел затем, запомнилось мне навеки.

Левой рукой Рабинович схватил жеребца за уздечку и потянул его вниз так, что их головы оказались на одном уровне, а кулаком правой ударил прямо в белую звездочку в центре конского лба – ударил всего один раз, и на этом все было кончено.

Жеребец дернулся назад, пораженный и изумленный, и все его мужское великолепие разом опало, как будто его подрубили под корень. Он опустил голову, его глаза затянулись мутной пеленой, и он медленным пристыженным шагом вернулся в наш двор и вошел прямо в свой загон.

Все это заняло каких-нибудь полминуты. Но когда я поднялся на ноги, целый и невредимый, оба моих других отца были уже тут как тут: Яков Шейнфельд прибежал из своего дома, а Сойхер-Глоberman примчался в своем зеленом пикапе, по пути врезавшись, как обычно, в ствол эвкалипта, и торопливо выпрыгнул из машины, крича и размахивая утыканной гвоздями палкой.

Но мать пришла спокойным шагом, сняла с меня рубашку, отряхнула пыль, промыла и смазала йодом царапины на спине и все это время смеялась: «Если маленького мальчика зовут Зейде, с ним ничего не случится!»

Так удивляться ли, что за многие годы я уверовал в правоту матери и в силу имени, которое она мне дала? Вот и стараюсь теперь соблюдать те меры предосторожности, к которым оно обязывает. Помню, я жил какое-то время с женщиной, которая, в конце концов, сбежала от меня, оскорбленная и отчаявшаяся, после нескольких месяцев моего воздержания.

«Сын родит внука, а внук приведет Ангела Смерти», – объяснил я ей.

Сначала она смеялась, потом сердилась, а затем ушла. Я слышал, что она вышла замуж и оказалась бесплодной, но к тому времени я уже постиг весь словарь гримас и насмешек судьбы и ничему больше не удивлялся.

Вот так мое имя спасло меня в тот раз и от смерти, и от любви одновременно. Однако эта история не имеет отношения к рассказу о жизни и смерти моей матери, а рассказы, в отличие от действительности, следует защищать от любых прибавлений и излишеств.

Я не исключаю, что моя манера рассказывать может показаться несколько мрачноватой, но в жизни я совсем не таков. Я как все – и у меня порой

бывают грустные минуты, – но мне совсем не чужды маленькие житейские радости, я сам себе хозяин, и к тому же, как я уже говорил, трое отцов щедро одарили меня от доброты своей.

От Сойхера-Глобермана я получил в наследство *a knipеле мит гельд*, кошелек с деньгами, и его старый зеленый пикап.

Канареечник Яков Шейнфельд завещал мне великолепный дом на Лесной улице в Тивоне.

А в деревне у меня есть свое хозяйство – хозяйство Моше Рабиновича. Сам Моше еще живет в нем, но уже переписал всё на мое имя. Он живет в своем старом доме, глядящем на улицу, а я – в маленьком красивом домике, что во дворе, том самом, что раньше был коровником, где бугенвиллии разноцветными бакенбардами выются по беленым щекам, крылья ласточек трепещут тоской под окнами и неприметные трещины в стенах все еще выдыхают мягкий запах молока.

В давние времена здесь ворковали голуби и доились коровы. Роса собиралась на крышках бидонов, пыль танцевала в золотистых хороводах. В ту пору жила здесь женщина, смеялась и мечтала, работала и плакала, и здесь привела меня в мир.

Вот, в сущности, и весь рассказ. Или, как любят говорить омерзительным басовитым голосом практичные люди: вот, что мы имеем в итоге. А если что прокрадется сверх того, отныне и далее, так это всего лишь детали, не имеющие иной цели, кроме как насытить пару маленьких и прожорливых бестий, живущих в каждой душе, – жгучее любопытство и жадный интерес к чужой жизни.

#### 4

В 1952 году, года через полтора после ее смерти, Яков Шейнфельд пригласил меня на первую трапезу.

Он пришел в наш коровник – вислые плечи, сверкающий шрам на лбу, мшистые, серые тени одиночества в морщинах.

«С днем рождения, Зейде. – Его рука легла на мое плечо. – Сделай одолжение, загляни ко мне завтра на ужин». Вымолвил, повернулся и ушел.

Мне исполнилось тогда двенадцать лет, и Моше Рабинович устроил по этому поводу мой очередной день рождения.

«Кабы ты был девочкой, Зейде, мы бы сегодня устроили тебе *бат-мицву\**», – улыбнулся он, и я удивился, потому что Рабинович не имел привычки говорить «если бы» да «кабы».

Одед, первенец Моше, который уже тогда был водителем деревенского молоковоза, подарил мне на день рождения посеребренного бульдога с

---

\* *Бат-мицва* – букв. «дочь заповеди» (*иврит*) – девочка, достигшая двенадцати лет и считающаяся правомочной и обязанной блюсти все заповеди, предписанные женщине еврейской религиозной традицией.

капота своего дизеля. Номи, дочь Рабиновича, специально приехала из Иерусалима, чтобы привезти мне книгу под названием «Старое серебристое пятно», в которой были изображения ворон и их крики, записанные нотными знаками. Она так долго целовала, и всхлипывала, и тискала, и приговаривала, лаская, что под конец мне стало неловко, жарко и страшно разом.

Потом появился зеленый пикап, врезался, по своему обыкновению, в огромный пенъ эвкалипта, уже исполосованный грубыми рубцами всех их предыдущих свиданий, и во двор ворвался еще один мой отец – скупщик скота Глоberman.

«Хороший отец никогда не забывает день рождения сына!» – возвестил Сойхер, за которым и впрямь никогда не пропадал ни один из родительских долгов.

На этот раз он принес нам несколько кусков отборного мяса на ребрышках, а мне сунул изрядную сумму наличными.

Глоberman давал мне деньги по каждому случаю. К дням рождения, к праздникам, к окончанию учебного года, в честь первого дождя, в ознаменование самого короткого дня зимы и по поводу самого длинного дня лета. Даже на годовщины маминой смерти он ухитрялся сунуть мне в руку несколько шиллингов\*, и эта его привычка смущала и раздражала всех, но уже не удивляла никого, потому что во всей Долине его знали как человека жадного и корыстного. У нас в деревне рассказывали, что когда во время войны англичане выселили немецких колонистов из близлежащего Вальдхайма\*\*, Глоberman заявился туда со своим пикапом буквально по теплым еще следам, взломал замки на покинутых домах и прикарманил брошенный хозяевами хрусталь и фарфор.

«Так обобрал, что, когда мы приехали туда со своими телегами, там уже и взять было нечего», – возмущались рассказчики.

И как-то раз я слышал, как Деревенский Папиш срамил Глоbermana, припоминая ему эту давнюю историю. Слово «грабитель» я знал, что означало «башибузук» – догадался, а вот «аспид» так и остался для меня загадкой.

«Ты украл! Ты приложил руку к грабежу!» – насккивал Папиш.

«Ничего я не крал, – криво усмехнулся Глоberman. – Я утащил».

«Утащил? Как это "утащил"?!»

«А так: часть – волоком, а часть – на спине. Но красть – нет, я ничего не

---

\* *Шиллинг* – во времена британского мандатного управления в Палестине имели хождение английские деньги – фунты и шиллинги.

\*\* *Вальдхайм* (основан в 1907 г.) – одно из пяти сельскохозяйственных поселений (Вальдхайм, Шарона, Вильгельма и др.), созданных в Палестине немецкими колонистами-темплиерами из так называемого Храмового общества (осн. в 1868 г.), имевшего целью возрождение Палестины и Иерусалимского Храма для ускорения Второго пришествия. В 1939 г. немецкие колонисты были депортированы британскими мандатными властями в Австралию за активную поддержку гитлеровского режима.

крал!» – взревел Сойхер, расхохотавшись так, что этот его смех я помню по сей день, спустя много лет после его смерти.

Теперь он сказал мне – громко, чтобы все слышали: «Давай, я тебе объясню, какая разница между просто подарком и подарком наличными. Разница тут такая, что, когда ты думаешь, что бы такое купить человеку в подарок, ты делаешь себе *а лох ин коп*, дырку в голове, а когда ты даешь человеку деньги наличными, то ты делаешь себе *а лох ин ари*, дырку в сердце, точка».

Он втиснул деньги мне в ладонь и объявил: «Этому меня научил мой отец, а теперь я учу тебя, чтобы ты был, как все те, что родились прямо у мясника на клоце, на мясницкой колоде».

Он вытащил из кармана плоскую фляжку, которую всегда носил с собой, и я почувствовал запах граппы, которую очень любила мама. Глоberman сделал изрядный глоток, потом плеснул немного граппы в огонь и стал быстро и ловко жарить принесенные ребра, напевая:

Шел себе Зейделе, задравши нос,  
Шел, чтоб за грошик купить абрикос,  
Ой, Зейде, беда, абрикос не найдешь –  
Выпал грошик, теперь не вернешь.  
Мамеле будет бить теперь прутом,  
Папеле будет пороть теперь кнутом,  
Ой, Зейделе, Зейде, теперь тебе капут –  
Ту еще взбучку тебе зададут.

А потом Моше Рабинович, самый сильный и старый из моих отцов, схватил меня и стал подбрасывать, раз за разом швыряя в воздух и снова принимая мое тело в свои толстые короткие руки. А потом Номи закричала: «И еще раз, на следующий год!» – и я взлетел в воздух для своего тринадцатого полета и увидел шевелящуюся тучу, угрожающе нависшую над нашей деревней.

«Смотрите! – закричал я. – Скворцы летом!»

Эта дрожащая нетерпением темная грозовая туча на первый взгляд и впрямь напоминала стаю скворцов, сбившихся в счете годовичного времени. Лишь после выяснилось, что сильные руки Моше Рабиновича позволили мне первым увидеть знаменитую тучу саранчи, вторгшуюся в Долину в тот летний день тысяча девятьсот пятьдесят второго года.

Моше помрачнел. Номи испугалась. А Глоberman, в который уж раз, произнес: «*А менч трахт ун а гот лахт*». Человек хочет, а Господь хохочет. Человек замышляет, а Господь посмеивается себе в бороду.

Не прошло и пяти минут, как из-за холмов послышались далекие глухие звуки арабских барабанов – это феллахи, вооружившись визжащими женами, длинными палками и пустыми, грохочущими жестянками из-под бензина, бросились в поля, чтобы испугать врага.

Глоberman раз за разом прикладывался к фляжке и все подавал да пода-

вал Моше куски жареного мяса, а вечером, когда деревенская детвора вышла в поля с факелами, мешками, лопатами и метлами, чтобы уничтожить саранчу, пришел мой третий отец, Яков Шейнфельд, положил руку мне на плечо и пригласил к себе на ужин.

«Все эти подарки ничего не стоят, Зейде, – сказал он. – Деньги все равно потратятся, одежда сносится, игрушки сломаются. Зато хорошая еда останется в памяти. Оттуда она уже не пропадет, не то что другие подарки. Наше тело еда покидает быстро, зато из памяти она выходит очень-очень медленно».

Так сказал Яков, и его голос, как и голос Сойхера, прозвучал достаточно громко, чтобы все могли услышать.

## 5

«Странная птица», – говорили про Якова Шейнфельда в деревне.

Жил он уединенно, и все его хозяйство составляли маленький дом, небольшой садик со следами бывлой ухоженности да несколько пустых канареечных клеток – память об огромной, теперь уже разлетевшейся птичьей семье.

Свой земельный надел, который когда-то щедро рождал апельсины, виноград, овощи и кормовые травы, он давно уже сдал в аренду деревенскому кооперативу. Инкубатор, который был у него тогда, уже заколотил. Жену, которая от него ушла, уже забыл.

Жену Якова звали Ривка. Я знал, что она покинула его из-за моей матери. Я сам никогда ее не видел, но все говорили, что она была самой красивой женщиной в деревне.

«В деревне? – возмущался Деревенский Папиш. – Да она была самой красивой женщиной в Долине! Самой красивой в Стране! Одной из самых красивых во всем мире и во все времена!»

Деревенский Папиш принадлежал к числу тех людей, которых женская красота влекла к себе, как наркотик, и дома у него хранился альбом с репродукциями, который он имел обыкновение листать бережно вымытыми, ласкающими руками, вздыхая при этом: *«Шеннер фун ди зибн итерн»*. «Красивее, чем семь звезд».

Словно далекая сияющая туманность, запечатлелась Ривка в памяти Деревенского Папиша и в коллективной памяти всей нашей деревни. По сей день – даже после того, как она ушла, и вновь вышла замуж, и вернулась под старость, и перед смертью еще успела вернуть Якова себе, – о ней у нас всё еще рассказывают легенды. И стоит появиться в деревне какой-нибудь уж очень симпатичной гостье или у кого-то из наших родится какая-нибудь уж очень красивая девочка, как деревенская память тут же сравнивает их с тем смутным обликом прекрасной женщины, которая когда-то давным-давно жила здесь, среди нас, и ушла, узнав о предательстве мужа, и покинула деревню, и оставила нас «утопать в грязи, среди мерзости и запустения».

Двенадцать лет было мне тогда, и путем, в начале неясным и смутным,

а под конец до боли отчетливым и резким, я пришел к пониманию, что это я виноват в постигшей Якова беде и в его одиночестве. Я понял, что когда бы не я и не тот мой ужасный поступок, мама ответила бы на его ухаживания и мольбы и вышла бы за него замуж.

Как в заветную шкатулку, упрятал я от своих трех отцов секреты, касавшиеся их и ее. Я не открыл им, почему она поступила так, как поступила, и выбрала того, кого выбрала. Я не рассказал им, что, сидя в своей наблюдательной будке, замаскированной среди ветвей и травы, я видел также людей, а не только ворон.

О насмешках и мучениях, пережитых в школе, я им тоже не рассказывал.

«Как тебя зовут?» – смеялись малыши.

«Кто твой отец?» – подначивали большие и, не понижая голоса, гадали вслух, кто из троих мой настоящий отец.

А поскольку Рабиновича и Глобермана они боялись, то сосредоточились на Якове Шейнфельде, которого одиночество и печаль сделали удобной для нападков мишенью. У него была к тому же странная привычка, которая вызывала у всех презрительную жалость, – он мог целыми часами сидеть на пустынной автобусной остановке, что на главной дороге, и бормотать, обращаясь то ли к самому себе, то ли к поникшим в пыли казуаринам, то ли к проезжающим легковушкам, а может – и к гостям, которых только он и видел: «Заходите, заходите, дорогие, спасибо, что пришли, заходите, друзья...»

Время от времени его лицо как будто освещалось изнутри, и тогда он торжественно вставал, выпрямлялся и, словно бы повторяя какую-то древнюю формулу, возглашал: «Заходите, друзья, заходите, сегодня у нас здесь свадьба!»

Я не раз видел его там, когда сопровождал Одеда на его молоковозе.

«Ты только посмотри на этого старика! – говорил Оded. – Будь он лошадью, его бы уже давно пристрелили».

Но и Одеду, и даже Номи, его сестре, я не открыл, какое зло сделал Яков в детстве.

Вечером следующего дня, закончив домашние уроки, я помог Моше доить коров, потом умылся, надел белую рубашку и отправился в гости к Якову Шейнфельду.

Я открыл маленькую калитку, и меня тут же окружили дивные запахи незнакомой еды, которые выскользнули из окон дома, но не смогли пробиться сквозь живую изгородь и теснились в пределах двора.

Яков открыл мне дверь, произнес свое «Заходите, заходите», и запахи тут же усилились и стали лхнуть к моей шее и щиколоткам, обвинили их, втянули меня внутрь дома и наполнили мой рот взволнованной слюной.

«Что это ты наварил, Яков?» – спросил я.

«Хорошую еду, – ответил он. – Мой тебе подарок в тарелке».

Подарки Якова не были такими частыми и напоказ, как подарки Глобермана, зато они были более интересными. Когда я родился, он принес желтую

деревянную канарейку, которую подвесили над моей колыбелью. В три года он показал мне, как складывать желтые лодочки из бумаги, и мы вместе пускали их вплавь по вади. На мой восьмой день рождения он приготовил сюрприз, который привел меня в восторг, – большой наблюдательный ящик, настоящую будку, всю заляпанную зелеными маскировочными пятнами, с отверстиями для наблюдений и вентиляции, с двумя ручками и парой колес.

«Из этого ящика ты сможешь смотреть на своих ворон, чтобы они тебя не видели, – сказал он. – Но ты не пользуйся этим, чтобы подглядывать за людьми, это очень некрасиво».

Внутри ящика Яков укрепил прищепки для бумаг и карандашей и устроил место для бутылки с водой.

«И для веток и листьев, повтыкать их со всех сторон, тут у тебя тоже есть места, Зейде, чтобы вороны не почувствовали тебя и не улетели из-за этого, – сказал он. – У меня канарейки сидят в клетках, а я снаружи, а у тебя ты будешь в клетке, а вороны снаружи».

«Они не улетают от меня, – сказал я. – Они меня уже знают, и я их тоже».

«Эти вороны, они совсем, как люди, – улыбнулся Яков. – Не удирают на самом деле, а только делают для тебя вид, как будто удирают. Но если ты спрячешься в этом ящике, они будут вести себя обыкновенно».

Назавтра я попросил Глобермана взять меня с ящиком в его пикапе в эвкалиптовую рощу.

Роща находилась на восточном краю деревни, вблизи деревенских полей, а за ней располагалась бойня. Густая и мрачная это была роща, и пересекала ее всего одна тропа – та самая, по которой Сойхер уводил животных навстречу их судьбе.

Вороны гнездились на высоких верхушках эвкалиптов, и в это время года можно было уже разглядеть их потомство, ростом почти с родителей. Воронята начинали учиться лёту, и старые вороны показывали им всякого рода приемы. Молодые, которых в первый год жизни легко было опознать по растрепанным, торчащим перьям, группками сидели на ветках, и каждый раз кто-то из них срывался с места, в ужасе барахтался немного в воздухе, потом собирался с силами и возвращался на свое место, тесня соседа по ветке, пока и этот не сваливался, чтобы немного полетать.

Я сидел в ящике и видел все, а вороны не чувствовали меня. Вечером, когда Глоберман приехал забрать меня домой, все мои конечности скрючились от усталости, но сердце мое ширилось и пело от счастья.

Яков усадил меня за большой и гладкий кухонный стол, на котором сверкали – каждая, как полная луна, – белые тарелки и тускло поблескивали серебром столовые приборы.

«В честь твоего дня рождения», – сказал он.

Пока я ел, его глаза неотрывно следили за выражением моего лица, а я не мог, да и не хотел скрыть свое удовольствие.

К двенадцати годам я уже знал, какая пища мне нравится и что я терпеть

не могу, но еще не мог себе представить, что еда может доставлять такое глубокое и острое наслаждение. Маленькие вкусовые сосочки радостно выпрыгивали не только на моем языке и нёбе, но и в горле, во внутренностях и даже, кажется, на кончиках пальцев. Запахи заполняли мне нос, слюна заливала мне рот, и хотя я был еще ребенком, но уже знал, что никогда не забуду эту трапезу.

Странно, но наслаждение это сопровождалось какой-то тонкой печалью, которая приправляла едва ощутимой горечью то счастье, и вкусы, и запахи, что наполняли мое тело.

Я вспоминал ту простую еду, которую ел с другим моим отцом, Моше Рабиновичем. Тот обычно довольствовался вареной картошкой, крутыми яйцами и куриным бульоном, приготовленным с такой стремительностью, словно ему не терпелось удостовериться, что теперь-то уж курица, которой он только что свернул голову, ошипал и разрезал на куски, наверняка не воскреснет.

Человек привычек и накатанной колеи – Моше Рабинович. Он и сейчас, как всю жизнь, ест молча, пережевывает пищу усердно и тщательно, перекатывая ее во рту с одной стороны на другую, и, когда его рука нагружает вилку, я твердо знаю, что и эта порция будет проглочена ровно через шесть жевков.

Теперь только он и я остались в доме. Мама уже умерла, Номи уже вышла замуж и живет в Иерусалиме, Оед, хоть и не покинул деревню, но живет в другом доме. Как и тогда, мы сидим сегодня вдвоем – Моше и я, едим и молчим. После еды он выпивает одну за другой несколько чашек кипящего чая, а я мою посуду и убираю кухню – точно так, как это делала мама.

А закончив, я говорю: «Спокойной ночи, Моше» – потому что ни одного из трех моих отцов я никогда не называл и не называю отцом, – и выхожу, и иду к своему маленькому дому, что во дворе, и там лежу себе один. В моей постели, которая была ее постелью. В ее коровнике, который стал моим домом.

## 6

Яков не сидел со мной за столом. Он хлопотал вокруг меня, подавал, смотрел, как я ем, непрерывно говорил, и лишь временами, когда у него во рту возникал просвет меж двумя словами, совал туда кусочек яичницы, которую приготовил для себя.

Я боялся, что он будет говорить о матери, потому что многие из деревенских словно бы ощущали потребность рассказывать или расспрашивать меня о ней, но Яков говорил о своем детстве на Украине, о котором я уже немного слышал, о своей любви к птицам, о тамошней реке, где девушки стирали белье, а парни посылали к ним маленькие бумажные лодочки со словами любви, упрятанными в их складках.

«Кораблик любви», – говорил он.

Река называлась Кодыма, и это название показалось мне смешным, по-



тому что напоминало крики Деревенского Папиша: «*Кадима! Кадима!*»\*, которыми он подбадривал наших ребят на соревнованиях с командой соседней деревни. Я приснул, и Яков тоже улыбнулся.

«Я тогда был маленький, даже меньше, чем ты, Зейде, и наша речка Кодыма была для меня, как большое море. Ведь у детей глаза, они совсем как увеличительное стекло. Я это однажды услышал от Бялика\*\*. Он приезжал к нам сюда на лекцию и сказал так: "Горы Альпы в Швейцарии – действительно высокие горы, но не такие высокие, как та куча мусора, что была во дворе моего дедушки в деревне, когда мне было пять лет". Он сказал все это на красивом иврите, не таком, как у меня, Зейде, но у меня нет бяликовских слов и я не могу говорить так, как он».

Большие клены росли на берегах той Кодымы. В тени ветвей копошились утки с блестяще-зелеными головами. В камышовых зарослях шелестел ветер, и крестьяне говорили, что он повторяет тоскливый шепот утопленников.

На изломе реки нависала над водой могучая черная сланцевая скала, и плакучая ива склонялась на ней. Тут стояли на коленях девушки, полоща в воде белье, – ноги их упирались в темный камень, пальцы багровели от ледяной воды, а из носов капало от холода. Яков прятался на берегу, за цветущими ветвями, чтобы подглядывать за ними. Мал он был тогда, и с того речного излома, за которым прятался, да еще из-за движения воды, стирающие девушки казались ему плывущими по золотисто-зеленоватому морскому простору, которому нет ни конца, ни края.

Пара за парой отрывались от неба аисты, спускаясь на свои насиженные трубы и гнезда. Шеи свои они отклоняли назад и забавно подпрыгивали в пирютах обхаживаний и заверений, словно бы показывая друг другу, что вот – еще год кончился, а их любовь нескончаема. Они стучали красными клювами, преподносили друг другу весенние дары, и их ноги розовели от страсти.

«Потому что любовь – это одна и та же любовь, что у этих уродов аистов, что у моих красавиц-канареек».

Весенний ветер играл девичьими платьями, то присобирая, то взметая их на бедрах, и солнечные лучи вычерчивали голубоватые росчерки вен на тыльной стороне рук, выжимавших мокрое белье. Свет, прозрачный и хрупкий, как фарфор, рисовал картину, которую Яков много позже, с неожиданной для него высокопарностью, назовет «Вечная картина любви».

«Мальчик, который смотрит на красивых женщин, ищет совсем не того, чего ищет взрослый человек, – объяснял он мне. – Ты ведь и сам еще мальчик, Зейде, но скоро ты станешь парнем, и тебе лучше знать все эти вещи. Мальчик ищет не *цицес* и *попкес*, ему нужно намного больше. Не красоту той или этой женщины он ищет, а красоту всего мира сразу, это ему нуж-

---

\* «Вперед! Вперед!» (*иврит*).

\*\* Бялик, Хаим Нахман (1873–1934) – выдающийся еврейский поэт.

но. Все звезды с неба он хочет сорвать, всю землю, и всю жизнь, и все большое море он хочет обнять сразу. А женщина – она не всегда может дать все эти вещи. Когда-то у меня был в доме работник, и я рассказал ему то, что тебе сейчас. Так он мне ответил: "Во всем мире есть, может быть, всего шесть женщин, которые могут дать человеку все это, Шейнфельд. Но дети этого еще не знают, а взрослым это уже не попадается". Помнишь того моего толстого работника?»

Громкие любовные постукивания аистов доносились сверху, словно точки и запятые, которыми какой-то невидимый грамотей разделял взрывы хохота стирающих девушек. Выше по реке собирались холостые парни, чтобы спускать на воду любовные кораблики. Каждый из них писал на бумаге что-то свое, а потом каждый складывал из этой бумаги свою лодочку.

«Вот, Зейде, вот так они складывали. – Яков вынул из ящика лист желтоватой бумаги. – Вот так, и так, а потом вот так, теперь переворачиваем и открываем – тут и тут, и опять вот так, потом разглаживаем ногтем, и пожалуйста – готовый кораблик», – и он протянул мне бумажную лодочку, красивую и гладкую, – лодочку, которую отцы складывают для своих маленьких сыновей.

Иногда кораблик нес на себе целое письмо, а иногда – только изображение пронзенного сердца, истекающего кровью соловья или неуклюжие символы желаний – дом, дерево, корова, младенец.

Парни спускали свои бумажные кораблики на воду, и течение уносило их вниз. Примерно двести шагов отделяли их от девушек, и многие кораблики успевали хлебнуть воды и развалиться, другие переворачивались и тонули или утыкались в берег и застревали в камышах. Те немногие, что доплывали до цели, тотчас попадали в руки девушек, каждой из которых так хотелось заполучить такой кораблик, что они готовы были выцарапать друг другу глаза.

«Кораблик любви», – снова пояснил Яков.

Никто из парней не подписывал письма, потому что все знали, что судьба, которая спасла жалкий бумажный кораблик от гнева речной стихии и привела к суженой, и дала ей силу выхватить его из рук подруги, – эта судьба сама позаботится сообщить ей, кто тот писавший, что ей предназначен.

Воспоминания разгладили высохшие борозды разочарования на его лице. Его подбородок затрясся.

Только по прошествии лет я понял, что так он пытался проверить меня, объяснить мне, уговорить и, может быть, извиниться за тот грех, которого не совершал, и за ту вину, которая лежала не на нем, а на мне, чего он не знал.

«Может быть, выпьешь со мной капельку, а, Зейде?»

Он тоже говорил «капельку», как говорили мама и Сойхер-Глоberman, и Моше Рабинович.

«Моше будет сердиться, – сказал я. – Мне всего двенадцать лет».

«Во-первых, я тоже твой отец, Зейде, не только Рабинович. А во-вторых, мы можем ему ничего не говорить».

Он достал из кухонного шкафчика два бокала. Они были такими тонкими и прозрачными, что я различил их скругленную форму лишь после того, как он налил в них коньяк. Даже сегодня, когда они уже мои и стоят в моем шкафчике, я страшусь брать их в руки.

Я отпил немного и закашлялся. Меня передернуло, и странное тепло разлилось по моим костям.

«Ну, как, хорошо?»

«Печет ужасно», – простонал я.

«Твоя мама очень любила выпить», – сказал Яков. – Она пила крепкий ликер, из гранатов, и коньяк тоже, но даже больше, чем коньяк, она любила граппу. Это такой напиток, у итальянцев. Глоberman иногда приносил ей бутылку, а раз в неделю они сидели и выпивали вместе, и он клал ей в рот маленькие шоколадки. Больше половины бутылки они могли прикончить вместе, а потом вставали и шли на работу, как будто ничего не случилось. Чтоб я так был здоров. Полбутылки посреди дня это не так чтобы очень много, но это и совсем не мало. Вначале она его ненавидела, как смерть, этого Сойхера, торгоша этого, она ему глаза готова была выцарапать, если встречала на улице или в поле, но из-за этой граппы они сделались друзьями на один день в неделю. Чтоб ты знал, Зейде, не так уж много нужно, чтобы сделаться друзьями. И чтобы ненавидеть, тоже хватает совсем маленьких причин, и даже чтобы любить».

Его голос на миг задрезжал: «Тут в деревне все спрашивали, почему я в нее влюбился, и за спиной спрашивали, и в лицо тоже. Почему ты влюбился в Юдит нашего Рабиновича, Шейнфельд? Как ты мог позволить своей Ривке уйти, Шейнфельд?»

Он сказал это, как будто повторял чей-то вопрос, хотя я его ни о чем не спрашивал – ни вслух, ни в сердце.

«Это как раз то, что я тебе только что сказал, Зейде. Чтобы любить женщину, не нужно каких-то особенных причин, и сила любви – она тоже никогда не связана с размером причины. Иногда достаточно одного слова, а иногда – только линии талии, которая как стебель мака. А иногда – как выглядят ее губы, когда она говорит "восемь" или "три". Смотри, когда ты говоришь "восемь", твои губы начинают как будто для поцелуя, и тогда немного видно, как они касаются друг друга, чтобы сказать "в". А потом они чуточку открываются... вот так... и получается "во-семь", видишь? А для "три" язык должен сначала упереться в зубы, чтобы сказать "т", а потом рот немного открывается еще и язык переходит чуть выше зубов, и выходит "р", а за ним все остальное».

И он посмотрел на меня так, словно хотел увидеть, понял ли я, что он имеет в виду.

«Чтобы понять это, я часами стоял против зеркала. Стоял и выговаривал все эти цифры, медленно-медленно, и смотрел, как выглядит каждая цифра во рту, а один раз я даже спросил ее, скажи мне, Юдит, сколько будет "три" и еще "четыре", – только чтобы увидеть, как ее губы выговарят

"семь", но она наверно подумала, что я сумасшедший. А иногда, чтобы ты знал, Зейде, только брови, одни только брови женщины могут привязать мужчину на целую жизнь».

Он налил мне еще чуточку коньяку, закрыл бутылку и вернул ее в шкаф. «Больше ты сегодня не получишь, Зейде. Это только, чтобы сейчас попробовать и чтобы когда-нибудь вспомнить. Я оставляю эту бутылку для тебя, пусть лежит себе здесь и ждет вместе со мной до следующей нашей трапезы. Коньяку полезно ждать, а бокалы, и посуду, и все, что здесь есть, ты еще когда-нибудь получишь от меня после моей смерти. А пока продолжай себе расти, и играть, и бегать за воронами, а мы втроем, я, и Рабинович, и Глоberman, мы втроем постараемся, чтобы у тебя было хорошее детство, потому что у ребенка – что у него есть, кроме детства? Силы у него нет, и ума у него нет, и женщины у него нет. Только любовь у него есть, чтобы ломать ему тело и поломать ему жизнь».

## 7

Яков сполоснул оба бокала, осторожно протер и проверил их прозрачность на свет.

«У меня тоже всегда была слабость к птицам, – сказал он, – и моя мать тоже умерла, когда я был еще ребенком, но у меня, Зейде, у меня не было детства. Мой отец женился на другой женщине, и она сразу отправила меня к своему брату, моему неродному дяде. У него была мастерская в большом городе, далеко-далеко от нашего дома и деревни. Она сказала: пусть лучше выучит какую ни то специальность, чем крутится на речке возле этих прачек. У этого ее брата в мастерской как раб я работал, с утра до ночи. Его дети учились себе в школе и носили красивые костюмчики с гимназическими пуговицами, а я с трудом научился писать и читать, и иврит у меня ломаный до сегодняшнего дня, такой ломаный, что я стесняюсь выступать на деревенских собраниях. А если я разок вставлю какое-нибудь красивое слово, чтобы украсить свою речь, так все сразу начинают смеяться. Как-то я сказал "ваш покорный слуга" вместо просто "я", так Деревенский Папиш сказал мне при всех: "Твой покорный слуга, Шейнфельд, вместе со всем остальным твоим ивритом – как жемчужина в куче навоза". От него самого воняет гусиным *квечем*, выжимкой этой от его гусей, а на меня он говорит "навоз"! Когда он проходил здесь, бывало, с той тачкой, в которой возил своим гусям бочки с отбросами из лагеря для пленных итальянцев, так птицы от вони падали с неба мертвые, а на меня он говорит "навоз"! У меня, когда я был мальчиком, птицы были мое единственное утешение. Потому что для чего еще созданы птицы, если не для утешения людей? Что, еврейскому Богу нужно, чтобы животные летали в небе? Мало им места на земле? Там, у этого моего дяди во дворе, были несчастные воробьи, утром они были такие замерзшие, совсем, как я. Такие маленькие серые шарики, и все перья у них торчали от холода. У них тоже были такие

маленькие черные ермолки сверху на голове, и тоже ни капли ума внутри. Недаром же говорят, что у дурака птичьи мозги, но если кто может летать, так зачем ему ум? Эти воробьи – мы думаем, что они такие серые, но когда муж-воробей кормит птенцов, мадам-воробей прямо на его глазах уже крутит с новым кавалером. Ты знал об этом, Зейде? Так я брал хлеб, кусок хлеба они мне давали, и держал во рту, вот так, и ложился с ним на землю во дворе, на спине – вот так, Зейде, я ложился, – и эти воробьи подходили и стояли у меня вот здесь, на лбу и на подбородке, и клевали хлеб прямо с моих губ. Дай мне руку, Зейде, помоги своему отцу подняться с пола.

А один раз соседский мальчик поймал в ловушку зяблика и сказал, что выколет ему глаза иголкой, чтобы зяблик не переставал петь. Ты знал об этом, Зейде? Ты знал, что певчая птица, когда ты выкалываешь ей глаза, она поет и поет, не переставая, пока умирает без капли сил? Тогда я украл у дяди копейку, чтобы выкупить эту птицу, и он меня поймал, мой дядя, и прямо срывал с меня куски, так он меня бил: «Шмендрик! Ты хочешь, чтобы мы все умерли с голода?!» Он мне кричал, и тогда я убежал на речку и два дня не приходил обратно. Для еды я ел растения, воду я пил с реки, сидел и делал себе бумажные кораблики и писал на них: *«Tame, tame, кум аэр ун нэм мир аэйм!»* Ты можешь это понять, Зейде? Из-за этого твоего имени я совсем забываю, что ты не знаешь идиш. «Папочка, папочка, приходи сюда и заberi меня домой!» – вот что я там писал. И пускал кораблик за корабликом по воде, пока дядя нашел меня, и потащил меня за руку обратно в свою мастерскую, и снова бил меня до смерти затрещинами: «Будешь знать, как писать про меня такие вещи!» – кричал он на меня. А сыновей своих он послал выловить мои кораблики, потому что он тоже знал, как далеко они могут заплыть. Что тебе сказать, Зейде? Ребенка можно побить и можно наказать, но его дух ты не сломаешь и мечту ты в нем не убьешь. Чтобы рассказать тебе всё, что со мной было у этого бандита, моего дяди, человек должен быть как сам Достоевский. Но одну вещь я тебе все-таки скажу, Зейде, чтобы ты знал: с птицами я не расстался. Я рос с ними. И у меня всегда была птица, чтобы пела для меня. Это только нужно для себя решить, и всё. Я просто решил, что каждая птица, которая летает в воздухе, это она для меня машет крыльями, и каждая птица, которая поет на дереве, она поет для меня. Дядины дети уже были гимназисты, а я был только помощник жестянщика, маленький мальчик с ожогами от горячего олова, а кожа на руках белая и серая, как у мертвеца, и с кашлем от карбида и угольной пыли, и через окно этот мальчик видел, как они шли в своих гимназических костюмчиках с пуговицами. Но птицы, Зейде, – они пели для этого мальчика. Через окно я видел их и говорил: «Как ты мог сделать такое, Господи, – птицу, которая поет и летает, и почему ты не сделал меня таким же? Вот он я перед тобой, Господи, вот он я, объясни мне?»

«Вот он я перед тобой, вот он я, объясни мне», – повторил Яков, как будто смакуя вкус этих слов вместе с яичницей, а потом произнес их снова, но

уже на идише, с трогающей сердце слезной интонацией и с теми же идишистскими ударениями на первых слогах, как произносила слова моя мама.

## 8

«И вот так я им всем завидовал, и вот так я хотел для себя. Ой, как я завидовал! Этим детям на их костюмчики, и птицам – на их крылья, и воде нашей Кодымы, что девушки окунают в ней свои руки, и даже той черной скале я завидовал, что ее касались их колени. И даже сегодня отнять у кого-нибудь я не отниму, и украсть не украду, но хотеть, Зейде, я хочу, и завидовать я завидую. Потому что хотеть что-нибудь и со всей силы что-нибудь желать, Зейде, – это такие две птицы, что их никто не может поймать и отрезать им крылья. На черной скале они стирали, и ветер заглядывал им под платья, а парни спускались, и стояли с ногами в воде, и пускали им бумажные лодочки со словами любви. Когда ты вырастешь и тоже станешь парнем, Зейде, ты поймешь: можно бегать за девушкой, можно посылать ей всякие маленькие подарки, можно петь ей ночью песни, как итальянцы с гитарой, можно послать ей бумажный кораблик по воде, а лучше всего, наверное, сделать это всё вместе, потому что ты никогда не знаешь, что она на самом деле любит. Вот, сын нашего мельника увидел как-то коляску на дороге, которая ехала вдоль той Кодымы. Он как раз стоял возле большого мельничного колеса, и два зеленых глаза посмотрели на него из той коляски таким взглядом, что даже ты, в твоём возрасте, Зейде, понял бы этот взгляд. И вот он сидел целый день и думал, что ему сказали эти глаза, пока под конец совсем не сошел с ума и начал бегать за каждой коляской и каждым фургоном, что проезжали по улице, и однажды побежал так за коляской, в которой сидела любовница казачьего офицера. Это была такая еврейка, которая ездила за своим офицером во все места, куда его отправляли вместе с эскадром. У нее был фургон с лошадьми, и в нем всякие люксы, которые нужны для любви, все это было у нее там, кровать с бархатной занавеской, и постель из шелка, который делает мужчину сильным на целую ночь. Может, ты еще не в том возрасте, когда можно уже слушать такие истории, а, Зейде? И всякие колбасы, и продукты, и бутылки у нее там тоже были, потому что любовь вызывает большой аппетит, и каждая вещь лежала на своем месте в своем ящике, потому что женщина, которая очень-очень любит, становится очень-очень аккуратной, точно наоборот мужчине, у которого с любовью тут же начинается балаган. И у нее были красивые брови, такие брови, что ради них понимающие мужчины могут даже убить. Женщине, чтобы удержать мужчину, ей не нужно, чтоб у нее было больше одного чего-то очень красивого. Мы, мужчины, должны стоять, как скотина на рынке, и показывать все, что у нас есть внутри и снаружи, но женщины – это другое дело. Можно любить всю женщину в течение всей жизни за что-то одно, даже очень маленькое, но очень красивое, что у нее есть. Только запомни, что женщины не знают об этом, и нельзя им это рас-

сказывать ни в коем случае. Я уже говорил тебе об этом раньше, да, Зейде? Уже говорил? Ну, все равно. Это нестрашно. Есть вещи, которые можно сказать и дважды. Первый раз ты говоришь, когда только подумал о чем-то, а второй раз ты говоришь, когда понял тоже. А ты, если ты думал, что еврейский Бог как-то старается за-ради нашей любви, так ты представь себе такую картину: идет эскадрон казаков, скачут кони, шум, пыль, топот, и за тем эскадроном фургон, и в нем еврейка со своим офицером в их шелковой постели. А этот глупый сын мельника, который из-за тех зеленых глаз бежал за каждой коляской и фургоном, бежит и за этим ее фургоном тоже, ну, и тот казачий офицер долго не думал, и, ты меня извини, Зейде, даже не вынув свой шванц из своей еврейки, он оперся – вот так, на одну руку, – а вторую руку с саблей высунул из окна фургона и, прямо не отрываясь от своего дела, одним ударом расколол ему голову, как арбуз, так что мозг выплеснулся на землю вместе со всей его любовью, и с его вопросами, и со всем, что там у него было. Потому что любовь, как я тебе уже сказал, Зейде, она в уме, в голове она, а не в сердце, как в твоём возрасте еще думают и ищут ее там. Ну, а теперь ешь, *майн кинд*, ешь, моя сирота. Жаль, что твоя мать не здесь и не может нас увидеть – отец и мальчик радуются и кушают вместе. Извини, если я, может быть, перебил тебе аппетит такой *майсой*\*. Эс, *майн кинд*, ешь!»

И я ел.

## 9

Моше Рабинович, тот из моих отцов, который дал мне свою фамилию и завещал свое хозяйство, родился в маленьком городе неподалеку от Одессы. Он был последним ребенком в семье, младшим из семи сыновей.

Его мать, потеряв надежду родить дочь, наряжала своего меньшенького, как девочку, отращивала ему длинные волосы, заплетала их в золотистую косу и вплетала в нее синие ленты, и Моше не противился этому.

Он рос в кухне, в окружении женщин и запахов, и годы, проведенные за шитьем и вязаньем, под разговоры служанок и кухарок и в играх с кружевными куклами, превратили его в крупную молчаливую девочку, которая чудесно вышивала гладью и знала, что ей суждено разочаровать свою мать.

И действительно, уже в одиннадцать лет эта Моше, засучив рукава своего кружевного платья, швыряла старшего брата на пол и дубасила его, когда он пытался дергать ее за косу и дразнил *мейделе*, то бишь девчонка. А когда этой *мейделе* исполнилось двенадцать, то есть к тому времени, когда у других девочек уже начинают подниматься груди, ее грудная клетка вырастила на себе одни только курчавые побеги. Светлый мужской пушок зазолотился на ее щеках, кадык выдался вперед, голос огрубел, а скрытая мужественность была уже всем очевидна.

---

\* *Майса* – «история» (*идиш*).

Вначале мать сильно обиделась на дочь за ее предательство, но однажды утром, увидев, как та уставилась на задницу служанки, наклонившейся над колодезем, поняла, что в этой обиде так же мало логики, как мало было смысла в ее прежних надеждах. В ночь перед *бат-мицвой* она прокралась к спящей дочери и отрезала великолепие ее косы. Она положила возле кровати мальчиковый костюм, а одному из возчиков велела научить Моше молиться стоя.

В ту ночь Моше увидел сон, который никогда не снится девочкам, а наутро проснулся раньше обычного из-за холода, который ощутил на затылке. Он потрогал там рукой, и неопровержимое прикосновение обрубка косы наполнило его ужасом. Оттуда рука его пространствовала ниже и пощупала между ногами, и запах, который приклеился к кончикам его пальцев, был таким чужим и пугающим, что он спрыгнул с кровати как был, голышом. И поскольку вместо снятого накануне вечером платья он обнаружил у постели лишь новехонькие брюки какого-то чужого мальчика, то прикрыл свое мужское естество двумя руками и с голым задом бросился к матери.

Но на входе в кухню была поставлена здоровенная служанка, которая угрожающе поигрывала черной сковородой, и голый мальчик был отброшен, метнулся снова, получил затрещину, упал, поднялся, и принял приговор, и отступил. И как это свойственно низкорослым и широкоплечим мужчинам, его плач со временем сменился рычанием, а тоска превратилась в силу. Украденную косу ему не вернули, новую он уже не вырастил, и на кухню своего детства больше не возвращался, разве лишь в снах.

На той же неделе в дом был приглашен учитель, чтобы научить Моше молитвам, чтению и всему прочему, чего, будучи девочкой, он не должен был знать. Большим знатоком священных книг он не стал, но спустя несколько лет, когда умер его отец, был уже достаточно опытным и знающим парнем, чтобы участвовать в семейных делах.

Только две особенности остались у него с девичьих дней: он не благословлял Господа за то, что Тот не сделал его женщиной\*, и не забыл золотистую косу своего детства. Иногда, незаметно для себя самого, он подымал руку к макушке и проводил ладонью по затылку, проверяя там с той же надеждой и желанием, с какими проверяет по сей день.

А порой он начинал в нетерпении искать утраченное, и тогда принимался лихорадочно обшаривать погреба и чердаки, кладовые с продуктами и сундуки с постельным бельем – совсем, как он это делает и сегодня.

Но украденную у него великолепную золотистую косу он так и не нашел.

Однажды, однако, Моше прибыл по делам в Одессу, на рынок, где торговали зерном. И там, возле одного из греческих ресторанов на портовой улице, он увидел еврейскую девушку, которая была так похожа на него своим видом и движениями, как будто вышла напрямик из давних надежд его матери.

---

\* «Благодарю тебя, Господи, что не сделал меня женщиной» – молитва, которую должен каждый день произносить правоверный еврей-мужчина.



Моше понял, что видит свое женское отражение, ту прославленную женскую половину, что заключена в теле каждого мужчины и о которой все мечтают и толкуют, но увидеть удастаиваются лишь немногие, а потрогать – еще меньшее число.

Целый день он ходил за ней следом, гладил в воображении заплетенное золото ее волос и вдыхал воздух, сквозь который прошло ее тело, а потом она заметила его, улыбнулась ему и села с ним на скамейку в общественном парке. Ее звали Тоня. Моше лушил для нее жареные тыквенные семечки, вытащил перочинный нож, чтобы нарезать ей астраханские яблоки, которые купил для них обоих, и разделил с ней кусок твердого сыра, который мать дала ему с собой в дорогу.

«Ты сестра мне, – сказал он ей с волнением, которое не вязалось с грубой тяжеловесностью его тела. – Ты моя сестра, которой у меня никогда не было».

Стояло лето. В жарком воздухе плыли ароматы рынка. В порту кричали чайки и пароходы. Тонино лицо сверкало от любви, солнца и радости.

Моше сказал, что хочет привезти её в подарок своей матери, и Тоня засмеялась и сказала, что приедет.

Неделю спустя Моше вернулся в Одессу с двумя старшими братьями и забрал Тоню, в сопровождении двух ее старших братьев, в материнский дом.

Когда мать увидела Тоню, у нее перехватило дыхание. Она назвала ее «доченькой», и шесть облачков тотчас омрачили лица шести ее предыдущих невесток, ни одна из которых не заслужила у нее такого обращения.

Вдова смеялась, потом плакала, а потом сказала, что теперь сможет, наконец, спокойно присоединиться к своему умершему супругу.

И действительно, через семь дней после свадьбы она попрощалась со своими сыновьями и невестками и умерла, как это было принято в семье Рабиновичей: на кровати, вынесенной во двор и поставленной там под липой. Свой капитал и свое имущество она разделила по чести и справедливости, между всеми сыновьями, драгоценности – между невестками, а Тоне завещала вдобавок запертую деревянную шкатулку, оклеенную мелкими морскими ракушками.

Моше, догадавшись, что находится в шкатулке, весь задрожал, но не осмелился произнести ни слова.

На тридцатый день после смерти свекрови Тоня ушла в угол и там, оставшись одна, открыла шкатулку. Прелесть этих прядей мужнина детства ослепила ее глаза и наполнила их слезами. Такими шелковистыми и переливчатыми были они, что Тоне на миг показалось, что коса эта сама собой движется и ползет по ее рукам.

Тоня испугалась и захлопнула шкатулку, но когда дыхание вернулось к ней, снова осторожно открыла.

«Спрячь от него эту косу, – гласила свернутая записка, плывшая на сияющих волнах золотистых волос, – и отдай ему только в случае крайней нужды».

Вместе с годом траура кончилась также Первая мировая война, и в гости к Рабиновичам приехал Менахем, самый старший брат Моше, со своей женой Батшевой. Менахем еще до войны уехал в Страну Израиля, долго работал там в поселениях Иудеи и Галилеи и, в конце концов, осел в Изреэльской долине.

Его рассказы и песни вызвали большое волнение, а огромные сладкие рожки кипрской породы, которые он привез в своем ранце, были такими мясистыми, что капали медом на пол и побудили Тоню и Моше последовать за братом.

Они приехали в Страну Израиля и купили себе дом и участок в поселении Кфар-Давид, неподалеку от деревни Менахема. Гигантский эвкалипт высился во дворе их дома, и Моше хотел было сразу его срубить. Но Тоня, в первой и единственной ссоре, возникшей между ними, прижалась всем телом к стволу, кричала и била по нему кулачками, пока не заставила мужнин топор вернуться на прежнее место.

В Кфар-Давиде тоже были поражены сходством между мужем и женой. Все говорили, что их как будто одна мать родила. Оба невысокие, круглолицые, с широкими затылками, сильные и прожорливые, как два медвежонка. Только по ранней лысине Моше да по Тониным грудям и можно было их различить.

Эта пара, добавляли соседи, никогда не уставала, даже от того, от чего обычно устают все другие, – ни от непрестанной работы, ни от ожидания, ни от совместной жизни. Моше, сразу же заслуживший в деревне прозвище Бык, по силе и трудолюбию мог один заменить трех мужчин, а Тоня разводила кур, вырастила, привив к апельсинам, душистые деревца помелы\*, которая в те дни еще не была так широко известна в Стране, и посадила во дворе два гранатовых дерева разных сортов – кисловатого и сладкого. Моше соорудил во дворе печь для выпечки хлеба, и она топила ее вместо дров кукурузными кочанами и корой, слущенной со ствола гигантского эвкалипта.

Под хорошее настроение соседи, бывало, называли их «моя Тонечка» и «мой Моше», потому что так Рабиновичи называли друг друга сами. Со временем у них родились сын и дочь – сначала мальчик Овед, а за ним девочка Номи, – и в тот дождливый день, зимой тысяча девятьсот тридцатого года, когда Моше и Тоня отправились на телеге в апельсиновую рощу, что за вади, Оведу было шесть лет, а Номи четыре, и они не могли знать, что еще до восхода солнца станут сиротами и мир перед их глазами померкнет.

## 10

Некоторые люди утверждают, будто цель всякого рассказа – упорядочить действительность. Придать ей не только порядок во времени, но так-

---

\* Помело – цитрусовый фрукт, типа грейпфрута.

же организовать согласно важности событий. Однако другие полагают, что всякий рассказ рождается на свет лишь для того, чтобы ответить на наши вопросы.

Учитель в школе как-то сказал нам, что история Адама и Евы в раю объясняет, почему мы ненавидим змей. Я тогда подумал: зачем выдумывать такую сложную историю и такие серьезные вещи, как сотворение мира, древо познания, человек, и бог, и змий, и все это только для того, чтобы объяснить такую маленькую и простую вещь, как ненависть к змеям?

Так или иначе, мой рассказ – не история райского сада, а нечто куда меньше и правдивей. И мое древо познания, что было когда-то таким большим, и шумным, и шелестящим, уже срублено, его не существует. Животные моего сада – это коровы, а его птицы – вороны и канарейки, и единственная змея, которая в нем появляется, – это та гадюка, которая укусила Симху Якоби во время большого деревенского пожара, и сейчас я намерен рассказать о ней. Укус той змеи тоже имел весьма дурные последствия, но в нем не было злонамеренности и козней ее райского предка.

«Тот пожар у Якоби был началом моей любви, – говорил мне Яков Шейнфельд, пересчитывая на пальцах главные события своей жизни. – Потому что для всего, Зейде, нужна точка, где все начинается, и у любви тоже есть такая начальная точка. К примеру, Зейде, когда ты вырастешь и устроишь свадьбу, и захочешь подарить своей невесте свадебное платье, ты сможешь пойти в магазин и купить там платье для нее, но ты можешь также сшить ей это платье собственными руками. Ты можешь посадить тутовое дерево и вырастить на нем шелковичных червей, и сам вытащить из них шелковые нити, и сам сплести материю, и сам покрасить ее, и сам скроить, и сам сшить. И тогда ты сам будешь решать, откуда все начинается. Ты понимаешь, Зейде?»

Я не понял. Но Яков увидел заинтересованную улыбку, которая расплзлась по моему лицу, наклонился ко мне и спросил снова: «Тебе вкусно?»

Я посмотрел на него. Глаза Якова улыбались, но уголки его губ испуганно дрожали в ожидании моего ответа.

Мал я был, сын трех живых отцов и одной умершей матери. Талмудический сын-молчун, живот которого был полон вкусных вещей, а в голове не было никаких ответов. Я смотрел на него, улыбался, но свою давнюю вину перед ним по-прежнему скрывал в шкатулке своего сердца.

## 11

Симха и Иона Якоби пришли в деревню и покинули ее много-много лет тому назад.

Симха приехал в страну из города Сан-Луиса, что в Америке. Там он был слесарь и холостяк, а здесь женился и стал разводить птицу. В жены он взял девушку из Галилеи по имени Иона. Кстати, выражение это – «де-

вушка из Галилеи» – произвело на меня в детстве сильное впечатление, и я по сей день ощущаю особое волнение, если на моем пути встречается девушка из Галилеи, будь то в рассказах или в жизни.

Вскоре выяснилось, что имена «Симха» и «Иона» путают деревенских, потому что оба этих имени могут принадлежать и мужчине, и женщине, и случалось, что его звали именем жены, а ее именем мужа, так что вполне возможно, что и я здесь ошибся, и это Симха была девушка из Галилеи, а Иона – слесарь из Сан-Луиса.

Когда эти ошибки стали повторяться, решено было называть их по фамилии, а для точности Симху называли Якоби, а Иону – Якуба. А может быть, и наоборот, не могу поручиться. Так или иначе, в тот большой пожар гадюка укусила именно Якоби, но настоящее свое дело, то, которое касалось Якова Шейнфельда, пожар и змея совершили через много лет после того, как первый был погашен, а вторая сбежала.

Большой птичник семейства Якоби был гордостью деревни и одной из достопримечательностей, которые показывали гостям. В те времена в большинстве еврейских дворов еще бегали пестрые арабские курицы, которые раз в три дня клали мелкие яички и день-деньской рылись в мусорных кучах. Но белые американские несушки Якоби и Якубы уже тогда сидели в роскошных деревянных клетках, откладывали яйца на деревянные наклонные сетки, с которых те скатывались в силу хитроумного уклона, и наслаждались жестяными поилками, искусно подвешенными кормушками и передвижными клетками для цыплят.

Однако беде, по ее обыкновению, было в высшей степени наплевать на все это, и она набросилась на свою добычу неожиданно. Однажды ночью из птичника Якоби послышалось испуганное кудахтанье. Якоби зажег керосиновую лампу и поспешил из дома. Вбежав в птичник, он наступил на гадюку, вспугнувшую кур, и та немедленно укусила его в пятку.

Был весенний сезон, когда гадюки переполнены ядом и злобой, накопленными за долгие зимние месяцы. Якоби упал навзничь, лампа выпала и разбилась, керосин вытек, и птичник вспыхнул. Перья и решетки воспламенились, кудахтанье и дым взметнулись к небу, а змея, по своему змеинному обыкновению, тут же незаметно исчезла.

«Сделала свое дело и ушла, – объяснил потом Яков. – А чего ей еще было там искать?!»

Соседи прибежали на помощь, но в возникшей суматохе никто не мог понять, что произошло. Вместо того чтобы спасти Якоби, все пытались сбить языки пламени и спасти несушек.

Только, когда все было кончено, Якуба нашла мужа, лежавшего между головешками и обгоревшими птичьими трупиками. Каким-то чудом огонь лизнул только его руку и бедро, но дым вошел ему в легкие, а змеиный яд чуть не убил.

Могучее здоровье, крепость и везенье спасли Якоби от смерти. Но вылечиться он уже не вылечился. Он потерял силу и живость, отказывался ра-

ботать и целый день напевал детскую песенку, монотонные звуки которой раздражали всю деревню.

Якуба, работающая и настойчивая, пыталась сама поддерживать хозяйство, но пырей и терновник завладели садом, двор превратился в мусорную свалку, все их четыре коровы перестали доиться и были одна за другой проданы Глоbermanу, а ужаленный Якоби боялся отойти от своей жены.

Змеиный яд продолжал бурлить в его сосудах. Он целыми днями ходил следом за женой, напевал ей свою глупую песенку и домогался ее внимания с докучливой и похотливой настойчивостью четырехлеток, ухаживающих за любимой воспитательницей.

Якуба промучилась два года, а потом заколотила дом и пошла себе через поля прочь из деревни, ни разу не оглянувшись назад. Якоби ковылял за ней, похныкивая свою песенку и время от времени пытаясь задрать ей платье. Так они дошли до главной дороги, пересекли ее и растворились среди деревьев на северных холмах. Больше их не видели в деревне никогда.

Многие месяцы дом Якоби стоял пустой, в ожидании новых хозяев, и никто не знал почему.

Кусты роз одичали и превратились в заросли стелющихся колючек. Их цветы измельчали и издавали дурной запах, а сорокопуты развесили по этим колючкам трупки ящериц и мышей.

Побеги страстоцвета расползлись по полу веранды, забили водостоки и под конец выбили окна и заполнили комнаты.

Пырей и дикая акация цвели во дворе, как во всяком заброшенном месте, и постепенно скрыли остатки сожженного птичника. Живая изгородь напоминала запутанную стену, в которой пыхтели ужи и куда коты волокли свою добычу.

Стаи маленьких убийц – ящерицы гекко и пауки, богомолы и хамелеоны – подстерегали добычу в одичавшем кустарнике. Листья кустов непрерывно шевелились и дрожала, и не раз, когда туда залетал случайный детский мяч и кто-то из детей протягивал руку, чтобы вытащить его, он тут же ощущал короткий укус или жжение острого жала, а порой и то, и другое сразу.

Кое-кто уже предлагал сжечь весь этот двор вместе со всеми его дикими насельниками, но в один летний день, в теплые сумерки, на дороге, ведущей к деревне, послышался и стал приближаться далекий и странный звук громкого птичьего пения.

Люди и животные остановились посреди работы, подняли усталые головы и наострили уши, удивленно прислушиваясь.

А меж тем звук этот, незнакомый, влекущий, необычный и сладостный, все приближался, усиливался и нарастал.

Затем к нему прибавился скрежет перетруженных пружин, постукивание поршней и старческое пыхтение мотора, уже потерявшего ту способность компрессии, которой он обладал в дни своей далекой юности. Из клубов пыли внезапно появился разбитый зеленый пикап, качающийся на

рессорах, точно какой-то большой корабль, медленно выплывающий из полей.

На водительском месте сидел толстый человек лет сорока, с белыми, как снег, волосами и с такой розовой и нежной кожей, какая бывает у новорожденных мышат, вывернутых из земли равнодушным плугом. Человек был закуполен в поношенный черный костюм и защищен черными, как смерть, солнечными очками. На рукавах костюма сверкали древние замшевые заплаты, а в кузове пикапа болтались большие деревянные клетки с канарейками. Птицы пели все разом, с огромным возбуждением, точно дети во время своей ежегодной загородной экскурсии.

Яков положил мне руку на плечо и сказал: «Судьба, Зейде, никогда не преподносит сюрпризы. Она себе делает приготовления, расставляет приметы и еще она высылает вперед своих шпионов. Но очень мало у кого есть глаза, чтобы увидеть все эти знаки, и уши, чтобы их услышать, и мозги, чтобы понять».

Странный незнакомец ехал прямо к покинутому дому, как человек, который заранее знает, куда направляется. Приблизившись вплотную к забору, он остановился, накрыл голову широкой соломенной шляпой и лишь после этого вышел из пикапа. И тут шевеление и дрожь, непрерывно пробегавшие по зарослям живого забора, внезапно прекратились.

Гость на миг сдвинул солнечные очки, обнаружив два розовых глаза истинного альбиноса, занавешенные бахромой пшеничных, часто моргающих ресниц, и тут же вернул очки на их место. Низенький человечек с двойным подбородком и располагающей улыбкой, но, тем не менее, вызывающий какой-то непонятный страх.

Альбинос вытащил из кузова клетку, потом еще одну и исчез со своими птицами внутри дома. И не умолк еще звук закрываемой двери, как испуганные колонны сороконожек, тарантулов и маленьких, рассерженно шипящих гадюк словно по команде потянулись со двора, исчезая в полях.

«Потому что животные, – сказал Яков, – чувствуют лучше, чем люди. Я тебе как-нибудь расскажу про корову твоей мамы, и как она чувствовала наперед».

Только после захода солнца альбинос появился снова. Он оглядел двор, словно оценивая предстоящую ему работу, тотчас вытащил из кузова косу, достал напильник, лежавший в коробке с инструментами, и с неожиданной умелой ловкостью наточил кривое лезвие. Широкими округлыми движениями, наличие которых его внешность не позволяла даже заподозрить, он быстро скосил всю растительность, заполнявшую двор, и собрал ее на краю участка. Потом достал из кармана рубашки жестяную коробку с сигаретами «Плейерс», закурил, с явным удовольствием затянулся, а спичку, не загасив, швырнул на кучу травы. Солома, растения и терн полыхнули, по своему обыкновению, с восторженным шумом, отбрасывая на лица собравшихся зевак багровые отсветы.

Затем все разошлись, а альбинос продолжал работать всю ту ночь и еще

несколько следующих. Он подравнял забор, с корнем вырвал побеги страстоцвета, обрезал розы Якубы, привил на обрубки ростки новых сортов, перерыл вилами землю во дворе и всякий раз, когда розовела заря, тут же спешил исчезнуть в укрытии своего дома. Вороны, которым любое рыхление и перекапывание земли сулят обильную добычу, торопливо слетались в его двор, чтобы рыться там в поисках дождевых червей и медведок, вывороченных на поверхность зубьями вил.

«И вот так, – сказал Яков, – вот так все началось. Никто не знал. Даже Ривка, моя жена, даже она не знала. И Бык-Рабинович не знал тоже. И Сойхер-Глоberman. А я – я-то уж точно не знал. Только потом я понял, с чего это всё началось».

Он встал из-за стола, подошел к окну и проговорил, стоя спиной ко мне:

«Змея укусила, и птичник сгорел, и альбинос приехал, и Тоня Рабинович утонула. И твоя мать Юдит приехала, и Ривка ушла. И канарейки улетели, и Зейде родился. И пришел работник, и Юдит умерла, и Яков остался. Ну, скажи, что может быть проще этого? Потому что так оно всегда и выходит, в конце всякой любви. Начинается всегда по-разному, и продолжение всегда очень запутанное, но конец – конец всегда такой простой. И такой одинаковый. В конце всегда получается, что кто-то пришел, и кто-то ушел, и кто-то умер, и кто-то остался».

## 12

Черные тучи сгущались, ветер свистел, вода прибывала, а Моше и Тоня ничего не замечали и ничего не опасались.

Дождь колотил своими ледяными пальцами по крышам и жутко выли в жестяных водостоках. Под навесами прижимались друг к другу животные. Воробьи, встопорщив перья, втиснулись в щели, в ужасе зажмурив круглые глазки. Пара ворон, этих странных существ, в сердце которых нет никакого страха, но одно лишь любопытство, всё упражнялись в лёте, то взмывая, то снижаясь под ударами ветра и уколами дождя.

Тоня и ее Моше, чуть поспав после обеда, поднялись около трёх пополудни, съели, как обычно, несколько толстых ломтей хлеба с маргарином и повидлом, заели их апельсинами, выпили, как обычно, несколько чашек кипящего чая, а когда дождь чуть притих, запрягли мула в телегу и отправились в свой фруктовый сад привезти грейпфруты и помелы.

Резкий холодный ветер, рвущийся с горы Кармель, больно хлестал их лица, точно тугое мокрое полотнище. Копыта мула то утопали в глубокой грязи, то с чвакающим звуком выбирались оттуда, оставляя за собой мутные ямки. В полях уже проглядывала редкая сеть новых мелких каналчиков, которые вода, в своем бесконечном влечении книзу, каждый год заново прорывает в земле.

Тоня и Моше проехали через зеленые насаждения и виноградник, пересекли вади и добрались, наконец, до своего сада. Они быстро нагрузили тя-

желые ящики, а когда двинулись в обратный путь, Тоня взяла поводья, а Моше зашагал сзади, подталкивая телегу и помогая мулу вытаскивать ее из черной топкой жижи. Тоня то и дело поворачивала голову, чтобы посмотреть на мужа. Пар поднимался от его лица, побагровевшего от усилий.

Она любила его силу и гордилась ею. «А ну, подожди минутку, я сейчас кликну моего Моше», – говаривала она, когда кто-нибудь из соседей не мог управиться со слишком тяжелым мешком или непослушным животным. Неподалеку от их дома, рядом с калиткой, лежал здоровенный валун весом около восьми пудов, и Тоня поставила на нем шуточный указатель со словами: «Тут живет Моше Рабинович, который поднял меня с земли». Деревенские остряки говорили, что такой указатель следовало поставить на ней самой, но как бы то ни было слух об этом валуне постепенно разошелся по округе, и время от времени около дома Рабиновичей появлялся какой-нибудь очередной силач из другого поселения или из расположенных поблизости английских военных лагерей, а то даже из друзских деревень, что на Кармеле, и пробовал поднять эту тяжеленную глыбу. Но только Моше был достаточно силен для этого, и только он знал, как нужно присесть и обнять валун с закрытыми глазами, и только ему было известно, как нужно ухнуть, поднимаясь, и нести его, словно младенца, прижимая к груди. Все прочие возвращались по домам, удрученные и прихрамывая. Удручены они были своей неудачей, а хромили потому, что все без исключения гневно пинали потом строптивый камень и при этом неизменно ломали большой палец правой ноги.

Дождь снова усилился. Когда они добрались до вади, Моше увидел, что вода заметно поднялась. Он прыгнул на телегу, забрал у Тони вожжи и стал направлять мула так, чтобы тот пересек русло под прямым углом. Но под конец, уже выбравшись было на крутой противоположный берег, мул вдруг поскользнулся, застонал неожиданным женским голосом и упал на колени.

С этой минуты события пошли по накатанному пути всякой беды. Мул упал меж оглобель. Телега наклонилась набок и стала переворачиваться – медленно, но неостановимо. Рабинович упал под нее, и его левое бедро было зажато и раздавлено.

Он закричал от боли. Сломанная бедренная кость прорвала мясо и кожу и открылась холодному прикосновению воды. Он едва не потерял сознание, но ужас, родом из тех, что леденят душу раньше, чем разум понимает их причину, заставил его бросить взгляд на Тонию.

Она была почти целиком накрыта перевернувшейся телегой. Только голова и шея выступали из воды. Ее затылок утонул в жиже, волосы сбились грязными прядями, лицо, всегда плававшее румянцем и здоровьем, разом сделалось землисто-серым.

Грейпфруты и помелы плавали в воде, совсем рядом с ее лицом, точно невинные резиновые игрушки в детской ванночке.



«Вытащи меня», – прошептала она.

Голос ее стал хриплым от страха. Светлый и тонкий язычок крови вытекал из угла ее рта. Только глаза поворачивались и следили за Моше.

Раздробленная нога приковывала его к месту. Он сунул руки под телегу, прикидывая ее вес.

«Вытащи меня, мой Моше...»

Ее голос прервался, словно хотел превратиться в крик, но не сумел.

«Слушай меня. Тонечка, – сказал Моше, – я сейчас чуть приподыму телегу, а ты попробуй выползти наружу».

Ее голова шевельнулась и кивнула, и глаза прикрылись, выражая понимание и согласие.

«Давай!» – крикнул Моше.

Его лицо потемнело от усилия. Тяжелые жилы взбухли на толстых руках. Телега заскрежетала и слегка приподнялась, и Тоня рванулась, изогнувшись, но тут же сдалась.

«Я не могу, – простонала она. – Не могу».

Боль пронзила застрявшую в ловушке ногу Моше, и телега снова опустилась.

Некоторые говорят, будто в такие мгновения время останавливается. Другие утверждают, будто оно, напротив, начинает нестись с удвоенной скоростью. А есть и такие, что твердят, будто оно рассыпается на тысячи крохотных осколков, которым никогда уже не суждено собраться снова. Но в тот дождливый день, с момента падения перевернувшейся телеги, время не обращало внимания на все эти банальные домыслы – оно не замедлилось и не ускорилося, оно просто продолжало стремиться своим чередом, громадное и равнодушное, проносясь над миром на своих прозрачных крыльях, как несло вечно со дня сотворенья.

Тончайшие градины, примешавшись к дождю, покрыли поверхность воды оспинами маленьких пузырьков, зимнее небо потемнело, а тем временем стоны мула и запах страха, испарявшийся от его тела, уже привлекли нескольких шакалов, которые упорно выжидали на берегу, не обращая внимания на крики Моше и увертываясь от комьев грязи, которые он швырял в их сторону.

Один из них прыгнул и вонзил зубы меж задних ног мула, и Моше сломал ему хребет ударом шеста, который ему удалось вырвать из борта телеги. Другие испуганно отпрянули, но тут же поняли, что человек не может подняться, и как существа умные и к тому же понукаемые голодом, который обострял их сообразительность и вселял храбрость в сердца, зашли к мулу со стороны головы, куда не доставал слишком короткий шест Моше, и набросившись сразу всей стаей, принялись рвать куски еще живого мяса из его мягкого носа и губ.

«Помелы плавают», – неожиданно сказала Тоня.

«Что?» – испугался Моше.

«Грейпфруты тонут, – объяснила Тоня, – а помелы плавают».

«Вот-вот придут наши из деревни, чтобы нас вытащить. Ты держи голову над водой, Тонечка, и не говори много».

Дождь пошел сильнее, уровень потока поднимался, грейпфруты из-под воды желтели, как маленькие выцветшие луны. Тоне уже трудно было удерживать голову на весу. Она лежала по другую сторону телеги, и когда Моше попытался поддержать ее затылок своим шестом, он не сумел дотянуться.

Испарина страха покрыла его лысину. Он видел, как поднимается вода и как дрожат напрягшиеся мышцы по сторонам Тониной шеи, и понял, что сейчас произойдет.

Голова Тони вдруг упала, погрузилась в воду, но тут же снова поднялась, как будто вытолкнутая страхом смерти.

«Моше... – послышался тоненький девичий голосок. – Мой Моше... *Дерцап...* Твоя коса в шкатулке...»

«Где? – крикнул Моше. – Где она?»

Вода всё прибывала, и голова исчезла снова, и снова поднялась, и голос вернулся, и на этот раз он был голосом Тони:

«Конец мне пришел, Моше», – медленно выговорила она.

Рабинович отвел взгляд, сжал челюсти и ресницы и не разжимал их, пока последние пузырьки воздуха еще вырывались из ее залитого водой рта. Потом погрузилось в воду и солнце, и тоже исчезло, только выцветшая сереющая желтизна еще пробивалась сквозь тучи, и лишь когда исчезла и она, и сумеречная тьма с дождем уже стерли последние воспоминания о страшных звуках ее смерти, Моше решился снова глянуть во мрак того места, где исчезла голова его жены. Страшный кашель сотряс его тело. Слезы скорби и поражения застилали ему глаза. Юркие ящерицы тоски, неуловимей любого чувства, уже копошились в нем, прорывая себе ходы в его теле.

В ярости он снова схватился за край телеги и стал с ревом трясти ее: «Выйди сейчас же, выйди сейчас же, Тоня!» – выл он, пугая удивленных шакалов и умирающего мула.

Телега вырвалась из его рук и упала прямо на сломанную ногу. Моше потерял сознание от боли, пришел в себя и снова потерял сознание. Через несколько часов, когда его разбудили собственные стоны, он словно во сне увидел свет приближающихся фонарей и услышал зовущие голоса и лай ищущих собак. Но к тому времени ночь, и тоска, и холод, и боль измучили его настолько, что он уже не в силах был их позвать. Только предсмертный хрип мула указал им дорогу.

## 13

Года два прошло с той ночи до того дня, когда моя мать поселилась в коровнике Моше Рабиновича, чтобы работать на него, заботиться о его сиротах и доить его коров.

О предыдущих годах ее жизни, где она была и что делала, мне известны лишь немногие детали.

«А нафка мина!» – перебивала она, как только я спрашивал об этом. «Не все ли равно!» И ее тут же охватывало раздражение: «А теперь переседь-ка поскорей на правую сторону, Зейде, слышишь?» – потому что я снова забывал и садился с ее глухой стороны.

Став немного старше, я спросил об этом у трех моих отцов, и они дали мне три разных ответа. Моше Рабинович сказал, что какое-то время она работала в винном погребе в Ришон ле-Ционе\*. «И это там она привыкла прикладываться к бутылке», – улыбнулся он.

Сойхер-Глоберман, у которого были свои глаза и уши по всей Стране, рассказал, что родители мамы «решили остаться в галуте, когда услышали, какие штуки их дочь вытворяет в Стране, потому что не хотели больше ее видеть».

А когда я стал упрашивать его рассказать еще, он сказал, что мужчинам не пристало ковыряться в жизни своих матерей.

«Что там происходило между ног нашей госпожи Юдит до того, как ты, Зейде, появился оттуда, тебя не касается, и знать это тебе не нужно, точка», – объявил он со своей обычной грубостью, к которой мне все еще трудно было привыкнуть, но которая меня уже не обижала.

А канареечник Яков Шейнфельд, поклонник и жертва моей матери, подавая мне одно за другим ароматные блюда, сказал просто: «Юдит нашего Рабиновича спустилась ко мне с неба и вернулась от меня туда».

Так он сказал и сделал руками широкий жест, словно чертил круги над столом, и белый шрам на его лбу внезапно побагровел, как это случается всегда, когда Шейнфельд бледнеет.

«Ты еще мал, *майн кинд*, но ты вырастешь, и выучишься, и поймешь, что у любви есть свои правила. И лучше, если ты выучишь эти правила у своего отца, тогда тебе не придется потом самому страдать из-за любви. А зачем еще мальчику отец? Чтобы он учился на папиных неприятностях, а не на своих собственных. Почему все мы, дети Израиля, – сыновья праотца нашего Якова? Чтобы мы все учились от его любви. Люди еще наговорят тебе много слов про любовь. Первым делом они скажут тебе, что это происходит только между двумя людьми и больше никого не касается. Нет, Зейде, это для хорошей ненависти нужны двое, а для любви достаточно даже одного человека. И даже одной мелочи достаточно для любви, как я тебе уже говорил раньше. И когда-нибудь, когда ты влюбишься в женщину из-за такой мелочи, скажем, из-за ее глаз, придет к тебе какой-нибудь человек и скажет тебе так: "Ты влюбился в нее из-за глаз, но ведь жить тебе придется со всей женщиной". Нет, Зейде, если ты влюбился в глаза, то и жить ты будешь с глазами, а вся остальная женщина будет для тебя, как шкаф для платья».

Он опустил глаза, заметив мой недоуменный взгляд. Его рука перестала барабанить по столу, но рот продолжал говорить: «Эти вещи даже Бог не

---

\* *Ришон ле-Цион* (букв. «первый – Сиону») – город в Израиле на приморской равнине, вблизи от Тель-Авива, основан как поселение в 1882 г. группой переселенцев из России.

понимает. Еврейский Бог, он очень хорошо понимает одиночество, но любовь он не понимает совсем. Наш Господь единый, он такой единый, что Он совсем один на небе, без детей, без друзей, без врагов, но хуже всего – без женщины, так Он там просто сходит с ума от такого одиночества, и поэтому он нас тоже сводит с ума и называет Израиль блудницей и девственницей, и невестой, и всякими другими словами, которыми глупый мужчина называет женщину. А женщина, она совсем не это, она всего-навсего обыкновенная плоть и кровь. Как жаль, что я только сейчас это понял. Может быть, если бы я понимал это уже тогда, если бы я понимал, что любовь это дело ума, а не сердца, что это дело не мечты и безумия, а правил и законов, я бы больше преуспел в своей жизни. Но ведь понять, Зейде, – это одно, а преуспеть – это совсем другое. Чтобы один мужчина сумел заполучить ту единственную женщину, которую он действительно хочет, для этого кто-то должен управлять всем миром, и все части мира должны для этого сдвинуться и сложиться, как нужно. Потому что ничто не случается само по себе. Иногда человек тонет в вади здесь, в Стране Израиля, чтобы в Америке кто-то другой выиграл деньги в карты, а иногда дождевое облако идет всю дорогу от Европы до нас, чтобы здесь мужчина и женщина были вместе в грозовую ночь, и если кто-нибудь кончает с собой, это значит, что кому-то другому очень-очень нужно, чтобы он умер, а когда ворона каркает, кто-то слышит этот ее крик. И когда я увидел Юдит, как она едет себе в коляске, и эта коляска плыла так медленно-медленно с той вот стороны, а солнце светило вот с этой, и я посмотрел на нее, и сразу понял: это та женщина, которую мои глаза могут поднять с земли, они могут ее поднять и принести ко мне. В стране Индии есть такие люди, они могут сдвинуть чашку на столе, просто посмотрев на нее глазами, одним только взглядом. Ты знал об этом, Зейде? Я читал об этом в детской газете у нашего Деревенского Папиша. Этот Папиш, он сохранил у себя все старые газеты. Там, в этой Индии, есть такие люди, факиры, они совсем не чувствуют боль, они могут остановить свое дыхание и сердце, и могут глазами подвинуть чашку на столе куда захотят, направо или налево. Чтобы я так был здоров, Зейде, – одними глазами! Направо и налево. Налево и направо. Вот так они ее двигают. А сдвинуть чашку, чтобы ты знал, Зейде... чашку намного труднее сдвинуть, чем женщину».

## 14

Менахем Рабинович, тот самый, рассказы и рожки которого сладостью своей увлекли Моше и Тоню в Страну Израиля, случайно познакомился с Юдит и посоветовал брату пригласить ее к себе, чтобы помогать по хозяйству и вести дом.

Лишь много позже, когда я подросток, дядя Менахем назвал мне то имя, что было запрещено упоминать у нас и вслух, и на письме, – имя первого мужа моей матери. Назвал имя и рассказал всю историю.

«Они жили то ли в Млабесе\*, то ли в Ришоне, я не уверен...»

Первый муж моей матери был рядовым в Еврейском легионе\*\*, и, когда Первая мировая война закончилась, он вернулся в Страну, но устроиться там ему не удалось. Каждый день он выходил на главную улицу поселка в поисках работы, но поскольку человек он был заносчивый, то не унижался до просьб, а вперял в хозяев эдакий солдатский взгляд, который усвоил на войне, не понимая, что в мирное время такой взгляд является, скорее, помехой.

«Люди ведут себя, как они привыкли, даже если это не идет им на пользу, — объяснял мне дядя Менахем. — Улыбаются, когда надо бы всплакнуть, выхватывают револьвер, когда надо просто дать в морду, и ревнуют возлюбленных вместо того, чтобы их рассмешить».

Долгими часами лежал тот человек в кровати и молчал. Они снимали комнату, в которой хозяева раньше держали мускусных уток. От утиных перьев, давно рассыпавшихся в пыль, у него были постоянно красные глаза. Неистребимая вонь птичьего помета обжигала лицо, как обида, которую невозможно забыть.

Юдит предложила ему выращивать овощи на продажу, и он поднялся и засеял за домом несколько грядок. Но и среди растений он не нашел себе покоя. Там во дворе росло большое дерево, и после обеда вороны собирались среди его ветвей на свои шумные толковища. Они кричали дурными голосами и носились над верхушкой, как дурные вести. Их мрачное карканье и черные крылья лишали его надежды, и он торопился вернуться домой. Иногда, собравшись с силами, он вставал, шел на берег Яркона\*\*\* и подолгу сидел там, обняв колени и закрыв глаза, как будто искал утешения в глубинах своего тела.

Если бы не Юдит, которая продолжала ухаживать за грядками, и выращивала во дворе нескольких кур, и варила варенье из паданок с хозяйского лимонного дерева, и на удивление умело латала и обновляла все их поношенные вещи, они оба вместе с маленькой дочерью давно умерли бы от непосильного голода и гордыни.

В конце концов, тот человек сказал, что хочет поехать в Америку, поработать там год «в штате Делавэр, в литейном цеху в Вилмингтоне, на металлообрабатывающем заводе», принадлежащем отцу одного парня, с которым он вместе воевал в Еврейском легионе, — сказал он. — «Один год, Юдит, самое большее — два».

---

\* Млабес — деревня, бывшая арабская, на берегу речки Яркон, вблизи Петах-Тиквы.

\*\* Еврейский легион — воинское подразделение британской армии во время Первой мировой войны, состоявшее из еврейских добровольцев. Был создан для участия в военных действиях за освобождение Страны Израйля от турецкого владычества.

\*\*\* Яркон — одна из рек Израйля, вторая по величине после Иордана. Берет начало в 13 км от побережья Средиземного моря и, пройдя 24 км по приморской равнине, впадает в море в районе Тель-Авива.

Она сидела в эту минуту у стола, перебирая чечевицу для супа, и тотчас повернула к нему свое глухое ухо. Но он схватил ее за плечи и крикнул, и ей пришлось услышать.

«В Америке тоже нет работы, – рассердилась и испугалась она. – И люди там еще будут бросаться с крыш».

Две кучки лежали перед ней, большая оранжевая кучка уже очищенной чечевицы, и маленькая серая кучка выловленных камешков и комочков земли, обрывков кожуры и высохших червяков. Меж ее коленями стояла двухлетняя дочь, наблюдая за быстрыми пальцами матери.

«Не уезжай! – взмолилась Юдит. – Не уезжай! Мы справимся. Все будет хорошо».

Ее рука нашла узел на голубой косынке и затянула его. Пророческий страх звучал в ее голосе. Но тот человек, имя которого мне запрещено упоминать, остался глух к ее страхам. Предстоящее путешествие уже бурлило в его теле и закупоривало кожу.

Вот он – вырисовывается на внутренней стороне моих век: низкорослый, с неясным, стертым лицом, складывает свои жалкие пожитки в маленький деревянный чемоданчик, собирает себе в дорогу убогий провиант нищих путешественников: твердый сыр, пару апельсинов, хлеб и маслины, – прощается с женой и дочерью и отправляется в Яффо. А вот мама – стоит, прислонившись к двери. Вот девочка – опирается на ее ногу, моя полусестра, такая же безликая, как ее отец.

В Яффо он купил дешевый палубный билет и отплыл в Англию на небольшом судне, трюм которого был забит ящиками апельсинов сорта «шамути» и сладких лимонов.

Серым был тот день, но запах солнца, скопившийся в апельсинах, поднимался из трюма и сопровождал пассажиров, усиливая их тоску и раскаяние.

Из Ливерпуля тот человек направился в Нью-Йорк. Одолевая страх и толчею, он добрался пешком от причалов Гудзона до Центральной автобусной станции и, поскольку в чужой стране гордыня быстро сходит на нет, долго бродил там по гигантским лабиринтам, и, не зная, куда податься, громко и жалобно выкрикивал: «Вилмингтон! Вилмингтон!» – пока какие-то добрые люди не показали ему дорогу к билетным кассам и к платформе.

Какую-то часть пути его поезд проделал в чреве земли, а потом, выскочив на свет божий, прогрохотал над большой рекой и пересек полосу заросших камышами болот, подобных которым он не предполагал увидеть в Америке. Человек сидел у окна, считал столбы электропередачи, как будто клал крошку за крошкой, чтобы потом найти дорогу обратно, и бормотал про себя названия проносащихся станций: Нью-Арк... Нью-Брунсуик... Трентон... Филадельфия... – и через три часа, когда кондуктор закричал: «Вилмингтон!» – поднялся и поспешно вышел.

Он брел от трубы к трубе, но литейный цех своего приятеля так и не нашел. Однако он походил, поспрашивал и, в конце концов, нашел улицу Колумба, на которой тот, по его рассказам, жил, и отыскал дом, номер которого помнил.

Красивый это был дом, весь окруженный душистой стеной подстриженных кустов, и, хотя жил в нем какой-то голландский купец, торговавший одеждой, дом этот выглядел именно так, как должен выглядеть особняк владельца металлообрабатывающего завода. Тот человек поднял руку и постучал в дверь.

Судьбе было угодно, чтобы именно в этот день голландский торговец заработал большие деньги. Он был в таком приподнятом настроении, что при виде незнакомого гостя ощутил неожиданный приступ великодушия, пригласил его войти и накормил великолепным обедом из рыбы с картошкой, сваренных на пару и приправленных маслом и мускатным орехом.

Я не раз думал, как странно, что дядя Менахем, и Оded Рабинович, и Яков Шейнфельд знают все эти мелкие детали, которым они не были свидетелями. Неужто Оded в детстве так ненавидел мою мать, что с такой точностью придумал весь ее мир? Неужто Яков так часто прокручивал историю ее жизни в своем воображении, что, в конце концов, пересоздал ее заново? И что, дядю Менахему переполняло такое огромное чувство раскаяния после ее смерти? А если бы та картошка была сдобрена не маслом и мускатом, а сметаной, грубой солью и нарезанным укропом – это изменило бы мамину жизнь? А я – я бы родился?

Так или иначе, голландский торговец и муж моей матери выпили водки, настоящей на лавровом листе, и, покончив с едой, раскурили тонкие сигареты и сыграли в шашки. Хозяин объяснил гостю, что этот дом построил его прадед, и в нем родились его дед, и отец, и он сам – вот здесь, мой друг, в этой самой кровати, – и что в каждом американском городе есть своя улица Колумба, и что евреи – это тебе тоже полезно знать, многоуважаемый господин из Палестины, – не так уж склонны заниматься литейным производством. Короче говоря, со всей любезностью и вежливостью намекнул, что его приятель из Еврейского легиона попросту фантазер и обманщик.

И действительно, этот его товарищ по оружию был не более чем жалким выдумщиком и хвастуном, и отец его торговал в Чикаго галантереей с лотка и никогда в глаза не видел Вилмингтона, разве что на географической карте. Подобно большинству мелких обманщиков, этот приятель быстро забыл, что наболтал тому человеку, и по прошествии некоторого времени, как издевательски рассказывал дядя Менахем, сам приехал искать счастья в Страну Израиля, где представился как «адъютант Зеэва Жаботинского во времена кровавых сражений на берегах Иордана»\*, снял себе комнату в Тель-Авиве и зарабатывал тем, что посылал оттуда в американские еврейские ревизионистские газетки\*\* корреспонденции типа «Писем пионера-поселенца из Галилеи».

Как бы то ни было, размягченный выпивкой голландский торговец дал

---

\* То же, что хлестаковское: «Ну, как, брат Пушкин?»

\*\* Имеются в виду еврейские газеты, которые выпускали в Америке и Европе сторонники Жаботинского, которых ортодоксальные сионисты называли ревизионистами.

гостю несколько своих ношенных костюмов и буханку хлеба «из семи злаков», тяжелую и ароматную, как тело младенца, а также вручил ему несколько адресов и рекомендательных писем, и, в конце концов, после еще нескольких дней утомительных поисков и унижительных разговоров, первый муж моей матери устроился охранником в универмаге, где продавали дешевые товары.

Там он быстро поднялся по служебной лестнице – от охранника до рассыльного, от рассыльного до продавца – и спустя короткое время стал начальником всех продавцов в своей секции. Тогда он купил себе коричнево-белые туфли, завел дружбу с хозяевами винных лавочек и начал курить тонкие сигареты. Так случилось, что один год в Америке, который обещал быть не более чем двумя годами литья стали, растянулся на три года курения и стояния за прилавком.

Несмотря на все это, он не забыл свою жену Юдит. Раз в месяц он посылал ей письмо и немного денег и держался этого правила даже тогда, когда она перестала ему отвечать. О двух женщинах, с которыми он спал за эти годы в Вилмингтоне, он ей не писал, потому что хорошо изучил свою жену и знал, что она наделена трезвым умом и немалой проницательностью. Но от тех двух женщин он не скрывал ничего и все время повторял им, что у него жена и дочь в Стране Израйля и что он собирается к ним вернуться.

## 15

Шлаф, майн мейделе, майн клейне,  
Шлаф, майн кинд, ун эр зих цу  
От дос фейгеле дос клейне  
Из кейн андере ви ду\*.

Эту песенку мама напевала у кровати Номи.

Одед кипел от злости. Номи жмурилась от удовольствия. Моше молчал. Я еще не родился.

Раньше, – так я себе представляю, – она напевала эту песенку своей собственной дочери. Потом – себе. А потом эти слова ждали в ней, пока не нашли себе новую девочку.

«Это значит, Зейде, что у тебя где-то в Америке есть вроде полусестры», – сказал мне Одед через несколько лет после смерти мамы.

Мы сидели в кабине деревенского молоковоза, совершавшего один из тех ночных рейсов, к которым я иногда присоединялся.

«Хорошо бы и у меня была такая...» – добавил он.

---

\* «Спи, дочурка, спи, малышка,  
Слушай маму, засыпая,  
Птичка, крошка, щебетунья,  
Ты одна у нас такая» (*идиш*).



Одед мечтает об Америке и об американских машинах, американских дорогах и американских женщинах, и у него дома целую стенку занимают карты дорог всех американских штатов, которые он вырезал из атласа Мак-Налли и покрыл пластиковой пленкой. Он может часами стоять перед этими картами, заучивая маршруты, и втыкать булавки и флажки, планируя свое воображаемое тяжеловесное и многоколесное путешествие.

«Видишь вот эту дорогу, Зейде? Хайвей номер десять, в Америке их называют "интерстейт", дорога между штатами. Глянь на этот участок – Лос-Анджелес, Сан-Бернардино и дальше, до Финикса в штате Аризона, видишь? Тут у них самая большая в мире заправка для грузовиков, со всем необходимым – и бензин, и масло, и пиво, и еда. Как у нас говорят – можно и машину заправить, и человека. Через нее проходят пятьсот семитрейлеров в сутки!»

«Чего ж ты не едешь в эту свою Америку?» – спросил я его.

«Еще чего?! – сказал Одед. – Только за мечтами мне не хватает гоняться!»

«Что-то она у меня все время тянет вправо», – пожаловался он, остановил машину и вышел проверить колеса. Мы обошли цистерну. Одед простучал все шины большим деревянным молотком, прислушиваясь к ответному звуку. Возле одного колеса он задержался, поплевал на палец, мазнул слюной по отверстию вентиля и внимательно проверил пузырьки.

«Пропускает немного... – сказал он. – Кому это нужно – гоняться за мечтами?.. Ты что, думаешь, я не знаю, что в Америке совсем не на сто процентов все так прекрасно, как я воображаю? Каждый парнишка мечтает вырасти и стать шофером, и даже многие взрослые тоже. Но только такой идиот, как я, на самом деле им стал. Напомни мне через час остановиться и еще раз глянуть на этот вентиль, ладно?»

Два года было той девочке, когда уехал ее отец, а когда он вернулся, ей уже исполнилось пять. Это была красивая девочка с упрямым характером и взглядом. Она держала в руках тряпичную куклу и не узнала маленького, расфуфыренного мужчину, который вошел, широко улыбаясь, в старый утиный дом и, помахав пачкой кредиток, воскликнул: «Я приехал забрать вас в Америку!»

Если б не выросшая девочка, можно было бы подумать, что со времени его ухода прошло не больше получаса, потому что, когда он вошел, мать сидела на том же стуле и так же перебирала чечевицу, которая, как это свойственно всем чечевицам, была очень похожа на ту, которую она перебирала в день его отъезда. Та же глубокая морщинка тянулась меж ее бровей, и тот же оскорбительный смрад птичника висел в застоявшемся воздухе, и маленькие кучки – одна серая и одна оранжевая – так же лежали перед ней на столе, точно засорившиеся и вставшие песочные часы.

Он хотел было подойти к ней, но Юдит поднялась и с какой-то странной тяжеловесностью, удивившей ее мужа, поставила девочку перед собой, то ли защищаясь, то ли заслоняясь маленьким тельцем. Ее пальцы гла-

дили спину девочки протяжными, испуганными движениями, и тот человек сразу увидел выпуклую округлость ее большого живота.

«Ты беременна!» – радостно воскликнул он, но эти слова и насмешливое сознание, что его три года не было дома, неожиданно ошеломили его самого, и он понял, что означали вопли о помощи в ее первых письмах, и прохладность в последующих, и отсутствие последних, и опущенные глаза квартирохозяина, встретившегося ему на входе, и уродливая, вперевалочку, поступь ворона, что издевательски каркнул ему навстречу, упав с дерева, точно черная тряпка.

Его колени подогнулись, но он тут же выпрямился, торопливо сунул деньги обратно в карман, схватил за руку свою дочь и сказал ей: «Идем, папа заберет тебя в Америку!»

«Я хочу взять мою куклу!» – сказала девочка так тихо и спокойно, что удивила обоих родителей.

«Не нужно, – сказал тот человек. – В Америке у тебя будет новая кукла, не нужно брать отсюда ничего. Идем сейчас же!»

Он повернулся к выходу, а девочка взяла свою куклу и пошла за ним.

Юдит не подняла глаз. Гладившая руку застыла в воздухе. Ужас пригвоздил ее к месту. Она чуть отклонила голову, и ожидание удара задрожало в ее позвоночнике.

Перед тем как закрыть за собой дверь, тот человек повернулся к ней, улыбнулся ослепительно-вежливой улыбкой американских продавцов, сплюнул на пол и произнес: *Шмуциге пирде\** – ругательство столь отвратительное, что его не решаются перевести и те, для кого идиш – родной язык. Даже Глоberman, для которого ругнуться все равно, что чихнуть, слегка прокашлялся перед тем, как сполна объяснил мне, каким грубым было это выражение.

Тот человек закрыл ворота дома, пересек соседский огород, хозяин которого стоял на коленях в жирной рыжей грязи и притворялся, будто занят своими луковичками и морковками, и исчез вместе с дочерью в аллее кипарисов. Выйдя на дорогу, он остановил маленький грузовик, шедший из Рас-эль-Айна, сунул потрясенному водителю долларовую бумажку и велел ему везти их напрямик в Яффский порт.

Вечером к Юдит пришел ее любовник и увидел, что она одна – сидит, с побелевшим лицом, словно каменное изваяние, среди рассыпанной вокруг чечевицы.

«Он вернулся?» – прошептал любовник.

Юдит не ответила, потому что он говорил с ее глухой стороны.

«И забрал девочку?» – закричал тот.

«Пришел и забрал», – вытолкнула она с рыданием.

«Я догоню его, я его найду и верну ее тебе!» – яростно воскликнул тот.

---

\* «Грязная п...да» (*идиш*).

Юдит посмотрела на него. Жар его тела, пыл его сердца – всё то, что порило ее и помогало в дни одиночества, вдруг показалось ей жалким, как увядшее жнивье.

«Не беги за ним, не догоняй, не возвращай, – медленно сказала она. – Это тебе не ваши мужские игры».

Перед ее закрытыми глазами простерлось пророчество ее опустевшей жизни. «Она ведь даже не узнала его! – вырвалось у нее со стоном. – И все равно пошла за ним, не сказав мне ни слова! Даже не попрощалась!»

Любовник сел рядом с ней, обнял за плечи, положил голову в углубление ее шеи, а руку – на ее выпуклый живот.

«Теперь мы остались с тобой вдвоем, Юдит, – прошептал он. – Я и ты, и скоро у тебя будет новая девочка».

«Да, – сказала Юдит. – У меня будет новая девочка».

Какая-то огромная ледяная сила внезапно заполнила все ее тело. Полтора месяца спустя она родила, ни разу не вскрикнув и не удивившись, большого и красивого мальчика, который был уже мертвым.

«Мы поедем туда и найдем ее», – сказал ее любовник над могилой и опять закричал: «Мы в суд пойдем! Где это видано – забирать девочку у матери?! В Америке есть суд и есть законы!»

«Никуда мы не поедем. Приговор уже подписан и приведен в исполнение», – сказала Юдит. Тот посмотрел на нее и испугался, потому что увидел, что ее тело затвердевает от жесткости, которая расходится по капиллярам и оседает, точно мел, в трещинах ее кожи. Увидел и понял, что ему надлежит уйти и оставить эту женщину в покое.

## 16

Вот так враль-ревизионист из Еврейского легиона повернул ход событий, и каждый, кто кружит среди вечных вопросов «если бы», да «кабы», да «если бы не», как кружу среди них я и как они – вокруг меня, найдет здесь образчик игры судьбы и случая, дающий ответ на эти вопросы. Потому что если бы отец этого хвастуна действительно имел завод в Вилмингтоне, первый муж моей матери вернулся бы в Страну в обещанное время, и я бы не появился на свет, а если бы даже и появился, у меня был бы только один отец, и имя у меня было бы другое, и Ангел Смерти уже давно бы меня настиг.

Дядя Менахем, заметив мой детский интерес к этим насмешкам судьбы, рассказал мне историю о трех братьях – Если бы, да Кабы, да Если бы не, которые каждую ночь ходят по следам Ангела Сна: «Когда *Малах фон Шлоф*, Ангел Сна, усыпляет людей, эти братцы Если бы, да Кабы, да Если бы не тормозят засыпающих, и начинают кружить и кружить вокруг них хороводом вопросов, и уже не дают им больше уснуть».

Но перекупщик Глоberman, ночной покой которого не нарушали никакие сомнения, искания, сожаления или раскаяния, снова повторил мне свой девиз: *А менч трахт ун а гот лахт* («Человек замышляет, а Господь посмеи-

вается»). Иными словами, ты можешь задавать себе какие угодно вопросы и можешь придумывать какие угодно ответы, и пусть даже эти трое братьев сколько угодно танцуют перед твоими бессонными глазами, – для Юдит это всё едино, потому что свою девочку она больше не увидела никогда.

Вот так получилось, что у меня есть полусестра где-то в Америке, но даже имя ее не сорвалось с уст нашей с ней матери. А когда я спрашивал и приставал, мама тут же обрывала разговор своей постоянной присказкой *А нафка мина*.

Корабль, уходивший из Яффо, забрал отца и его дочь в Геную. Там они провели несколько дней в убогой гостинице, где пахло рыбой, анисом и чесноком и где большие коты сидели на балконах в ящиках с геранью, точно птицы в гнездах.

Оттуда они отплыли в Лиссабон, оттуда – в Роттердам, а потом – в Америку, и поскольку в их каюте было полным-полно пассажиров, которые весь день напролет валялись на койках, шутили на незнакомых языках, играли в карты и воняли рвотой, потом, калом и табаком, они подолгу ходили по палубе вдоль перил.

Тем временем, как это не раз случается с людьми типа того человека, маленькая девочка уже превратилась для него из победного трофея в досадную помеху, и, поскольку его раздражение и чувство мести не нашли выхода и их змеиное шипение заглушало даже шум морских волн, он то и дело больно бил девочку по лицу. Эти пощечины были такими стремительными, что никто не успевал их заметить, как никто не успевал услышать и те бранные слова, которыми они сопровождались: *«Пункт ви дайне маме а курве»* – «Вылитая курва мамаша». И если мне будет позволено снова вернуться к героям моей реальной жизни и к созданиям моего воображения, я скажу, что в той мере, в какой это будет зависеть от меня, мы больше никогда не встретим этого мерзкого и подлого человека. Если бы он остался с ними, то, может быть, стал бы героем этого рассказа, и другой сын рассказывал бы тогда эту историю, но, поскольку он поступил именно так, а не иначе и тем самым изгнал себя из Израиля, он изгнал себя также из моего жизнеописания и освободил меня от необходимости рассказывать, что с ним было дальше.

Что же касается забытого любовника моей матери, то я не знаю ни его имени, ни происхождения, и, поскольку мне вполне достаточно трех отцов, он меня вовсе не занимает. Но однажды, лет через пятнадцать после смерти мамы, во время одного из моих приездов к Номи в Иерусалим, она показала мне старого и очень сутулого человека, который был похож на букву «Г» и опирался на два костыля, – он ковылял, покачиваясь, по улице Бейт ха-Керем неподалеку от здания педагогического училища.

«Видишь этого человека? Он был любовником твоей матери», – сказала она.

И словно мало было мне потрясения от самой этой фразы, то был к то-

му же первый и единственный раз, когда я понял, что Номи тоже знает что-то о маминой жизни.

Откуда она знала, что это тот самый человек? Не знаю.

Почему она решила сказать мне о нем? Этого я тоже не знаю.

Может, мне следовало обидеться? Номи, почувствовав мое смущение, сказала: «Пойдем-ка лучше домой, Зейде, и сделаем большущий овощной салат, как когда-то дома».

Я всегда привожу ей из деревни овощи и яйца, банку сметаны и головки сыра, и всегда выбираюсь к ней ночами, в большом молоковозе, который ведет Оded.

Я уже повзрослел, Оded уже постарел, но я по-прежнему люблю эти ночные поездки с ним, и его рассказы, и его жалобы, и его мечты, которые он излагает очень громко, почти кричит, чтобы перекрыть рев мотора.

Дороги стали много шире, и Оded уже не раз сменил свой молоковоз, но ночи остались такими же холодными, как были раньше, и Оded по-прежнему проклинает человека, который женился на его сестре и увез ее из деревни, и по-прежнему спрашивает меня: «Хочешь погудеть, Зейде?» – и я снова протягиваю руку к гудку, и меня снова завораживает и умиляет его мощный и печальный звук, плывущий в ночных просторах.

Двое малышей прыгали вокруг того согбенного старца, и незримый страшный груз лежал на его плечах. Но кто поручится, что этим грузом была моя мать? И на чьих плечах нет такого груза? Ведь против нескольких мужчин, которые любили ее, стоит целый мир людей, которые ее не знали, и не знали даже о ее существовании, и каждый из них тащится по своей улице, и каждый, сгорбившись, как буква «Г», клонится под тяжестью своей души.

## 17

«С Тоней, это была большая трагедия, – сказал Яков. – Очень большая трагедия. Тут у нас были еще несчастья, но чтобы такое?! Так вот утонуть в вади?! Разве вади для того, чтобы в нем тонуть? В реке Кодыме можно утонуть, в Черном море можно утонуть, но в нашем вади?! На глубине – сколько там? – тридцать сантиметров? Такое несчастье просто так не случается. Ешь, Зейде, а ну, ешь, можно есть и слушать одновременно. Я однажды подумал, что, может, из-за того, что там был дождь и туман, а они были так похожи, так этот Ангел Смерти просто ошибся, и Тоня умерла вместо Моше. Но умерла все-таки она, а он себе остался – со всей своей виной и со всей своей тоской, а это уже большое дело, Зейде, потому что по умершей женщине надо уметь тосковать. Это тебе не то, что тосковать по живой женщине. Эти две тоски мне хорошо знакомы, так что я знаю, о чем я говорю. Потому что по твоей матери я тосковал и при ее жизни, и после ее смерти. Сколько тебе лет сегодня, Зейде? Ровно двенадцать, а ты уже сам сирота – так ты, наверное, и без меня можешь понять все эти вещи, без того, чтобы я морочил тебе голову. Что тебе сказать, Зейде? Как черная тень упала на де-

ревню. Молодой вдовец, двое маленьких сирот, а нашему еврейскому Богу все равно. Это было в конце зимы, когда она умерла, а уже через месяц пришла весна со всеми ее радостями и танцами. Цветы расцветают, жаворонки поют, журавли курлычат: кру-кру... кру-кру... Ты ведь знаешь, как поют журавли в поле, да, Зейде? Голос у них несильный, но слышать его слышно далеко-далеко. Один раз, еще во время Второй мировой войны, я видел одного итальянского пленного, из лагеря, как он танцевал в поле с тремя журавлями. Птицы, они сразу чувствуют, что итальянцы не совсем, как другие люди. Издали я думал, что это четыре человека, такие они были высокие и с короной на голове, как у царя. А когда я подошел, этот пленный схватил ноги в руки и исчез в своем лагере, а журавли развернули крылья в три метра шириной и полетели... *А йене махане-швуим!* Тот еще лагерь для пленных! Ты помнишь его, Зейде? Ты был тогда совсем маленький. Там у них, у этих пленных, была дырка в заборе, и они выходили оттуда, как мои несчастные птицы из клетки, когда я оставлял ее открытой, и ходили себе в полях, и никто их не охранял, потому что они сами не хотели никуда убегать. Возьми себе добавки, поешь еще, Зейде. А ну, открой рот, *майн кинд*. Я помню, как ел младший сын того моего неродного дяди. У него с того дня, что он родился, рот был всегда открыт, и первое, что он сказал, это было: «Еще!» Не «мама» он сказал и не «папа», а только «еще». Полгода ему было, так он уже показывал пальцем на кастрюлю и говорил: «*Hox!*» («Еще!»). Кто может сказать «еще» и его поймут, ему не нужно много других слов, чтобы хорошо устроиться в жизни. Есть такие люди, что всю жизнь обходятся двумя словами – слово «вот» и слово «еще». Тот мальчик ел, как говорится, что корова языком, как бездонная бочка он ел, и его мама любила смотреть, как он ест и говорит «еще» и «еще», и вот так он себе рос и рос, пока она не испугалась слеза и стал звать его к столу только, когда все уже кончили, и тогда она становилась перед ним с большой простыней, растягивала ее вот так, между руками, чтобы не видели, как он ест, и, не дай Бог, не слезили ей его. А сейчас кушай, Зейде, открой рот и кушай, а я спою тебе песенку для аппетита:

На окошке, на окошке  
Ласточка сидела.  
Мальчик подбежал к окошку,  
Птичка улетела.  
Мальчику обидно,  
Ласточку не видно.

## 18

Поначалу беда Моше Рабиновича была общей бедой. Жители деревни мобилизовали себя на все семь дней траура\* – доили его коров и собирали

---

\* После смерти близкого родственника принято семь траурных дней проводить, сидя на полу.

фрукты, оставшиеся в саду. И даже потом – те несколько недель, пока срасталась его сломанная нога, – они то и дело приходили протянуть руку и подставить плечо, одалживали ему кто мула, кто лошадь, пока он купит себе новую тягловую скотину. Одна из соседок пригласила сироток обедать у нее, а Ализа Папиш, жена Деревенского Папиша, вызвалась подметать пол в их доме, стирать и убирать.

Но дни шли за днями, бурный поток помощи постепенно превратился в тонкую струйку, а потом и вовсе иссяк, и муж соседки сказал Моше, что кормить его детей ему не по карману.

Рабинович, все еще закованный в гипс от груди до щиколотки, пришел в бешенство. Он с самого начала предлагал, что будет оплачивать соседу обеды своих детей, а когда сейчас снова спросил его, сколько же тот хочет, сосед, не задумываясь, назвал сумму, достаточную, чтобы накормить полк солдат. Моше выставил его за дверь и договорился с женой деревенского кладовщика, и с того дня и до приезда Юдит Овед и Номи получали у нее ужин за вполне терпимую плату. Временами там ужинали и некоторые английские офицеры, а также счетовод-альбинос, который после захода солнца осмеливался, наконец, выйти из старого дома Якоби и Якубы и присоединиться к людям.

Луковицы нарциссов, которые Моше выкопал на берегу вади и зарыл в земле на могиле своей Тонечки, вскоре проклюнулись и расцвели. Новые воронята требовательно шумели в гнезде на верхушке эвкалипта. Земной шар кружился по старинке, нёсся по своему привычному пути и тащил на себе своих живых и мертвых, словно ищущий пристанища корабль.

Солнце вставало, воздух прогревался, и каждый день после полудня Моше подолгу лежал, развалившись, как теленок, на зеленеющем поле, грыз кисловатые шарики сунарии\* и шавелевые листочки и подставлял свое искалеченную плоть весне.

Чибицы и пигалицы легкой поступью прохаживались рядом с ним на своих длинных ножках, демонстрируя элегантные, безукоризненно чистые фрачные крылья. Блаженно попискивали, с шуршаньем копошась в траве, полевые мыши, ухитрившиеся пережить лютую зиму. Запахи цветущих садов широко растекались над полями, ускоряя бег крови в человеческих сосудах и налету сшибая на землю одурманенных шеглов.

Эта привычка лежать нагишом в поле, впитывая в себя весеннее тепло, так с ним и осталась. Годы спустя я видел, как он выходит в поле, стаскивает с себя одежду и ложится пластом на высокой траве. А однажды, когда я поставил свой наблюдательный ящик на краю поля, чтобы наблюдать за танцующими жаворонками, я вдруг увидел Моше, который разделся и лег почти рядом со мной. Он медленно дышал всем своим плотным коротким телом, и его рука то и дело поглаживала волосы на груди и животе, а когда

---

\* *Сунария* – куст с кислыми плодами, типа терновника.

сильно припекло, стала перекидывать яички со стороны на сторону, то так, то этак.

Две большие мухи расхаживали по его лицу, но он их не сгонял.

Он лежал так близко, так невинно и незащищено, и совсем не чувствовал, что я рядом, потому что ветки и трава скрывали мой ящик даже от птичьих глаз, а я, хоть и задыхался от жары, не осмеливался шелохнуться, потому что Моше вдруг начал бормотать про себя: «Мой Моше... мой Моше...» – потом чуть повернулся набок, и от него потянуло тем же запахом, что от дяди Менахема, но я был тогда слишком молод, чтобы понять, что это такое, и думал, что эти их запахи похожи, потому что они братья.

Сломанное бедро Рабиновича срасталось быстро, но когда он потребовал у врача снять гипс, тот сказал, что еще не время. Моше не стал спорить. Он вернулся домой, улегся в большой поилке для коров и подождал, пока его гипсовые оковы растворились и вода в корыте побелела, как молоко. Несколькими днями позже он запряг телегу и отправился с детьми в соседнюю деревню на праздничный пасхальный ужин у дяди Менахема и его жены Батшевы.

Разные были они люди, дядя Менахем и Моше. Менахем был худой и высокий и, хотя был старше своего брата, выглядел моложе его. У него были длинные пальцы, изящную тонкость которых не испортила даже работа на земле, густые каштановые волосы, теплый, приятный голос и подстриженные усы, которые в семье называли «американскими», хотя никто не знал, что именно это означает.

И еще у него был сад, где он выращивал сладкие рожки самой сочной и мясистой кипрской породы. Я помню, как он бывало разламывал один из своих плодов и с гордостью демонстрировал, как сочная мякоть истекает темным медом.

«Если бы у Бар-Иохая\* в пещере было такое дерево, одного рожка ему хватило бы от субботы до субботы», – сказал он.

Дядя Менахем говорил о своих рожках, как крестьяне говорят о своих животных. Сад у него был «стадо», которое составляли несколько деревьев-«быков» и несколько десятков деревьев-«коров», и он говорил, что если бы мог, то выводил бы свои деревья «попасться», шел за ними следом и играл бы на дудочке.

«Когда-нибудь, Зейде, мы изобретем деревья без корней. И если нам захочется погулять или поработать в поле, мы свистнем им, они побегут за нами, и у нас всегда будет тень», – сказал он мне.

А еще у него была сказка, которую он любил рассказывать снова и сно-

---

\* Бар-Иохай, Шимон (II в. н. э.) – один из виднейших еврейских законоучителей. За резкий отзыв о римлянах, о котором властям стало известно в результате доноса, был приговорен к смертной казни и в течение 13 лет скрывался вместе с сыном Элазаром в пещере; этот период его жизни овеян многочисленными легендами.



ва, а я любил снова и снова слушать, – об одном крестьянине, который кочевал по Украине в сопровождении гигантской и плодоносной яблони, сидевшей внутри большой телеги с землей. Эту телегу тащили четыре быка, а за ней летели пчелы.

Но какие бы сказки он ни рассказывал, на деле дядя Менахем отнюдь не полагался на то, что ветер сам собой перенесет рожковое семя от рожков-мужчин к рожкам-роженицам. В конце лета он забирался на мужские деревья, стряхивал их пахучую, душистую пыльцу в бумажные мешки и немедленно посыпал ею ветки женских деревьев. Поэтому его всегда окружал тяжелый, сильный и неистребимый запах семени, который смущал соседа, веселил соседей и сводил с ума его жену, тетю Батшеву.

Тетя Батшева любила своего мужа до беспамятства, великой любовью, и была уверена, что все женщины в мире относятся к нему так же, как она. И поэтому она боялась, что запах семени, который не покидал тело дяди Менахема даже после того, как она заталкивала его в душ и скребла там жесткой щеткой так, что он багровел и кричал от боли, привлечет к нему других женщин. Вот почему любая другая женщина, которая приближалась к дяде Менахему на расстояние взгляда, немедленно получала у нее прозвище *а курве*. А поскольку деревня была мала, а ревность велика, эти «курвы» всё размножались, а злость тети Батшевы всё накалялась.

«Такой мужчина, как мой Менахем, весной должен вообще молчать, – говорили она. – Конечно, лучше бы он молчал весь год, но главное, чтобы он молчал весной и не начинал выделять эти свои штучки – сказочки всякие рассказывать, выдумки выдумывать и откровенности откровенничать... Все эти вещи очень опасны, когда мужчина рядом с *курве* именно весной».

И так случилось, что на третий год их совместной жизни настигла дядю Менахема странная аллергия, которая с тех пор нападала на него каждую весну и выражалась не как обычно, в безудержном чихании, расчесах и слезах, а в полном параличе голосовых связок.

Тоня Рабинович в свое время сказала, что тетя Батшева навела на Менахема порчу, но та отвергла такое предположение: «Жене не положено делать такие вещи. Для этого есть Господь на небе». И улыбнулась ханжеской улыбкой человека, чье дело делается чужими руками.

Так или иначе, но каждый год в какое-то весеннее утро между праздниками Пурим и Песах\* дядя Менахем просыпался безголосым. В самое первое утро этой своей немоты, не услышав произнесенных им слов, он по ошибке подумал, что оглох, но потом понял, что у него только губы шевелятся, а голос начисто пропал. Вначале эта невольная немота сделала дядю Менахема раздражительным и нетерпеливым, а тетю Батшеву – тихой и довольной. Но в последующие годы дядя успокоился, привык и научился разговаривать с окружающими с помощью записок, а тетя, наоборот, снова наполнилась прежней ревностью и страхами. Теперь она уже боялась, что

---

\* Весенние еврейские праздники.

весна, запертая в горле ее мужа, подскажет ему иные пути, чтобы обхаживать своих курве.

«Он ведь та еще птица!» – твердила она.

Однажды, когда мне было лет шесть или семь, я сказал дяде Менахему, что знаю теперь, в чем разница между ним и Яковом Шейнфельдом.

«Какая же это разница, Зейде?» – спросил дядя Менахем запиской.

«Вы оба птицы, – сказал я. – Но Шейнфельд птица странная, а ты – та еще птица».

Мама улыбнулась. Номи рассмеялась. Тело дяди Менахема задрожало от удовольствия, а его рука написала мне на записке: «Ха-ха-ха».

«Когда у мужчины нет слов, он начинает скакать, как обезьяна в лесу, и вытворяет всякие обезьянские штуки», – сказала тетя Батшева, напуганная могучими результатами своей ревности.

Но дядя Менахем не скакал и ничего не вытворял – он молчал и замыкался в себе, как замыкаются в себе худые мужчины в конце лета, когда дни начинают укорачиваться.

У него даже появился тот агрессивный юмор, который обычно отличает немых. «Теперь я не должен декламировать эту вашу постыльную Агаду\*!» – сообщил он с помощью большого праздничного плаката, который поднял перед всеми в тот пасхальный вечер.

Одед и Номи и три сына Батшевы и Менахема засмеялись. И даже Моше, который, войдя, обнял брата, расплакался и сказал: «Вот, Менахем, первый пасхальный седер\*\* без жены и без матери», – даже он улыбнулся.

«Менахем считает, что ты должен немедленно жениться опять», – сказала Батшева, и Менахем подтвердил это кивком головы.

Но Моше и слышать об этом не хотел – и уж, конечно, сказал он, не при детях.

Моше и Батшева пропели с детьми все украинские и русские песни, которые они помнили из прошлого, Менахем пробарабанил эти же песни по столу, а Одед нашел афикоман\*\*\* и попросил, чтобы мама вернулась.

Моше затрясся и побледнел, но Менахем похлопал мальчика по затылку и написал: «Это очень хорошая просьба, малыш, но пока ты получишь в подарок перочинный ножик».

## 19

Временами Моше хотелось страдать и чахнуть, потому что ему каза-

---

\* Пасхальная агада – букв. «повествование» (*иврит*) – традиционный свод благословений, псалмов и отрывков из священных книг, читаемых во время пасхального седера.

\*\* Букв. «порядок, установление» (*иврит*) – церемониал торжественной трапезы и молитв в первую ночь праздника Песах. Основная часть седера – чтение Агады.

\*\*\* Кусок мацы (опреснока), который прячут во время пасхального седера. Самый младший из присутствующих должен найти его и может получить за него любой просимый выкуп.

лось, что скорбящей душе не подобает здоровое, цветущее тело. Иногда он готов был даже заболеть, но это ему никак не удавалось. Напротив – похоже было, что со смертью Тони его тело стало еще здоровее. Как будто сила, которая покинула ее шею, добавилась к его шее, как будто из праха скорби пробились вдруг светло-зеленые побеги жизни, и на них, что стыднее всего, почки облегчения и даже явные и смущающие веточки – все эти очевидные признаки нового цветения овдовевшего мужчины, в которых он не признается сам себе, хотя все кругом видят их и понимают их значение.

Его речь, прежде медленная и тяжелая, теперь стала беглой и легкой, его размеренная крестьянская походка начала временами пританцовывать, и новые тонкие волосики появились на его гладкой голове – не та пышная юношеская грива, а, скорее, что-то вроде младенческого пушка, который чуть притемнял блеск его лысины.

Тело его уже выздоровело и окрепло настолько, что он вернулся к обычной работе, как будто ничего не произошло. Он косил, и собирал, и пахал, и пас, а вечерами, после дойки, навешивал, как раньше, четыре бидона с молоком на коромысло, сделанное из двухдюймовой стальной трубы, взваливал его на широкие плечи и нес на молочную ферму.

Оттуда он шел за детьми. Пустые бидоны с унылым звоном качались на концах коромысла, и мысли Моше отзывались им в его сердце.

Он входил в дом кладовщика. Альбинос-счетовод приветствовал его, и Моше отвечал ему невнятным бурчанием. Он терпеть не мог всё, что выходило за рамки обычного порядка вещей, и этот счетовод, с его совиным образом жизни и непривычным цветом волос, глаз и кожи, вызывал у него смутную тревогу.

Но альбинос и не пытался понравиться – ни ему, ни кому-либо другому в деревне. Он занимался своими птицами, выполнял свои счетоводческие обязанности и никого не беспокоил. Раз в неделю кассир привозил в старый дом Якоби и Якубы полную тачку квитанций и счетов и стучал в дверь. Счетовод открывал щель в ставнях, сверкая в ней розовыми глазами и черным костюмом, и шептал: «Заходи, только, пожалуйста, без шума, чтобы не испугать моих бедных птиц».

Когда кассир уходил, альбинос набрасывался на бумаги, подбивал счета, точил карандаши и сводил балансы внешнего, залитого светом мира.

Пение птиц и закрытые ставни защищали его от солнечного гнева, и только в сумерки, когда его заклятый враг, обессиленный от усталости и похожий на желток, опускался к горизонту, чтобы на мгновение передохнуть там, прежде чем распрощаться с миром, он выходил из своего убежища размять кости и вдохнуть чистого воздуха.

Вначале открывалась дверь. Рука в длинном рукаве, пугливая и дрожащая, словно нос слепыша, обнюхивала свет и воздух и медленно поворачивалась туда-сюда, оценивая ярость умирающего солнца и слабеющий жар земли. Удовлетворенная осмотром, она извлекала следом за собой остаток альбиноса – он выходил нерешительно, устремив затемненные очки к не-

бу, и, едва возникнув на пороге, тут же опять исчезал внутри, но сразу же появлялся снова, неся в руках клетки с канарейками, как будто выводил на прогулку собак.

Подвесив клетки на буксировочном тросе пикапа, натянутом от угла дома к стволу ближайшего кипариса, он располагался в шезлонге и ставил рядом с собой поднос с очищенными и разрезанными вдоль зелеными огурцами, белым сыром, селедкой, бутылкой пива и потрепанной книгой, которая выдавливала кровавые слезы из его глаз и слабые вздохи наслаждения из его горла.

Тем временем на детях Моше уже начало сказываться их сиротство. Одед мочился по ночам в кровать, а Номи сильно похудела.

«Номинька не ест», – сообщала жена кладовщика.

«Ее еда невкусная», – сказала Номи, когда они с отцом шли домой.

«Скажи мне, что ты любишь», – сказал Моше после долгого молчания, – и я передам ей».

«Мы хотим мамину еду», – сказал Одед.

«Все мы хотим мамину еду», – сказал Моше.

Жаркое стояло лето и благоуханное, как всегда. Деревенский сумрак окружал их молчанием совиных крыльев. Крохотные порошинки летели с гумна, раздражая кожу на шее Моше, как и в минувшее лето, когда его Тонечка была еще жива и выходила с ним на молотьбу.

Три раза еще заполнится и опустеет луна, а потом, это он знал наперед, его сильное тело тоже опустеет, размягчится и наполнится осенью. Аисты соскользнут с крыши и будут парить в небе, росистый ветер придет с гор, стрелки морского лука почуют осень и подымутся, распрямляясь, на краю поля.

Он любил эти годичные кольца памяти, которые аисты вычерчивали в небе, эту ежегодную верность морского лука своей земле и тоскливо колышущую волну его тонких стеблей. Он не был красноречив, и эти двое, морской лук и аист, говорили за него – один своими крыльями, другой своими луковичками – о смене времен и о вечности места, которых не могут описать никакие слова.

Последние осы собирались на забытых виноградинах, сгущались все новые тучи, малиновка, отважная кроха, вернулась с севера, снова завладела гранатовым деревом и уже обозначала границы своих владений и терпения яростным боевым щебетом, гремевшим в лиственной чаще.

Холодные сырые ветры раскачивали стволы кипарисов, маленькие упругие шишки падали на крышу и отпрыгивали, ударяясь. Вади снова бурлило, и каждый день, как раненое животное, ищущее исцеления, Моше рыскал по дому и во дворе в поисках шкатулки с косой, той косой, которую ушедшие из его жизни женщины спрятали от него.

Небо над деревней, точно мазками гигантских кистей, было исчерчено огромными тучами скворцов – их тысячные стаи врезались друг в друга и

сливались на миг, чтобы тут же разделиться и рассеяться снова. По утрам они тянулись над долиной на восток, а вечером возвращались. Ночевали они на канарских соснах, которые окружали водокачку, и снижались на ночлег так стремительно, что казалось, будто эти большие деревья жадно втягивают их в свою листву. И потом лишь тихий лепет, еле слышный полусонный щебет засыпающих птиц и детей, долго еще доносился из гущи ветвей – пока и он не умолкал.

В доме все еще оставалось несколько банок повидла, которое Тоня сварила летом перед смертью. Никто не помнил об их существовании, но потом Моше, в неутомимых поисках шкатулки с косой, обнаружил их в каком-то углу и принес на кухню. Одед набросился на них, и уже вечером отец обнаружил его в коровнике – он был весь в повидле и извивался, словно отравленный шакал, оттого что объелся сладостью.

«Вкусно, – сказал Одед и протянул отцу полную ложку. – Открой рот, папа, и закрой глаза».

И Моше, не задумываясь, как не задумывается при таких словах всякий, кто когда-то был ребенком, закрыл глаза и раскрыл рот, а Одед вылил ему на язык полную ложку повидла, которое обожгло ему горло и выжало слезы из-под сжатых век.

Номи, которая незаметно вошла следом за ним в коровник, посмотрела на них и задрожала.

«Хочешь тоже? – спросил Одед, протягивая ей ложку. – Это мамино повидло, ешь».

Но Номи вдруг ощутила беспричинный и неистовый гнев сиротства и прежде, чем они успели ее остановить, выхватила у Одеда банку, вдребезги разбила ее о бетонный пол коровника и выбежала во двор.

## 20

«Эс, майн кинд, ешь».

Его рука поставила передо мной еще тарелку и на обратном пути, осмелев, погладила меня по голове.

Яков никогда не называл меня сыном – только *майн кинд*, как будто идиш пугал его меньше, чем иврит. Я же, со своей стороны, ни одного из своих отцов не называл отцом – ни на иврите, ни на каком-либо другом языке.

Глоberman не раз корил меня, что я не называю его отцом, но Якову это было безразлично. Лишь об одном он просил – чтобы я не называл его по фамилии, Шейнфельд, как называли все прочие, а только по имени.

«Я расскажу тебе историю про другого Якова, чтобы ты понял, – сказал он. – Не о том нашем праотце Якове, по имени которого называются все остальные Яковы, а о другом Якове Шейнфельде, который был братом отца моего деда. У нас, у Шейнфельдов, в каждом поколении есть такой Яков Шейнфельд. Шейнфельд все время остается, а Яковы меняются. Но если я скажу тебе, с чего жил тот Яков Шейнфельд, ты будешь смеяться. Он про-

бывал мыло. Ты видел когда-нибудь, как делают мыло, Зейде? Стоит большой бак, размером с эту комнату, и в него бросают всякую гадость, отбросы, и золу, и жир с мертвых животных, и все это воняет и кипит на огне, и из этой каши подымаются такие большие пузыри, величиной, как арбуз, и всякий человек, который увидит эту мерзость, ему больше никогда не захочется мыться мылом. И это то, что он пробовал. Ты опять смеешься? Когда я был маленький, такому мальчику, который говорил плохие слова, ему всовывали в рот кусок мыла для наказания, но на фабрике нужно все время пробовать эту мыльную кашу, чтобы знать, когда потушить огонь, иначе мыло не получится. Как узнают? Это секрет. Это не написано ни в какой книге. Такое записано только на языке и в памяти знающего человека. Он нюхает, и он пробует, и он делает такое недовольное лицо и говорит, чего не хватает, а в конце он говорил: «*Ишт!*» «Сейчас!» – он говорил, и тогда надо было сразу потушить огонь. А пробовать мыло, Зейде, надо с середины бака, не с боков, поэтому тот Яков Шейнфельд висел вот так, на веревке, как обезьяна, чтобы бак кипел прямо под ним, и совал в него такую длинную ложку, а потом пробовал на кончике языка, и выплевывал наружу, и говорил, ждать еще или уже надо тушить. У них эта специальность переходила от отца к сыну, но у этого Якова Шейнфельда не было детей, он был холостяк, и когда он уже начал стареть, хозяин пришел к нему и сказал: «Яков, пришло время, чтобы ты научил кого-нибудь, как пробовать мыло. Ведь если, не дай бог, у тебя что-нибудь случится, кто даст знак и кто скажет *ишт*»? Яков Шейнфельд выслушал его и не сказал ни слова. А назавтра он пришел, как всегда, на работу, залез на ту веревку над кипящим баком, и попробовал, и выплюнул, и сказал: "Не хватает чуть жира от старой падали" – и еще никто не успел понять, а он уже отпустил ту свою веревку и упал в этот бак с кипящим мылом. Хочешь чего-нибудь сладкого, Зейде? Жалко, что я рассказал тебе эту историю сейчас. Наверно, нужно было подождать еще несколько лет. Лучше было это рассказать, когда ты будешь кушать у меня в следующий раз. Давай, я приготовлю тебе сейчас одну сладость, которой меня научил один итальянский человек».

Он торопливо поднялся, как будто желая стереть впечатление от рассказанной истории.

«Это очень просто. Все, что нужно, это желток от яйца, сахар и немножко вина. Иди сюда и смотри».

Он разбил яйцо и вылил его в ладонь, пропустил белок меж расставленных пальцев, а затем осторожно подбросил желток в вогнутости ладони.

«Видишь, Зейде, – сказал он, – он не порвался и не вылился. Так всегда получается, если яйцо свежее, а желток крепкий».

Он отделил таким же манером еще два желтка и положил их в миску, добавил немного сахара и ароматного вина.

«Что может быть лучше такой смеси? Желток это еда от матери и память жизни, а вино это душа и будущее, а сахар это желание и это сила».

От быстрого вращения венчик в его руке расплылся и превратился в

сверкающий серебром круг, а потом Яков погрузил мисочку в кастрюлю с кипящей водой, но взбивать не перестал. «Это пахнет намного лучше мыла, а уж вкуснее куда больше, и когда-нибудь я научу тебя это готовить. Ты понимаешь, о чем я говорю, Зейде?» – и он снял миску, сунул в нее палец и велел мне сделать то же самое.

«Так делают итальянцы, – и он с удовольствием лизнул свой палец. – Тебе нравится? А? Мне тоже. Рабинович дает тебе что-нибудь сладкое дома?»

«Немного», – сказал я.

В те дни люди не часто ели сладости. В доме Рабиновича мы подслащали ломоть только повидлом, а чай пили вприкуску, с кубиком сахара. Я пью так по сей день, потому что при этом горечь и сладость не смешиваются друг с другом, а существуют рядом. Моше, для которого любовь к пирожным и шоколаду была верной приметой измены идейным принципам, любил рассказывать, что в дни его детства в доме родителей царил такая нищета, что во время чаепития над столом подвешивали на нитке единственный кубик сахара.

«И вы по очереди окунали его в чашку?» – спрашивал я.

Моше улыбнулся с гордостью бедняка. «Нет, – сказал он. – Мы пили чай вприглядку».

«Не слушай его, Зейде, – сказала Номи. – У них в России были тонны денег. У них были леса, и склады, и мельницы, и торговля, и папа, когда он был ребенком, ел больше сладостей, чем все его дети, вместе взятые, и это включает тебя тоже, Зейде».

## 21

Мягкий и нескончаемый, сеялся дождь, мелкий и упрямый. Моше соорудил себе и детям накладки из мешков и сколотил маленькие деревянные сани в виде неглубокого корыта с днищем, оббитым жестью. Каждый вечер он ставил туда свои бидоны с молоком и волочил их по грязи на молочную ферму, и каждый вечер, потолковав там с соседями о том о сем, возвращался, заходя по дороге в дом кладовщика, чтобы забрать детей.

Дети усаживались на пустые бидоны в санях, и Моше ташил их домой. Поначалу они смеялись и понукали его: «Н-но, папа, н-но, айда, айда!» – но вскоре им это надоело, да и терпение Моше тоже кончилось. Ремни саней врезались ему в плечи. Его короткие надежные ноги проваливались в грязную жижу и вырывались оттуда с тошнотворным чваканьем. Он целыми днями работал во дворе и в поле, и вечером у него уже не было сил откликнуться на просьбы детей и поиграть с ними в «страшного медведя» – он лежал навзничь и стонал, дожидаясь, пока придет Номи, пройдет по его спине своими маленькими ножками в чулочках и потопчет его тело своими пятками.

Потом дети отправлялись спать, а Моше варил яйца и картошку в мундире, крошил стиральное мыло, разводил костер во дворе и кипятил мок-

рые, вонючие простыни Одеда. Он чистил, и убирал, и искал свою косу, и в постель сваливался только после полуночи, с ломотой в теле и ожесточением в душе.

Благословен удачами был тот год, но благословение это не коснулось хозяйства Моше Рабиновича. Два выкидыша случились у него в коровнике, мангуст отыскал дыру в стене птичника и прикончил десятки цыплят, отводные канавы в саду засорились, и дождевая вода размочалила корни нескольких деревьев.

Целыми днями Моше топал по своим полям, а по ночам его сны проникали в могилу жены, прикасались к ее костям и поднимались оттуда к изукрашенной деревянной шкатулке с золотистой косой, чтобы заново вернуть ему силы.

Потом сны кончались и возвращались в свои норы, а Моше просыпался, потому что Одед заползал к нему в кровать и прижимался к его телу. Он ждал, пока сын уснет, и тогда поднимался и относил его назад в кроватку, где он спал рядом с Номи. Но Одед снова просыпался, и Моше опять слышал скрип кровати, и ложечка с повидлом снова позванивала, точно язычок, по стенкам стеклянной банки, и маленькие ножки опять топотали по полу, направляясь к его кровати и взбираясь на нее.

А утром, когда Моше просыпался, вся его кожа была пропитана холодной детской мочой сиротства и заброшенности, и сердце его кричало и вопрошало: где она, Тоня, его жена, его близняшка? И где они, его маленькие вышитые платица? И его отрезанная коса? Пряди его детства и силы?

## 22

Вот так сложилось, что осенью тысяча девятьсот тридцатого года в деревне Кфар-Давид, в Изреельской долине, маялся вдовец, которому доводилось самому и пахать, и варить, и шить, и играть со своими детьми, и читать им книжки. Да еще каждую ночь вставать и следить, чтобы они не сбросили с себя одеяло, да каждое утро отправлять их в школу – умытых, причесанных и накормленных, и каждый день зарываться лицом в платяя умершей жены, что висели в пещере платяного шкафа подобно спящим летучим мышам, сотканным из тканей и воспоминаний, – и как бы ни велика была сила его тела, ее уже явно не доставало.

А в поселке Петах-Тиква, а может быть, Ришон ле-Цион, жила женщина, вдова при живом муже, покинутая и несчастная, у которой украли дочь, и сердце ее было с той поры намертво стиснуто в клетке ребер, а слезы пролили борозды в ее лице.

«Что же тут еще рассуждать? – спросил Яков Шейнфельд и убрал со стола большие тарелки. – Видишь, Зейде, как тут все ясно? Сама судьба хотела, чтобы они встретились».

И действительно, отныне и далее прибытие моей матери в деревню оставалось уже только вопросом времени.



«Но я хочу тебя спросить, Зейде: и ради этого надо забрать маленькую девочку у ее матери? Ради этого надо утопить другую женщину в вади?»

Но судьба, с той же смутной горечью добавил он, никогда не склонна оставлять такого рода встречи на волю случая и даже на волю удачи. Выполнить предначертанное было вверено руке дяди Менахема.

Дядя Менахем прослышал о судьбе Юдит и достаточно деликатно и умно поговорил о ней с Моше, рассказав ему то, что следовало рассказать, и, опустив все, что требовало умолчания, а потом сам же и отправился за ней. Он бы вообще сохранил все это дело в тайне, но Батшева закатила ему страшный скандал прямо в центре деревни и орала при всех, что ее муж едет «запрыгнуть на новую *курве*».

Менахем предложил Юдит перебраться в Кфар-Давид. Она будет работать у его брата, и у нее будет хлеб, чтобы было что есть, и одежда – в чем ходить, и дом – где жить, и дети – растить, и коровы – доить, и кастрюли – ставить их на огонь, и мужчина, чтобы было с кем пить чай, и читать его мысли, и смотреть ему в глаза.

«Это будет хорошо для вас обоих», – сказал он ей.

Но ни Моше, ни Юдит не поспешили принять его предложение. Каждый из них укрылся в броне своей беды, и оба сказали: «Может быть», и «Зачем?», и «Поживем – увидим», и еще много таких же осторожных слов, как будто сердца предсказывали им что-то и указывали: «Ждите!»

И так прошел год со смерти Тони, и снова наступил праздник Пурим. Во всех домах распахнулись шкафы и сундуки, появились наружу платья и ткани, пошли в ход краски, кисти и украшения. Затем состоялось великое состязание маскарадных костюмов, и три кандидата вышли в финал.

Первой была непонятная голубоватая фигура, назвавшая себя Царем Индийского океана.

Вторым был счетовод-альбинос, который удивил всю деревню самим фактом своего участия. Он нарядился в «девушку, стирающую в реке», вышел на сцену с обнаженными коленями, на белизне которых резко проступали багровые пятна, с бельевой корзиной в одной руке и с ребристой стиральной доской в другой, и не сводил своих розовых глаз с Якова Шейнфельда.

Третьим был, разумеется, Деревенский Папиш. Он каждый год удивлял всю деревню очередным необычным костюмом и в тот год изобразил из себя сиамских близнецов – нарисовал глаза, закутался в разноцветные тряпки и, к большому оживлению зрителей, сообщил, что его брата-близнеца охватил страх перед публикой, и он остался дома.

Но аплодисменты быстро умолкли, потому что на сцену вдруг поднялась Тоня Рабинович.

Одетая просто, по-будничному, покойница протолкнулась сквозь толпу и встала рядом с тремя другими финалистами. Она была так похожа на себя, что ведущий уже собрался было сделать ей замечание, что она забыла нарядиться и потому должна сойти со сцены, но тут все вдруг тяжело зады-

шали от ужаса и возмущения, потому что вспомнили, что Тоня давно умерла, и поняли, что это не кто иной, как Моше Рабинович, нарядившийся в память своей жены. Они были так похожи, что вдовцу оказалось достаточно натянуть на себя женское платье, сунуть под грудь пару больших мотков шерсти и повязать на голову косынку.

«Убирайся со сцены, Рабинович, давай, убирайся!» – крикнул кто-то.

«Постыдился бы!» – гневно процедил Деревенский Папиш, стиснув сиамские зубы.

Но Тоня вперила в него жуткие мертвые глаза, подошла вплотную, так что он даже отшатнулся, вытерла руки о передник тем знакомым движением, которого не сумели стереть ни смерть, ни время, и сказала низким голосом: «Сейчас я кликну моего Моше, и он сделает из тебя котлету».

«Довольно, Бык, слазь!» – зашумели в публике. Послышался свист, и несколько озлобившихся мужчин стали протискиваться вперед.

Тоня раскланялась с медвежьей грацией и сошла со сцены. Она прорезала толпу, словно лезвие тяжелого плуга, и покинула празднество. И тут же толпа разбилась на маленькие, возбужденно гудящие группки, которые тоже начали поспешно расходиться.

Придя домой, Моше не сразу снял платье умершей жены. Он принялся, как безумный, искать в шкафах и в углах, а потом стал рвать волосы на затылке и кричать, вызывая к деревянным стенам. Дети молча и со страхом смотрели на отца.

В конце концов, он выбежал из дома, направился к своему валуну, обхватил его руками, поднял, прижав к шерстяным грудям и могучим мышцам, что под ними, и стал с ревом и стоном ходить с ним взад-вперед, пока не бросил обратно на место.

«Что тебе сказать, Зейде? Это-таки была большая трагедия, потому что люди – они ведь не только горевали и сочувствовали ему, но они его жалели тоже. А у людей – у них ведь расстояние от жалости до жестокости очень маленькое, и они начали у него за спиной говорить, какой он несчастный, а отсюда до разговоров, что он сумасшедший, тоже маленькое расстояние, а ведь у нас в деревне каждый старается вести себя так, как люди о нем думают. Поэтому я веду себя сегодня, как дурачок, а Рабинович вел себя тогда, как сумасшедший, и мы еще посмотрим, как ты сам будешь себя когда-нибудь вести».

В одну из последующих ночей Рабинович забрался во двор Деревенского Папиша и унес одного из папишевских гусей. Дома он отрубил своей жертве голову, содрал с нее кожу, поджег кору и ветки, которые всегда скапливались у ствола эвкалипта, и поставил на огонь большую закопченную кастрюлю Тони. Когда кастрюля раскалилась, Моше положил в нее обрывки гусиной кожи и долго переворачивал их со стороны на сторону, а выплавленный жир каждый раз выливал в стоявшую рядом большую миску. Он продолжал варить, пока кусочки кожи не стежились и зажарились до коричнево-кости, а потом всыпал их в миску с застывающим жиром.

С восходом он помчался в пекарню, принес буханку хлеба и стал отрывать от нее куски, макая их в не совсем еще застывший шмальц с поджаристыми хрустящими шкварками.

Не из голода и не из мести или раскаяния сделал он то, что сделал, а из-за своего горя, которое отказывалось притупиться, и из-за своего тела, которое отказывалось успокоиться.

Слезы растворили комок в его горле, жир смешался с едкостью тоски в его желудке, и он начал выть и блевать. Номи, разбуженная этими страшными звуками, стояла рядом и плакала от испуга.

А когда пришел и Одед, мокрый и вонючий от мочи, и сказал: «Я опять сделал пи-пи в постель, папа», – Моше поднялся с земли и крикнул: «Почему? Почему? Сколько еще я должен буду стирать за тобой всю эту вонь?» – и вдруг замахнулся и открытой ладонью ударил мальчика по лицу.

Добрый запах шмальца привлек ко двору Рабиновича многих деревенских. Они собрались вокруг большой черной кастрюли и поняли, откуда пришли в их сны воспоминания о покинутой ими стране, которые разбудили их сегодня на рассвете. Помимо своей воли они стали свидетелями и этого страшного удара.

Все были потрясены. Рабинович никогда не поднимал руку на человека. Только раз он швырнул на землю местного мясника, одного из грубых, мрачных приятелей Глобермана. Этот мясник славился тем, что мог одним ударом топора разрубить берцовую кость быка, и пришел во двор Моше, чтобы помериться силами с его валуном. Когда ему это не удалось, он разозлился и, вместо того чтобы, как все, пнуть камень и сломать себе большой палец ноги, вызвал Моше побороться и мигом оказался на земле.

Удар отбросил Одеда к стволу, его глаза закатились и побелели, а тело обмякло и стало сползать на землю, и Моше, побледнев, бросился к нему, поднял и начал было качать на руках. Но Номи крикнула: «Не смей его трогать! Не смей!» – и Одед пришел в себя, вырвался из рук отца и стал прячется то за сестру, то за эвкалипт.

Люди за забором начали перешептываться, и тогда Рабинович, пытаясь укрыться от укоризненных взглядов соседей и испуганных глаз своих детей, бросился на сеновал и принялся колотить там все, что попадалось под руку, пинать и рвать мешки с комбикормом, расшвыривая их содержимое с такой яростью, что, в конце концов, весь комбикорм, к великому изумлению коров, превратился в порхающие над стойлами клочья, а сам Моше обессилено свалился на землю.

«Выйди, выйди сейчас же, Тоня!» – разносился по деревне его страшный рев, собравший ко двору тех немногих, кого еще не созвал запах. Все теснились на том почтительном расстоянии, на которое раздвигается толпа, когда вдруг появляется бешеная собака или нехолощенный бык вырывается из ограды. Опасаясь приблизиться, они пытались издали успокоить Моше своими криками, призывая его вернуться в дом.

В конце концов, Одед пришел в себя и поднялся на сеновал, и когда он

схватил отца за руки и потянул на себя его широкое тяжелое тело, оно вдруг стало легким, как перышко, и поднялось с земли.

Моше позволил мальчику привести себя домой и там рухнул на кровать и уснул. Он проснулся лишь наутро, под рассерженное мычание коров. Закончив дойку и отослав детей в школу, он оседлал коня и поскакал в соседнюю деревню.

«Скажи той своей женщине, чтобы она приезжала», – сказал он Менахему, даже не спешившись.

«Подожди, Моше, дай коню поесть и попить, присядь, поговорим немного», – предложил Менахем.

«Не сегодня, Менахем, – попятил коня Моше. – Напиши побыстрей, пусть приезжает».

«Весна приближается, Моше, – засмеялся Менахем. – Если мы не поговорим сегодня, тебе придется ждать, пока не кончится Песах».

«Я подожду. Напиши ей сегодня же. Пусть приезжает».

Он пнул коня пятками в живот и поскакал домой.

## 23

«Еще сладкого?»

«Да», – сказал я.

Снова кипятится вода, и отделяются желтки, и отдает свой аромат вино, и окунается палец.

«Каждый раз получается немного иначе, – усмехнулся Яков. – Может быть, недостает немного жира от старой падали, а?»

Он поставил на стол бокал, сияющий и прозрачный, как крыло стрекозы, вложил в него ложечку и придвинул ко мне.

Не дожидаясь его указаний, я закрыл глаза и открыл рот. Я слышал, как он вздыхает, выливая содержимое ложечки мне на язык.

Слова не могут описать ту сладость, которую мне по сей день так и не удалось ни разу воспроизвести. Много лет уже прошло с нашего первого ужина, но воспоминание о его заключительном блюде и сегодня еще ласкает мое нёбо и притом так отчетливо и сильно, что порой, ковыряя в зубах зубочисткой, я то и дело выковыриваю из-под коренных зубов схоронившуюся там одинокую молекулу тогдашней сладости.

«Знаешь, что ты ешь?» – спросил Яков.

Я помотал головой из стороны в сторону.

«Эта итальянский десерт».

Я боялся, что, если открою рот, весь этот хороший желтоватый вкус сразу же улетучится.

«Когда-то у меня было много канареек», – сказал Яков.

Я кивнул, снова закрыл глаза, и Яков вылил мне в рот еще ложечку счастья и потрясения.

Он испытующе посмотрел на меня, как будто хотел узнать, что еще мне

известно. Я ожидал, что он спросит: «Почему ты сделал мне это зло, Зейде?», – но он не подозревал, и не знал, и не спросил, ни во время того ужина, ни во время последующих, и только поинтересовался: «Тебе вкусно?»

Вот и наступила та минута, когда я вынужден был проглотить то, что держал во рту. «Очень вкусно, – сказал я. – Самое вкусное, что я ел в жизни».

«Может, хочешь послушать музыку?» – спросил Яков.

Он окунул два пальца в миску и с удовольствием облизал их. «Сколько сил дает этот желток, – сказал он. – И сколько жизни».

Было уже поздно. Со стены на меня смотрела пугающими глазами самая красивая женщина в деревне. Десерт Якова навевал на меня сонливость.

«Хорошо», – согласился я.

Он положил пластинку на свой граммофон, покрутил ручку, и скрипучая танцевальная музыка разлилась по комнате.

«Это танго, – сказал Яков. – Здесь, в деревне, это не танцуют. Это танец любви и свадьбы, для мужчины и женщины. Танго – это трогать, прикасаться. Ты знал это, Зейде?»

Он продолжал сидеть, но два его пальца танцевали по столу, как две маленькие ноги, оставляя желтоватые следы сладости на дощатой поверхности.

«Если хочешь, Зейде, я научу тебя этому танцу».

«Не сейчас», – сказал я.

«Это танго, – сказал Яков, – это такой танец, что никакой другой на него не похож. Это единственный танец для двух людей, который человек может танцевать в одиночку. Его и сидя можно танцевать, и лежа можно, и даже во сне. Деревенский Папиш сказал о нем когда-то, не забуду, как он красиво тогда сказал: "Танец, где нет ведущего, танец подавляемой страсти и нарастающей тоски". Этот Папиш, он временами говорит так красиво, что прямо болит сердце его слушать».

Двенадцать лет мне было тогда, и я немного испугался и хотел уходить.

«Я не хочу учиться сейчас танцевать», – объявил я и поднялся с места.

«Конечно, не сейчас, Зейде, – засмеялся Яков. – Ты ведь еще мальчик. Когда-нибудь, когда у тебя будет свадьба, я тебя научу. Мужчина должен уметь танцевать танго на своей свадьбе. Я научу тебя всему, что нужно знать перед тем, как человек женится».

«Я никогда не женюсь. Мне нельзя!» – решительно сказал я, и мои ноги уже вели меня к двери.

Мы вышли в маленький садик. Большие маки уже увяли. Высокая желтеющая трава щекотала ноги, медленно танцуя под ветром. Яков Шейнфельд положил руку мне на плечо и наклонился ко мне так, что его щека коснулась моей. Его губы прикоснулись к моему виску, словно в поисках ответа и успокоения, тотчас отпрянули, почувствовав, что я весь напрягся, и Яков снял руку с моего плеча.

«Ты не обязан навещать меня, Зейде, – сказал он. – Ты не обязан даже здороваться со мной на улице. Я уже привык. С тех пор как Ривка ушла, а

Юдит умерла, я остался один. Но через несколько лет я приглашу тебя на наш следующий ужин, так ты приходи».

Тонкий белый шрам на его лбу, заметный даже в темноте, вдруг стал незаметен, и я понял, что он покраснел.

«Хорошо», – сказал я.

Я шел домой. Теплая ночь начала лета окутывала мое тело. Ощущение было таким приятным, что мне казалось, будто я плыву. Сладость вина и сахара дышала у меня во рту, и я знал, что она уже никогда оттуда не исчезнет, даже после того, как исчезнет из моей памяти.

Запах дыма и гари поднялся в воздух. Вдали загорелся костер, и в его свете танцевали черные и красные силуэты.

Я побежал к ним. Это были мои одноклассники. Они плясали вокруг огня, швыряя в него личинок саранчи.

«Так ты придешь?» – крикнул откуда-то сзади Яков.

«Приду!» – крикнул я в ответ.

Я водил языком по зубам, справа налево и слева направо, туда и сюда. Я бежал от него, прижимая язык к нёбу и глотая сладкую слюну, а она всё натекала и натекала мне в горло.

*Перевод с иврита Рафаила Нудельмана и Аллы Фурман*

**Новый альбом Ларисы Герштейн**

*36 романсов и песен бардов  
на русском и иврите*

**2 диска**

**ЛАРИСА ГЕРШТЕЙН**  
*Песни бардов*

**לָרִיסָה גֶרְשְׁטַיִן**  
*שירי חזנים*

*לפני הירוקים  
קודם ירוק*

В Израиле – ₪50  
В США и России – \$25  
В Европе – €20

Справки по телефону:  
(Иерусалим) **02-5325931**  
или по электронной почте:  
**omegag@bezeqint.net**



инженер, «Почетный энергетик РФ», автор ряда книг и статей по электроэнергетике. Живет в России.

## ПИСЬМА ЛУЦИЮ\*

### Письмо XXI

20.11.2004 г.

Станислав приветствует Луция!

Пилюлей от старости нет и никогда не будет. Обмануть бога смерти, Таната, причем два раза, удалось разве что легендарному Сизифу, царю Коринфа.

Сначала, предчувствуя приход своей смерти, он набросился на пришедшего за ним Таната и заковал не ожидавшего такой наглости старца в цепи. И люди перестали умирать.

Возможно, боги долго бы не замечали обретенного людьми бессмертия,

---

\* К сожалению, предыдущие 20 писем, как и все ответы на мои письма Сенеки, потеряны и, по-видимому, уже безвозвратно. Мне так и не удалось отыскать их среди своих старых бумаг. Но, познакомившись с «Нравственными письмами к Луцилию», написанными Луцием Аннием Сенекой в последние годы его жизни, я понял, что одну и ту же конкретную тему, интересовавшую его в какое-то определенное время, он развивал во всех письмах к своим адресатам того же периода. Я и сам неоднократно пользовался этим приемом. Когда, например, ко мне стали приходить внушительные пачки писем от читателей моих статей, время от времени публиковавшихся в одном из журналов по пчеловодству, я группировал полученные письма по темам и отвечал одним письмом всей группе, изменяя, разумеется, имена и фамилии адресатов.

«Нравственные письма к Луцилию» помогли мне отмести все возможные обвинения в фальсификации представленных читателю писем и обсуждаемых в них тем. Обо всех обнаруженных мною совпадающих местах в письмах, отправленных Сенекой обоим адресатам, я делаю соответствующие ссылки.

если бы те продолжали приносить им жертвы, провожая в загробный мир души усопших.

Истинная вера в богов требует настоящих жертв.

Лишившись привычных жертвоприношений, боги забеспокоились и направили в наш мир проверяющих, которые быстро разобрались в случившемся.

Таната освободили, а душу Сизифа не мешкая доставили для объяснения в верховный совет потустороннего мира.

Перед отправкой Сизиф выпросил несколько минут для прощания с женой и в последнее мгновение шепнул ей, чтобы уход его не оплакивали, тело не предавали огню и не приносили в его честь жертвоприношений.

Когда подошла очередь Сизифа рассказать совету обо всем содеянном за время прежней жизни и выслушать соответствующее заключение, его дело не могли начать из-за отсутствия жертвоприношений. Очередь несколько раз передвигали, чтобы не тормозить работу совета, но, в конце концов, решили выяснить причину недоразумения у самого Сизифа.

Тот объяснил, что всему виной бестолковая натура его жены, и попросил отпустить его, чтобы все формальности по его переходу в новое состояние устроить самому.

Боги согласились и отпустили его.

Так Сизиф оказался единственным смертным, кому удалось вернуться в этот мир второй раз. Это событие Сизиф отметил грандиозным пиром, который продолжался бы до сих пор, если бы боги, так и не дождавшись возвращения Сизифа, вновь не направили за ним посыльных. Пораженные неслыханным коварством, те тут же доставили его душу на совет и уже безо всякой очереди и жертвоприношений приговорили к вечному закатыванию на вершину горы огромного камня, который, в соответствии с утвержденным сценарием, у самой вершины вырывается из рук Сизифа и скатывается вниз. Бедный Сизиф, обливаясь потом, снова толкает камень вверх, у самой вершины тот снова срывается и катится вниз. И так повторяется снова, снова и снова.

Я рассказываю эту хорошо тебе известную, Луций, историю только затем, чтобы вслед за мною ты рассмотрел ее под несколько иным углом зрения.

Сизиф захотел достичь бессмертия с помощью обмана высших сил и насилия над самой смертью. Этого делать нельзя.

Боги оказались мудрее и обеспечили бессмертие его душе, вменив ей в виде наказания особый вид вечного труда, кажущийся на первый взгляд абсолютно бессмысленным. Но вся тонкость в том, что для выполнения этой работы Сизиф должен постоянно поддерживать свое тело в надлежащей физической форме. Ведь душа бестелесна и без помощи тела не в состоянии закатить камень на гору или выполнить какую-нибудь другую работу, требующую физических усилий.

Далее. В этой истории никто не обращает внимания на тот факт, что в



заданной ему ритмичной работе не определена периодичность цикла. Камень катится вниз. Сизиф спускается за ним. Но как спускается? Бегом или не спеша, используя время спуска с горы для отдыха? Если он не успеет отдохнуть, то у него просто не хватит сил для следующего подъема.

Продолжая рассуждать в этом направлении, начинаешь понимать, что для возможности вечного труда тело Сизифа должно постоянно получать пищу и воду. Ведь он обливается потом и должен компенсировать потерю влаги.

Итак, Сизифу нужна пища, вода, полноценный сон, жена, для приготовления той же пищи и выполнения других супружеских обязанностей. И он снова 1 или 2 раза до обеденного перерыва докатит свой камень до роковой черты и столько же раз до ужина. И если после проведенной с женой ночи он поблагодарит ее за приготовленный с любовью завтрак и снова примется за вмененные ему обязанности, то он ни на йоту не нарушит волю богов и будет не только вечно трудиться, но и, как ты сам понимаешь, вечно жить.

И эта жизнь в потустороннем мире по своей сути ничем не будет отличаться от прежней жизни в нашем бренном мире.

Вечная жизнь неотделима от вечного труда.

Вот это не видят смертные и поэтому ужасаются судьбе Сизифа, вместо того чтобы завидовать ему.

И если ты пишешь, что «те, кого мним мы исчезнувшими, только ушли вперед»\* (LXIII, 15), то лучше уступать свою очередь как можно дольше, но без вечного труда это, если я убедил тебя, невозможно.

Будь здоров.

## Письмо XXII

11.12.2004 г.

Станислав приветствует Луция!

Я не думал, что Паулина так близко примет к сердцу приведенную в предыдущем письме историю потусторонней жизни Сизифа, отнесется к ней, как возможности воссоздания в царстве Аида полноценной семейной жизни и пообещает не оставлять тебя на том свете.

Я имел в виду совершенно другое. На примере Сизифа я хотел показать, что одним из условий продолжительной жизни на этом свете является физический труд, труд до пота, постоянный, непрерывный, а главное – заданный, или, скажу мягче, удобный высшим силам.

Отмеченные тобою несоответствия в моем описании делопроизводства царства Аида отнеси на несовпадение во времени сроков нашего пребывания на этом свете.

---

\* Здесь и далее указаны номера писем Л. А. Сенеки в его книге «Нравственные письма к Луцилию» в переводе С. А. Ошерова (М.: Наука, 1977).

Неужели ты серьезно веришь, что брат всемогущего Зевса, Аид, и его жена Персефона сами разбирались в земных прегрешениях вновь прибывших в их владения?

В одной только сегодняшней России приблизительно через каждые 15 секунд этот мир покидает один человек. Поставь себя и Паулину на место этой правящей в царстве теней супружеской пары и попробуй вместе с ней беспрерывно поработать в таком темпе.

Боги бессмертны по определению и, в отличие от нас, простых смертных, им незачем поддерживать свое существование каким-либо трудом. У них совершенно иной образ жизни и другие ценности.

Помнишь, уже в самом начале «Илиады» Гомер писал, что богиня Фетида, мать оскорбленного Агамемноном Ахилла, не могла тут же обратиться за помощью к Зевсу, потому что тот отправился в длительную командировку с сопровождающим его сонмом бессмертных на пир к непорочным эфиопам и возвратится на Олимп лишь через 12 дней. А ты уверен, что в этой свите не было и его брата Аида?

Позволь также напомнить тебе, чем был занят Зевс и его свита сразу же после возвращения от эфипов.

Это был банкет, посвященный благополучному завершению предыдущего пира.

Какие уж тут могут быть индивидуальные и справедливые приговоры, штампующиеся в 15-секундном темпе на каждого вновь представившегося усопшего!

Все эти дела, Луций, рассматриваются в районных отделениях Управления Верхнего Дознания, а Зевс только утверждает подготовленные для него списки с вынесенными там решениями.

В таком же положении находится и Танат.

Самолично он посетил Сизифа лишь в первый раз. Все-таки – царь Коринфа...

Сизиф знал, что прежде чем Танат унесет с собой его душу, он по принятому ритуалу сострижет с его головы прядь волос, чтобы та вечно хранилась в банке живших на этом свете. Это нужно будущим генетикам для исследований временных изменений биологической структуры человеческого тела.

Готовясь к встрече с Танатом, находчивый Сизиф выбрил до последнего волоска не только голову, но и все места, где у человека растут волосы. Пока Танат стоял в растерянности над ним с ножницами, размышляя, как выйти из создавшегося положения, Сизиф и набросился на него с наручниками.

На твоё замечание по поводу неизбежного превращения человека однообразным бессмысленным трудом в лошадь или осла, могу сравнить эту работу с работой сердца или любого органа в нашем теле. Ты же не станешь отрицать, что сердце – это живой организм, с каким-то своим неведомым нам уровнем сознания, и его работа необходима всему организму. И

если вот это индивидуальное, лично твое сердце понимает свое значение в обеспечении нормальной жизнедеятельности всех внутренних органов твоего тела и, в конечном итоге, твоей жизни в целом, оно не будет испытывать какой-либо неудовлетворенности.

Мало кому из нас удастся понять роль, которая отводится ему во время подаренного нам недолгого посещения этого мира.

Думаю, что у нас еще будет возможность обсудить эту тему более подробно.

Будь здоров.

## Письмо XXIII\*

4.01.2005 г.

Станислав приветствует Луция!

Поздравляю тебя с днем рождения.

62 года – это достаточно солидный возраст, но не настолько древний, чтобы считать себя старой развалиной. Это утверждаю я, почти твой ровесник, который моложе тебя всего на несколько месяцев, если, конечно, не считать тех двух тысяч шести лет, на которые судьба разнесла время нашего пребывания в этом мире.

Для тебя сейчас начался  $753 + 61 = 814$  год со дня основания Рима. Но, должен тебе сказать, что через 264 года, т. е. в  $814 + 264 = 1078$  году к этому летоисчислению, введенному великим Юлием Цезарем  $46 + 61 = 107$  лет назад, присоединилась христианская церковь. Ну и что, казалось бы, интересного в этом факте? Дело в том, что уже тогда влияние христиан настолько окрепло, что они взяли на себя право управления этим фундаментом общения между собой людей, отделенных друг от друга толщей времени. А еще через 200 лет по предложению римского монаха Дионисия Малого они решили изменить само начало его отсчета и стали отсчитывать время от дня рождения основателя своей религии, Иисуса из Назарета, твоего современника, который моложе тебя всего на год.

История цивилизации оказалась распластанной на две части – до рождения Христа, которую называли «до новой или нашей эры», и после рождения Христа, ставшую началом отсчета «новой эры».

По этому календарю, например, Цицерон родился не 3 января 647 года, а 3 января 106 года до новой эры. Дату его рождения теперь рассматривают как бы с другой стороны бесконечной шкалы времени. Точно также и твоим годом рождения теперь считается не 752 год со дня основания города, а первый год до новой эры. Соответственно, дата перехода христианской церкви на юлианский календарь  $1078 - 753 = 325$  год новой эры, и т. д.

---

\* Интересно проследить изменения в системе летоисчисления, которые провели люди за прошедшие две тысячи лет. В 525 году папский архивариус Дионисий Малый предложил считать время от «Рождества Христова» (от «нашей эры»).

В 1582 году (эту, как и все последующие даты, я буду приводить уже только для привычной мне новой эры) папа римский Григорий XIII уточнил этот календарь и передвинул отсчет дней на 10 дней вперед. После 4 октября 1582 года тогда сразу наступило 15 октября. И это было правильно. Накопившаяся ошибка в юлианском календаре произошла из-за того, что земля совершает один оборот вокруг солнца в среднем не за 365,25 суток, как было принято в прежнем календаре, а чуть быстрее. Эти «чуть» составляют всего 0,0078 дня за один год, но за каждые 128 лет из них набегает один сутки. Вот Григорий XIII всю накопившуюся разницу из календаря и убрал.

Чтобы ошибка больше не накапливалась, в новом календаре, который с тех пор стал называться григорианским, из каждых 400 лет стали удалять по 3 дня.

В XX веке на григорианский календарь перешли практически все страны мира, хотя некоторые из тех стран, в которых государственной религией христианство не является, ведут двойной счет времени. Да ведь и каждый из нас ведет двойной счет времени: со дня своего рождения и от общепринятой точки отсчета. И хотя я с тобою полностью согласен, что мы, в большинстве своем, так и не научились ценить главное наше богатство – срок нашего пребывания на этом свете, но позволь мне не согласиться с тобой в том, что «поздно быть бережливым, когда осталось на донышке. Да к тому же остается там не только мало, но и самое скверное» (1, 5).

Во-первых, мы не знаем, на сколько лет или дней отстоит от сегодняшнего мгновения наше «донышко», а, во-вторых, «самое скверное», уготованное нам на этом свете, может быть, уже давно выпито.

Нам не дано определить глубину сосуда, который вручается каждому при рождении заполненным и отнимается опустошенным при расставании с этим миром. Но в наших силах поддерживать в чистоте его содержимое и хотя бы не засорять оседающим на дно «скверным» мусором.

Будь здоров.

*Н.В.* Отправляясь на работу, по утрам я вместо завтрака уже много лет выпиваю стакан холодной воды с разведенными в ней двумя- тремя чайными ложками меда. На тщательное размешивание никогда не хватает времени. Поэтому на дне стакана всегда остается самое сладкое.

## Письмо XXVI

27.11.2005 г.

Станислав приветствует Луция!

Извини, что не смог сразу тебе ответить.

Оправдываюсь лишь тем, что, во-первых, в своем письме (LXXXIV, 1, 4, 5, 6) ты ненароком затронул столько разных тем, что мне понадобилось некоторое время на обдумывание ответа.

Ты пишешь, что пристрастие к наукам делает тебя ленивым и мешает

заботиться о теле. Не тебя одного. Большинство осознает это слишком поздно, когда подаренное им сокровище уже успеет превратиться в трухлявую развалину. Определенный опыт по этой теме у меня есть. Я и сегодня, на 64-м году жизни, пробегаю 15 стадий\* меньше чем за один час и стариком себя не считаю. Бегом занимаюсь профессионально и в свое время получил звание кандидата в мастера спорта по сверхмарафонскому бегу. Но я еще не решил, в какой форме передать тебе свои наработки по этой теме и надеюсь сделать это в следующих письмах.

Получилось так, что в своей жизни я занимался профессионально не только бегом, но и пчелами. Закончил специальные курсы и имею диплом пчеловода. Собранный пчелами цветочный нектар не является медом. Они сгущают его, обогащают своими ферментами и постепенно превращают в тот изумительный продукт, который человек до сих пор не может воспроизвести искусственно. И если бы ты знал последовательность процесса превращения цветочного нектара в пчелиный мед, ты бы никогда не говорил, что в подражание пчелам нужно «вычитанное из разных книг разделять, потому что порознь все сохраняется лучше, а потом, употребив все тщание и все способности ума, слить разные пробы и добиться единого вкуса». Если у тебя возникнет желание, мы и об этом можем поговорить, но также в следующих письмах.

Ну и ты совсем неправ, когда пишешь, что съеденная пища плавает в желудке твердыми кусками. Этого нельзя допускать ни в коем случае. Даже если у тебя уже нет зубов, ни в коем случае нельзя отправлять в желудок твердые куски пищи. Только после того как я переосмыслил характер работы своего собственного желудка и вопреки всем наставлениям лечащих меня врачей полностью перестроил ритм его работы, у меня появился шанс жить на этом свете полноценной социально активной жизнью еще какое-то время. Об этом, сам понимаешь, тоже в одном письме не расскажешь.

Во-вторых, все выходные и праздники в теплое время года я провожу на своем крошечном загородном участке земли, площадью 30х30 м<sup>2</sup>, так называемой даче, на которой вместе с женой уже много лет выращиваю овощи, незатейливые местные фрукты и цветы. С прагматической точки зрения – это занятие абсолютно бессмысленное (вспомни Сизифа!), так как оплата одной моей рабочей недели на основной работе сопоставима со стоимостью выращенной нами продукции за весь летний сезон.

Ты, конечно, можешь возразить мне с явной или скрытой обидой, что исполнение моих причуд не может служить серьезным оправданием столь длительного перерыва в едва наметившейся переписке между нами. К тому же я не должен забывать, что «*Bis dat, qui cito dat*»\*\*. Но как раз с этим,

---

\* Одна римская стадия равняется 185 м. Это расстояние, которое проходит человек спокойным шагом за время восхода солнца, т. е. за две минуты.

\*\* *Bis dat, qui cito dat* – «Вдвойне дает тот, кто дает скоро» (из Публиция Сира; римский поэт, I в. до н. э.).

обретшим бессмертные крылья выражением, позволю себе не согласиться. А в доказательство приведу лишь один свежий пример.

*Cito* переводится с латинского языка на русский, как «скоро, быстро, вовремя». Я часто встречал его в выписанных мне рецептах, когда с помощью различных лекарств пытался отползти от края пропасти, отделявшей меня от потустороннего мира. Около тридцати лет назад мне пришлось заглянуть в эту пропасть, и, признаюсь тебе, это были не самые лучшие годы моей жизни.

Иногда после *cito* стояло несколько восклицательных знаков, иногда его подчеркивали жирной чертой, но всегда оно однозначно воспринималось криком о помощи – *Срочно!!!* В такой интерпретации получается: «Сделавший срочно, выиграет дважды».

Но я попробую всего на двух недавних примерах из своей практики показать, что это не всегда так.

На своей даче я уже несколько лет пытаюсь получить за один сезон два урожая картофеля. Для этого весь посадочный материал разделяю на две части и первую часть высаживаю весной, а вторую – в июле, после уборки созревшей ранней картошки первого урожая. И каждый раз по различным причинам полноценный второй урожай получить мне не удавалось. В полном соответствии с приведенной выше формулой Публиция Сира второй урожай был примерно в два раза хуже первого. Наконец, я осознал, что дело тут не в частных деталях. Поздняя посадка картофеля, когда упущены ее естественные, определенные самой природой сроки возделывания, и должна дать худший результат.

У русских еще говорят: «Хороша ложка к обеду».

О своей технологии возделывания картофеля и сделанных мною общих выводах я подготовил обстоятельную статью с подробными фотографиями, но отправлять ее для публикации в журнале не торопился, так как работа получилась какой-то вымученной, вялой, без изюминки, словно годовой отчет бездарного аспиранта.

И вот однажды один из моих коллег по основной работе поделился своим опытом и предложил мне посадочный картофель делить не на две, а на три части, причем третью часть в текущем году не высаживать вообще, а оставлять в погребе до будущего сезона.

Я и сам знал, что случайно забытая в погребе картошка прорастает длинными бесцветными ростками. На этих ростках к концу зимы появляются маленькие картофельные шарики с блестящей кожурой, величиной с вишню или круглую виноградинку. Обычно этот мусор выбрасывают, а он уже несколько лет экспериментирует с ним, отделяет шарики от ростков и высаживает в следующем сезоне почти по обычной технологии.

Я тоже попробовал. Оставил на вторую зимовку несколько картофелин и посадил без особой надежды полстакана образовавшихся за зиму шариков. И вот в этом только что прошедшем чрезвычайно сухом и неурожайном для картофеля сезоне получил полведра отлично сформированных крупных клубней, что больше обычного урожая не то что в два раза, а раз

в сто. Получается, что «Bis dat, qui cito dat, sed (но) ter (трижды) decies (десятикратно) sept (accipio, cepi, septum) (получит), qui tarde dat» (Дважды дает, кто быстро дает, но трижды (десятикратно) получит, кто поздно дает).

Я снова отвлекся от заданных тобой вопросов и, чтобы не затягивать ответ, отправляю это письмо в таком виде.

Будь здоров.

*Н.В.* Я бы не вспомнил этот случай, если бы сам не оказался в роли картофельных шариков, сумевших с поражающим эффектом использовать время подаренной им новой жизни.

Признаюсь тебе, что месяц назад одновременно поступил на курсы китайского и латинского языков. На латинском молчу, так как пока нет времени на подготовку домашних заданий и усваивание заданного материала. Китайским же занимаюсь на равных с детишками. Какие-либо выводы делать еще рано, но, надеюсь, что, помимо общей для всех слушателей цели, эти занятия окажутся эффективным лекарством от угрозы надвигающейся амнезии.



Альбом (2 диска)  
с 36 песнями  
Булата Окуджавы  
на русском и иврите –  
в исполнении  
**Ларисы Герштейн**

В Израиле – ₪50  
В США и России – \$25  
В Европе – €20  
(Цены включают доставку по почте)

Справки по телефону: (Иерусалим) 02-5325931  
или по электронной почте: [omegag@bezeqint.net](mailto:omegag@bezeqint.net)



литератор, автор книги «Milky Way и другие кровельные работы» (Иерусалим–Москва: Изд-во «Гешарим–Мосты культуры», 2003). Живет в Израиле.

## ТОЛКИ У ПРИТОЛОКИ\*

У наших предков в Древней Иудее была довольно нетипичная для их эпохи манера каждые семь лет, хоть тресни, отпускать на волю раба. Некоторые, случалось, от таких роскошей отказывались. Задолго до чеховского Фирса они хорошо понимали, что воля – это несчастье. Хозяева в таких случаях оставляли за ними право выбора, но людей этих метили особым образом, пригвождая за ухо к притолоке. В дальнейшем раб, свободно выбравший рабство, до самой смерти ходил с лишней дыркой. Пирсинг железного века, вроде как у Вия. То-то нынешние все в сережках.

Нет, без булды: много ли вы встречали свободных индивидов, не считая себя? Лично я за всю жизнь – не больше десятка, и то *par excellence* это были пропащие забудыги. Правда, недавно мне попался один непьющий и некурящий, довольно вольная с виду птичка. Но в принципе (считая себя, и себя – особо пристрастно) я, как правило, смотрю на встречаемых и думаю: «Здравствуй, брат раб! Как звенится твоим оковам? Как позвякивается цепям?»

Видимо, свобода – нечто очень интимное, генетическая такая флюктуация, большинству абсолютно не свойственная. Потому оно и подавляющее. Мне раньше казалось – и отчасти так было, – что мою жизнь погубила похабная, выражаясь беззастенчивым ленинским слогом, советская власть, считавшая меня не более чем вздорным, с нелепыми претензиями, рабом. Но странное дело: когда этот нарыв лопнул, залив гноем и сукровицей полсвета, я не почувствовал себя намного счастливее. Так сошлось, что как раз к тому времени мы с моим организмом докатились до полтинника и наконец-то собрались в Израиль, но тройное это освобождение ни от чего нас не освободило. Страх, может быть, и не худший из пороков, однако, несомненно, самый противный, вроде запаха изо рта, а я, как выяснилось, боялся всего, самоутешительно полагая это интеллигентностью.

Боюсь и сегодня.

---

\* Предлагаемая подборка эссе взята из готовящегося к печати сборника «Несвобода небосвода».



Боюсь, в частности, что, совершив по требованию жизни множество выборов – а свобода, говорят, именно в этом и заключается (характерное, между прочим, сочетание слов!), – я всякий раз выбирал только между верхними или нижними нарами, между небом в клеточку или в полосочку, между короткой и очень короткой цепью. Конечно, возросшая (для меня) откровенность, почти нескрываемая нагота этих дилемм делает их несколько менее пошлыми, но отнюдь не менее отвратительными. Конечно, понимать, что от тебя ничего не зависит и что, в сущности, никто твоего мнения не спрашивает, лучше, чем наворачивать вокруг себя и своей роли в собственном бытии самодовольные глупости; но в этой ослепительной голизне иногда позывает на сивуху даже абстинента. А если думать дальше, то невольно запнешься: может, честнее было бы подкидывать монету?

Есть еще, вспоминается, такое интересное понятие, как совесть, неопределенность которого отчасти возмещается теми же страхами. Не стоит, однако, забывать, что и она, если на то пошло, всегда прикидываясь оружием освобождения, была и остается сама по себе только более или менее лицемерным сводом запретов. То, что мы именуем благом и даже ощущаем как благо, чаще всего соседствует с каким-нибудь табу, если попросту не является им. Похоже, что человека, в отличие от холопа и хама, определяют в основном принятые им ограничения. Стало быть, свобода здесь почти ни при чем. Человек – это то, что остается после усвоенных им «нельзя».

Жизни мне тоже осталось не слишком много (вся ушла в нети), и с моими довольно отвязанными мозгами (вот уж где воли – завались!) я вряд ли успею додуматься до чего-нибудь путного. Скорее наоборот. Мне почти удалось научиться почти не обманывать, хотя обманываюсь я по-прежнему частовато. Я почти всегда в последнее время ставлю точку слишком рано, хотя порой все-таки слишком поздно. Своих страхов я почти никому не показываю, так что за интеллигента меня принимают все реже. А свобода... Бог с ней! В последний раз я почувствовал себя свободным, когда указал прохожему дорогу. Да и тот, поблагодарив, пошел в противоположную сторону.

## БЕЗ МЕТАФОР

Я стоял на плоской крыше нашей пятиэтажки, куда администрация в конце концов вытеснила курильщиков с редакционного этажа, и, дыша тишиной перед началом рабочего дня, лениво прикидывал, что вот скоро и подышать, а на бильярд мы с ребятами так и не скинулись, да и на шашлыки никто не зовет.

Внизу гудел и завывал Аялон, довеку запомнивший застывшую в небе луну. Пробежал, прищепывая, полупустой состав, машины в обе стороны наддавали, сотрясая фундаменты. Блестела мусорная, в бетонных доспехах речка. Меж бурьянов истово чистился одноглазый пятнистый кот.

Гость осторожно постучал пальцем мне в спину. Я вздрогнул и обернулся.

– Послушайте, – сказал я, чуть не плача, – мы работаем с половины восьмого. Сейчас шесть. Кто вас впустил? Разве нижняя дверь не заперта?

Он развел руками. Рукописи в них не было. Оружия тоже. Вообще он не был похож на террориста, хотя черт их знает, на кого они должны быть похожи.

– Я тут случайно, – сказал он неожиданно низким голосом.

– Ну да! – я возвел глаза к небу. – Что же за случай?

Он помедлил, как человек, которого сбили с мысли.

– Случай – это событие с вероятностью 0,5 и меньше.

– Вот как? А если вероятность ниже нуля?

– Тогда это чудо.

Я немножко приободрился. По меньшей мере, семь ненормальных присылают мне письма от имени Мессии. Двое – в стихах. Только ослика пока не приводили, и то потому, что в подъемник он не влезает.

– Кстати, лифт еще выключен, – сказал я. – Вам, может быть, главного надо? Он бывает к десяти.

– Нет, мне нужны вы, – буднично отозвался он. – А закономерности вас не интересуют?

– Только второго и третьего порядка. Например, какая закономерность определяет вероятность того или иного случая? И есть ли закон для чудес?

– Это все арифметика, – заметил он. – Но у нас еще будет время поговорить об этом.

– Имейте в виду, – предупредил я, – на работе я работаю.

– А потом?

– Потом домой. Собачку погулять, в лавку смотаться... Вы, собственно, ко мне с чем?

– Вы напрасно впадаете в отчаяние, – сказал он, осторожно заглядывая за паравет.

Я ошетинился.

– С чего вы взяли, что я впадаю? Я, может, наоборот – выпадаю...

– Все очень просто, – объяснил он. – Отчаяние настигает человека от избытка случайностей при дефиците чудес.

– То есть?

– Самый тривиальный, под ногами валяющийся пример – случайность рождения, допустим, кошки, продиктованная еще более случайной встречей ее родителей. Зависеть от Бога или, в крайнем случае, от завхоза – куда ни шло. Но быть обязанным жизнью случаю – для вас, я понимаю, унижение крайнее...

– Во-первых, это кот, – возразил я. – А некоторые, во-вторых, вообще утверждают, что жизнь на Земле возникла случайно, хотя и признают, что это исключено.

– Вот именно, – кивнул он. – Так что зря вы тянете одеяло на себя. Вас что больше устроит – чудо или закономерность? Или все-таки Бог? В конце концов, таблетки хуже.

– Я ими не пользуюсь, – сухо сказал я. – Вернемся к вашему делу.

– Да дел, по правде, у меня почти нет. Вижу, человек свешивается с крыши – вот и заглянул, чтобы вы не отчаивались.

– Очень любезно с вашей стороны, – мне стало неловко. – Но я и не собирался... А вы теперь куда?

– Мало ли, – он неопределенно повел рукой. – У вас когда открывают двери?

...Ложась спать, я поворачиваю ключ в замке, поправляю подушку, привычно взглядываю на белую стену и вижу шесть прямоугольников в рамках: четыре фотографии, одну картинку и одну молитву, оставшуюся от прежних хозяев квартиры. Это – благословение кровя. На картинке – китайский пейзаж с горами и соснами, обвитыми дымкой. В Китае я не бывал, но был в Испании и читал где-то, что это одна и та же земля. На фотографиях – я с сыном, еще маленьким; родители жены – их, увы, уже нет на свете; покойная теща с моими детьми и мои внуки в цвету. Есть еще круг – настенные часы с черным ободком. Они ходят исправно, но их надо подзаряжать. Меня тоже. Это и есть жизнь без метафор. Седьмой прямоугольник – выключатель.

## КАК В ПРОШЛОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ Я КРЕПИЛ РУССКО-ТУРЕЦКУЮ ДРУЖБУ

Любите ли вы Лермонтова? У него, кто знает, есть юношеское стихотворение – «Жалобы турка», уже не помню про что, но очень трогательное.

А тут – шашлыки, море, Феликс Чуев с Молотовым на топчане и проч. На каменистом огороженном пляже – изысканные визги, за спиной сладострастно стенает ярко-зеленый, вымокший в грозах Кавказ, масляный мачо Вахтанг печет хачапури у пирса, задерживая в жирных смуглых ладонях бледные пальчики писательских дочек. В столовой – харчо из знаменитостей, по вечерам чуть ли не хоровой кружок, и с каждым часом все отчетливей понимаешь, что именно квелая интеллигенция довела вселенную до энтропии.

Ночью я спасаюсь от духоты на балкончике. Черное небо – в звездах, Черное море – в барашках; по извилистому, с кивающими пальмами шоссе из Гагры в Сухуми изредка пробегают машины, скреживая в воздухе фары и рождая на два-три мига влажные, с кровавой подсветкой, призраки. Досчитав до полста, бывает уснешь, благодушно попукивая от сытости, – спасибо СП.

Как-то в обед появляется жвачное, похожее на грызуна (таких всегда узнаешь по галстуку), и возвещает вместо вечернего кино встречу с прогрессивным турецким драматургом, не Хикметом, который уже помер, но вроде. Орхан, Кемаль, Юлдуз? Склероз!..

Я сажусь, как всегда, на камчатке, ближе к пурпурным портьерам, откуда смыться перекурить – милое дело. На сцену выходит высокий, синеглазый, в мужественных усах мужик и под легкий акцент на недурном русском наречии описывает литературным ледям с растопыренными от колец шупальцами, как его гнобил мировой империализм в лице Турции, этого мягкого подбрюшья

агрессивного блока НАТО. Вот и сейчас он с женой и дочкой прилетел из Парижа на поправку пошатнувшегося здоровья, а до того три года сидел за решеткой в Стамбуле. Отсюда (оттуда) – интересная бледность. Жена и дочка? Нет, не сидели – они жили во Франции на его гонорары от семи пьес, которые в то время шли, и сейчас идут, в двадцати театрах бывшей Блистательной Порты. Но в казематах так плохо и очень скучно, и его застеночный быт скрашивал только вид на Босфор в бензиновых разводах и гудки теплоходов...

Тут я не удерживаюсь и слишком громко произношу:

– Жалобы турка, а?

Как ни странно, реагирует он один, по-человечески засмеявшись, после чего слегка сбавляет тон и уже с милой улыбкой:

Рисует радуги живые  
На тучах жизни грозových.

Оборачивается из зала и его половина, такая себе Софи Лорен, хоть сейчас влюбляйся, но мне неловко.

На другой день мы знакомимся ближе, наши жены вместе едут на рынок в домтворческом спецавтобусе, дочери рядом плюхаются с причала и любуются на Вахтанга, а турок времени зря не теряет и прямо на пляже переводит на османский язык русских поэтов.

– Скажи-ка, – говорит он, – заграничный человек может это понимать?

– Что?

– А вот:

Изба-старуха челюстью порога  
Жует пахучий мякиш тишины...

– Почему нет? – удивляюсь я. – Очень просто. Знаешь, что такое старуха?

– Да. Солоухин, когда пьяный, так зовет мою жену.

– Н-ну, допустим. Только у Есенина она без зубов.

– Не может поставить? Мне в тюрьме поставили. В полиции выбили, а в тюрьме поставили.

– Видишь, какие... вставили! Тогда тебе по опыту известно, что без зубов трудно жевать. Знаешь, что такое жевать?

– Да! Жили-поживали, добра наживали.

– Нет, не то.

Я беру огрызок дочкиного хачапури и с демонстративным трудом жую.

– Понял?

– Понял! Это хачапури.

Турок – он турок и есть.

– Слушай, я тебе в другой раз объясню... Ты куда отсюда поедешь? Опять в Париж?

– Шайтан его знает... Наверно, в Париж. Если Москва даст денег. В Турции меня уже видеть не могут. А что такое «пахучий»? От слова «пах»?

– Нет, от слова «нос». Шпионить будешь на Коминтерн?

– Да, – без особой печали говорит он, – Турция очень пахучий. Я отсюда чувствую.

Вскоре они с семьей и грызуном уезжают на «волге», присланной из Сочи. Я целую руку его жены. Он усмехается, его дочка приглашает мою дочку в Париж. «Пари», – говорит она, мило картавя. Ночью я снова считаю машины и звезды, и мне одиноко и грустно.

## ПОЛОСКА СВЕТА

Дональд Рамсфельд, известный тем, что в юности чуть не запатентовал болт без резьбы, несколько лет назад поразил журналистов словами, для военных министров обычно не характерными. Вот что – *ad literam* – он сказал:

«Существуют вещи, про которые мы знаем, что мы их знаем. Существуют также вещи, про которые мы знаем, что мы их не знаем. Несомненно, должны быть вещи, о которых мы не знаем, что мы их не знаем».

Темой пресс-конференции были поиски в Ираке ядерного оружия, по сей день не увенчавшиеся успехом.

Обалдевшие журналисты врубались не сразу, но добросовестно записали изречение на магнитные ленты. В 2003-м британская организация «Филологи за нормальный английский» ([www.plainenglish.co.uk](http://www.plainenglish.co.uk)) присудила Рамсфельду приз за самую заковыристую фразу 2002 года, причем Джон Листер, представитель организации, усмехнувшись, заметил: «Мы думаем, что мы знаем, о чем он говорит. Но мы не знаем, знаем ли мы это на самом деле».

По-моему, ирония здесь неуместна. Насчет журналистов умолчу, но филологи могли бы проявить чуть больше смекалки.

Скончавшийся недавно Станислав Лем, размышляя в «Сумме технологий» о свободе действия организмов и искусственных устройств, выстраивает следующую лестницу творческой свободы: простые орудия (такие, как молоток) и орудия, сопряженные со средой, но не имеющие обратных связей, – например, пожарная сигнализация. Далее по восходящей следуют системы с обратной связью (скажем, автоматические регуляторы в паровых машинах), автоматы с изменяемой целью действия (например, компьютеры) и самопрограммирующиеся автоматы (к ним принадлежат животные и человек). Еще на одну степень свободы, пишет Лем, богаче те системы, которые способны для достижения цели изменять самих себя, будучи ограничены только материалом (примером может служить живой биологический вид в процессе эволюции). Эффектор еще более высокого ранга обладает также свободой выбора материала, из которого он сам себя строит (пример – «самотворение» космической материи или, добавим, сказочные оборотни). Наконец, завершает эту классификацию Лем, можно вообразить системы, которые, не довольствуясь выбором из того, что дано, создают материалы, во вселенной не существующие.

Откровенно говоря, сопоставляя блестящие конструкции Рамсфельда и Лема, я не вижу причин, мешающих какому-нибудь из прославленных уни-

верситетов присудить им обоим академическую степень *honoris causa*. Впрочем, может быть, у них уже есть одна.

Мы знаем, как устроен стол, во всяком случае, знаем достаточно хорошо, чтобы, если придется, сколотить его эффектором первой степени из подручных поленьев и досок. Мы слышали, что у некоторых бывает голова на плечах, но знаем также, что принцип работы человеческого мозга известен нам только в самых общих чертах – это типичный «черный ящик». Задействовав его и не теряя присущей нам скромности, мы просто обязаны предположить, что в окружающем мире существует нечто, о чем мы не имеем ни малейшего понятия, а стало быть, и не знаем, что мы его не имеем.

Представляете, как это ограничивает круг нашего невежества!

Если б я был поэт по имени Станислав Лукреций Рамсфельд, я написал бы что-нибудь вроде поэмы «*De rerum dedala naturae*» («О скрытой природе вещей»), причем именно таких *rerum*, о которых я не только не знаю, что они существуют, но которых, быть может, и вовсе на свете – йок.

Но я не поэт, а обыкновенный (*vulgaris*) стареющий (слишком быстро!) еврей, и моя латунная латынь – не более чем попытка не выдать, спрятать, удержать в себе тоску о несовершенном, невоображенном, необдуманном, непрюбленном. Одно из потрясающих впечатлений моего раннего детства – тихий разговор и полоска света под дверью родительской спальни, отрывавшая мне, что и ночью, когда, как уверяла бабушка, все спят – и звезды, и речки, и мурашки, и кошечки, – жизнь существует помимо меня, и, возможно, намного более содержательная, чем я способен себе представить. А сегодня сердце мне разрывает другой свет и другие звуки – нестерпимо алая полоса заката в черных тучах над обесцвеченным морем и негромкий голос отца, говорящего не со мной.

## ДЕРЕВЬЯ

Пока был мал – замечал только песок и траву. Подрос – цветы и кусты. Новогодняя елка, первая из женщин, казалась слишком нарядной, чтобы вникать в ее анатомию, но свежий, долго угасающий запах и мягкие иглы настораживали своей недомашностью.

Деревья стали открываться с колес, одновременно с перспективой. Их ряды по обочинам убегали вперед и назад, причем назад – быстрее, а вперед – словно разворачиваясь. У них обнаруживались тела-стволы, неоднородные по форме и цвету, иногда заостряющиеся кверху, порой – растекающиеся от вертикали, как вздернутая на дыбы речная дельта.

Листва одевала их на всякие фасоны. Плакучие ивы, наклонясь, свешивали по-над водой аккуратные расчесанные пряди, и в образованных ими нефах висели, чуть подрагивая, восковые стрекозы. Миндалевидные глаза их были так велики, что, казалось, перевешивали тело, и становилось ясно, отчего крылья сдвинуты вперед, а длинный хвост чуть подогнут, – для равновесия.

Одинокая в поле береза, трепетная и нежная, заставляла задуматься над

странностями русского эпэзроса: «Некому кудряву заломати» – словно медведь сочинял.

Выдающиеся деревья моей жизни – акации в белом и желтом цвету, пахнущие медом и одетые дымчатыми пчелами, словно курящимися в гроздьях.

Хороши и каштаны, когда они роняют колючие, непонятно от кого защищаемые плоды и из разбитой кожуры с белой фланелевой подкладкой выскальзывают, как денди из дорогого бутика, влажно блестящие, коричневые, лакированные, в ногтевых лунках с исподу, бугристые шашки.

Недотрога мимоза в дендрарии удивляла не столько воспетой пугливостью, сколько животной быстротой обмирания листочков, обложенных мучнистым ангинным налетом.

Клены с лапчатыми листьями напоминали резными пястями о птерозаврах, оставивших в доисторическом ясельном воздухе зеленые, танцующие под ветром следы цепких лап.

Давным-давно, еще до птерозавров, вываливаясь с толпой из душного зала филармонии (боже мой, кто-то когда-то ходил на концерты!), я ловил глазом подсвеченную вечерним неоном, умытую дождем кипучую зелень вязов и тополей с вывернутыми наизнанку листочками, вслушивался в их лепет, трогал вишневый лист со следками обцеловавшей его всем телом улитки.

Еще зеленой бывали деревья на углу Руставели и Добролюбова у Зеленого дома – только смотреть на них надо было не снизу, а сверху, из настежь распахнутого окна литинститутской общаги, в чередовании попеременно вспыхивавших огней светофора и искр, облетающих, как маленькие фейерверки, с троллейбусных проводов.

В дубовых лесах Молдовы я узнал, что такое величие. Еще с холма завиднелось гигантское дерево, круто вознесенное над остальными. Мы вереницей тянулись к нему, путаясь в тенях, как в тенетах. Вскоре дорогу перегородил глубокий овраг. Я оглянулся на моего спутника, но он, заранее радуясь, кивнул: надо спускаться. Через несколько минут мы уже шли по дну балки, густо заросшей молодняком. Обнаружилось и царь-дерево – там, у подножья, стала понятна его громадность. Оно было не просто выше других: его исполинский рост неочевидно складывался из трех элементов: общей высоты леса, вымахнувшей из чащи термоядерной кроны, и – глубины оврага. Мне хочется верить, что сегодня живы мы оба.

В Иерусалиме, рядом с Музеем Книги, стоят на взгорке среди неоппадающих кипарисов несколько плоских, безлистных, из листового железа деревьев, грубо выкрашенных буро-зеленой краской. Что-то в них есть невыразимо трогательное. Каждое хочется утешить сразу в трех ипостасях – как пришельца, сироту и вдову. На меня, по крайней мере, они произвели одно из самых сильных впечатлений в Израиле.

Есть и настоящие – роскошные, смыкающиеся над улицей Иегуды Галеви перед поворотом на Линкольна в Тель-Авиве, и фантастическое не знаю что между Бат-Ямом и Яффо.

Помню итальянские, на вечерних холмах, пинии по пути из Чивитавек-

кии в Рим, похожие в профиль на ивритскую букву «заин», только зонтики у них пошире.

Если посидеть под раскидистым орехом – кстати, тоже один из шедевров шатрового зодчества – и на досуге вспомнить все деревья и кроны, которые нас осеняли, мы много узнали бы нового о себе и них. Под своим углом взглянул на это дело Бертольд Брехт: «Обычно говорят, – писал он в "Разговорах беженцев", меланхолической пьесе для всех эмигрантов мира, – что непременно нужно пустить корни. Но я убежден, что единственные существа, пускающие корни – деревья, – предпочли бы их не иметь, тогда бы и они могли летать на самолете».

## ИСКЛЮЧЕННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

Когда ужинаешь со всеми неудобствами, накрыв стол в душевой кабинке, а спать укладываешься на потолке – это означает не только ремонт кухни и комнат, но и неизбежные кошмары от закройщиков венской школы. Протянутая к призрачному, в очертаньях цементной пыли, Адаму, твоя рука болтается в мерцающем, полном оцепеневших бабочек воздухе, и чудится вдруг, что распался в прах любезный твой партбилет, зашитый в семейные трусы еще с войны 1812 года, или, того гаже, среди листов газеты, которой ты, постылый, зачем-то хранишь верность вот уж лет двадцать, вдруг обнаруживаются – вау! – мерзкие использованные кондомы.

Ясно, что сны эти никчемные, стариковские, ничего хорошего не сулящие и в этом контексте нечего и думать о вечном.

А зря, между прочим. Самая пора.

Приятельница моя, тонкий литературовед Г. Г., пишет из Чебоксар: «Как ты полагаешь, откуда в "Преступлении и наказании" "тварь дрожащая"? Я думаю – из "Подражаний Корану": "...и мой Коран // Дрожащей твари проповедать". Боюсь только, что это не я первая догадалась. Что с твоим ремонтом? Мужайся – все проходит».

Мужаясь и проходя, я вот что об этом думаю: Достоевский, 125 лет назад объявивший на открытии опекушинского Пампушкина о всемирной отзывчивости поэта, был прав на все девяносто девять. Пушкин с его природной надмирностью запросто воплощался хоть в крепостного раба, хоть в араба пустыни, в родовитого испанца или британскую шлюшку, и если даже в реальности они не таковы, для нас это мало что меняет – Пушкину верить больше, чем собственным представлениям о предмете.

Походя и мимоходом: сам Достоевский этой «отзывчивости» был лишен напрочь, и, кажется, кроме мужика Марeya, остальные племена и колена вызывали у него, как и у всей российской словесности, мучительную изжогу. Но евреи – этот последний, сотый процент – и Пушкину не дались, не говоря уж о куприных и аверченках с их неразборчивой юдофобофилией. Соломон в «Скупом рыцаре» – дурилка картонная (раболепие, деньги, яд), спустя век безотчетно склонированная Блоком – «Еврей-аптекарь с



надписью *Venena*». А уж подхалимские наши поддакивания про изучение иврита (между вистами) и воронцовский перстень с надписью квадратным шрифтом... можно подумать, что эта гениальная обезьяна (ибо именно так его звали однокашники по лицу) зубрила кастильский диалект, чтобы одним штрихом изобразить командора и его базальтовую десницу.

Похоже, что даже в мире Пушкина, в его всеобъемлющем взгляде евреи были «слепым пятном», заповедной пушей, исключенным исключением, выведенным за пределы мысли и нервных рецепторов. А что ни говори, приятно убедиться, что и на солнце есть пятна и что кровь, текущая в твоих венах, хоть каплей окрасила одно из них.

Ему (всем им) не верилось и нипочем не поверится, что евреи, каких случалось выдывать в кишиневской ссылке или, проскоком, на замшелой почтовой станции, – те самые, с чьих ошеломительных открытий началось самопознание троглодитов. Им не под силу было представить, что молнии, сверкавшие в известные дни над Синаем, породили гром, перекааты которого еще долго не затихнут в ушах человечества. Нишая будничность Иерусалима обманула многих. Нам и самим проще ослышаться, обознаться, оговориться, да что там – обделаться. Завет – бремя тяжкое, многим не под силу.

...Я подтыкаю под себя пропитавшееся пылью одеяло, слушаю томительный кашель жены и тихое сопение собачонки. Ремонт, как сирокко, сотрясает мою перекосившуюся вселенную, размывает привычные черты стеллажей, бьет по щекам далекую музыку, всплывающую в моей немощной памяти. Ощущение такое, что время осталось без пространства и переливается, пузырясь и побулькивая, разве что из ладони в ладонь. Хлопни – замрет.

## ВЕРТОГРАД УЕДИНЕННЫЙ

Бывали ль вы в запущенных садах и если да, то помните ли их гулкую сиротливость, неухоженные, словно выцветшие стволы яблонь и груш, одинокие морщинистые сизые сливы на голых ветках, утлые покоробившиеся листики вишни в заторе облитых песком сучков у зацветающей заперти дренажной канавы? Помните ли захламлинные прошлогодним листьем дорожки, стойкий запах перегноя, трухлявую выломанную доску забора с воинственно торчащим ржавым гвоздем, который так и норовит впиться вам в пятку, опрокинутое ветром ведро с вулканической накипью извести и блеклой присохшей кистью – даже мыши не стали в нем селиться, и оно беспутно катается в матерой крапиве... Помните ли странный прозрачный свет, озаряющий все это грустное зрелище в ожидании белой, мертвой, с выюгами и темными ночами зимы?

Летом 1981 года где-то в советских верхах решено было организовать при Высших литературных курсах (ВЛК) так называемую группу идиша. Суть заключалась в том, что последнее поколение еврейских писателей осознало пробу своего золотого возраста и всерьез задумалось над тем, как бы и впрямь не стать последним. Поэтому, помыкавшись по инстанциям и

собрал командные подписи, рекрутировали с миру по нитке пять человек, чей пятый пункт впервые за много лет советской власти оказался обстоятельством не только не отягчающим, но даже отчасти смягчающим, – и записали в студенты. Какое отношение к этому интересному, между прочим, начинанию имели ВЛК, сейчас, задним числом, не очень понятно. Это мог быть и кулинарный техникум, и цирковое училище.

Так или иначе, курсы открылись, и за столами в желтом Доме Герцена на Тверском бульваре рядом с писателями земли русской скромно уселись представители малого народа, полные великих ожиданий. Помню не всех; старостой группы стал (дай Бог ему здоровья, если жив) почтенный Моисей Матусевич П. из многоязыкого Дагестана, единственный среди новобранцев партиец, автор трогательных стихов, носивших большей частью названия в дательном падеже: «Собаке», «Сестре», «Перевалу Кумыш» и так далее. Был там прозаик из тромбонистов, нынче у антиподов редактор большой еврейской газеты; был совсем еще юный выпускник-испанист из МГУ – сегодня он ходит в бороде и с пистолетом по иудейскому своему поселению и читает лекции в Bar-Ilan University; был русский поэт, увидевший вещий и действительно сбывшийся сон о своей идишской миссии, – и сам Арон Вергелис, экс-парашютист-десантник, задолго до схождения в гроб благословил его первые идишские опыты, причем выразился в присущей брутальной манере: «Ни в коем случае не заворачивайте этот крантик!»

(Вергелис вообще не так прост, как его рисуют. Нечасто лишенный тормозов, он и в низости бывал талантлив до обаяния. В разгар ливанской кампании 1982 года, когда наши выкуривали Арафата из Бейрута, Вергелис появился в литинститутском коридоре со своим кумачовым носом и на гнусный вопрос ректора курсов Н. Горбачева: «Ну, Арончик, что скажете про ваш Израиль?» – ответил мгновенно: «А что? Конструктивно!» Свои невразумительные слова он сопровождал немыслимым для главного редактора жестом, энергично похлопав полураскрытой ладонью левой руки по неплотно сжатой в кулак деснице...)

Некто Заин, милейший старичок, которого так и тянуло назвать вот именно зайнкой, целых шестнадцать часов в рассрочку знакомил своих питомцев с азами (алефами) иврита. А уважаемый писатель, преподававший им современную (!) советскую (!) идишскую (!) литературу, привел на семинар совсем уже классика, написавшего где-то в 30-х эпическое полотно о доблестном освоении евреями-колхозниками целинно-залежалых земель Прихерсонья. Классик был несколько вял и аутичен, и оживила его только идея преподавателя: «Помнишь, Зямочка, как ты впервые читал нам свой роман и изображал пургу в степи? Сделай милость, покажи!»

Зямочка откашлялся, закрыл глаза, сложил бледные губы в трубку, откинул седовласую голову к небесам и очень похоже завыл:

– У-у-ууу! Уу-у-ууу...

Студенты оцепенели, боясь даже перегнуться. У стариков в глазах стояли слезы.

...Но я начал про сад и, как всегда, съехал Бог знает на что. Запущенный сад – зрелище печальное. Туга-кручина берет, на него глядя. В его пользу можно, однако, заметить, что там хорошо думается и дышится. По своему красивы голые ветки и обвивающий их дымок тления.

А про пятого студента я сказать забыл, как напрочь забыл совсем уж было освоенный идиш. Не исключено, что этим студентом был я.

## МОЛИТВА

Считается, что вера дает надежду; я думаю, что она добавляет лишь горечи. Но, по крайней мере – при нынешних мобильниках, освободивших руки для болтовни, – молитва не выглядит так, будто разговариваешь с самим собой.

Лет с полста назад нам очень убедительно объясняли, что Чкалов и другие авиаторы залетали на своих аэропланах высоко в небеса, но никаких там ангелов и богов не встретили. В доводах этого рода всегда ощущался тошнотворный привкус снисходительного наставничества – словно гордящийся своим интеллектом олигофрен разбирает спор совсем уже безнадежных даунов. И даже блиставшие юмором осветители вроде Вольтера или Дидро, забредая со своими обличительными остротами в охотничьи угодья небес, как-то сразу глупели на глазах у потрясенного читателя.

Хуже то, что искомая идеальная субстанция все реже обнаруживается в поступках и чувствах руководимого ею человечества. Порой создается впечатление, что Бога с его бесчисленным штатом посланников попросту не хватает на всех. Естественно, обделенные ропщут и, не находя удовлетворения, творят кумиров в меру своей убогости.

Я, конечно, тоже.

Как видите.

Не так изнурителен поиск слов, как осознание того, что хочешь высказать. Может быть, за желание высказаться я принимаю что-то совсем другое, не имеющее отношения к оформляемым высказываниям, – некий пламенный флогистон, выжигающий меня изнутри и торопящийся во что бы то ни стало опередить набегающую, как паровоз у Люмьеров, смерть. Как бы там ни было, я благодарен кому-то – может, эволюции, а может, просто папе и маме – за то, что они подарили мне свойство загонять языки этого огня не в крики и хохот, а в слова и предложения, придающие боли и смеху видимость смысла – или цели.

Я благодарен природе за то, что она уподобила меня несгораемой саламандре, к тому же владеющей языком настолько, что ее уже можно показывать в цирке. Хотя, понятно, не Ойстрах.

«Благословляю вас, леса», – сказал бы я, если бы это уже не было сказано дословно. Мест и поводов для благословений становится все меньше. И все-таки хочется поблагодарить кого-то, не знаю кого, за то, что дал мне отведать листопад Подмосковья и лунность Мицпе-Рамона, сладостный – по чайной ложечке – воздух Парижа и римские пинии, о которые запинаят-

ся с переломом топорно-рубящий взгляд. И тебе спасибо большое, кто с грехом пополам научил меня отличать радость соития от щебета пестика в ступке и горечь разлуки – от блаженного одиночества.

Я благодарен жизни за то, что вот уже десять лет ни один прапорщик или чиновник не настаивает на неотменимости своего присутствия в моем кратком существовании. Да что прапорщик – даже горы и море появляются в ней лишь тогда, когда, зазевавшись, я вдруг сталкиваюсь с ними глазами и, если что не по мне, могу отвернуться или выключить телевизор. На душе становится легче при мысли, что не у тебя отнимают, а отвергаешь сам.

Большое и своевременное удовольствие испытываешь, видя уходящие в ретроспективу ряды книг и твердо зная, что лучшие, хоть и с опозданием, ты уже прочел и перечитал, а остальные можно выбирать прихотливо и откладывать в сторону с третьей строки. Есть еще музыка, и, пожалуй, хорошо, что она навязалась на мою голову, а вот архитектура, к счастью, отстала. Я не хочу быть деятелем культуры – сделайте меня в будущей жизни дятлом, у которого никогда не болит голова. Спасибо за то, что в ответ на миллионы моих «не хочу» только сотни тысяч «заставим» все-таки донимают меня и еще, наверно, доймут.

Я питаю надежду, может быть, слишком дерзкую, что ни здесь и нигде никто со мной счесть сводить не станет, как почти никогда не сводил их я. Ложась спать, я прошу не знаю кого, чтобы ночь миновала спокойно, чтобы не плакала под своим одеяльцем мечтающая о щенках собачонка, чтобы не раздался смущающий сердце телефонный звонок, чтобы наркоманы в соседнем сквере орали не слишком громко или хотя бы по делу. И все это большей частью сбывается. Когда же я просыпаюсь, просыпается вместе со мной – правда, ненадолго – бодрость духа. Летает в пластмассовом стаканчике помазок, с легким треском микроскопических взрывов гуляет по необъятным просторам подбородка и щек верная бритва, и чья-то тень за левым плечом заставляет меня пристальней взглянуть в зеркало и прищуриться. Ни к психиатрии, ни к теологии она относиться не хочет – просто маячит, отнюдь не требуя считать ее маяком.

## ОТЧЕГО У МЕНЯ ДРОЖАЛИ РУКИ

Было так: только я начал разглядывать буклет к «Мефистофелю» (Арриго Бойто, либретто автора), позвонила на мобильник (чуть не написал «могильник») лучшая моя половина:

- Ну, что?
- Ничего.
- А чего у тебя голос такой?
- Не знаю... растерялся. Столько всего – аж руки дрожат.
- Не волнуйся. Купи что-нибудь, доставь себе удовольствие.
- Ладно, куплю.

Отдел классики и джаза в этом громадном торговом центре представля-

ет собой вытянутую в длину и довольно темную подвальную комнату, густо заставленную стендами, полками, ящиками. Опера – в отдельном шкафу. Дисков не перечесть, и стоят они вплотную: пока вытянешь один из ряда, обдерешь ногти. Присесть не на что, сердце стучит.

Нечто подобное лет двадцать назад случилось со мной в Ватикане, где, начиная со второго зала, я ускорил шаг, а потом побежал, переведя дух только на выходе, в мгновенном каре менявших караул швейцарцев. И не то что боялся заблудиться или отстать от группы – это скорее было похоже на острый приступ клаустрофобии: бесчисленные шедевры со стен теснили меня, с потолка в упор пялились фрески, занятые, впрочем, собой и своими небесами, и даже полы в шахматную клетку мелькали и торопили.

Нужно все же объяснить, как это было.

Я человек невоспитанный, но интеллигентный. Шестьдесят четыре. Сто шестьдесят на девяносто. Сорок второй. Пятьдесят шестой, экстра-лардж, талия на шее. Четвертая минус. Два и три четверти, читаю всё меньше. В старые времена я ездил бы на извозчике с женой в филармонию, с любовницей – в оперу, с приятелем – на канкан. Сегодня в автобусе, по дороге на работу, сунув «ракушку» в ухо, слушаю джаз. Дома – Верди, Пуччини, Глюк, Гендель. Разлимонившись – Леонкавалло, Шопен – баллада № 4, opus 52, прелюды Рахманинова. Словом, на фу-фу меня не возьмешь.

Но вот я стою один в безлюдном (продавец не в счет) отделе у шкафа с оперой, и нет такой оперы, которую я мог бы вспомнить и которой здесь не было бы, по крайней мере, в двух исполнениях, с разными голосами и дирижерами, разными хорами и оркестрами; а за спиной, на стенах, на стеллажах, куда ни глянь, десятки, сотни, если не тысячи дисков – от синагогальной литургии и грегорианских кантов до Хиндемита и Орффа, Шостаковича и Шнитке, Пендерецкого и Вайнберга...

Нет, я, кажется, не те вывожу слова, не те выпеваю ноты. Тут надо правильно расставить акценты. Во-первых, общество великих не для меня: ходишь, путаясь в ногах у богов, глядя наверх, туда, где они соприкасаются боками, ловя капли нектара у них изо рта, дыша душной амброзией, содрогаясь от вечного их моцартианства, от невыносимой легкости их посмертного бытия. Счастливики. Дети свободы. Посмотрите, как они радуются, когда для баловства работают вместе, как наслаждаются своим мастерством и друг другом: Перلمان и Питерсон, Армстронг и Эллингтон... А эти три тенора: Паваротти, Каррерас, Доминго! Сквозняки запредельного их безумия, тюлевые кружева их нежнейших страстей поднимают и носят по воздуху тутошний прах, и если ты думал отыскать здесь уют, ты пришел не по адресу. Во-вторых, страшно важно и просто страшно, что их много. Избирая на час-другой общество одного из них, ты как бы с черного хода приобщаешься к его величию, и это твой, а не его выбор, а он бессилен тебя приветить или отвергнуть. Ты можешь уснуть, можешь – и это хуже, чем насилие, – процитировать его или напеть, но, в конце концов, отвалишься, как пиявка, и будешь наказан ее участью.

Но здесь, в этом подвале, они, те, кого человечество помнит и любит,

кем торгует во славу девяти муз корпоративно-цехового искусства плюс муза кино, плюс Аполлон с Дионисом, известные тоже гаеры, – здесь они чуть ли не все, и, соответственно, высок риск, что на тебя наступят, как наступают новые времена, как наступает старость и смерть.

В-третьих, наконец, руки у меня дрожали оттого, что жаль было жизни, прожитой без них – Пахельбеля и Бибера, Монтеверди и Шютца, Перселла и Палестрины, Перголези и Шарпантье и многих, многих других. Обшарпанный европеец послевоенного румыно-российского разлива, я мучительно понимаю, что никаких самых щедро отпущенных лет (а с чего мне на них рассчитывать?) при жалких моих доходах и слабеющем уме и теле не хватит на то, чтобы даже приблизиться к ним на расстояние оклика и зова, к этой заснеженной горной стране с ее разреженным чистым воздухом, вдохнуть который мне уже не дано. Ведь что не дает покоя? Если они сумели ее воздвигнуть, значит, по крайней мере, их жизнь не была случайной. Значит, это возможно! А что же я со своей-то сделал? Кругом торжествующие попы – вы замечали, что ликующих ликом не бывает?

## ПОСЛЕВКУСИЕ

Не хочу заниматься окольной софистикой и слишком издали заходить к простой констатации: послекусие – суть нынешнего мироощущения. Собственно, только это я и хочу сказать, и если кто спешит в магазин или к телевизору, то дальше читать не обязательно. Если же вы не торопитесь, то, опять же, не глотайте комом дальнейшие строки: пищу, как духовную, так и материальную, следует пережевывать отчетливо и внятно, что даже под присягой может подтвердить доктор Вигдорович, уважаемый редактор журнала «Небожитель».

Подойдите к зеркалу и покажите язык. Вот он, голубок, во всей красе: неповоротливый, с перламутровым сизым отливом, бог знает чем обложенный, вкусовые сосочки стерлись, кончик сточился, подъязычная уздечка, frenulum linguae, потеряла былую упругость, и, ясное дело, тонкие ощущения уже не про нас. Во рту, как говорил классик, эскадрон ночевал. Это и есть послекусие.

Дегустаторы-виноделы используют это слово в узком значении: примут, как птички, глоток, ополоснут ротовую полость, сдернут очки, задерут клюв и вслушиваются: если портянкой в нос не шибает, значит, пойдет на экспорт, значит, говорят, послекусие благородное. Но мы, мы с вами народ простой, *ам га-арец*, и вульгарное послекусие – суть и соль нашей жизни.

Его симптомы – изжитость всего, о чем ни задумаешься, на что ни глянешь; автоматизм реакций, застылость стиля, готовые на любой случай формулы, назубок вызубренные роли, такая, извините, отрыжка речи, когда для приятности словообмена заготовлен по всякому поводу анекдот и во всяком возможном контексте припасена затупившаяся, как лезвие «Нева», с окаменевшей мыльной каемкой острота. Жить с этим вроде бы уже и не стоит, но мы, в силу привычки и страха, стараемся.

Есть множество вещей, заглушающих в нашей душе негромкий надоедливый голос правды. Ненужные нашим выросшим детям, мы твердим себе, что мы им нужны. Ненужные обществу, мы уверяем себя и друг друга, что еще пригодится ему, и оно только по нерасторопности не спешит воспользоваться нашим будто бы ценным опытом. В гробу оно его видало! Ненужные, в сущности, самим себе, мы выдумываем служение какой-нибудь «идее», хотя нет на свете ничего более пошлого, чем жертвовать время и силы всякого рода идейным глупостям, будто бы придающим смысл нашему бытию. Какое бытие, таков и смысл. В средневековой Италии множество жизней унесла война между гвельфами и гибеллинами. Она длилась десятилетиями, пожирая души и тела, таланты и деньги. Сегодня мало кто вспомнит без словаря, из-за чего заварилась там драчка, – от нее не осталось даже послевкусия: оно выветрилось, как скалы в горах Иудеи.

Послевкусие похоже на усталость металла, уже не соображающего, зачем он нужен. Слишком длинна история человечества, чтобы мог ее вместить и осмыслить наш слабый ум. И сама она не то что бессмысленна, но как-то внесмысленна. Слишком много повидали мы на своем коротком веку, чтобы уложить в компактную, укладчивую систему. Она топорщится, ее абсурдность свербит в башке. Чистое послевкусие. Винегрет Софьи Власьевны был то непереносимо прян, то нестерпимо пресен. Его запивали кухонной болтовней, приправляли выжимкой головного мозга. Жизнь во лжи – как бесконечная мастурбация: и кончить не выходит, и оторваться жаль. Любить родину, писал Бертольд Брехт, все равно что любить окно, из которого ты однажды выпал. Он пошутил, а мы катались в осколках с кровоточащей мордой. Сегодня стянувшиеся рубцы мы называем трудовыми морщинами и, массируя занемевшие шрамы, толкуем о патриотизме, о том, что родина бывает только одна. Но если одна, то что мы делаем здесь, в Израиле? А если две, то и пять, и шесть. Не нам бы, вечным, от Авраама, пришельцам и поселенцам, повторять туземные мантры. Родина – не то, за что умирают, а то, что без нас умрет. Таких мест мало, но они есть. В конце концов, она не вокруг – она наверху, если вас устраивает такой вариант. И даже внизу, под ногами, больше родины, чем справа и слева.

На десяток слов должна в среднем приходиться хотя бы одна мыслишка. Выдерживая такую пропорцию от начала до конца, мы наверняка додумались бы до чего-нибудь путного. Но еще на стадии молочной спелости мы как-то слишком сметливо замечаем, что слюнить слова проще, чем наполнять их смыслом. Послевкусие возникает внезапно, как простуда, но, в отличие от нее, не проходит. Так и живешь на отхаркивающих микстурах, на расслабляющих антибиотиках, на спитом, перекипяченном, бросающем в испарину чае. И, разумеется, на кровопусканиях – отнюдь не устаревшем средстве лечения.

Одна беда: страдание переполняет наш день, и силы уходят быстрее, чем жизнь.



филолог, автор 8 книг. Публикуется в центральных журналах: «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Континент». В соавторстве с мужем Вячеславом Букуром написала «Роман воспитания», который вошел в шорт-лист премии Букера 1996 года. Живет в России.

## ГОРЛАНОВА КАК ДОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Представьте себе, что вы боитесь... нет, не мышей, не пришельцев, не перехода к рынку, а... выйти на свою кухню! Не можете представить – ваше счастье, хотя одна старая нянечка из урологии на вопрос студентов высказалась еще мудрее: «Испражняетесь? Моча отходит? Это и есть счастье».

Мы утверждаем, что когда-то Горланова была девочка, мечтавшая о Париже, о музее Шагала, сейчас же, в сорок четыре, это оказалась маленькая сгорбленная старушка с шепчущим выражением лица, то и дело она крестится перед выходом на кухню.

– Ты так ее боишься, что аж вся сжимаешься! – обнял ее муж. – А ты представляй, что это не ты, а Танюха Бурдакова.

– Она так морду воротит от меня, что боюсь: свернет что-нибудь в шею! А кто виноват будет? Мы...

На кухне, как на улице – всегда много незнакомых ярких девиц, но Горланова сразу их узнавала: это новые подруги приемной дочери. Она узнавала их по узлам – узлы напротив межножья, полы халата так завязаны – в крупный узел всегда, сексуально, конечно, но Горланова бы предпочла думать даже о солженицынских узлах, трагических, чем мучительно разгадывать загадку этих, величиной с кулак всего: зачем, что они значат и что сегодня ей принесут? Все четыре горелки заняты, мне нужно чайник поставить, робко сказала Горланова, поставь его себе на залупу, был ответ. Залупа... Когда-то в пионерском лагере Горланова слышала это слово, что-то из этой же серии с узлами возле причинного места.

– Но у меня нет залупы, – неуверенно сказала Горланова. – Это у вас в голове одни мужики, а у мужиков для вас главное, видимо, залупа.

Подруга приемной дочери узлом пошла на Горланову в наступление, словно боднуть хотела – вообще эта часть тела у них, как на механических



манипуляторах: далеко выдвигается в любую сторону, далеко и быстро. Ну, сука, я, сука, тебе, сука, говорила, сука, чтоб ты на кухню пореже выходила! Это выбежала из своей комнаты приемная дочь, а мужчина, похожий на гермафродита, вышел кокетливо следом, говоря: давно пора эту суку прибить совсем, сколько можно терпеть. У Горлановой чайник начал выстукивать дробь, что-то с крышкой у него или с руками у нее – от радости, от радости, конечно, что ее-то приемная еще лучше своих друзей, если и прибьет кого, то не сама, лишь по совету других, по наущению...

Жалко их – как младенцы, рожденные от алкоголичек, в роддоме орут, пока им не дадут пососать ватку со спиртом, так и они тут кричат, пока не выпьют. Причем у приемной дочери пила не только мать, но и бабушка, так что яблочко не только от яблони, но от праяблони. Господи, прости их, не ведают, что творят, прошептала Горланова, чем окончательно вывела из себя приемную дочь.

– А если б Бог существовал, Он бы тебя в скелет не превратил, раз ты, сука, верующая такая!

– А Он меня наказывает за то, что я пошла против Его воли. Ты же умирала, по Его замыслу ваш род должен был вымереть, а я кинулась наперез – стала спасать тебя, ну, Он мне и показывает, кому от этого хорошо...

– Вонючка, страшила, уродина! – хором кричали они Горлановой. – Ты и мужу-то уже не нужна, образина!

– Ну да, ты высосала из меня всю молодость, но когда мне было, как тебе, двадцать, я не ездила в пожарную часть продаваться, у меня сирень некуда поставить было... Спасибо, что напомнила, сколько у меня их было – поклонников... сирени... – она заплакала, наконец.

Вышел муж: кому ты, Нина, все это произносишь, начал он мягко, они же не люди, а ты с ними, как с людьми, но к болоту ведь ты не обращаешься со словами: «Болото! Почему ты такое топкое! Зачем ты затягиваешь людей, засасываешь – перестань вредить человечеству!»

Он увел жену в комнату, где семья всухомятку питалась консервами, сын бубнил: пустили лисичку пожить, она зайчика и выгнала. У Горлановой состояние такое, словно вся она набита соломой, колет всюду: в руках, в ногах, в голове. Она осторожно дошла до дивана и легла. Пришел друг – дзен-буддист: посмотрел на её шевелящиеся пальцы ног.

– Ты – как некое природное явление, шевелящее листиками и овевающее ветерком!

– Это Господь ее обессилил, чтоб не ринулась добрые дела делать, чужих девочек хватать и тащить в семью! А ведь я всегда был против! – Муж надевал футболку с рисунком машины, натянул ее на лицо, колесами – на глаза, и пошел на жену, как привидение. Его молдавская ментальность ее уже заколебала настолько, что дочка Даша сразу запела на цыганский манер:

Твоя молдавская ментальность меня зако-зако-леба-ла!

Твоя ментальная молдавскость меня, меня, меня...

– Я ведь ставила мысленно зеркало, – говорила дзен-буддисту Горланова, – чтоб ее злые намерения возвращались обратно к ней!

– И зря! Этим ты умножаешь зло, удваиваешь... она становится еще злее, раз ее злые мысли к ней вернулись. Нужно в кокон себя закутывать, мысленно.

Господи, в кокон! Да она уже все перепробовала: закручивалась в кокон, ставила зеркало, ставила свечку...

– Ты взяла на себя часть ее кармы, вот и терпи... святые вообще-то врагов не имеют.

Муж, смеясь, спросил: «Если она твой враг, то ты – кто? Тоже мелочь?»

Они, видимо, недооценивают... она и убить может, по совету этих...

– Убить это пустяки, а вот есть такие, которые могут душу сгубить, – муж поднял глаза кверху.



Как обычно, паучок, проживающий на люстре, на паутинке спустился к столу, словно надеялся тоже пообедать, и младшая, Агния, пожалела его: бедненький, неудобно ему на пластмассе жить. Надо его пересадить за батарею, сказал муж, в тепло и уют.

– Пересадить! – грозно подскочила Горланова и забежала по комнате, в глазах ее метались молнии. – Мичуринцы советские – ничто вас не учит! Одну уже пересаживали в другую среду, мало вам, не трогайте паучка! Природа сама знает, где кому жить!

Агния поняла, что срочно нужно перевести разговор, и кинулась к дзен-буддисту:

– Вам жалко Пиросмани, который умер под лестницей от голода, жалко?

– А чего его жалеть? Дай Бог нам так умереть, как он умер – оставив столько красоты... картин...



– Ма, – Даша тоже хотела перейти к новой теме, – ты вот говоришь, что в природе все справедливо, а мы с классом ездили нынче в лес – два мальчика нашли японские часы, работающие, а я нашла скелет человека, пластмассовый. Разве это справедливо? Вот тебе и природа, – дочь надулась со всей энергией своих девяти лет.

– Это что за леса такие вокруг Перми! – изумилась Горланова.

– Но только часы идут обратно – сначала три часа, потом два, один...



Время потекло в обратную сторону: вот всесоюзная выставка приемной дочери, персональная притом, большой успех, хотят пригласить в Париж. Вот друзья тайно от приемной дочки дарят Горлановой «Собачье сердце» (самые застойные годы еще!), шепчут: «Шариковы любят мстить своим спасителям». Вот качает головой дворничиха: «Нина, Нина, телят держишь, так точно с маслом будешь, а ребят держишь – неизвестно с чем...» Вот друг-эстет морщится: «Зачем ты взяла эту малолетнюю блядюшку – мне сына плечиком от нее хочется закрыть...»



– Ма, хочешь, я «Вишню» Исаковского прочту? – спросила Агния.

– Нет, нет, вот из-за таких «Вишен» мы и взяли ее! С детства нас приучали, что нужно для всех что-то делать... Кто звонит? Откройте!

Это пришел друг-кооператор с огромным букетом роз. Он женскую «руку без розы просто не мыслит». Так и сказал. С тех пор, как он из Обломова на глазах стал превращаться в Штольца, у него с женой начались разногласия: она хотела, чтобы все в дом шло (машина, дача), а он – в новые дела все деньги вкладывать. Чем чаще они ссорятся, тем чаще Горланова ходит по комнате с розами в поисках вазы или банки, намекая: цветы такие дорогие, а мы вот подписку оформить не смогли, нет денег...

– А подписки на приемную дочь вам вообще хватит по гроб жизни, – подхватывал Обломов, переходящий в Штольца. – Кстати, не знаете: кто бы согласился за плату мыть мне пол в квартире, а? По субботам.

– Я решил эту проблему пола, – отрешенно бросил муж Горлановой. – Нарожали детей, ночами их качаю, у них животы пучит, они дрищут, не к столу сказало, а я думаю: уж вы у меня намоетесь пола! Не зря я с вами ночи не сплю... И вот теперь они исправно моют полы. В самом деле!

– Но я с женой развелся! – сказал бывший Обломов, будущий Штолец, а пока еще ни то ни се, уже не Обломов, еще не Штолец, так, серединка на половинку, Облом-Што некий. Извивы перехода Обломова в Штольца... А чего бы Горлановой хотелось? Чтобы Обломова больше осталось? Нет, ей бы хотелось, чтоб он взял все лучшее у Обломова и все лучшее – у Штольца. Но мало ль чего ей хочется!

— ◆ —

Вечером Горланова поехала к подруге.

– У тебя новые сапоги? – спросила Горланова у подруги еще в прихожей.

– Копили на дачу, купили сапоги. Три тысячи в комке (коммерческом магазине)! А что делать? – вдруг подруга перешла на другой регистр: – Ну, сука, ты, сука, все замечаешь (так она играла с ней в приемную дочь, снимая напряжение). – И кстати, Нинка, ты неплохо выглядишь.

– Главное сейчас, чтоб внутренне хорошо выглядеть...

– Не скажи, читала своим студентам про театр абсурда, посмотрела, у самой луковая шелуха на локтях – только из очереди...

– Знаешь, я просто не сдерживаюсь, надо молчать мне на кухне...

– Вот смотри: кто помогал Чуковскому – Андреев, потом Репин дачу купил ему. Когда сам Корней смог, он кому помог? Солжу, жене Даниэля. Не первому встречному.

– А Христос всем помогал...

– Но ты ведь не Христос.

— ◆ —

Ночью, как водится, Горланову разбудил свисток чайника. Смирение – от слов «с миром», в гармонии? Муж проснулся и начал про квартал для чайника со свистком – можно сочинить. Агния выглянула на кухню:

– Ма, смотри: миленькие белые гусенички ползут к нам – из них бабочки выведутся?

– Это черви от ёе мусорного ведра. Спи, ангел!

Если Горланова кому-то говорила «ангел», значит, нервы ее уже сжались в пружины, а на кого эти пружины разожмутся?

Горланова еще слушала свист минут пять, потом схватила сигарету и побежала на кухню. Приемная дочь и две ее подруги чистили сапоги над столом Горлановой, крем летел на кастрюли. Она поняла, почему они не выключают чайник – руки заняты. И какие страшные узлы из полотенец у всех трех на голове – забодают, вот уже головы наклонили в ее сторону! Три единорога. От страха перед рогами-узлами, от свиста, от безысходности... Горланова захотела есть. Открыла холодильник – там лежало три яблока, вид у них был очень измученный. Почувствовав перед ними угрызение неизвестно чего, она сгрэбла все три и легла с ними в постель.

– Нужна скорая помощь? – спросил муж. – Я имею в виду: скорая гормональная помощь...

– Спи, ангел...



Наконец, свисток умолк, но Горланова холерично продолжала жевать.

– Только не выходи завтра на площадь, не кричи: «Люди, не берите чужих девочек!» – бросил муж, призывно зевая, вкусно так засыпая.

– Наоборот... когда свисток умолкнет, блаженство такое... А помнишь, как она Лейбница читала? Не помнишь? Ну, ты даешь! Мы пришли из гостей – дети спят, а она сидит с Лейбницем, горе такое на лице! Я: «Боги! Что это? Дитя, ты Лейбница читаешь?» – «Ничего не понятно!» – «Так я его тоже не понимаю». – «Ага, а дядя Слава-то читает!» Она думала: читает дядя Слава мифы народов мира – она тоже их читает, он читает книгу о Винчи, и она ее же, ну что – очередь за Лейбницем, монады, монады... А было ей тогда двенадцать лет...

– А помнишь, как она краски Соне не давала? Одна хотела рисовать. Я встал на четвереньки и сказал: сейчас так выползу из подъезда и буду лаять из чашки Тобика! Чавкать и попукивать притом. Чав-чав, пук-пук!

– Какого Тобика? Когда это было? Совершенно не помню Тобика.

– Собачка, хозяйка-старушка легла на операцию, весь двор кормил Тобика, помнишь, плошка под деревом стояла?.. Ну и, конечно, краски сразу оказались в руках Сони...



2 декабря 1991 года Горланова посмотрела в зеркало: кожа ее была так сильно натянута вокруг выступающих костей, что видны были прекрасного качества жилы. Наверное, они многое вынесут, эти крепкие веревки... Временами от Горлановой доносился тончайший серебряный перезвон жил. «Мало радостей, вот что... Я стучу, стучу по клавиатуре жизни – ишу радости, а их мало...» На самом деле она больше стучала по клавиатуре машинки. Постучал сосед и показал один палец – значит, просит одну спич-

ку. Она дала, закрылась, но снова открыла дверь: вдруг эта спичка не зажжется, и он снова ее оторвет от работы? Дала вторую, но она показалась тонкой – может сломаться. Поколебавшись, дала и третью. На что уходит время, напечатала она в ежедневных записях, Божественное время, данное нам от Бога для важных дел!

– Толстой писал о точках соприкосновения души и тела. Достоевский – души и Бога. А Горланова – быта и Бога, – издевался муж (первый в мире горлановед) и, грозя разводом, требовал не упоминать всуе имя Господне.

– Ты с работы? На почту заходил? Как – ключ потеряли? Сколько раз я просила беречь ключ от абонентского ящика! Радости ко мне могут поступить только с почты, из редакций.

Сын начал рыться в ящиках стола, нашел вместо ключа яйцережку и сыграл соло на ней, но Даша сразу – строго: «Твоя ментальная молдавскость маму уже заколебала!»

– Мы – лучшая в мире антиреклама многодетной семьи! – сказал муж и взмолился: – Домовой, домовой, отдай ключ, я тебя сахаром угощу!

Ключ тут же нашелся на холодильнике, сын пошел на почту, а Горланова от радости включила утюг, обожглась и послала мужа за аэрозолем от ожогов. У китайцев есть поговорка: великий человек – бедствие для своего народа, бормотал муж, одеваясь. Да, купи яйца в молочном, сказала Горланова, по коммерческой цене... Хорошо, куплю, молочный, молочный... где у нас молочный?

– Что-о?! Мы живем здесь пятнадцать лет, а ты не запомнил, где молочный...

Нет, точно выйдем во время шоковой терапии. Горланова хотела покурить в туалете, но там заперлась очередная подруга приемной дочери. С очередным... Муж сразу:

– Если б все стали в мире нравственными – для искусства это была бы гибель... Где сумка «красное и чёрное», сумка Стендаль?

– Дети ее забрызгали. Что за дети такие!

– Забрызгали, значит, мои дети! Ты, жена, родила мне моих детей! А если б не забрызгали ничего, я бы сомневался...

А тут и сын с почты вернулся:

– Из Нобелевского комитета все еще ничего нет. Почему они молчат?

– Вот вы смеетесь надо мной, а вы ведь правы! Если мир не стал лучше после Толстого и Достоевского, то неужели мир станет лучше после прочтения меня! Сделайте мне внушение, чтобы я не писала.

– Остановите самолет, я слезу, – буркнул муж и ушел в аптеку.

– Пойду в кооператив, продам машинку, накопим на квартиру, – убеждала себя вслух Горланова.

Вечером пришел бывший Обломов. В процессе превращения в Штольца он уже похудел наполовину: раньше у него было три подбородка спере-

ди и три – сзади (которые при рассмотрении оказывались жировыми складками шеи или спины). А теперь – полтора.

– Ради всего мыслящего на Руси, давайте пить пиво! – призвал он. – Я с женой помирился. Она хочет вкладываться в мои дела, представляете?!

– У меня урок в восемь часов, иврита. А если от меня будет пахнуть пивом, евреи не примут это за утонченный вид антисемитизма? – мужу хотелось пива, тем более что – баночное, другое Облом-Што не приносил. – Кстати, господа кооператоры! Могу вам предложить идею вторичного использования презерватива. Волюнку знаете? Меха у нее раздуваются, и она играет. Так и к презервативу – продавать специальные трубочки, чтоб после использования... играть... Печальную мелодию – плач по убиенному сперматозоиду...

– Лучше дай телеграмму Бовину: он ищет знатоков иврита и арабского.

– Все-таки это уже слова скорее Штольца, чем Обломова!

– Но я русский! То есть наполовину еще молдаванин... Кому я нужен в Израиле? Даже в посольстве...

– А посольство-то от СССР! Почему там не быть русским? Дай телеграмму, дай, Слава! Я оплачу. Жена ведь вкладывается в мои дела, о-го-го.



Внушение мужа:

– За семьдесят лет в стране затравили столько моцартов... Был лозунг: «Каждому Моцарту – по Сальери!» Чтоб не очень-то зарывались... Моцартов почти вывели. Появился даже новый лозунг: «Каждому сальери – по моцарту!» Потому что сальери-то плодились хорошо... но моцартов от лозунга не прибавилось. Тогда стали просто ЗАПИСЫВАТЬ в моцарты, так и Горланову записали. А она поверила. И чем сильнее ее травил соседи по кухне, тем сильнее верила, пока, наконец, не поняла, что ее просто ЗАПИСАЛИ.



Что пишешь, спросила подруга. Да вот, письмо маме написала. Что-о? Какие заголовки банальные, Нинка, у тебя пошли, к рассказам... При чем тут рассказы – я в самом деле письмо написала, маме, она волнуется, как выживать в период шоковой терапии?.. А еще что пишешь? Еще? А, вот список написала, что купить: лампочки, бинт, отбеливатель, всего 37 наименований.

– Ну, сука, ты, сука, стала хитрить! Молодец! А то все всем рассказывала зачем-то...

– Да не хитрю я. Не писала больше ничего и не пишу, ты чего!

– А что ты вчера делала в издательстве?

– Долг Наде отдала, а что?

– Откуда ты знаешь Надю, если не пишешь?

– Во, ты даешь! Она же училась с Линой Кертман, а Лина – моя лучшая подруга.

– Ну, сука, ты, сука, поднялась на новый уровень юмора. Кстати, о твоей приемной. Помнишь, она хотела убить соперницу, а ты отговорила? А зря! Сейчас бы она уже сидела в тюрьме.

– Ты тоже поднялась на новый уровень юмора, – сказала Горланова.

И тут молния ударила в подстаканник, фиолетовая, похожая на вену – кот Пифагор распушил хвост и выбежал вон из гостиной. Это бывает у меня, буркнула Горланова.

– Прозушку-то пишешь? – сменила игру подруга, теперь пародируя общество «Память».

– Я тебе говорю: в кооператив работать пойду, на квартиру копить.

– Тогда, может, тебе на завод надо, Нинка, а?

– Только вместе с тобой, дорогая.

---

Пришел ни Обломов, ни Штольц, а неизвестно кто и как называть: с черной розой синяка под глазом – жена побила, она взяла товару на двести тысяч, она считает, что лучше знает перспективу, видите ли, вот и подралась. Ну а у вас что? Бовин что?

– С Бовиным переписываемся. Мы пишем – он получает. А мы получаем уведомления, что телеграммы вручены...

---

– Знаете, я все-таки не могу бросить писать, – сказала Горланова. – Такие, видно, у меня генки в хромосомах?..

– Опять вы о генах приемной дочки? – пришел друг-эстет. – Мать пила? А Сократ-то? Когда пришел он с учениками к дельфийскому оракулу, тот – что сказал? Перед вами сластолюбец, корыстолюбец, идиот... Ученики завозмущались, а Сократ их успокоил: «Да, я таким и был, от рождения, но вот уже много лет я борюсь с этим».

– Я всегда был против того, чтобы брать девочек с помойки! Но если б я настоял, а она умерла, жена съела б давно меня...

– Конечно! Реализовался лучший из вариантов. Вы теперь оба верующие, а думали бы: девочка умерла, грех на душе... Было б в сто раз хуже, вы б уже доглаживали сейчас друг друга...

---

– А вот и слон! – завопила Горланова.

– Какой? – спросил сын. – Что за слон еще?

Но муж сразу ее понял: тот слон, которого слепые осматривали. Один ошупывал толстую ногу и говорил: «Слон – это столб», другой дергал за хобот и спорил: «Слон – это шланг»... Так и с приемной дочерью.

Горланова перебирала:

– Первая нога слона: Бог наказал за то, что пошла против Его воли! Вторая: были советские мичуринцы, верили в перевоспитание! Третья: Шариковы любят мстить своим спасителям (помогать надо не первому встречному). А сам слон только сейчас открылся – все было для того, чтобы не догрызали друг друга... не сглодали совсем...

На кухне приемная дочь и ее подруги ссорились из-за трусов: кто у кого украл.

---

Однажды, когда приемной дочке было лет семь, и она страшно визжала, прося джинсы, раздался звонок. Кто? – радостно спросила она, любящая подарки от гостей.

– Это режиссер фильма ужасов пришел! Услышал твои страшные крики. Будет звать тебя на главную роль бабы-ягиной ученицы!..

– Ко мне, дядя Слава, никогда не придет режиссер фильма ужасов! – был гордый ответ. – Только если режиссер красивой сказки, да...

## КТО ТАК ДЕЛАЕТ?!

Жили-были два соседа: человек и антисемит.

Последний был главным редактором одного театрального журнала, а фамилия его заканчивалась на «ко». И фамилия его жены была на «их», и дети были русоволосые, голубоглазые, про них гости говорили:

– Приятно взглянуть на чисто славянского ребенка!

Сосед-человек пришел сюда не в гости, а за делом:

– Дай мне пьесы Володина. Ты ведь их купил?

– А зачем? Ведь Володин – еврей.

– А почему ты Шагала повесил? Он кто, по-твоему, русский или француз?

– Так Шагала... он уже умер.

– Ну и Володин со временем умрет. И мы с тобой умрем, я тебе это обещаю.

Ляля сидела в кресле и жадно впитывала все эти разговоры. И главный редактор решил поставить-таки соседа на место:

– У меня гостя, а ты... В литературе должно быть что-то светлое! А то таких мерзавцев я через себя каждый день пропускаю, неужели еще и на сцене про них смотреть?

– Наркоман ты, вот кто!

– Кто? – возмущенно закричал главный редактор.

Лялю передернуло от возмущения: она вся напряглась в готовности защитить шефа.

– Литература не теплая ванна, в которую ложатся расслабиться. Если уж начали с пьянством бороться, то давайте в литературе тоже выступим против придуманного героя, так называемого, положительного.

Ляля не выдержала:

– Зачем против положительного! Вы что!

– Как, напившись водки, человек ничего не хочет менять, он всем доволен, так и, начитавшись такого, никто не захочет стать лучше.

– Все это еврейские штучки, – закричал главный редактор и тут же оговорился: «Я потому это говорю, что ты русский, не обидишься».

Ляля видела, что сосед в самом деле русский: глаза зеленые, морда широкая, волосы пшеничные. Она с удовольствием мысленно оглядела себя – пышную блондинку с серыми глазами.



– Чехов еще говорил: если вы хотите, чтобы человек стал лучше, покажите ему, каков он есть...

– Ну, – перебил его главный редактор, – не будем Чехова сюда впутывать!

Ляля чувствовала, как шеф ее напряжен против своего соседа, поэтому обрадовалась, когда тот ушел. Потом она взяла «свою» рукопись и попрощалась.

– Игорь заболел, вот и пришлось просить вас, – оправдывался главный редактор.

– Да постараюсь сегодня сделать.

Дома Ляля показала мужу рукопись: мол, шеф просил как можно скорее. Толик скис – они вечером собирались в гости.

– Ну и сходим в гости. Я быстро напишу рецензию. А чего напрягаться-то – одноактная комедия.

– Ну, это ведь надо препарировать, – ныл Толик, листая рукопись и зачитывая реплики из нее: «Но об этом никто не знает, значит, этого как бы не было! Ремарка: в зале несколько минут запах малинового варенья (варят прямо на сцене)».

Толик потрогал свои почки и махнул рукой. Ляля знала, что даже запах малинового варенья не мог он переносить из-за болезни почек, а уж само варенье даже и не попробовал никогда.

Она села читать рукопись.

Странная это была пьеса. Один друг позвал другого на поминки. Отсюда и название: «Годины». И хотя никто из близких родственников у него не умер, но «он мне все равно нужен для одного дела. Пойду».

Пришел, а там стол накрыт, запах малинового варенья, и такая встреча:

– Я не мог тебя не позвать на эти поминки, ведь год назад умерла твоя душа.

А друг-то уже привык к странностям своего однокашника, да и очень он был ему нужен. Решил сидеть... Третьим действующим лицом была душа, то умирающая, то воскресающая; автор писал, что ее роль должна играть девушка, запеленутая широкой белой лентой, как на древнерусских иконах. Эти иконы сбили Лялю – она стала искать что-то славянофильское, но пьеса оказалась типичным перевертышем, когда плохой в конце оказывается хорошим и наоборот, прием, выдающий автора-новичка. Ляля выписала несколько цитат, потом приняла позу кучера и расслабилась – нужно отдохнуть перед работой.

Она задремала, и во сне пьеса представилась ей как кусок загустевшего воздуха. Вот так и только так можно взять его в руки, а по-другому уже нельзя – промахнешься! И с одной стороны на самом деле оно больше, чем с другой, притом синее. С той же стороны, где оно меньше, пахнет импортным мылом. И сказать-то больше нечего...

Она проснулась и подумала: до чего хорошо рецензировать явно бездарные пьесы! Никакой мороки. А все эти символы!.. И вдруг она вчиталась в фамилию автора. Феликс Смирин! Ее сразу осенило: вот они, еврейские штуч-

ки. Сразу стало понятно содержание пьесы, ее издевательский, характерный, между прочим, юмор. Она решила напечатать разгромную рецензию.

Машинка смотрела на нее всеми своими клавишами. Ляля напечатала первую фразу: «Эстетические категории определяются из соотношения идеала и действительности. Комическое предполагает...»

Про себя она в это время думала так: «Я совсем не против евреев, но нужно процентаж соблюдать». Эти слова она слышала недавно на дне рождения шефа. Еще тогда его сын получил три телеграммы-молнии! Ужасно интересный вечер получился. Сын Игорь был подработчиком, тоже рецензировал, на одну еврейскую пьесу он так разозлился, что посоветовал автору рукопись сжечь. И вот с интервалом в час стали приносить телеграммы.

«Рукописи не горят» – была первая.

Вторая оказалась длинной: «Рукописи сжег, жду дальнейших указаний насчет Рабле, Боккаччо и прочей нецензурщины». Наконец принесли третью: «Рукописи сжег, лежу в психушке – вышли денег на лечение». Гости тогда очень веселились, но Ляля решила сейчас, что она на «Годины» напишет хотя и разгромную, но неуязвимую, доказательную рецензию, чтобы никаких потом телеграмм.

И тут позвонила Лидочка Воронова – очень кстати. Ляля ей рассказала про пьесу, про автора, и Лидочка, как всегда, начала тараторить на эту тему. Для нее лично, для Лидочки, разницы не существует: она общается с евреями и неевреями, но теоретически первые были запрограммированы на полноту творческой личности, только вот у них нет сердца Христова, то есть той юродивости, которая есть у русских, нет у них этого отдавания последней рубашки...

Ляля прервала ее:

– Фантазия у них есть, но они ее не туда напрягают...

Но Лидочку непросто было остановить. Она продолжала:

– Нужно у них учиться, и их учить! Учиться – личностному раскрытию, а учить – вот этой сердечности, жертвенности.

Толик подошел и спросил шепотом:

– Она опять о чем-то интеллектуемом?

Он Лидочку недолюбливал: всего на год раньше их приехала в Москву, а уже так закрепились здесь, такие завела знакомства, что им трудно было рассчитывать на подобное даже через пять лет жизни здесь. Чувство здорового цинизма не позволяло Толику скрывать причину нелюбви к Лидочке. Он сказал:

– Еще год назад приходила к нам, а теперь лишь звонит. Скоро все связи прервутся. Мы же не возвращаемся там, где она...

Ляля считала, что и там, где возвращаются они, есть немало полезных людей, и она считала их интересными. И даже хорошо, что они в разных кругах! Ляля могла пересказывать то, что слышала от Лидочки, в своем окружении – у нее были удивительные воспроизводящие способности.

- Препарировала? – спросил Толик.
- Сейчас, Лидочкины слова вставлю, и все.

Они вышли пораньше, и Ляля успела забежать в редакцию, чтобы отдать секретарю свою рецензию. Та быстро сунула ее в стол, где прикрепила к какому-то конверту. И на нем-то, на этом порванном конверте, Ляля вдруг увидела свой... свой адрес! Пермский, конечно. Бывший свой.

Отчим! Под псевдонимом прислал!..

Молниеносно сообразила: «Писать новую уважительную рецензию – два дня работы, а завтра как раз обещала шефу... А! Пусть будет, как есть. В-первых, отчим все равно не узнает, что я узнала. А во-вторых, он ведь на самом деле еврей – вот пусть и пишет на своем языке и шлет в свой журнал».

– Новый анекдот хотите? – спросила секретарша, бывшая с Лялей в прекрасных отношениях. – Идет дракончик и плачет. «Что ты плачешь, где твоя мама-то?» – «Съел. Очень кушать хотелось». – «Ну, а папа-то хоть жив?» – «Нет. Съел его». «Так бабушку-то с дедушкой хоть пожалел?» – «Нет, съел их. Кушать хотел». – «Кто же есть-то у тебя? Старшие братья или сестры?» – «Нет никого, съел я их». – «Так как же ты живешь теперь?!» – «А вот так и живу – сирото-о-о-й!..»

Ляля дернула руку к конверту, чтобы взять обратно рецензию, но спохватилась: два дня лишней работы!

– Чернота, – сказала Ляля про анекдот, а про себя подумала: «Как жаль, что мы, рецензенты, не пишем под псевдонимом».

Ляля была напряжена против отчима давно. Он с двенадцати лет таскал ее по театрам, заставлял ходить в студию, читать «Фауста» в разных переводах.

Вечно он писал свои сценки и рассылал их по редакциям! Собирал студенческий жаргон, когда Ляля поступила в университет, всех ее гостей замучивал глупыми вопросами о жизни, записывал все реплики на маленькие бумажки, которые совал в конверты, кульки и старые материны сумочки. Количество таких накоплений росло. Ляля говорила друзьям, что в старости у отчима и матрац и наволочка будут набиты такими бумажками, он их ночами иной раз будет описывать. А по утрам доставать и просушивать, распространяя на всю квартиру творческий запах мочи, ругая сына за рваную клеенку и прочее... Да, у Ляли был единоутробный брат: сын матери и отчима. Он на двенадцать лет моложе Ляли. Теперь там его таскают по театрам и тычут в «Фауста».

Ляля вспомнила, как в последние годы в Перми отчим ее особенно раздражал. Все казалось неприятным: как он ест, выбирая рыбные кости прямо на стол, как сплевывает в унитаз, не смывая плевок, а в нем всегда сгустки крови, а мать еще его защищает:

– В Перми у всех плохая печень, вот и сосуды проницаемые!

Когда у Ляли в первый раз в слюне показались прожилки крови, да и Толику хотелось жить в Москве, мать сразу подсутилась, словно давно мечтала разделить их с отчимом. Как раз нашлись знакомые. Этот самый глав-

ный редактор, который сейчас опекал Лялю, был женат на маминой однокурснице, и в Перми были ее родители, старики, не очень-то пышущие здоровьем, поскольку всю жизнь прожили именно в Перми, где такая вода, и все это оказалось на пользу Ляле. Ведь за ними нужен уход, и мать Ляли все взяла на себя. Даже уколы, бывало, сама им ставила – она была известнейшим врачом. Все делалось для того, чтобы Ляля поступила в аспирантуру, но пока удалось только устроиться в журнал. Значит, отчим не перестал писать свои «сценки», только теперь посылает их под псевдонимом!.. Ляля не хотела почему-то говорить об этом Толику, поэтому вышла с деловым видом и взяла мужа под руку.

Когда они пришли, все уже вакховали. Ляля села напротив толстяка-холостяка Миши Лапина, которого она еще год назад выбрала муляжом-тренажером и с тех пор обкатывала на нем приемы своего кокетства: то ноги переставляла, то крылышки на сарафане поправляла, то руки вдруг захотела умастить персиковым кремом – помогала хозяйке посуду унести и вымыть перед горячим. И вот кожа показалась – будто бы – суховатой. Ляля красиво умащивала перед Мишей свои руки кремом. И холостяк не устоял.

– Чтоб сподручнее пошшочины ставить? – спросил он взволнованным голосом, якобы шутливо передразнивая пермский говор.

– Ну что ты, кому пошшочины? – Ляля быстро погладила его по руке – мол, успокойся.

Миша еще сильнее взволновался, стал ходить возле Ляли кругами и острить. А Толик потом удивлялся, откуда в Ляле неистощимые запасы женственности: уж вроде он их истреблял, расхищал, а они все не уменьшились. Он не знал, что Ляля отрабатывала их на тренажере, как – впрочем – и некоторые высказывания.

– Писала рецензию на одного Феликса, – сказала она Мише. – Сколько их в науке и искусстве!.. Надо бы процентаж ввести!

– Ну и кто выиграет? – ответил Миша, явно думая о другом. – Мы и так отстали от Америки, куда уж дальше-то. У Петра Первого и то был Шафиров – приближенный еврей.

– Не слыхала. Меншиков – да.

– Ну вот, Шафирова не знаешь, а еще антисемитка! Я на вас вообще удивляюсь. Вот стоит твой Толик и листает Фолкнера, а бедный Уильям всю жизнь боролся против расизма. При этом Толик – славянофил, но думает: он-то уж понимает Фолкнера, как никто другой. Бред какой-то...

Возникло напряжение. Компания, конечно, прислушивалась. Ляля поняла, что Миша раздражен против нее, потому что она водит его за нос своим кокетством, она быстро думала, как его умаслить, – с москвичами она не думала ссориться ни в коем случае. В конце концов, наплевать ей на все национальности, если удалось пристроиться к национальности под гордым названием «москвич». И она вспомнила про мечту Миши о черепе собаки. С кавказским радушием Ляля вдруг предложила:

– А мы-то тебе череп собаки приготовили подарить! Уже в коридор выставили, к порогу. Но забыли взять.

Миша как-то странно замолчал. Словно говоря: «А мой череп никому не пообещаете?» Потом кивнул. Пошел к столу и стал с жадностью холостяка поедать конфеты. У Ляли с Толиком не было детей, но пятилетнее замужество отбило у Ляли охоту к таким юношеским удовольствиям, как конфеты. Столько все время забот, жизненно важных. Всегда нужно думать, что говорить. Это москвичи могут что угодно высказывать – а ей-то нужно еще как следует закрепиться здесь. Ляля себя пожалела...

Получив разгромную рецензию, отчим, наверное, побежал к жене. То есть Лялиной матери. Ляля так и представляла, как он кричал:

– Кого мы воспитали! Что она пишет! Намеки на...

А мама, всегда выражавшаяся со свойственной медикам грубостью, конечно, скажет:

– Как?! Наша Ляля, зачатая в сессию, учившаяся на отлично, стала такой дурой!

– При чем тут «зачатая в сессию»! – закричит отчим. – Она попала из грязи в связи, вот и результат.

Но так или не так проходил весь этот разговор, мать позвонила Ляле поздно вечером и сразу начала кричать:

– Ляля, что ты написала папочке! «Герои не отражают национальных черт русского народа: нет жертвенности. Нет юрдивости, отдавания последней рубашки». На что ты намекаешь?

– Мама, о чем ты говоришь? – спросила Ляля.

– О твоей рецензии.

– Никакой рецензии ему я не писала, – стояла на своем Ляля.

– Ну, он под псевдонимом... посылал.

– Мама, кто же так делает! Если он под псевдонимом, то хотя бы позволили мне, предупредили: мол, если попадет, то... А так я не знаю, просто... Кто так делает-то!

– Так... Но даже если не нам: зачем так писать, такими словами.

– Мама, это дело служивое: я тут не виновата, нужно, – отвечала Ляля, уже придумавшая, как отвечать.

И разговор перешел на безбелковое своеобразие Перми. Которое Лялю не волновало совершенно, и она отвечала спокойно:

– Я пришлю мяса, хотя везде – ты ведь знаешь – мешочки. Стоять надо... Пришлю. Да, должна пещись о вас, об ваших нуждах. Почто ты меня упрекаешь?

Так шутить – с использованием старинного произношения – Ляля научилась здесь.





специалист по информационным системам, переводчик. Печатался в журналах Multilingual Computing и The ATA Chronicle, а также в русскоязычных изданиях в Израиле. Живет в США.

## **ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГНЕЗДО КУКУШКИ**

И когда бывшие наши соотечественники изблюют гамбургеры и кока-колу из чрева своего, вот тогда мы, может быть, их и пустим пожить где-нибудь за чертой оседлости.

*Дмитрий Горчев*

Русскоязычная диаспора новейшего времени (если понимать под ней выходцев из СССР и Российской Федерации, проживающих нынче за рубежом России) исторически складывается из двух групп. В первую входят эмигранты, покидавшие Советский Союз с конца 60-х – начала 70-х годов и до конца прошлого века, во вторую – российские соотечественники, отрезанные после 1991 года от России её новыми границами. Но если для первых эмиграция представляла собой личный и, как правило, осознанный выбор, то положение вторых оказалось иным.

И хотя эмиграцию из-за советского железного занавеса вряд ли можно назвать благословением для каждого из уехавших, тем не менее нынешние русскоязычные жители (и уже граждане) США, Канады, Израиля и стран Западной Европы оказались статистически в значительно более благоприятном положении, чем оставшиеся в республиках бывшего СССР.

В годы угара перестройки советские граждане – жители «национальных окраин» – не могли себе представить, как беззастенчиво и бесчеловечно расправится с ними номенклатура метрополии. При дележе унаследованного от СССР пирога она просто отрезала от России около 30 млн русских и российских соотечественников других национальностей, оказавшихся за

пределами исторической родины и в одночасье превратившихся в людей второго сорта во многих новых суверенных государствах. (А ведь 30 млн – это население средней европейской страны, чуть побольше Румынии и поменьше Польши...)

Так образовались две диаспоры – «ближнего» и «дальнего» зарубежья. И различия между ними оказались далеко не только географическими. Правовое положение русскоязычных жителей «национальных окраин» по мере оформления национальных суверенитетов постсоветских государств становилось всё хуже; об этом свидетельствует тот факт, что за десятилетие с момента распада СССР количество беженцев и вынужденных переселенцев, переехавших из них в Россию, превысило 10 млн чел. Но лишь малая часть их (около 1,6 млн) обрела в России соответствующий гражданский статус<sup>1</sup>, не говоря уже об их экономическом положении.

В течение полутора десятилетий, прошедших с момента распада СССР, отношение законодателей России к соотечественникам менялось неоднократно. В 1991 году был принят закон «О гражданстве», предполагавший автоматическое предоставление российского гражданства «в порядке признания» всем гражданам бывшего СССР, проживавшим в России на момент принятия закона. Однако с приходом к власти Владимира Путина политика Кремля заметно ужесточилась. В 2001 г. Госдума начала рассмотрение новой редакции упомянутого закона, из которого был изъят пункт о предоставлении гражданства «в порядке признания». А в начале 2002 г. рабочая группа администрации президента во главе с тогдашним заместителем главы администрации Виктором Ивановым подготовила к этому документу поправки, значительно усложнявшие порядок предоставления российского гражданства. Как поясняли тогда сторонники новой редакции, «те, кто хотел получить российское гражданство, за десять лет это уже сделали». Через год курс Кремля снова резко изменился: в мае 2003-го Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию подверг закон «О гражданстве» серьезной критике и заявил о необходимости его существенного смягчения. Заняться этим было поручено тому же господину Иванову, и через два месяца соответствующий пакет поправок был принят Госдумой.

Всё это время российская власть вяло реагировала на давление общественности и правозащитных организаций привычными методами и мерами – так, ещё в 1994 году в первом составе Государственной думы был создан Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками, а указом Б. Ельцина – Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом. Была разработана и утверждена «Концепция государственной политики в отношении соотечественников за рубежом». В 1995 г. в Государственной думе прошёл Съезд соотечественников из стран СНГ и Прибалтики, на котором был избран Совет соотечественников при Государственной думе в

---

<sup>1</sup> Выступление председателя Госдумы РФ Геннадия Селезнева на парламентских слушаниях «Миграция в России: проблемы и противоречия» 4 апреля 2002 г.

роли экспертного органа, представляющего чаяния соотечественников в России<sup>2</sup>, а в 2001 году – Конгресс соотечественников, за ним последовал второй – 25 октября 2006 г. в Санкт-Петербурге, который предполагалось провести ещё осенью 2005 г. Комитеты, комиссии, съезды, советы, конгрессы... Всё, как обычно. Привычные бюрократические рефлексy, время от времени освежаемые трогательными коллизиями «царь добрый – чиновники плохие».

Так, например, на Конгрессе соотечественников осенью 2001 г. президент Путин выступил с прочувствованным и вдохновенным призывом к соотечественникам возвращаться в Россию, подчеркнув: «Мы делаем для своих соотечественников мало, слишком мало». А через пару дней вышел указ, который передал МВД функции миграционной службы. Вскоре после чего был принят Федеральный закон о гражданстве<sup>3</sup>, превративший всех бывших советских граждан в иностранцев, для которых репатриация означает не один год странствий по милицейским лабиринтам, проверок на благонадежность, унижений и поборов. Не лучше его оказался и охранительно-репрессивный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Президент тут же ласково пожурил членов Федерального собрания РФ в своём Послании 2003 года: «Принятые в прошлом году законы были призваны навести порядок в миграционных потоках, сделать их прозрачными. То, что получилось, не способствует решению этих задач. Скорее создаст серьезные проблемы для большого количества людей. <...> Давайте подумаем и внесем соответствующие коррективы». Как мило. (Законы эти, между прочим, – плод трудов администрации этого же самого президента. А заместитель главы этой администрации В. П. Иванов – соавтор этих законов и глава Комиссии по совершенствованию миграционной политики<sup>4</sup>.)

И вот опять на слуху судьбы миллионов людей, так или иначе сопричастных России, но оказавшихся вне её. И в этом хоре отчётливо звучит тон «собираательства соотечественников». Существуют, разумеется, вполне

---

<sup>2</sup> Существовал при Государственной думе (с первой Думы по третью включительно). Распущен по инициативе Комитета по регламенту.

<sup>3</sup> Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

<sup>4</sup> Виктор Петрович Иванов (род. 12 мая 1950 г.). В 1971-77 гг. получил высшее образование в Ленинградском электротехническом институте, затем в 1977-94 гг. после окончания Высших курсов КГБ работал в Управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. В 1994-96 гг. по инициативе Путина возглавлял управление административных органов мэрии Санкт-Петербурга. После назначения Путина главой ФСБ возглавил там управление собственной безопасности в должности заместителя директора. С 2000 г. заместитель главы президентской администрации, ответственный за кадры. С 2002 г. курирует Главное управление по делам СНГ президентской администрации. Именно по инициативе Иванова ликвидирована активно действующая Комиссия по помилованиям при президенте РФ, после чего количество помилованных президентом осужденных значительно сократилось.



объективные причины такого – хоть и вынужденного – интереса России. Это и усугубляющийся демографический кризис, вызванный многими обстоятельствами (снижение рождаемости, старение населения и т. п.). Это и «экономическое размывание» титульного этноса (например, китайцами на Дальнем Востоке), влекущее за собой малопривлекательные политические перспективы. Это и проблема нелегалов, которых в России по официальным данным свыше 5 млн чел.<sup>5</sup>, и её экономические и социальные последствия. Это и многие иные факторы (такие, как отток высококвалифицированных кадров), понуждающие великороссов умерять свою пресловутую национальную гордость, – вернитесь, мол, соотечественники, в объятия отчизны.

Грустно, но вряд ли удивительно – проблему восстановления добрых отношений с русскоязычной диаспорой и побуждение соотечественников к возвращению в Россию официальные лица рассматривают, прежде всего, с точки зрения её **выгодности** для России. Проблема репатриации считается одной из составляющих проблемы миграции и самостоятельную значимость обретает разве что в политическом контексте; иными словами, во главу угла ставится, прежде всего, экономическая целесообразность репатриации для российского государства. И это не мнение десятка-другого спесивых сановников – это доминирующее умонастроение, прямо вытекающее из барской, патерналистской, имперской идеологии, где тон в отношении к «бывшим» задают викторы ивановы – архитекторы репатриации.

Не случайно в «Концепции регулирования миграционных процессов», подписанной 1 марта 2003 г.<sup>6</sup>, во главу угла регулирования миграционных процессов ставится «обеспечение условий социально-экономического и демографического развития страны». Даже среди образованной российской публики нередко высокомерное самомнение: «К нам едут абы кто, а нам надо брать квалифицированных»<sup>7</sup>.

Это умонастроение прорывается в пресловутой «Концепции» и других официальных документах откровенно сталинскими конструкциями и формулировками. Тон этому задаёт сам президент Путин; по его неоднократным заявлениям, России «необходим приток мигрантов, однако приезжать они должны именно в те зоны и те сферы, где их присутствие даст максимальный эффект»<sup>8</sup>. Вот и появляются с высочайшего соизволения вот такие, например, прожекты.

«Из устного сообщения одного из авторов проекта "Концепции" стало известно, в частности, что всех желающих переселиться в Россию (из

---

<sup>5</sup> По неофициальным – примерно вдвое больше, то есть столько же, сколько в США, где численность населения почти вдвое превышает российскую.

<sup>6</sup> Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2003 года № 256-р).

<sup>7</sup> Миграционная ситуация современной России. Лекция Ж. А. Зайончковской в литературном кафе-клубе Bilingua в рамках проекта «Публичные лекции "Полит.ру"» 20 января 2005 г.

<sup>8</sup> *Наталья Алексеева*. Кремль объявил призыв репатриантов // Известия. 2006. 9 февр.

граждан её коренных национальностей) предлагается разделить на три группы. Тем, кто сам полностью оплатит расходы по переезду и устройству на новом месте, разрешить выбрать место проживания, включая столицы. Тем, кто оплатит половину расходов, разрешить избрать место поселения из небольшого числа районов, список которых им будет предложен. А тем, переселение кого будет оплачивать государство, место проживания будет "назначено", определено сверху – они должны ехать туда, куда нужно государству»<sup>9</sup>.

Многолетнее муссирование проблемы миграции и репатриации ознаменовалось в российских СМИ конца 2005 – начала 2006 г. очередным всплеском публикаций, интервью, «круглых столов», лекций, выступлений. Наконец, согласно указу, подписанному президентом Путиным<sup>10</sup>, уже в начале осени 2006 года должна быть введена в действие Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Для реализации этой программы указом создаётся специальная Межведомственная комиссия. А председателем её президент назначает (угадайте с одного раза – кого? Правильно...) своего помощника Иванова В. П. – того самого.

И вот в сентябре 2006 г. этот указ вступил в силу. Программа позволит приехать в Россию практически всем выходцам из СССР и России, проживающим за рубежом, причём им предложат бесплатный переезд к новому месту жительства, подъемные, пособия, работу и жилье. Исполнение и координация программы поручены Федеральной миграционной службе (ФМС), которая стыдливо призналась прессе, что наиболее привлекательные места (например, мегаполисы – включая Москву, – не испытывающие демографических проблем и кадрового голода) останутся недоступны для «иностранцев». Зато в изобилии представлены медвежьи углы, малозаселённые пространства Сибири и Дальнего Востока – исконные края поселенцев и жертв «оргнабора» сталинских времён.

Эти новации – последовательное развитие положений упомянутой выше «Концепции регулирования миграционных процессов» 2003 г. Надо сказать, что текст этого документа пестрит парными высказываниями, одно из которых прямо противоречит другому. Например, суть «Концепции» сформулирована вполне беззастенчиво: «разработка механизма управления расселением иммигрантов по территории страны, исходя из интересов социально-экономического развития регионов, с учетом потребности региональных рынков труда и демографической ситуации». И рядом, чуть ли не на той же странице: «Рыночный механизм предопределяет необходимость осуществления государственного управления миграционными процессами

<sup>9</sup> Виктор Переверденцев. Загнать на «севера» // Новое время. 2003. 2 нояб. № 3021.

<sup>10</sup> Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

на основе обеспечения прав граждан на свободу передвижения и создания с этой целью системы экономических стимулов». Каковы перлы, а? А несколькими страницами далее соседствуют такие положения: «использование иностранных работников при условии приоритетного права граждан Российской Федерации на занятие вакантных рабочих мест» и «обеспечение соотечественникам приоритета при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности, учебы, а также при реализации инвестиционных проектов».

Чудовищная безграмотность подобных законотворческих упражнений ошеломляет. Не говоря уже о конституционных правах и свободах (как, например, свобода перемещения и выбора места жительства), устанавливать региональные квоты и направлять мигрантов в отдалённые районы и малые города, где безработица наиболее высока, – экономическая бессмыслица. Не пошли впрок уроки советского времени, когда «злостных тунеядцев» и «спецконтингент» переселяли в административном порядке на Дальний Восток, растрачивая впустую громадные средства, а население Магаданской и Сахалинской областей формировалось преимущественно из бывших эзков (чем, кстати, во многом объясняются сегодняшние региональные демографические и иные проблемы)<sup>11</sup>. Современному Угрюм-Бурчееву всё невдомёк, что крепостное право – это история.

Впрочем, и это неудивительно – невнятица и путаница начинается уже с понятийного аппарата и, соответственно, языка этих эскерсисов, который больше скрывает, нежели провозглашает. В зависимости от их контекста соотечественники<sup>12</sup> (понятие скорее культурно-языковое – в противовес его квазинормативному определению, приведенному в Федеральном законе «О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом»)<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Пожалуй, единственным удачным переселенческим опытом в России стал план Столыпина о переселении безземельных крестьян юга России в дальневосточные регионы, где они закрепились и процветали. Именно благодаря ему нынешнее население Приморского и Хабаровского края и Амурской обл. – русскоязычное.

<sup>12</sup> Соотечественник/-ница, соотчич, соотченка, рожденный в одном отечестве, отчизне; соотчич, наше(свое)земец, едино(одно)земец, соземец, земляк, родович, родинич, сородич; рожденный в одном с кем государстве, или в одной губернии, или однодеревенец. Соотечественные нам ученые. Соотчичий, ему принадлежащ (*В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка*).

<sup>13</sup> Понятие «соотечественники за рубежом» в законе включает в себя следующие категории: граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации (далее – граждане Российской Федерации, проживающие за рубежом); лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства; выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства либо имеющие вид на жительство или ставшие лицами без гражданства); потомки лиц, принадлежащих к вышеуказанным группам, за исключением потомков лиц титульных наций иностранных государств.

незаметно становятся репатриантами<sup>14</sup>, мигрантами, реэмигрантами, переселенцами, а то и вовсе возвращенцами<sup>15</sup>. А российское законодательство последнего десятилетия определяет правовой статус этих самых соотечественников невозмутимо и недвусмысленно – «иностранцы», удобно забывая о том, что репатриация – качественно иная правовая процедура, нежели поиск судьбы в новом отечестве, нежели иммиграция, трудовая и профессиональная миграция и т. п., а в российском контексте к тому же имеющая важный этический аспект. Но ощущать и различать эти тонкости не дано власти имущим.

Степень привлекательности России обратно пропорциональна образованию, доходу и социальному статусу такого «иностранца» – т. е. бывшего советского гражданина, проживающего в США, Канаде или Западной Европе и принявшего гражданство страны проживания. Поэтому сохранение иностранного гражданства как гарантия обратного билета потребует заключения с ведущими западными государствами договоров о двойном гражданстве – и это при извечной российской ксенофобии (от настороженности до яростного неприятия), с одной стороны, и вполне понятного отсутствия энтузиазма у западных держав, с другой. Но для каждого, кто сейчас или в будущем, в этом поколении или в следующем, захотел бы вернуться в Россию, для любого «бывшего» россиянина это своего рода страховой полис.

Однако вопрос двойного гражданства звучит и в законе, и в официальных российских сферах довольно странно. Так, например, 31 января 2006 г. президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в Кремле, отвечая на вопрос армянской журналистки о возможности принятия российского гражданства желающими на постсоветском пространстве, заявил: «Российское законодательство в этой сфере не предусматривает двойного гражданства, и граждане других стран, если хотят связать свою судьбу с Россией, должны выйти из гражданства, которое они имеют. Соответствующие процедуры предусмотрены и должны быть соблюдены».

---

<sup>14</sup> Репатриация (от лат. *repatriatio* – «возвращение на родину») означает либо возвращение эмигрантов в страну их происхождения с восстановлением в правах гражданства, либо возвращение на родину военнопленных и гражданского населения, оказавшегося за пределами своей страны в результате военных действий (в соответствии со ст. 109 Женевской конвенции 1949 г. об обращении с военнопленными, после прекращения военных действий воюющие государства обязаны провести безусловную репатриацию военнопленных).

<sup>15</sup> Только в одной «Концепции» 2003 г. используются (без определений) следующие термины: иностранные граждане, вынужденные мигранты (вынужденные переселенцы, беженцы и лица, ищущие временное убежище), лица, получающие временное или политическое убежище, экономические иммигранты, лица без гражданства, иностранные работники, используемые в России, и российские граждане, работающие за рубежом, соотечественники за рубежом, лица, признанные беженцами, и лица, получившие временное убежище, эмигранты, выехавшие за границу на постоянное место жительства или по трудовым контрактам.

Однако подобными строгостями можно легко пренебречь, предпринимая пропагандистские акции, – такие, как, например, предоставление российского гражданства (разумеется, по высочайшему соизволению того же Путина) 85-летнему Андрею Шмеману<sup>16</sup>, проживающему во Франции по нансеновскому паспорту<sup>17</sup>. По словам его нью-йоркского племянника, Сержа Шмемана, журналиста и искусствоведа, Андрей Шмеман « всю жизнь прожил во Франции, так и не приняв никакого гражданства, поскольку, по его словам, он "является русским" <...> Эта история дошла и до Владимира Путина, который, возможно, решил, что, формально закончив разлуку Шмемана с родиной, он сможет что-то сделать для наведения мостов с русской диаспорой за рубежом»<sup>18</sup>.

Конечно же, для некоторых русскоязычных переселенцев, некогда советских граждан, оставшихся в бывших республиках Советского Союза после его распада (например, под властью Туркменбаши), даже такой вариант может оказаться приемлемым в сравнении с их отчаянным сегодняшним положением. Но призывы к возвращению бывших советских граждан, проживающих на Украине, странах Балтии, эмигрировавших из Советского Союза до его окончательного распада (т. е. подлинных эмигрантов), и российских граждан, выехавших из России в развитые страны (Западная Европа, США, Канада, Израиль, Австралия) и в другие страны (Юго-Восточная Азия и пр.), на подобных условиях звучит не просто нонсенсом, а откровенным издевательством. А ведь российский президент не шутит: если в 2006 году планируется учреждение представительств ФМС России на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Молдавии, то в 2007 году – бери выше: в Эстонии, Германии, США, Израиле. Так и видятся на этих резидентурах плакаты с призывами «Дорогие соотечественники! Родина ждёт вас!» Информационная кампания уже начата – время от времени «раскручиваются» сюжеты о выехавших на Запад в надежде на коврижки, а теперь слёзно молящих: «Пустите обратно!»<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Шмеман Андрей Дмитриевич (Andre Schmemann) родился 13 сентября 1921 г. в г. Ревеле (Таллине) в Эстонии. Брат-близнец протоиерея Александра Шмемана. Учился в русской военной школе, основанной эмигрантами в Париже. До 1952 г. был старостой церкви Знамения Божией Матери (65, rue Michel-Ange, Paris). Возглавлял Союз русских кадетов и работал в Епархиальном совете Русского Западно-Европейского экзархата. Один из членов-учредителей Движения за поместное православие русской традиции в Западной Европе (2004 г.). Кавалер Ордена Почетного легиона (2004 г.). В последние годы помогал созданию кадетских школ в России и руководил организацией русских скаутов.

<sup>17</sup> Документ, принятый в 1922 году Лигой Наций для беженцев.

<sup>18</sup> A Russian Émigré Finally Gets His Russian Passport. By Serge Schmemann // The New York Times. 2004. June 9. Wednesday. Section A, Page 22.

<sup>19</sup> Открытое письмо еврейского иммигранта В. Брагинского, проживающего в Германии, адресованное президенту Российской Федерации Владимиру Путину ([http://www.newsru.co.il/world/28may2006/putin\\_letter.html](http://www.newsru.co.il/world/28may2006/putin_letter.html)).

Кроме того (что не менее важно), законодательство России о гражданстве само по себе очень запутано с точки зрения правоприменения, а тут ещё неизбежны конфликты с законодательством о миграции. (Ярким примером этого стало недавно завершившееся «дело Шикояна»<sup>20</sup>.) При всей близости различных документов, затрагивающих вопросы отношений с соотечественниками, гражданства, переселения, они имеют разные предметы правового регулирования. И если понятие «соотечественник» хоть как-то определено в федеральном законе, то вопросы социально-экономической поддержки соотечественников и организации их переселения регулируются сегодняшним указом президента, а вопрос получения гражданства РФ – федеральным законом «О гражданстве» и отдельными подзаконными актами. Это неизбежно создаёт благоприятнейшие условия для чиновничьего произвола, поборов и вымогательства. Вот уж воистину: вся сила российского закона – в примечаниях к нему, а строгость его умеряется необязательностью исполнения.



Признание исторического долга перед гражданами бывшего СССР было кодифицировано российским законодателем ещё в 1999 году, когда вступил в силу Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»<sup>21</sup>. В нём недвусмысленно сказано: «Российская Федерация – есть правопреемник и правопродолжатель Российского государства, Российской республики, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и Союза Советских Социалистических Республик (СССР)».

Если Россия и впрямь заявляет о себе как правопреемнице СССР, не-

---

<sup>20</sup> Семья Аршака Арутюновича Шикояна столкнулась с серьезными проблемами в получении российского гражданства – вернее, с очевидным нарушением гражданских прав. Жена и две дочери Аршака Арутюновича проживают в Краснодарском крае с 1992 года, то есть уже 14 лет. Глава семьи неоднократно обращался в краевые паспортно-визовые службы, в миграционную службу, в Совет Федерации, в администрацию президента, но никакого результата не добился. При этом он сам является с 1992 года гражданином России, а его жена и дети постоянно зарегистрированы с января того же года. Более того – суд вынес решение, подтверждающее их право на получение гражданства, и только благодаря этому члены семьи получили паспорта Российской Федерации. Однако при этом работники миграционной службы Краснодарского края предупредили их о том, что паспорта могут потребовать назад. Произвол местных властей покрывает руководство ФМС. И если бы это дело не получило широкую огласку благодаря его подробному обсуждению в эфире радиокomпании «Голос России» в передаче «Россия всегда с тобой», результаты могли бы быть плачевными – как в десятках других сходных дел.

<sup>21</sup> Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (от 24 мая 1999 года, №99-ФЗ в ред. Федеральных законов от 31.05.2002 № 62-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ /ред. 29.12.2004/).

лишним будет напомнить, что обычно вместе с правами наследуются и обязательства. Наряду с внешним долгом СССР, его обязательствами по международным договорам и т. п., Россия унаследовала также обязательства иного рода – по отношению к бывшим советским гражданам. Но об этих обязательствах она предпочитает скромно помалкивать, а идея реституции встречает внутренний протест даже у самых радикальных российских сторонников восстановления справедливости в отношении эмигрантов.

А ведь советские власти на протяжении более 20 лет (с 60-х до конца 80-х годов прошлого века) обрекали сотни тысяч далеко не худших своих граждан на издевательства, унижения и бесправие, морили в лагерях и тюрьмах, в лучшем случае – лишали средств к существованию; и вся вина этих людей заключалась лишь в том, что они помыслили иную судьбу – свободную, а не рабскую. Эмиграция была приравнена к измене родине не только юридически – осмелившийся заикнуться о намерении покинуть царство социализма мгновенно превращался в парию, отверженного, изгоя, на которого была спущена с цепи даже самая мелкая овировская, милицейская, домоуправская сошка. А уж власть предрежащие, издавая сотни тайных инструкций, прямо предписывающих грабёж, обман, унижение, навеки отбивали у покидающих страну даже самую мысль о возможности возвращения в неё и уж тем более – возвращения своей собственности.

Восстановление любых поправленных прав должно начинаться с восстановления прав экономических, имущественных. Чего стоит такой, на первый взгляд малозначимый вопрос – военные и гражданские пенсии, заработанные бывшими советскими гражданами десятилетиями тяжкого труда и службы в армии. Эмиграция автоматически лишала их даже этих крох – именно крох в сравнении с благами, полученными впоследствии в странах Европы, США и Канаде. Казалось бы, первым и естественным для России шагом должно стать восстановление этих элементарных имущественных прав бывших советских граждан и выплата им всего того, что Советский Союз и его правопреемница Россия задолжали им за эти годы. И ведь суммы таких компенсационных выплат окажутся смехотворными (даже с учётом выросших процентов) – как в сравнении с сегодняшним уровнем жизни эмигрантов, так и в масштабе гигантских дармовых нефтегазовых сверхприбылей, оседающих в российской казне.

Но чиновники всех рангов и даже правозащитные организации стыдливо обходят молчанием этот вопрос – не говоря уже о возмещении всех материальных ценностей, фактически конфискованных у покидавших царство победившего социализма. Ведь их вышвыривали с парой сотен долларов на человека, предварительно ограбив тотальным запретом на вывоз всего того, что зачастую было скоплено двумя-тремя поколениями и сбережено в лихие годы гражданской войны, голода, блокады, нищего послевоенного существования. Под предлогом запрета на вывоз были конфискованы и разорены бесценные частные библиотеки, коллекции произведений искусства, звукозаписей, монет, марок (не говоря уже о кооперативных квартирах

и сберегательных вкладах), находившиеся в **частном** владении и отчуждаемые в цивилизованном мире, как правило, только в судебном порядке.

Мне трудно представить, что в обозримом будущем Россия по собственной инициативе предложит эмигрантам советского времени и брошенным на произвол судьбы соотечественникам постсоветского периода какие бы то ни было компенсации в порядке реституции, совершив тем самым знаковый акт признания их имущественных прав. Ни хваленая русская готовность к покаянию, ни российское правосознание не готовы к подобным эксцессам. Редчайшие случаи правопритязаний бывших советских граждан в подобных ситуациях трагикомически предсказуемы – как, например, история с «возвращением» московской квартиры Владимиру Буковскому, занявшая уже более 8 (!) лет и ещё, по существу, не окончившаяся<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Московское правительство выполнило свои обязательства перед очередником Владимиром Буковским. Так, вероятно, решил начальник Управления Департамента жилищной политики и жилого Фонда города Москвы ЦАО М. К. Недайдовод, когда поставил свою подпись под документом, разрешающим поверенному Владимира Буковского адвокату Виктору Идоленко осмотреть однокомнатную квартиру по адресу: Капотня, бульвар Маршала Кожедуба, д. 16, корп. 1, кв. 43. Самый знаменитый советский диссидент Владимир Буковский был осужден в 1971 году на 7 лет лишения свободы и 5 лет ссылки. Под международным давлением в 1976 году его обменяли на первого секретаря чилийской компартии Луиса Корвалана. С тех пор он живет в Англии. Еще в 1991 году, когда вышел закон «О реабилитации репрессированных народов», который, в частности, определил порядок восстановления прав политзэков сталинского и постсталинского времени, фактически все осужденные за «антисоветскую агитацию и пропаганду» были реабилитированы и обрели право на восстановление своего потерянного в результате репрессий имущества. И тогда же, в 1991–1992 годах, когда Буковский приезжал в Москву, шли разговоры о том, что столичное правительство может предоставить ему жилье взамен утраченного. Но как-то не сложилось. До осуждения Буковский жил в центре Москвы в бывшем Нащокинском переулке, ныне ул. Фурманова. Там у него была трехкомнатная квартира. В 90-х годах этот дом был снесен. А через пять лет были уничтожены архивы жилого фонда и все упоминания о том, что Буковский там когда-либо проживал. После многочисленных писем адвоката Виктора Идоленко, в 1998 году один из самых известных общественных деятелей Запада был поставлен в очередь на получение квартиры в Москве «как нуждающийся в улучшении жилищных условий по категории "реабилитированные"». Как показывает переписка Идоленко с представителями московского правительства, вопрос о квартире Владимира Буковского оказался для них совсем не простым. И на протяжении пяти лет его разрешение не являлось приоритетным для столичных чиновников. Что само по себе понятно. Известно, что многодетные семьи стоят на очереди десятилетиями. Так что, вроде бы ничего странного в этом случае нет. Осмелимся предположить: выделяя квартиру «жертве политических репрессий» Владимиру Буковскому, чиновники московского правительства руководствовались принципом: «На тебе, Боже, что нам негоже». Или, говоря по-блатному: «Ваше место у параш...» (Цит. по: *Зоя Светова*. «Ваше место у параш...» // *Русский курьер*. № 164).





журналист, публицист, редактор, телепродюсер, участник Ливанской кампании, автор более 200 публикаций на русском, иврите, английском и французском языках. Живет в США.

## **ИЗРАИЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА**

Многие в Израиле помнят, какой шум поднялся вокруг передачи «Дело Лернера» в рамках российской телепрограммы «Совершенно секретно» в первой половине 1998 года. Речь шла о съемках сюжетов в связи с делом российско-израильского бизнесмена Григория Лернера (Цви Бен-Ари), осужденного за мошенничество и финансовые преступления. Некоторые русскоязычные СМИ в Израиле пытались изобразить Лернера кем-то вроде Дрейфуса, пострадавшим за то, что он «русский». Я был линейным продюсером этой телепрограммы в Израиле, пригласил съемочную группу и организовал процесс съемок. Фильм вызвал широкий резонанс. Несколько израильских деятелей пытались запретить передачу и даже добились того, чтобы вторая ее часть была снята с эфира или перенесена с субботы на нере рейтинговое дневное время в четверг. К немалому их конфузу, передача неожиданно вышла в запланированное время, да еще в День независимости, когда весь русскоязычный Израиль был у телевизора. Менее известно, что съемки «Дела Лернера» были для меня как бы побочным проектом. Все годы в Израиле меня интересовала история советско-израильских отношений в период до Шестидневной войны 1967 года. В 1996 году совместно с российскими коллегами я затеял проект документального сериала о советском шпионаже в Израиле. Проект, получивший позже название «Израильская Советская Социалистическая Республика», занимался периодом с 1919-го и до начала 1960-х годов. Более поздний период я тогда решил не исследовать, ибо одно дело – изучать историю, и другое – современность. К тому

---

© Все права принадлежат Михаэлю Дорфману, 2006

© 2006 by Michael Dorfman. All rights reserved

же мне не хотелось касаться теневых сторон правозащитного и сионистского движения в СССР.

## История в матрешках

Британский шпионский мини-сериал 1974 года «Лудильщик, портной, солдат, шпион» (в израильском прокате его называли «Все люди – люди Смайли») по книге Джона Ле Карре с Алеком Болдуином в главной роли начинается с символической заставки: одна за другой открываются матрешки, и вот, наконец, последняя, а в ней... ничего.

Мой проект был построен, как матрешки. Под заявленным сюжетом прятались другие идеи и разработки. Я хотел проверить разные аспекты участия СССР в создании Государства Израиль. Меня интересовала полузабытая, стертая со страниц советской и израильской истории роль советских добровольцев, а равно военных советников в израильской Войне за независимость, в создании Армии обороны Израиля. За этим слоем скрывалась еще более таинственная тема: участие советских и восточно-европейских спецслужб в работе израильской разведки и контрразведки. А далее: анализ информации о том, что в СССР вынашивались планы массовой депортации (или репатриации, с какой стороны посмотреть) советских евреев в Израиль и, как следствие, создание здесь просоветского режима «народной демократии».

Я собирал материалы, встречался со знающими людьми, брал интервью, сопоставлял факты и старался вникнуть в детали, потому что дьявол, как известно, прячется именно в них. Иногда казалось, что он вот-вот появится, наградив меня очередной сенсацией. Однако матрешки открывались неохотно и демонстрировали лишь многослойную сложность тогдашней жизни, которую почти невозможно однозначно оценить по нашим сегодняшним израильским моделям. Многие свидетели былых событий тогда еще были живы – политические и общественные деятели, сотрудники спецслужб Израиля, израильские коммунисты, функционеры еврейских и международных организаций, старые журналисты, да и просто очевидцы, которые многое помнили. Хранить старые секреты уже не имело смысла, но особенностью этих людей было то, что сами они, по своей инициативе ничего не были готовы рассказывать. Зато охотно и с некоторой даже радостью отвечали на грамотные, конкретные вопросы и охотно делились сведениями с информированным собеседником.

Мне очень помог адвокат Амнон Зихрони, один из немногих, имевших специальный допуск для защиты советских шпионов в израильском суде. Он связал меня с нужными людьми, дал множество наводок и рекомендаций. Помог мне и бывший глава Бюро по связям с советскими евреями (НАТИВ) Нехемия Леванон, служивший советником израильского посольства в Москве в 50-е годы. На более позднем этапе мой проект поддержал представитель канала НТВ в Израиле Марк Меерсон, сам в прошлом высо-

копоставленный офицер «русского отдела» израильской контрразведки ШАБАК. После завершения подготовительной работы в Израиле я собрался поработать в Москве. Участие российских партнеров было решающим в продвижении и финансировании проекта. При этом мне удалось отстоять принцип, что ценность и уникальность проекта заключается в показе событий с израильской точки зрения.

### **«Громыко голосовал за Израиль, полагая, что туда поедут наши люди строить социализм»**

Я уехал из Советского Союза молодым и до самого падения СССР почти ничего не знал о слухах 1953 года о предполагаемой депортации евреев. И уж тем более не знал о том, что в первые годы после провозглашения независимости Израиля там ожидали многомиллионной репатриации евреев из СССР. Сведения об этом стали мне доступны много позже. Зерах Варгафтик, депутат Национального собрания, один из тех, кто подписал Декларацию независимости Израиля, рассказывал мне, что Бен-Гурион в 1947 году уговаривал испуганных министров голосовать за провозглашение независимости, заявляя, что жизнеспособность государства будет обеспечена в результате репатриации двух миллионов евреев из СССР в течение двух лет. Массовой репатриации русских евреев ждали в Израиле кто с надеждой, а кто со страхом...

Мои собеседники в Израиле – как отставники спецслужб, так и бывшие прокоммунистические активисты – предполагали, что слухи о запланированной депортации евреев туда, куда Макар телят не гонял, распространялись в СССР, чтобы посеять панику среди советских евреев, дабы те, когда в нужный момент распахнутся двери репатриации в Израиль, ринулись в них, преисполненные благодарности Сталину. Об этом говорил мне Иосиф Липский, видный коммунистический активист, с опытом работы еще в довоенной Польше, а позже – в Бразилии и Израиле. В воспоминаниях многих советских евреев присутствует лейтмотив о Сталине как единственном защитнике от подымавшейся волны всенародного антисемитизма. Известно, что распространение слухов, по крайней мере, в Москве и больших городах, жестко контролировалось, и нежелательные слухи быстро пресекались органами безопасности. Интересно, что ходили и слухи о том, что евреев отправят в Израиль. К примеру, руководитель Еврейского художественного театра Биньямин Зускин говорил знакомым уже после гибели его друга Соломона Михоэлса, что нечего волноваться, «и в будущем году мы уже будем выступать в Тель-Авиве».

Летом 1998 года я заказал представительный социологический опрос пожилых людей, выходцев из СССР в Израиле, чтобы исследовать слухи о предстоящей высылке евреев в 1953 году. Опрос показал, что интенсивнее всего эти слухи циркулировали в Москве и Ленинграде, в меньшей мере – в других городах России, еще меньше – на Украине и почти не были изве-

стны в Сибири и на Кавказе. Многие участники опроса сообщили, что верили в то, что Сталин не оставит их в беде. Последующие события подтвердили, что советские евреи в большинстве своем не хотели никуда уезжать, и сдвинулись с места лишь после распада СССР, движимые страхом перед возможными погромами и неопределенностью будущего.

Интересно, что в СССР не обнаружено никаких документов, подтверждающих намерения Сталина депортировать всех евреев. Такая операция была бы значительно сложнее депортации проживавших компактно чеченцев или крымских татар и даже депортации черноморских греков. Да и речь шла не о сотнях тысяч, а о миллионах человек. Здесь требовались списки людей по ЖЭКом и домоуправлениям, требовалось организовать транспорт для перевозки полутора-двух миллионов людей. Нетрудно подсчитать, сколько понадобилось бы вагонов, даже если бы теплушки на «40 человек, 12 лошадей» набивали до отказа. Надо было обеспечить довольствием если не самих переселенцев, то хотя бы конвойных. На согласование, обоснование логистики такого рода операции надо было, по советским порядкам, извести тонны бумаги, а пока не найдено ни единого документа.

Впрочем Управление уполномоченного Совета министров по репатриации доказало свою способность депортировать миллионы людей – поляков, украинцев, румын, немцев и многих других. Большой опыт в этой сфере был накоплен в Польше, Чехословакии и Румынии, депортировавших около 11,5 миллиона немцев, около 0,5 миллиона украинцев, 490 тысяч венгров. Еще одна, почти забытая сегодня депортация – трансфер пяти миллионов итальянцев и сотен тысяч швабских немцев, веками живших на территории, ставшей в 1945 году Югославией. Виталий Примаков, с которым у нас тоже планировалась встреча, сказал журналистке Наташе Мозговой (в интервью для израильской газеты «Едиот ахронот» в 2002 году), что Громыко голосовал за Израиль, полагая, что туда поедут «наши люди строить социализм».

### **«Обеспечить переход Израиля в лагерь ближайших союзников СССР»**

На каком-то этапе я решил сделать в своем проекте тему участия СССР в израильских делах главной, но не стал афишировать своих намерений. Моя рабочая гипотеза состояла в том, что в 1947–1948 годах руководство СССР планировало включение Израиля в «социалистический лагерь», то есть, как формулировал Сталин в инструкции для своих дипломатов, «обеспечить переход Израиля в лагерь ближайших союзников СССР». Другая версия о том, что планы СССР не шли так далеко, а создавались лишь в расчете на «финляндизацию» Израиля, казалась менее вероятной. Так или иначе, но результаты первых парламентских выборов в Израиле оказались обескураживающими как для левых просоветских сил, так и для правых экстремистов из ЛЕХИ и партии Бегина Херут, на которых в Москве

тоже делали ставку. Никакого противоречия здесь нет. Связи Москвы с правыми силами в Израиле завязались еще в 1939–1941 годах. Правые экстремисты видели своей главной задачей борьбу с британскими вооруженными силами в Израиле, что полностью соответствовало советской политике времен пакта Молотова–Риббентропа. ЭЦЕЛ (военно-политическая организация правого толка) и особенно ЛЕХИ были готовы на союз не только с большевиками, но и с нацистами, и несколько раз пытались наладить сотрудничество с последними.

Хотя симпатии к СССР и к социализму в Израиле были велики, однако ситуация никак не напоминала положение в странах Восточной Европы, где прокоммунистические силы пользовались поддержкой населения и содействием советских оккупационных сил. В 1949 году в Кремле решили сделать ставку на арабские страны, однако от планов привлечь Израиль в советский блок полностью не отказались. Интересно, что и сам Сталин никогда не высказывал критических замечаний в адрес Государства Израиль. Беззастенчивая, откровенно антисемитская кампания отрицания самого смысла еврейского государства, клеветнического приравнивания сионизма к нацизму началась уже при его преемниках.

Наша гипотеза частично подтвердилась, когда в Москве в 2000 году был опубликован сборник документов советской разведки, касающихся Израиля. С тех пор то и дело появляются другие публикации, подкрепляющие эту гипотезу.



Попытки Москвы завоевать новые позиции на Ближнем Востоке, присоединить к СССР Южный Азербайджан и разместить военные базы в Турции в 1945–1946 годах не увенчались успехом. Провал своих планов Сталин приписывал (в значительной мере справедливо) проискам западных союзников и жаждал реванша. В книге американского публициста Эрика Альтермана «Когда президенты врут» целая глава посвящена тому, как Черчилль и особенно США сознательно вводили в заблуждение советскую сторону касательно формулировок Потсдамского соглашения о послевоенном устройстве Европы. Рузвельт непоколебимо верил в особую химию своих отношений со Сталиным и в свою способность разрешить любую конфликтную ситуацию. Его преемник Гарри Трумэн, как и лейбористские политики, сменившие Черчилля сразу после войны, даже не владели во всей полноте информацией о закулисной стороне отношений между великими державами.

В 1952–53 годах на Ближнем Востоке назревала новая ситуация. Грузия и Армения выступили с территориальными притязаниями к Турции. В Курдистане и в Греции активизировалась деятельность просоветских повстанцев. (Интересно, что в Курдистане даже в самые страшные годы холодной войны царил удивительная гармония между советскими и израильскими

спецслужбами.) Маршала Ивана Баграмяна Сталин назначил командующим Закавказским военным округом, что было невероятно в мирное время, но вполне логично, если бы округ, согласно советской военной доктрине, стал театром военных действий.

В 1952 году началось неприкрытое советское давление на израильское правительство. 14 февраля 1953 года на территории советской миссии в Израиле взорвалась бомба. Считается, что это было сделано в знак протеста против антисемитской кампании в СССР. Уже на следующий день министр иностранных дел СССР Вышинский обвинил израильское правительство в подстрекательстве сионистских экстремистов к организации террористических актов и объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Одновременно с СССР дипломатические отношения с Израилем разорвали Болгария, Чехословакия, Венгрия, Польша и другие страны социалистического лагеря. Именно после сообщения о разрыве дипломатических отношений с Израилем по Москве стали распространяться слухи о готовящейся депортации всех евреев, о том, что где-то на Дальнем Востоке или в Заполярье уже подготовлены концентрационные лагеря, а на подъездные пути к Москве стягиваются поездные составы. Вполне вероятно, что старые планы установления в Израиле «народной демократии» снова стали актуальными. Добиться этого можно было только посредством действительно массовой эмиграции советских евреев в Израиль.

### **Без коммунистов и ревизионистов**

В Израиле готовились к такому развитию событий. Руководство во главе с Бен-Гурионом с момента провозглашения государства опасалось коммунистического переворота. Многие таинственные события израильской истории 1940–1950 годов получают свое объяснение, если учесть этот фактор. Например, неоправданно резкую реакцию первого израильского главы правительства Давида Бен-Гуриона на довольно мирную забастовку хайфских моряков в 1951 году мои собеседники объясняли опасением инспирированного из Москвы коммунистического переворота. Действительно, моряки, ветераны военно-морских формирований «Пальям», находились под сильным влиянием коммунистов, и во время забастовки звучали речи об «израильском броненосце "Потемкин"». Однако ничто не оправдывало ни данное газетами этому событию название «Восстание моряков», ни приказ социалиста Бен-Гуриона открыть огонь по забастовщикам. Бен-Гурион решительно выдвинул лозунг «Без МАКИ и без Херута», что означало заведомый отказ сотрудничать с коммунистами и ревизионистами, опасаясь, что среди тех и других сильны просоветские силы, готовые попытаться опровергнуть его власть.

Подоплека другого, более известного события – расстрела крейсера «Альталена» на рейде Тель-Авива, по сообщениям моих собеседников, тоже связана с опасениями коммунистического переворота, подобного тем,

которые произошли в то же время в странах Восточной Европы. «Альталену», по словам свидетеля событий, уже рассматривали не как броненосец «Потемкин», а как израильский крейсер «Аврора». Списанный крейсер был приобретен ревизионистской организацией ЭЦЕЛ (Национальная боевая организация, названная так Владимиром Жаботинским по аналогии с Национальной боевой организацией, созданной Юзефом Пилсудским в 1914 году для освобождения Польши. До войны ЭЦЕЛ получала из Польши военную помощь в обмен на обещание репатриировать в Израиль польских евреев). Судно было снаряжено в Марселе и имело на борту груз оружия и около тысячи бойцов. Крейсер был назван в честь Жаботинского, пользовавшегося псевдонимом Альталена, что по-итальянски значит «лестница». Несмотря на запрет израильских властей и после безрезультатных переговоров, крейсер стал на рейде Тель-Авива и отказывался разоружаться. Верные правительству войска блокировали побережье. Менахем Бегин пробрался на крейсер и, по свидетельству очевидцев, заявлял, что готов погибнуть, но не сдаться. Бойцы батальона ЭЦЕЛ, встречавшие судно и часть пассажиров, сошедших на берег, были разоружены правительственными силами. В городе начались стычки, был атакован штаб ВМС и разоружено несколько верных правительству подразделений. Сторонники ЭЦЕЛ пытались прорвать войсковой кордон и пробиться к судну.

Бен-Гурион заявил тогда, что над существованием государства нависла опасность «правого переворота», и приказал открыть огонь по крейсеру. В Тель-Авиве начались аресты сторонников ЭЦЕЛ. Когда начался обстрел, Бегин скрылся с корабля и вскоре объявился на радиостанции своей организации. Он разразился двухчасовой речью по радио. Бегин заявил: «Не будет гражданской войны, когда враг стоит у ворот». Голос Бегина неоднократно срывался от волнения, и передача впоследствии стала известна как «Слезная речь». Исраэль Эльдад, член «тройки», руководившей другой подпольной организацией – ЛЕХИ, отколовшейся от ЭЦЕЛ, позже писал: «Женщины и мужчины, девушки и юноши плакали вместе с ним». При всем том Эльдад был разочарован речью. «Бойцы ЭЦЕЛ, его сторонники и простые евреи ждали сообщения короткого и твердого, как сталь, а получили плач». Эльдад подразумевал приказ выступить против правительства с оружием в руках.

Шимон Перес вместе с Бен-Гурионом слушали речь по радио. «Когда Бегин начал описывать ход событий, мы сидели вокруг радиоприемника, – пишет Перес. – Мы расхохотались, несмотря на нелепое и тяжелое положение». Нерешительность Бегина многих привела в замешательство. Свет на происходившее пролила написанная клиническим психологом Офером Грузбергом биография Бегина. Грузберг рассказывает о длительных и тяжелых периодах депрессии, которыми Бегин страдал с детства. Жена Эльдада, Бася Ашпиц, социальный психолог, близкая к семье Бегина, тоже писала, что Бегин всю жизнь отказывался от психиатрической помощи.

Эльдад не случайно использовал слово «сталь». Сталь была тогда в мо-

де, как и все советское. Очень распространенная израильская фамилия Пелед означает в переводе с иврита «Сталин». Очень многим такая фамилия казалась подходящей для нового еврейского человека, создание которого провозглашалось тогда целью сионизма. «Как закалялась сталь» Николая Островского вместе с «Волоколамским шоссе» Александра Бека были культовыми книгами для бойцов антибританского подполья и обязательным чтением в Армии обороны Израиля. Даже правый израильский политик Биньямин Нетаниягу признался в интервью российскому ТВ, что его любимой книгой была книга про героев-панфиловцев. Впрочем, Эльдад, который впоследствии перевел на иврит Ницше, мог черпать вдохновение и из совсем других источников. Поэтика стали доминирует и у певца еврейских правых сил – поэта Ури-Цви Гринберга, находившегося под сильным влиянием нацистской поэзии, особенно Эрнста Юнгера и автора «Стальной волны» Ганса Гримма.

### **«К нам обращались от имени Москвы»**

Рассекреченные в начале 2006 года документы английской разведки, как и опубликованные в 2000 году в Москве материалы из советских архивов, лишь подтверждают известный Бен-Гуриону факт, что советские спецслужбы активно действовали не только в левых и прокоммунистических кругах, но и в правых подпольных организациях ЛЕХИ и ЭЦЕЛ.

Впрочем, правыми их принято называть сегодня, а тогда их рассматривали как конгломерат крайних националистов, правых радикалов, религиозных мессианцев и левых революционеров, которых объединяла не идеология, а склонность к экстремизму. В ЭЦЕЛ состоял, например, леворадикальный журналист Ури Авнери, а в ЛЕХИ – известные левые, такие, как израильский писатель Амос Кейнан или ныне покойный пропалестинский активист, издатель парижского журнала «Израиль–Палестина» Макс Гилан.

В ревизионистских кругах привычно отрицают всякую связь с Москвой. Однако командир «Альталены» Элиягу Ланкин как-то сказал мне, что во Франции, во время подготовки крейсера к походу, к нему неоднократно обращались от имени Москвы. Израильский военный историк Ури Мильштейн пишет, что польская разведка тоже предлагала помощь в закупке оружия для «Альталены». В этом тоже нет ничего необычного. В наследие от довоенных времен и Москве, и Варшаве досталась не только информация о тесном сотрудничестве между ЭЦЕЛ Жаботинского и польскими военными и спецслужбами, но и обширные списки польской агентуры в еврейских организациях.

О связях ЛЕХИ с Москвой мне рассказал житель Безр-Шевы Хаим Бреслер. Он владел небольшой слесарной мастерской, специализировавшейся на изготовлении сейфов и замков, был большим энтузиастом возрождения культуры на идише. В 1942–1945 Бреслер находился в Москве в составе представительства ЛЕХИ и занимался поставками оружия в Из-



раиль и обучением боевиков. У Бреслера хранились фотографии военных лет с Дмитрием Устиновым, тогдашним министром вооружений, позже маршалом и членом Политбюро ЦК КПСС, с видными гебистами – легендарным Яковом Серебрянским (работавшим, кстати, в Палестине в 1920-е годы вместе с Яковом Блюмкиным), генералом ГБ Павлом Райхманом и другими того же типа людьми. Знакомства были довольно неожиданными для человека, занесенного в список героев Израиля и ветеранов ЛЕХИ.

Интересная статья в 16-м номере журнала «Nota Bene», написанная Сами Розеном: «М1-5: Бегин, возможно, работал на разведку Кремля. Декларация независимости Израиля – и агентура Москвы», – одна в ряду многочисленных публикаций, приоткрывающих завесу над сложным и необыкновенно интересным сплетением интересов, событий и фактов вокруг истории провозглашения Государства Израиль в 1948 году. Вместе с тем и в этой публикации сыграло свою роль известное свойство любой разведки – рассказывать лишь то, что она хочет рассказать. При этом следует помнить, что рассекреченные документы занимают целые стеллажи в архивах, а публикации в основном базируются на коротких резюме, составленных, как правило, самими спецслужбами и не отражающих всей полноты жизни. Сенсационное утверждение Сами Розена, что британцы отслеживали заграничные поездки тогдашнего лидера правой израильской оппозиции Менахема Бегина, по сути, никакой сенсацией не является. Хорошо известно, что официальный Лондон не только всегда следил за Бегоном, но и без большой охоты впустил его с официальным визитом в Великобританию, когда тот уже был главой израильского правительства. Правда, объясняли это не связями Бегина с советскими спецслужбами, а его террористическим прошлым, в частности убийствами британских военнослужащих, за которые Бегину был заочно вынесен суровый судебный приговор. Кстати, видного ревизионистского деятеля Элияху Ланкина, командира «Альталены», британцы отказались принять в качестве посла Израиля в своей стране. Он до конца жизни считался у них террористом. Бегину пришлось устроить своего старого соратника послом в ЮАР.

### **«Если он был шпионом, то совершил грубое нарушение профессиональных норм»**

Естественно, что в Израиле были силы, не только не разделявшие опасений Бен-Гуриона в связи с угрозой прокоммунистического переворота, но и желавшие этого, верившие, что такое развитие событий неизбежно и благотворно для молодого Еврейского государства. На них и делалась ставка в советских планах.

Удивительную метаморфозу претерпел один из членов тройки, руководившей ЛЕХИ, Натан Елин-Мор, известный как непримиримый правый националист. Вместе с Бегоном и всей верхушкой ревизионистского движения в Польше бежавший от наступающих немецких войск, Елин-Мор участво-

вал в террористической деятельности в Израиле во времена британского мандата, в частности в ликвидации «евреев-предателей». После образования Израйля Елин-Мор был арестован израильскими властями и осужден на семь лет за участие в убийстве шведского графа Бернадотта, посредника ООН в израильско-арабском конфликте. Интересно, что убийство Бернадотта, сорвавшее израильско-арабские переговоры о мире при посредничестве ООН, по времени идеально совпало с моментом, когда СССР прекратил поддержку Израйля. Мои собеседники рассказывали, что в спецслужбах Израйля считали, что Бернадотта убили по «советскому заказу».

Сидя в тюрьме, Елин-Мор был избран депутатом кнессета от партии ветеранов ЛЕХИ и освобожден из тюрьмы по амнистии вместе со всеми ветеранами ЛЕХИ, сидевшими за террористическую деятельность. В кнессете Елин-Мор присоединился к Бегину и был третьим номером в его партийном списке Херут. Он отличался правоэкстремистской риторикой, ратовал за «Великий Израиль», требовал похода на Иорданию, обвинял израильское правительство в предательстве национальных интересов и грозил создать подполье.

Однако сразу же после окончания парламентской каденции Елин-Мор резко изменился. Он стал призывать к дружбе с СССР, сблизился с палестинцами и с левыми. Вместе с другим членом ЭЦЕЛ, а затем влиятельным журналистом Ури Авнери он участвовал в создании леворадикального движения «Мацпен» и в 1967 году подписал воззвание против «израильской агрессии», опубликованное в газете «Правда», а в 1971 году вместе с Максом Гиланом создал в Париже Израильско-палестинский совет. Позже он посетил СССР. Все это тогда расценивалось в Израиле как предательство национальных интересов.

В своих мемуарах Елин-Мор не скрывает своих контактов с НКВД в подготовке подполья в еврейских гетто на территории, оккупированной нацистскими войсками. Два человека, непримиримо враждовавшие друг с другом, всю жизнь подозревали Елин-Мора в шпионаже в пользу СССР: первый руководитель израильских спецслужб Исер Харель и Исраэль Эльдад, бывший сначала подчиненным Елин-Мора, а позже его коллегой в руководящей «тройке» ЛЕХИ.

Впрочем, если Елин-Мор был шпионом, то совершил грубое нарушение профессиональных норм. Он отредактировал и помог выпустить в свет книгу осужденного за шпионаж в пользу СССР официального историка министерства обороны Израйля и советника Бен-Гуриона Исраэля Бера «Проблемы безопасности Израйля».

Удивительна и метаморфоза Моше Снэ – сначала центристского деятеля Партии общих сионистов, позже одного из лидеров лево-сионистской МАПАМ. Во время Второй мировой войны он был офицером польской армии. Побывал в советском плену и в 1940 году перебрался в Палестину, где тут же стал влиятельной фигурой и возглавил объединенный штаб вооруженных сил еврейской колонии. В 1953 году Снэ с группой товарищей, в

том числе Адольфом Берманом (изменившим имя на Авраам)\*, вышел из МАПАМ и создал левый просоветский блок. В следующем году этот блок присоединился к Коммунистической партии Израиля, и Снэ стал одним из ее лидеров. Он не скрывал своих мотивов. Снэ верил, что дело социализма побеждает, и Израиль неминуемо попадет в орбиту советского влияния. И тогда он надеялся стать главой нового, социалистического Израиля – для чего надо будет не допустить, чтобы «лидеров еврейского государства» привезли из Москвы. Снэ не пугала судьба восточно-европейских социалистических лидеров, примкнувших к коммунистам. Он верил в свою способность обойти всех в самых неблагоприятных обстоятельствах. Не зря он переименовал свою фамилию Клейнбаум («маленькое деревце» – *идиш*) на библейское *снэ* – «неопалимая купина», которая горит и не сгорает и из которой Господь говорил с Моисеем.

Бывшая сотрудница секретариата Бен-Гуриона рассказывала мне, что уход Снэ к коммунистам обрадовал Бен-Гуриона не меньше, чем признание Бегином поражения после расстрела «Альталены». Бен-Гурион видел угрозу своему лидерству лишь со стороны двух человек: руководителя политотдела Сионистской организации Хайма Арлозорова, убитого неизвестными в 1933 году, и Моше Снэ. Об этом мне рассказывал профессор истории Зеэв Цхор, работавший секретарем Бен-Гуриона в последний период его жизни в Сде-Бокере и помогавший ему готовить к публикации записки, дневники и воспоминания.

Интересно, что Исер Харель подозревал в шпионаже в пользу СССР всех сионистских деятелей, побывавших на советской территории в конце 30-х годов. За Моше Снэ Харель безуспешно следил всю жизнь, хотя знал, что деятелей такого ранга не привлекали к выполнению оперативной работы. В своей книге о советском шпионаже в Израиле, опубликованной спустя тридцать пять лет после описанных событий, Харель жаловался, что Снэ обладал удивительной работоспособностью, встречался за день с десятками людей, получал сотни писем и телефонных звонков, и выявить среди этой массы информации ту, что свидетельствовала бы о шпионской деятельности Снэ, не представлялось возможным. В середине 50-х израильская контрразведка Шин-Бет подкинула Снэ информацию о существовании внутри компартии арабского националистического подполья. Снэ повел непримиримую борьбу с этим явлением, и многие арабы покинули компартию, основав движение Эль-Ард («земля» – *араб.*), которое потом израильский суд счел незаконным. По израильским данным, арабское подполье было создано по приказу из Москвы. Эта информация больно ударила по руководству израильских коммунистов – как евреев, так и арабов. Через Снэ израильские спецслужбы передали в Москву и сообщение о начале израильского ядерного проекта.

---

\* Имя Адольфа Бермана упоминается в рассекреченных документах британской разведки MI-5 как координатора «лиги еврейских просоветских организаций», связанной с советской разведкой.

## «Крупная рыба ему попалась лишь однажды»

Известно, что межведомственная конкуренция разведслужб хотя и чревата множеством проблем в профессиональной сфере, вместе с тем служит укреплению власти политического истеблишмента и молча приветствуется большинством политиков. В начале существования Израиля Давид Бен-Гурион пошел на необъяснимый и неразумный с точки зрения любого политика шаг. Он назначил Исера Хареля ответственным за все разведывательные и контрразведывательные службы Израиля. В беседах с нынешними и бывшими сотрудниками спецслужб многие из них далеко не почтительно отзывались о Хареле. «Он подозревал всех и вся, а поймать сумел лишь несколько мелких рыбешек. Крупная рыба ему попалась лишь однажды, – сказал мне один из моих собеседников. – Это был Исразль Бер. Да и то – случайно». «К тому же неясно, был ли он на самом деле шпионом», – сообщил мне другой высокопоставленный разведчик, причастный к событиям тех лет. Во всяком случае, Харелю и его службам не удалось добыть доказательств шпионской деятельности Бера. Реально ему можно было вменить лишь пренебрежение служебным регламентом, хранение дома секретных документов и несанкционированные, а то и прямо запрещенные ему встречи с сотрудниками спецслужб стран НАТО и советскими дипломатами и журналистами. В написанной в тюрьме незадолго до смерти книге «Проблемы безопасности Израиля» Бер предупреждает против односторонней ориентации Израиля на Запад. Книга не потеряла своей актуальности до сих пор. Другой «коммунистический шпион», специалист по ракетной технике Курт Сита сразу же после отставки Хареля был без шума амнистирован президентом и покинул Израиль.

Харель стал известен широкой публике благодаря ряду нашумевших акций, не имеющих к разведке прямого отношения, а больше всего поимкой Адольфа Эйхмана.

Во времена реально существовавшей «красной» опасности подозрительный («ревнивый, как женщина», по словам моего собеседника) Харель был хорош. «Как только опасность миновала, Бен-Гурион воспользовался баснословной обидчивостью Хареля, считавшего себя незаменимым и постоянно грозившего отставкой, – сказал мне тот же собеседник. – Однажды ему дали уйти, и никто за ним не побегал». Позже стало известно, что Харель, сконцентрировавший в своих руках огромную власть, начал интриговать против политического руководства. Хареля еще раз призвали на службу, когда отправившие Бен-Гуриона в отставку партийные функционеры возжелали обрести в его лице союзника. Глава правительства Леви Эшкол назначил его своим советником по делам разведки, однако Харель потребовал былых полномочий. Он вообразил, что истеблишмент действительно нуждается в его талантах разведчика, а когда понял, что им всего лишь пользуются для политических интриг, не захотел играть эту роль.

Настоящая известность «израильского разведчика № 1» пришла к Харелю уже после отставки. Молчаливый и скрытный прежде, он вдруг загово-

рил. «Как будто фонтан забил», – сказал мне об этом редактор крупной израильской газеты. Харель написал дюжину книг, дал бесчисленное множество интервью. Бестселлер Хареля «Дом на улице Гарибальди», посвященный охоте на Адольфа Эйхмана, стал классикой «сионистского соцреализма» и выдержал бесчисленное число изданий на многих языках. Хотя с профессиональной точки зрения книга нелепа, а местами попросту смешотворна. Несуразно несоответствие нарисованного Харелем демонического образа Эйхмана с реальной ситуацией. Полунищий и отвергнутый немецкой общиной в Аргентине, Эйхман работал механиком в прачечной и ездил на работу в автобусе. Он не имел средств и возможностей скрываться. Найти его, схватить и доставить в Израиль было совсем несложно. Богатого и влиятельного доктора Менгеле израильская разведка так и не смогла поймать, несмотря на огромные усилия. Харель постоянно выдавал публике строго дозированную официальную версию, но даже там умудрялся искажать факты и приписывать себе все достижения. Он настаивал на том, что именно благодаря ему доклад Хрущева на XX съезде КПСС оказался на Западе, хотя доклад этот заполучили совсем другие люди.

«У нас армейские отставники получают льготные подряды на торговлю оружием, – говорил мне крупный израильский журналист, специализировавшийся на вопросах разведки. – Так и Харель получил почти монопольное право на разработку темы израильских спецслужб. До самого последнего времени – практически до нынешнего 2006 года, когда наשמעшая книга главы Мосада Эфраима Халеви обозначила новый этап приватизации национальной памяти, – Харель обладал безусловной монополией на эксплуатацию боевого наследия наших спецслужб».

Томи Лапид, заслуженный ветеран израильской журналистики, а позже не самый удачливый министр юстиции, вообще не советовал иметь дело с Харелем. Харель и сам отказался участвовать в нашем проекте и вместо этого порекомендовал прочитать его книгу «Советский шпионаж: Коммунизм в Стране Израйля» (Тель-Авив: Аданим, 1987). В книге Харель не скупится на описания мощи советской разведки, ее практически неограниченного человеческого потенциала, умения принимать хитроумные решения. Когда же дело доходит до фактов, ими книга очень бедна. Там мало фактов, зато в изобилии самореклама и откровенная похвальба. Напрашивается вывод, что, в отличие от западных стран, в Израиле советская разведывательная сеть либо не существовала, и все описания Хареля, мягко говоря, преувеличены, либо Харель прав, но тогда советская разведывательная сеть в Израиле (в отличие от США и Западной Европы) не была раскрыта. В начале 1999 года Харель согласился встретиться со мной. Однако от ответов на конкретные вопросы бывший разведчик уклонился. Наша беседа быстро превратилась в нудную лекцию о том, что надо и что не надо говорить, какие вопросы прилично задавать, а какие – нет. От того, чтобы встать и уйти, как я обычно делаю в подобных случаях, меня удержал лишь ореол мифа, окружавший этого человека.

## «Куда делся Сашка-комиссар»?

Особым вниманием пользовалась в нашем проекте тема участия советских добровольцев в Войне за независимость Израиля. Сегодня в различных русскоязычных публикациях вовсе отрицается участие добровольцев из СССР в этой войне. Тем не менее такие добровольцы были. «Нельзя зачеркивать прошлое, оттого что настоящее на него не похоже», – писала Голда Меир о советской помощи Израилю. О советских добровольцах писали в свое время израильские газеты. Интересны публикации журнала «Ха-олам ха-зэ» («Этот мир») в 1953–1955 гг. Там публиковались материалы по этой теме, и в частности статья под названием «Куда делся Сашка-комиссар?», посвященная первому в истории Израиля раскрытому случаю советского шпионажа. Героем статьи был офицер по воспитательной работе среди советских добровольцев. Там много живых подробностей о добровольцах. В основном это были офицеры-евреи, специально для отправки в Израиль демобилизованные из Советской армии. Некоторые воевали в Израиле, сохранив свои советские документы, хотя, как водилось в советской практике еще с 20-х годов и времен гражданской войны в Испании, они пользовались местными псевдонимами. Другие дезертировали из Красной армии в Европе. «Они подражали британцам, носили стеки, – рассказывал мне один старый журналист. – Говорили на ломаном иврите и сочно ругались по-русски».

Большинство советских специалистов и советников служило в корпусе МАХАЛ (*Митнадвей хуц лаарец* – «иностранные добровольцы»). Советские советники внесли большой вклад в создание израильской артиллерии и бронетанковых войск. На официальном сайте МАХАЛ, созданном при содействии Министерства обороны Израиля, много рассказывается об индийских и британских добровольцах-летчиках, об американских ветеранах, воевавших в Войну за независимость. И лишь мельком упомянуты советские добровольцы. Кстати, в материалах о деле «Альталены», в котором принимало участие много военнослужащих из МАХАЛ, довольно часто встречаются фамилии военных советников из СССР.

После образования Израиля множество советских евреев – ветеранов Великой Отечественной войны – обратились к властям за разрешением вступить добровольцами в израильскую армию. Коллективные заявления поступали от студентов и преподавателей московских вузов: Химико-технологического института им. Менделеева, Института химического машиностроения, Института иностранных языков и других. Коллективные заявления с просьбой об отправке в Израиль поступили также из проектного института «Стальпроект», из министерства вооружений, от многих офицеров Красной армии. До того, как политика советского правительства резко изменилась, только из Москвы успели уехать в Израиль около двухсот добровольцев.

Заявления шли и из провинции. Большую известность получило «Письмо жмеринских евреев», полученное в редакции «Правды». В конце июня 1948 года на собрании пятисот евреев Жмеринки обсуждалось обращение к совет-

скому правительству с просьбой разрешить евреям города уехать на свою историческую родину. Письмо из «Правды» было переслано в Еврейский антифашистский комитет, где не усомнились в его подлинности, но при этом единодушно осудили сионистские настроения авторов. Израильский историк, специалист по истории ЕАК профессор Шимон Редлих говорил мне, что не считает письмо провокационным, и его появление было знаменательным.

Мобилизацией добровольцев для Израиля занималось также израильское посольство в Москве в 1948–1949 гг. Курировала эту деятельность Голда Меир, посол Израиля в СССР и будущий премьер-министр Израиля. В московских еврейских кругах было известно и то, что списки эти, в конце концов, попали в руки советских спецслужб. Хотя изначально предполагалось, что вся деятельность по рекрутированию демобилизованных офицеров-евреев проводилась с одобрения советского правительства, позже эти события стали предметом обвинений Голды Меир в предательстве. Публицист-эмигрант из СССР Лев Наврозов предал гласности то, о чем годами шептались московские евреи, – что Голда Меир передала списки еврейских добровольцев Берии. Впервые эти обвинения были опубликованы в августе 1974 года в журнале Американского еврейского комитета «Commentary». О том, чем все это кончилось, как конфисковали его книгу, как Голда Меир подавала на журнал в суд, а затем неожиданно забрала иск, Наврозов позже рассказал в своих книгах. По моим данным, никто из добровольцев, числившихся в списках Голды Меир, не был репрессирован, хотя большинство их было демобилизовано из армии.

В воспоминаниях военного атташе Израиля в Москве Й. Ратнера также есть рассказ о его переговорах в 1948 году о возможности обучения израильских офицеров в советских военных академиях.

Еще более поразили меня сведения о советских специалистах в израильских спецслужбах. После десятилетий противостояния с арабским миром, который всячески поддерживался Москвой, такое казалось невероятным и отвергалось обыденным сознанием. Тем не менее разведка и контрразведка, как и политика, – такие сферы, где очевидное зачастую кажется невероятным, а разделение на «своих» и «врагов» очень условно.

### **«Ты знаешь, с кем общаешься?»**

Неподалеку от автовокзала Беэр-Шевы расположено небольшое здание, где размещаются офисы Негевского университета им. Бен-Гуриона. Здание это носит название Эйн-Геди, по имени оазиса возле Мертвого моря, где от гнева царя Саула скрывался его преемник Давид. Раньше здесь была гостиница, очень сочно описанная у Марека Хлавно. Беэр-Шева была до Шестидневной войны важным армейским центром, благо рядом была граница с Египтом, который в те времена считался главным врагом Израиля. Дорога до Тель-Авива занимала более трех часов, но политика Бен-Гуриона требовала от военных начальников, руководителей промышленности и профес-

соров безр-шевских колледжей поселиться в городе. Большую роль в жизни города играли жены начальников всех видов, создавшие здесь музыкальные школы, театр, реализовавшие немало культурных и общеобразовательных проектов. Жизнь в Безр-Шеве тогда была ключом. Построенный Арье Шароном в стиле «баухауз» город в Негевской пустыне казался тогда символом нового Израиля, не обремененного ни урбанистическими трудностями Тель-Авива, ни религиозными проблемами Иерусалима. В те годы в Безр-Шеве встречались интересные персонажи.

В наследство от добрых и веселых времен вместе с зданием гостиницы созданный в 1971 году университет получил и коменданта, невысокого польского еврея по имени Абба Берман. Я познакомился с ним еще до того, как начал работать в университете. Берман был очень интересным собеседником, знающим и остроумным. Я любил слушать его истории о подполье во время нацистской оккупации Польши, о службе в Войске Польском, а также о веселых похождениях с немецкими и шведскими туристками, принесшими в Негевскую пустыню новомодные идеи сексуальной революции. Однако Берман тщательно избегал рассказов о своей жизни в послевоенной Польше. Как я позже узнал, тому были серьезные причины.

Правда, Берман как-то упомянул, что является близким родственником всемогущего когда-то в Польше Якуба Бермана, курировавшего службу безопасности. Вместе с Болеславом Берутом и Хилари Минцем Якуб Берман был членом «сталинского триумvirата», правившего Польшей до 1956 года. В файлах британской разведки о Якубе Бермане говорится, что он, кроме всего прочего, курировал и репатриацию польских евреев в Израиль. Интересно, что в Израиль, чье еврейское население тогда составляло всего 600 тысяч человек, из Восточной Европы в 1947–1949 гг. репатриировалось около 300 тысяч. Тогда из Польши приехало много военных специалистов, офицеров-фронтовиков, воевавших в партизанских отрядах и на фронтах Второй мировой войны, а также большое число советских евреев, выехавших из СССР в Польшу «в рамках репатриации» на волне многомиллионных трансферов населения, происходивших тогда по всей Европе.

Как-то, уже в конце 1970-х годов, сотрудник компьютерного центра Безр-шевского университета Леопольд Шевелев отвел меня в сторонку. Шевелев – автор русского перевода романа Ежи Анджеевского «Страстная неделя» – хорошо разбирался в польских делах. Он зловеще спросил: «Ты знаешь, с кем общаешься?» Незадолго до того, в разгар борьбы движения «Солидарность», в Америке вышла книга интервью с рядом бывших польских руководителей о событиях 1956 года, о приходе к власти Владислава Гомулки. Между прочим, в интервью с секретарем Варшавского горкома Осинским говорилось и о следователе УБ (Управление безопасности, Urząd Bezpieczeństwa) Аббе Бермане, отличавшемся тем, что он влезал на стол и прыгал на подследственного. Я спросил Аббу, не о нем ли речь. Тот побледнел, но признал, что это о нем. Позже он рассказал мне, что приехал в Израиль в 1956 году в составе группы из 53 оперативников и следовате-



лей УБ с семьями. Они опасались, что их как евреев сделают козлами отпущения за все преступления сталинского режима в Польше. Гомулка тогда принял решение о сокращении численности евреев в системе польской госбезопасности, а одиозный Яцек Ружанский и несколько других евреев – старших офицеров УБ уже находились под арестом. Берман рассказывал, что большинство его коллег устроилось в Израиле «по специальности», в разных «органах», в основном в контрразведке ШАБАК. Однако самого Бермана на службу не взяли, а устроили в гостиницу Эй-Геди.

Абба часто запирался в своей каморке-кабинете и писал что-то убогорытым почерком в толстой тетради. Он говорил, что это будет книга, написанная на базе его же диссертации, исследовавшей некоторые аспекты новейшей истории Польши. В начале 1980-х он отправился в Польшу в надежде защитить там диссертацию, а заодно и опубликовать книгу. Однако в Польше Абба встретил холодный прием и вернулся несолоно хлебавши, опустошенный и разочарованный. Позже беседы с Аббой Берманом подтолкнули меня к поиску специалистов из СССР и других социалистических стран в израильских спецслужбах.

### **Глава «лиги просоветских еврейских организаций»**

Абба Берман не был родным братом члена польского политбюро Якуба Бермана. Позже мне довелось встретиться и с другими представителями варшавской семьи Берманов, услышать рассказы и воспоминания о Якубе Бермане. Родной брат Якуба Адольф Берман был участником восстания в Варшавском гетто, одним из создателей Жиготы – Совета помощи евреям (Rada Pomocy Żydom) – организации, созданной польским эмигрантским правительством для спасения евреев. Он также был руководителем Центрального комитета евреев Польши, свидетелем обвинения на процессе Эйхмана, дважды избирался депутатом кнессета, состоял в правлении Израильского союза партизан и борцов с нацизмом. Интересно, что, подобно русско-еврейской интеллигенции в Израиле, польские интеллектуалы, такие, как Берман (защитивший до войны в Варшаве диссертацию по социальной психологии), так никогда и не абсорбировались в израильской жизни. Жена Адольфа Бермана Бася больше всего мечтала о создании польской библиотеки, призывала польское посольство в Тель-Авиве создать культурный центр, предлагала свои услуги библиотекаря. Ведь тогда около половины израильского населения понимало польский язык. Еще в начале 1970-х годов на улицах Тель-Авива звучал польский язык, да и значительно позже в маленьких кафе вдоль бульвара Бен-Гуриона почти исключительно звучала польская речь. Чрезвычайно активная в Польше, Бася Берман в Израиле всегда чувствовала себя чужой. Перед смертью в 1953 году, вызвавшей много толков, она оставила записку «я здесь никогда не стала своей».

Адольф Берман вырос в доме, где говорили на идише, а отец писал на иврите палестинофильские стихи. Он учился в русской гимназии в Варшаве. В Израиле сменил имя на Авраам и выпустил две книги на иврите. Од-

нако до конца жизни Адольф Берман остался связанным с польской культурой. Берман писал по-польски, публиковал статьи в польских газетах, участвовал в организации вечеров любимой с юности польской поэзии, поддерживал связь со своими друзьями-коммунистами в Варшаве. Лишь находившийся на вершине власти его брат Якуб Берман не писал ему, а связь поддерживалась его дочерью Люциной и сестрой Иреной Олецкой.

Вероятно, британские разведчики правы, и Адольф Берман действительно имел какие-то контакты с советской разведкой в связи с созданием «лиги просоветских еврейских организаций». Без людей этой профессии мало что обходится, хотя серьезно повлиять на общественные процессы никакая, даже самая лучшая разведка или охранка не в силах. Однако вряд ли Адольф Берман был шпионом. Ведь существовало четкое указание Политбюро ЦК КПСС не привлекать людей такого ранга к оперативной работе. В конце концов, создание «лиги просоветских еврейских организаций» было делом, соответствующим его взглядам, таланту и темпераменту. Берман всю жизнь занимался поиском компромиссов, примирением, созданием коалиций и сглаживанием противоречий и углов.

В конце 1930-х, когда Коминтерн принял на вооружение новую стратегию – создание народных фронтов, Берман был тем человеком, который сумел осуществить невероятное: свел вместе бундиста Виктора Альтера, левых сионистов из Поалей-Цион, популярную писательницу, дочь министра в правительстве Пилсудского Ванду Василевскую и коммунистов, в том числе своего твердокаменного партийца старшего брата Якуба. В 1936 году Адольф Берман руководил организацией международного конгресса во Львове, собравшего видных левых интеллектуалов.

Во время войны он был одним из создателей широкой коалиции весьма разнородных левых сил Польши. Он вошел в руководство Жиготы, которую создали две польские католички. Организация спасла 75 тысяч евреев, выдала 60 тысяч фальшивых свидетельств, позволивших евреям жить за пределами гетто. Только в Варшаве Жигота помогла спастись свыше чем 10 тысячам евреев. Варшавское отделение Жиготы под руководством Ирены Сендлеровой (Сендлер) спасло 2500 детей, выведенных из пылавшего Варшавского гетто. За участие в деятельности такого рода грозила неминуемая смертная казнь.

Сегодня в кругах еврейских историков и публицистов, специализирующихся на теме Холокоста, принято обвинять союзников по антигитлеровской коалиции в том, что их мало беспокоила судьба евреев в Европе. Об этом даже говорят кандидаты в американские президенты в предвыборные сезоны – правда, лишь в выступлениях перед еврейской аудиторией. Принято проклинать французов как антисемитский народ, поголовно сотрудничавший с нацистами, хотя 72% французских евреев смогли пережить Холокост. В Польше действовала правительственная организация, помогавшая евреям, но об этом не любят говорить. Польшу заклеили как антисемитскую страну, вероятно, потому, что крупные нью-йоркские адвокатские фирмы, поддержанные еврейскими организациями, не могут взыс-

кать деньги за кровь погибших там евреев. Вопрос о Холокосте, как никогда прежде, подчинен у нас нуждам политики.

Во время визита в Израиль в сентябре 2006 года польский президент Лех Качиньский предложил израильтянам вместе добиваться Нобелевской премии мира для Ирены Сендлер. Знающие люди в Израиле говорили мне, что этот замысел обречен, поскольку израильский музей памяти Холокоста «Яд ва-Шем» хочет Нобелевку для себя и торпедует любую израильскую инициативу, нацеленную на иную кандидатуру.

За пределами Польши о Жиготе почти ничего не знают. Координатор проекта Стивена Спилберга «Шоа» на Западной Украине профессор Юлий Штернберг говорил мне, что мы любим всех обвинять в бездействии, а о деятельности правительственной польской подпольной организации по спасению евреев и слышать не хотим. О самоотверженности и самопожертвовании простых поляков, помогавших деятельности Жиготы, не любят говорить в кругах еврейских профессиональных холокостоведов, потому что парадигма сегодняшнего культа Холокоста внушает, что «все против нас». В руководстве Жиготой, кроме Бермана, были еще евреи из разных политических партий, но основную роль в этой организации играли поляки.

После войны, вплоть до 1948 г., польское правительство негласно поддерживало эмиграционные настроения, создав режим благоприятствования для отъезда евреев из страны. В 1945–1948 гг. в Польше существовали 12 сионистских партий и общественных организаций, занимавшихся проблемами отъезда евреев. Адольф Берман возглавил Центральный комитет евреев Польши, куда вошли все сионистские партии, кроме ревизионистов (их и в еврейской Палестине тогда считали террористами и фашистами), а также – Объединение еврейских партизан и Еврейская боевая организация, начавшая восстание в Варшавском гетто. Адольф Берман всеми силами старался сохранить сложившееся во время войны сотрудничество разнородных организаций. Его бывшие соратники по подполью, еврейские коммунисты, занявшие высокие посты в Народной Польше, Михаль Мирски и Гжегож Смолар обрушились на него с обвинениями в еврейском национализме. Еще горше были попытки бывших соратников, таких, как Яцек Леончик, вообще деиуданизировать восстание в Варшавском гетто.

В 1950 году Адольф Берман с семьей уехал в Израиль. На прощальный обед в доме его сестры Ирены Олецкой неожиданно пришел и брат Якуб, курировавший тогда в ЦК ПОРП вопросы идеологии, госбезопасность и еврейскую эмиграцию. Надо отметить, что 1947–1948 годы были не только годами еврейской эмиграции из Восточной Европы. Там шли массовые этнические чистки, депортация миллионов людей. Берман, помимо всего прочего, курировал депортацию немцев из Силезии, Гданьска и Восточной Пруссии. В соседней Чехословакии миллионы судетских немцев изгоняло либерально-демократическое правительство Бенеша, причем не стеснялось давить танками женщин и детей, как это случилось в Братиславе.

Символично, что последняя из этнических чисток опять ударила по ев-

реям. После студенческих демонстраций в поддержку Пражской весны в конце 1967 года польское правительство развернуло в стране антисемитскую кампанию. Евреев изгоняли отовсюду – из государственного аппарата, из партии, из университетов и прессы. Министр внутренних дел Мечислав Мочар обвинил в ужасах, творившихся после 1956 года, «этих замбровских, радкевичей и берманов», сионистско-нацистских заговорщиков, связанных с мировым империализмом. Агентура госбезопасности распространяла фальшивку – речь, приписываемую Якубу Берману, с призывами к польским евреям менять фамилии и захватывать контроль над страной. Польские СМИ наполнились погромными антисемитскими статьями и карикатурами, «разоблачениями» сионистско-нацистского заговора против Польши. Евреям было недвусмысленно предложено убраться вон. В марте 1967 года генеральный секретарь ПОРП Владислав Гомулка выступил с речью о том, что границы открыты, и все, кто «считает Израиль своей родиной», могут туда убраться. Правда, большинство польских евреев предпочло скандинавские страны, гостеприимно распахнувшие двери перед беженцами.

Адольф Берман сумел сохранить дружеские отношения со своими бывшими недоброжелателями. Все годы он переписывался со многими оставшимися в Варшаве. Позже он даже помогал изгнанным после 1968 года бедствовавшим в эмиграции польским коммунистическим функционерам Смолару, Мирскому и другим. Правда, Берман отказался дать деньги на издание мемуаров остро нуждавшемуся в средствах Мирскому, оказавшемуся в эмиграции в Копенгагене. Зато он приютил у себя в Израиле дочь Мирского Майку, страдавшую от астмы, помогал Смолару, в 1969 году оказавшемуся в Израиле.

Не удивительно, что в создании «лиги просоветских еврейских организаций» принял участие и еврейский поэт Авраам Суцкевер, которого британская контрразведка тоже подозревала в связях с советскими спецслужбами. Суцкевер сражался с нацистами в партизанских отрядах, писал замечательные стихи. Зря Сами Розен пишет о нем, как о «никому не известном сегодня». Сегодня Суцкевер окружен искренним почитанием и считается живым классиком еврейской литературы. Его кандидатуру постоянно выдвигают на Нобелевскую премию по литературе. Как часто у нас бывает, доходило и до абсурда. «Авраам Суцкевер голодал и воевал с нацистами в литовских лесах, под пулями создавал великую поэзию на идише, воспевшую трагическую судьбу евреев. Он не получил Нобелевскую премию, – писал раввин и профессор еврейской литературы Алан Нейдлер в "Нью-Йорк таймс" в 2004 году. – Ее получил Башевис-Зингер, поедавший в это время сырные блинчики в "знаменитом молочном кафетерии" на 72-й улице, размышляя о польских шлюхах и еврейских бесах».

### **«Мы выбрали правильную сторону»**

В 1937 году Сталин ликвидировал польскую компартию, а всю верхушку ее расстреляли на Лубянке. Якуб Берман прекрасно знал, что находится

под подозрением и числится в Коминтерне в списках провокаторов. Однако он не терял веры в коммунизм и пакт Молотова–Риббентропа считал временным явлением. Когда Германия и СССР напали на Польшу в сентябре 1939 года, Якуб Берман бежал в СССР. Ему очень повезло, что он попал в Белоруссию. Первый секретарь ЦК республики Пантелеймон Пономаренко хорошо относился к польским коммунистам-беженцам и создал в Белостоке, который перешел тогда к СССР, целую польскую колонию. Попавшим на Украину беженцам повезло меньше. «Хозяин» Украины Никита Хрущев относился к польским коммунистам с подозрением. Оказавшиеся во Львове товарищи Бермана по коммунистическому «Литературному месячнику» Александр Ваг и Владислав Броневски были арестованы НКВД и на многие годы исчезли в ГУЛАГе. Там же «случайно» украинские чекисты убили мужа Ванды Василевской Мариана Богатко.

Встреча со Сталиным и помощь Ванды Василевской (они с Якубом одно время были любовниками и сохранили дружбу на всю жизнь) неожиданно вознесли его на вершину власти. В 1942–1948 гг. он входил в близкий круг соратников Сталина. Берман оставил интересные воспоминания о Сталине, похожие чем-то на «Разговоры со Сталиным» Милована Джиласа, но лишенные обобщений, свойственных эпохе холодной войны. Да и знал Берман Сталина лучше, чем Джилас.

В 1952 году Ванда Василевская специально приехала из Киева в Варшаву, чтоб предупредить Бермана о том, что Сталин хочет организовать в Польше показательный судебный процесс, подобный пражскому. В качестве главного фигуранта процесса был намечен Якуб Берман. Дочь Бермана, ожидавшая в 1953 году рождения сына, вспоминала, что отец не надеялся дожить до рождения внука. «Мы все чудом выжили, нас всех Сталин не успел вовремя уничтожить – треть партии польских коммунистов», – сказал как-то Роман Варфель, в прошлом один из шефов идеологического отдела ПОРП.

В начале 1953 года по настоянию Москвы Якуба Бермана освободили от руководства органами госбезопасности и дали опереточный титул заместителя главы правительства без всяких полномочий.

Якуб Берман не был садистом и костоломом, не участвовал в допросах, не выбивал показаний из подсудимых. В этом отличился Яцек Ружанский, выходец из знаменитой раввинской семьи, пользовавшийся полным доверием Бермана, как и брат Ружанского Ежи БореЙша, полновластный диктатор в области культуры Народной Польши. Возможно, благодаря Берману советизация Польши отличалась некоторым либерализмом, по сравнению с другими советскими сателлитами. Там не было коллективизации, не разгромили церкви. Да и многие репрессированные, как Владислав Гомулка, после смерти Сталина вышли из тюрем живыми, а не реабилитированы посмертно, как генсек Чехословацкой компартии Рудольф Сланский или министр внутренних дел Венгрии Ласло Райх. Польский публицист и поэт Антоний Слонимски вспоминал, что уже после отстранения Бермана от власти, он встретил его на показе фильма по пьесе Маяковского «Клоп».

Неподалеку от Бермана расположился первый секретарь ЦК ПОРП Гомулка, сидевший при Бермане в тюрьме. Мои собеседники отмечали, что годы преследований выработали у польских коммунистов своеобразное чувство товарищества. Старый функционер польской компартии сказал мне: «У нас творились всякие дела, но товарищей по партии не казнили».

Через четверть века после изгнания из партии, больной, разбитый инсультом Якуб Берман дал удивительное интервью деятельнице «Солидарности» Терезе Тораньской. Она назвала свою книгу «Они» и добавила подзаголовок: «Польские марионетки Сталина». Для поколения Тораньской социализм сводился к советской оккупации и сталинским репрессиям. Однако она честно дала слово этим самым «им». Позже Тереза Тораньска писала мне: «Я поняла, почему окружающие Бермана люди обожали его». В интервью Якуб Берман отбросил всякую марксистскую риторику. «Мы выбрали правильную сторону, – сказал он. – Это единственное, что важно для истории. Выбери мы другую сторону, Польша оставалась бы крошечным "Герцогством Варшавским", жалкой европейской территорией, лишенной всякого значения». Поддержку этой точки зрения я когда-то услышал с самой неожиданной стороны – от правого израильского политика, идеолога трансфера арабов из Израиля Рехавама Зеэви, у которого я одно время работал консультантом по «русским» делам. «Национальное существование Польши было обеспечено лишь благодаря Сталину, – сказал он как-то. – Из слабого, разрываемого этническими конфликтами государства с 36% национальных меньшинств благодаря Советам Польша превратилась в самое национально и религиозно однородное общество в Европе с 96% поляков-католиков».

Стараниями британских историков сэра Арнольда Тойнби и Нейла Фергюссона в серьезной исторической литературе все больше утверждается принцип альтернативной истории. Невозможный в документалистике, но вполне допустимый в художественном исследовании вопрос: «Что было бы, если бы социализм действительно победил в Израиле и возникла бы Израильская Советская Социалистическая Республика?» Может быть, Израиль смог бы стать мононациональным государством. При поддержке СССР захватил бы Западный берег Иордана, сектор Газы и Синай, чего не посмел сделать Бен-Гурион во время перемирия 1949 года. По примеру Польши, Чехословакии и Румынии Израиль провел бы этнические чистки, завершил трансфер арабского населения, ликвидировав тем самым все свои национальные проблемы. Заодно были бы радикально решены конфликты между религией и государством, являющиеся сегодня серьезным дестабилизирующим фактором израильской жизни, а также многие социальные проблемы. Вероятно, что советскими методами было бы легче модернизировать национальную инфраструктуру, заселить периферию, еврейзировать Негев и Галилею. Ведь именно Андрей Громыко в 1947 году убеждал главу израильской делегации в ООН и будущего премьер-министра Моше Чертока (Шарета): «Берите Негев, без Негева вы ничто». Под советским протекторатом в 1950 годах вполне вероятной была бы возможность захватить и

аннексировать территории в границах «Великого Израиля». Все может быть. Хотя история показывает, что коммунистические режимы способны были лишь заморозить национальные и социальные проблемы, а решать их надо иначе, чем это предлагается тоталитарным сознанием.

### Продолжение следует...

Работа над проектом, который получил условное название «Израильская Советская Социалистическая республика», прерванная съемками «Дела Лернера», продолжалась. Я готовился к командировке в Москву, когда пришло сообщение о дефолте российской финансовой системы. Я не сразу понял, что происходит, но почувствовал, что мои московские партнеры сами не верят в то, что обещают. Я обратился в НТВ. Владимир Гусинский вроде бы дал добро, однако и там дело не пошло. У руководства телепрограммы «Совершенно секретно» я тоже не чувствовал готовности продолжать работу. Я договорился с продюсером 2-го канала израильского ТВ Хаимом Весели о приобретении фильма для показа в Израиле и получил рекомендации, необходимые для представления фильма на престижном международном фестивале документальных фильмов. Однако ситуация в Москве свела наши усилия на нет. Пришлось, увы, заморозить проект и списать убытки. Однако я надеюсь, что недалеко время, когда мои находки и интересные, а то и сенсационные факты об участии советских евреев в деле становления израильской армии и спецслужб увидят свет. Жаль только, что уходит драгоценное время, а с ним и люди. Нет уже Нехемии Леванона и Элияху Ланкина, ушли из жизни почти все мои польско-еврейские собеседники, нет уже многих ветеранов израильской журналистики и спецслужб, помогавших мне в работе. Все они могли бы рассказать много интересного. Никого уже не осталось из маленькой группы живших в Израиле людей, связанных с легендарным руководителем антифашистского подполья «Красная капелла» Леопольдом Треппером. В 1982 году я как-то раз заночевал у друзей в Хайфе и случайно попал на похороны Треппера. Провожавших Треппера в последний путь было мало, и они умышленно затягивали церемонию прощания в тщетной надежде, что на похороны соизволит явиться кто-нибудь из представителей официального Израиля.

Когда я заканчивал эту статью, из Берлина пришло сообщение о смерти «легендарного человека без лица» – главы разведки ГДР Маркуса Вольфа, с которым у меня как-то случилась обстоятельная беседа в Иерусалиме. Вольф оказался очень доброжелательным человеком. Его приезд в Израиль сопровождали упорные слухи о том, что в свое время он сотрудничал с израильскими спецслужбами, помог израильтянам в ликвидации нескольких нацистских преступников. Его тепло приняла небольшая община немецких евреев – так называемых йеким, – доживавшая свой век в Израиле. В дождевике с поднятым воротником и повязанным на шее красном шарфике, он казался одним из новоприбывших эмигрантов из России, так же, как и они, никому здесь ненужным и непонятым.

В моих исследованиях еще много неясного, необходимо перепроверить многие факты и утверждения. Однако общий вывод не внушает оптимизма. Израиль и СССР, а затем и Россия постоянно взаимодействуют между собой. Во времена непонимания и вражды именно разведслужбы зачастую были единственными поставщиками объективной информации руководству своих стран. Целью разведки, в конечном итоге, является сбор информации, помогающей в принятии решений. И советская разведка в Израиле, и израильская в СССР, судя по всему, работали плохо и мало чего добились. Факт, что в Москве не понимали и не понимают Израиль, и это непонимание отразилось в принятии множества ошибочных решений, которые, в конце концов, фактически оставили Россию вне игры на Ближнем Востоке. Аналогично в Иерусалиме Россию зачастую не принимают во внимание при выработке важных решений. Здесь не способны преодолеть инерцию американоцентризма и продолжают жить моделями времен холодной войны. Как правило, обе стороны глядят друг на друга через черные очки. Пришло время снять очки и посмотреть друг другу в глаза. Этому и посвящен наш проект.

#### Частичный список источников, использованных в тексте

*Ближневосточный конфликт. 1947–1967. Документы:* В 2 т. / Под ред. В. В. Наумкина. М.: Международный фонд «Демократия» – Изд-во Йельского университета (США), 2003.

*Советско-израильские отношения. 1941–1953: Сб. документов:* В 2 кн. / Под ред. Б. Колоколова, Э. Бенцура и др. М.: Международные отношения, 2000.

*Еврейский Антифашистский комитет (1941–1948): Документ. История* / Под ред. Ш. Редлиха и Г. В. Костырченко. М., 1996.

Голда Меир. *Моя жизнь*. Иерусалим: Алия, 1993.

Чуев Ф. *Сто сорок бесед с Молотовым*. М., 1988.

Судоплатов П. *Разведка и Кремль*. М., 1997.

עפר גרוזברג. מנחם בגין: דיוקנו של מנהיג. ת"א: ריסלינג, 2006.

Оффер Грузберг. *Менахем Бегин: Портрет вождя*. Тель-Авив: Рейслинг, 2006.

איסר הראל ריגול סובייטי: קומונזים בארץ ישראל. ת"א: הוצאת עידנים, 1987.

*Советский шпионаж: Коммунизм в Стране Израйля*. Тель-Авив: Аданим, 1987.

*When Presidents Lie: A History of Official Deception and its Consequences* / By Eric Alterman. New York: Viking Press, 2005.

*The Education of Lev Navrozov* / By Lev Navrozov. Harper & Row, 1975.

*THEM: Stalin's Polish Puppets* / By Teresa Toranska; Translated by Agnierzka Kolukowska. Harper & Row, 1998.

*Caviar and Ashes: A Warsaw Generation's Life and Death in Marxism, 1918–1968* / By Marci Shore. Yale University Press, 2006.

Сами Розен. *Британская MI-5: Бегин, возможно, работал на разведку Кремля; Декларация независимости Израйля – и агентура Москвы* // Nota Bene. 2006. № 16. <http://www.axisglobe-ru.com/article.asp?article=189>; =275



# КРОВАВЫЙ НАВЕТ: ОПЫТ ДЕКОНСТРУКЦИИ

Подробности дела Бейлиса хорошо известны. Менахем-Мендель Бейлис, довольно далекий от религиозных традиций еврей, конторщик на кирпичном заводе в Киеве, был арестован 22 июля 1911 г. Его обвинили в убийстве Андрея Ющинского, ученика подготовительного класса Киевского Софийского духовного училища. Труп мальчика был обнаружен на окраине Киева за два месяца до того. На трупе было 47 колотых ран. Сначала в убийстве заподозрили приемных родителей мальчика, позже содержательницу воровского притона Веру Чеберяк, сын которой дружил с Андреем, и лишь потом появилась версия ритуального убийства. Следствие и суд над Бейлисом длились два года. Присяжные оправдали Бейлиса, хотя и признали, что труп был обескровлен.

Газеты изобиловали противоречивыми сообщениями о ходе дела Бейлиса. За время процесса и в связи с ним было 66 случаев репрессий против печати: наложено 34 штрафа на огромную по тем временам сумму в 10 400 рублей, конфисковано 30 изданий, в четырех случаях редакторы подверглись аресту, две газеты были закрыты еще до суда, а после его окончания власти подали иски о клевете против нескольких видных публицистов.

Одни считают дело Бейлиса символом разгула государственного антисемитизма, другие говорят в связи с ним о победе сил прогресса над силами реакции, третьи видят в нем подтверждение предсказанной сионизмом обреченности еврейского изгнания (галута), четвертые – предвестие предсказанного марксизмом коллапса старого строя. На самом деле любой символ – лишь упрощение сложной действительности. Было ли дело Бейлиса вершиной российского антисемитизма? Нет. Кровавые наветы случались в российской истории и раньше, и не только против евреев. Было ли это схваткой сил реакции и прогресса? Тоже нет. По обе стороны баррикад можно было встретить как истовых филосемитов, так и отъявленных антисемитов, как либералов и революционеров, так и reactionеров-монархистов.

Какие же процессы происходили в Российской империи на рубеже веков, если дело, касающееся небольшого этнического меньшинства, смогло так взбудоражить огромную империю, так резко поляризовать общественное мнение, понудить множество русских людей определить свою позицию (до евреев, как обычно, дело было лишь самим евреям)? И была ли реальная почва для столь упорных предрассудков о ритуальных убийствах и религиозном изуверстве (что, кстати, совершенно разные вещи)?



В ходе процесса Бейлиса определились два лагеря – за и против обвинения и суда. Но в многочисленных работах, посвященных этому процес-

су, как-то обходится вниманием тот факт, что между позицией в деле Бейлиса и идеологическими, философскими и политическими взглядами этих двух лагерей нет явной корреляции. Еще более поразительно, что любовь или нелюбовь к евреям тоже не играла существенной роли в выборе позиции. Как уже сказано, «за Бейлиса» были не только либералы, но и откровенные антисемиты. Например, одним из главных защитников Бейлиса оказался Василий Шульгин, признанный идеолог черносотенного «Союза русского народа», автор известного антисемитского сочинения «За что мы их не любим»<sup>1</sup>.

И он был далеко не единственным антисемитом в лагере противников суда. Монархическая и националистическая газета «Киевлянин» выступила в защиту Бейлиса за два года до того, как ее редактором стал Шульгин. Еще под редакцией профессора Пихто, тоже не скрывавшего своих юдофобских настроений, «Киевлянин» вышел под шапкой *«Вы сами приносите человеческие жертвы!»* «Вы» – это в данном случае власть. Так что речь идет не о взглядах отдельных людей, а о четкой редакционной политике. «Киевлянин» не только публиковал статьи с критикой действий властей, но и провел единственное в своем роде независимое расследование, выявившее истинных убийц мальчика. При этом газета продолжала делиться с читателями соображениями типа «за что мы их не любим», ратовала за сохранение «черты оседлости» и других ограничений, наложенных на евреев дискриминационными законами Российской империи. Впрочем, киевские черносотенцы не ограничивались лишь евреями. Они выступали и против украинской просветительской деятельности, требуя запрета украинского языка. Любопытно в этом плане, что дело Бейлиса свело в один лагерь яростного защитника целостности империи Шульгина и видного идеолога украинского национализма, историка Михайла Грушевского.

Истовых филосемитов, которые выступали против обвинения Бейлиса, вроде Горького или Мережковского и Гиппиус (позже восхищавшихся Гитлером), тоже не заподозишь в излишнем либерализме. Даже по отношению к кровавому навету в рядах противников суда над Бейлисом не было единства. Некоторые, вслед за видным филосемитом украинским историком Костомаровым, верили, что среди евреев существует тайная изуверская секта, практикующая ритуальные убийства с использованием крови жертв. (Это, кстати, совпадало с мнением Николая I, который однажды сказал: *«По моему мнению... между евреев существуют, вероятно, изуверы или раскольники, которые христианскую кровь считают нужною для своих обрядов. Сие тем более возможным казаться может, что, к несчастью, и среди нас, христиан, существуют иногда такие секты, которые не менее ужасны и непонятны, например, сожигальщики и самоубийцы»*.) Взгляды Костомарова разделял также архиепископ Волынский и Житомирский Антоний (Хра-

---

<sup>1</sup> В. В. Шульгин. *Что нам в них не нравится...: Об антисемитизме в России*. СПб., 1992; Он же. *Годы*. М: Новости, 1990.

повицкий), будущий глава эмигрантской Карловацкой церкви. Он был известен своими проникновенными писаниями против еврейских погромов, и сегодня его тексты можно найти почти на любом израильском христианском сайте в интернете, даже у критически настроенных к православию евангелистов. Именно Антоний стоял за организацией теологической экспертизы на процессе, сделавшей заключение в пользу невиновности Бейлиса. Однако ранее, в бытность владыкой на Волини, тот же Антоний заявил однажды еврейской делегации, пришедшей просить его защиты от погрома, что не будет отрицать возможности использования евреями христианской крови. (Интересно, что такое заявление противоречило официальной позиции Русской православной церкви, всегда отвергавшей кровавый навет.) На одном дыхании владыка сообщил также членам делегации, что он против погромов, потому что грех каких-то отсталых иудейских изуверов, убивающих одну жертву, все же меньше, чем грех безбожных еврейских нигилистов, отравляющих сознание целого поколения. Теперь, в деле Бейлиса, владыка Антоний оказался в одной лодке с теми самыми «нигилистами» – с народником Короленко и эсером Мережковским. Там же оказался и другой заклятый их враг, митрополит Галицкий Андрей (Шептицкий), глава Украинской греко-католической церкви. Не пройдет и двух лет, как по требованию владыки Антония русские власти арестуют владыку Андрея и сошлют его в Сибирь. Впрочем, львовский митрополит не затаил зла, а может, и не знал о роли киевского владыки в своем аресте, потому что в 1919 году он приютил у себя группу голодных и оборванных православных архиереев во главе с Антонием, в панике бежавших от красных и оказавшихся в Львове без гроша. Интересно, что одновременно в Львове оказался и Василий Шульгин, спасавшийся от советской власти. Львовские евреи тепло приняли его, помогли, чем могли и еще снабдили деньгами на дорогу.



Было ли дело Бейлиса, говоря современным языком, политическим заказом царизма? Обвинение всеми силами добивалось не только осуждения самого Бейлиса в убийстве, но и такого судебного решения, которое установило бы прецедент ритуального убийства. Неграмотного и далекого от религии Бейлиса спрашивали о смысле сложных правил Талмуда, которых он не знал, или о значении древних арамейских слов, которых он отроду не слышал. (Его испуганная жена на вопрос о соблюдении ими пасхальных правил отвечала: «Некогда нам про это думать. Надо детей растить... для нас что маца, что соленые огурцы – все одинаково».) Обвинение вызывало свидетелей, не имевших отношения к делу, но способных хоть что-либо сказать о ритуальных убийствах.

Защитники Бейлиса не сомневались в официальной позиции царской власти. Они единодушно считали, что обвинение проводит политику царского правительства. Так, Шульгин, дорого заплативший за свою страстную защиту Бейлиса (в 1914 году его осудили за клевету по иску государственной прокуратуры), утверждал, что власть сознательно инспирировала процесс, а об-

винение выполняло политический заказ. Современные публикации тоже в большинстве своем без колебаний называют царизм заказчиком процесса. В действительности, однако, нет никаких документов, которые подтверждали бы это мнение, как нет и документов, свидетельствующих об участии царского правительства в других кровавых наветах или в организации погромов. Разумеется, антисемитские настроения в кругу царской семьи, равно как и симпатии Николая II черносотенному движению, хорошо известны. Однако сам царь еще в 1907 году, исходя из политических соображений, отказал черносотенцам в своем покровительстве, чем во многом предопределил последующий закат этого движения (хотя, в основном, крах черносотенцев был вызван тем, что они так и не смогли предложить никакой позитивной программы, и весь смысл их существования заключался в проповеди ненависти к различным «врагам России», которых они находили повсюду).

Более того – в правительственных кругах можно было найти как сторонников обвинения Бейлиса, так и его противников. Царская власть не задавала жестких идеологических рамок. Не удивительно поэтому, что многие высокопоставленные сановники, вроде начальника департамента полиции Алексея Лопухина (который выдал эсерам провокатора Азефа), бессарабского губернатора князя Сергея Урусова и многих других, выступали против политики государственного антисемитизма. Протестовали против кровавого навета и многие киевские полицейские и судебные следователи, не согласные с тем путем, по которому пошло следствие.

С другой стороны, сторонники суда над Бейлисом столь же страстно утверждали, что «процесс куплен». Еще до начала суда министр юстиции Щегловитов сказал: *«...Дело получило такую огласку и такое направление, что не поставить его на суд невозможно, иначе скажут, что жида подкупили меня и все правительство»*. А после окончания суда газета «Московский вестник» писала: *«Бейлис оправдан и его "газетные защитники" уже не упоминают о тех некрасивых подозрениях, которые еще на днях высказывались по адресу присяжных заседателей»*. «Некрасивые подозрения» в продажности высказывались и в адрес судебных властей. О коррупции в Российской империи, в ее судах написано много. Многие отрасли криминального бизнеса просто не могли существовать без протекции властей. Взятки брали в полиции, в прокуратуре, в судах, при распределении правительственных заказов. И евреи Российской империи тоже были хорошо знакомы с путями подкупа судов. Ведь евреи составляли довольно заметный процент как среди преступников в «белых воротничках», так и среди сельских грабителей, налетчиков, даже торговцев живым товаром (евреи контролировали дома терпимости не только в черте оседлости – даже в Петербурге, где евреев было едва больше 1% населения, 16% борделей находились в еврейских руках). Да и люди, далекие от криминалитета, но вынужденные искать заработок в закрытых для евреев губерниях, заниматься запрещенными для евреев профессиями, обходить всяческие антисемитские законы империи, – все они, так или иначе, существовали только благодаря всеобъемлющей коррупции.

Тем не менее, нет никаких доказательств, что в данном случае, в деле Бейлиса, «*жиды всех купили*». Уж слишком громким было дело, слишком много глаз наблюдали за каждым шагом. Да и поведение евреев не отличалось сплоченностью. Одни обращались в газеты, другие искали политической поддержки у единомышленников-неевреев, собирали подписи и призывали к стачкам, как Троцкий, третьи, используя знакомства, подавали петиции царю, как барон Гинцбург. Правда, в отличие от нынешних времен, не было ни одного случая, когда бы какой-нибудь еврейский деятель заявил, что все это кара Божья – то ли за редкое посещение синагоги, то ли из-за того, что в домах нет оберегов-*мезуз*. Несомненно, были и такие, но они предпочитали не высказываться в печати. Впрочем, и печать тогда еще ценили за гражданскую позицию, а не за поиск скандалов.

Так что коррупции в деле Бейлиса, по всей видимости, не было. А был ли государственный антисемитизм? Сегодня многие в России не хотят и слышать о российском государственном антисемитизме. Так, Александр Солженицын в своей нашумевшей книге о русско-еврейских отношениях («200 лет вместе») сознательно обходит вопрос о кровавых наветах, заявляя, что все это польские козни. И действительно, единственным теологом, свидетельствовавшим на суде о существовании ритуальных убийств и использовании евреями крови, был польский католик из Ташкента Иустин Пранайтис. Зато Солженицын не забывает заметить, что после революции мстительные «еврей-чекисты» уничтожили всех причастных к обвинению Бейлиса, от министра юстиции Щегловитого до «несчастной» Веры Чеберяк<sup>2</sup>. Российский публицист националистического толка Вадим Кожин тоже посвятил много времени борьбе за очищение русской чести от обвинений в антисемитизме, выискивая национальность ведущих русских антисемитов – Крушевана, Бутми и других<sup>3</sup>. Он, например, яростно протестовал против того, что вдохновителя Кишиневского погрома 1903 г. Крушевана везде называют Павлом Александровичем, «хотя он носил молдавское имя Паволаки». Многие российские авторы того же толка то и дело указывают на большой процент евреев в разных сферах жизни. (Интересно, что примерно то же, что в этих антисемитских трудах, пишется о «еврейском засилье», Троцкий когда-то писал о балтийских немцах, игравших в государственном аппарате Российской империи примерно ту же роль, как позже евреи-революционеры в первые годы Советской власти: «... они играют, как известно, большую роль в русской дипломатии, прокуратуре и жандармерии, давая наиболее чистую культуру бюрократического нигилизма, – без национальности, без хотя бы связей с коренным населением, без совести и без чести»<sup>4</sup>).

Все это так. Российская империя была, несомненно, «тюрьмой наро-

---

<sup>2</sup> А. И. Солженицын. *Двести лет вместе (1795–1995)*. М.: Русский путь, 2001.

<sup>3</sup> Вадим Кожин. *Черносотенцы и революция*. М.: Прима В, 1995.

<sup>4</sup> Л. Д. Троцкий. *Под знаком дела Бейлиса* // Собр. соч. Политическая хроника (на сайте [www.magister.msk.ru](http://www.magister.msk.ru)).

дов», но каждый народ в этой тюрьме страдал по-разному. И в каких-то отношениях евреи были не в самом худшем, а скорей даже в несколько лучшем положении. Кавказские горцы, мусульмане Средней Азии, народы Севера во многом испытывали больший гнет. Да и многих чисто православных русских людей – например, староверов (которых в 1913 году насчитывалось свыше 12 миллионов человек) – угнетали и преследовали куда круче, чем евреев. Скажем, крестьяне, составлявшие подавляющее большинство населения империи, были лишены целого ряда прав (которые располагали евреи) – например, к крестьянам разрешалось применять телесные наказания. И все же говорить о государственном антисемитизме в Российской империи можно и должно. Другое дело, что, как и позже в СССР, коррупция, а также отсутствие эффективного репрессивного аппарата делали политику государственного антисемитизма (как, впрочем, и всякую внутреннюю политику недемократического государства) достаточно малоэффективной.



Лагерь сторонников обвинения Бейлиса тоже не состоял сплошь из реакционеров и антисемитов. Министр юстиции Щегловитов, всеми силами добивавшийся осуждения Бейлиса за ритуальное убийство, считался либералом. Его статьи в прогрессивных изданиях «Право» и «Юридический вестник», равно как и работа на посту обер-прокурора уголовного департамента Сената, а позже помощника (заместителя) министра в правительстве либерала Витте, создали Щегловитову репутацию поборника прогрессивных реформ.

Одиозная содержательница воровского притона Вера Чеберяк (которая, очевидно, и организовала убийство мальчика, опасаясь, что он выдаст ее планы ограбления церкви) тоже никак не похожа на привычный типаж монархистки-черносотенки. В 1919 году она даже оказалась в составе Киевского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, устанавливавшего советскую власть в городе (впрочем, чекисты опознали ее и расстреляли без суда). И она не была исключением. Судя по всему, сотни тысяч, если не миллионы других черносотенцев, в 1905 году клявшихся живот положить за «веру, царя и отечество», в 1917-м с готовностью пошли бороться «за власть Советов» (в точности, как миллионы немцев, еще в 1930 году голосовавшие за коммунистов, в 1933 примкнули к нацистам). Иначе невозможно объяснить, куда делось действительно массовое и всенародное черносотенное движение.

Еще более неожиданно оказался в лагере сторонников кровавого навета философ и восторженный филосемит Василий Розанов. И до, и после процесса Розанов писал апологетические статьи о еврействе. Но в разгар процесса он вдруг опубликовал весьма одиозный труд «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови». О сложных отношениях Розано-

ва с евреями хорошо говорится в работах Ефима Курганова<sup>5</sup>. Курганов доказывает, что книгу Розанова «просто антисемитской» никак не назовешь. Розанов верил в существование ритуального использования евреями крови, но это не возмущало его. Живший в эмиграции писатель Крымов говорил, что Розанов тайком даже восхищался этим<sup>6</sup>. Вячеслав Иванов в письме А. Блоку сообщал, что на какой-то вечеринке Розанов сам пил смешанную с вином кровь своего еврейского друга Минского.

Символика крови, свойственная расизму в Германии и Франции, была чужда русской общественной жизни до начала XX века. Одним из первых проповедников расистских идей «крови и почвы» в России стал выдающийся русский теолог и философ отец Павел Флоренский. В разгар процесса Бейлиса он опубликовал (под псевдонимом Омега) ряд статей, в которых толковал об опасностях смешения крови славян с еврейской кровью и о вредоносном влиянии такого смешения на кровь других народов, о святой связи крови и земли. Впрочем, Розанов тоже рассуждал о евреях как об особой семитской расе, по сути отличной от всех других. Отсюда уже недалеко было до вульгарного расизма, выросшего на почве сомнительных расовых теорий Гобино и Ренана и модных тогда антропологических трудов Тейлора<sup>7</sup>.



Вопреки распространенным тогда и сейчас стереотипам, такой вульгарный расизм (в том числе и антисемитизм) находил питательную среду не столько среди крестьянства и даже не мещан, приказчиков и купцов, а среди цвета русской интеллигенции. В современных дискуссиях по этому поводу зачастую утверждается, что любая ксенофобия – явление иррациональное, отражение естественной и всеобщей психологической реакции страха перед «чужими». При этом определение «чужого» зависит от конкретных социально-культурных условий, однако считается, что человек цивилизованный и культурный способен совладать с этими инстинктивными страхами. Тем не менее, остается фактом, что такие иррациональные чувства зачастую овладевают и вполне рационально мыслящими интеллигентами и уж куда чаще энергично используются весьма рациональными людьми для достижения очень даже рациональных целей. Так, например, в 1920-е годы сильные антисемитские настроения бытовали не столько среди жителей предместья, мещан, сколько среди горожан – людей свободных профессий и в нижнем и в среднем звеньях управленческого аппарата (об этом свидетельствуют интереснейшие исследования советских социологов

---

<sup>5</sup> Е. Курганов и Г. Мондри. *Розанов и евреи*. СПб., 2000; Е. Курганов. *Иудаизм и русская религиозная мысль* // Русский еврей. 1998. 2–3.

<sup>6</sup> В. Крымов. *Из кладовой писателя*. Париж, 1951.

<sup>7</sup> Е. В. Tylor. *Primitive Cultur*. Boston, 1874.

1920-х годов, изучавших причины антисемитизма в связи с массовой миграцией евреев из местечек бывшей черты оседлости в крупные города СССР и непропорционально большим присутствием евреев в советской элите). И хотя с начала 1930-х годов на всякие проявления (а заодно и изучение) антисемитизма было наложено табу, «рационалист» Сталин очень умело и эффективно использовал эти антисемитские настроения в борьбе с партийной оппозицией.

Понятно, что манипулировать антисемитскими настроениями легче среди тех, для кого евреи – конкуренты в той или иной сфере жизни. В России начала XX века, когда число евреев в среде предпринимателей и людей свободных профессий стремительно увеличивалось, сложились благоприятные условия для такой манипуляции. Царская власть не скрывала, что «защищает» коренное население. И чем больше «защитительных» ограничений вводилось, тем больше врагов эта власть приобретала.

Что же касается интеллигенции, то здесь, как ни парадоксально, иррациональный антисемитизм зачастую и вырос – то на почве рационализма. Интересен в этом отношении случай профессора Ивана Сикорского, отца всемирно известного американского авиаконструктора 1930-х годов. В царской России Иван Сикорский был выдающимся клиническим психологом, новатором в области детской психологии. В свое время он пользовался мировой известностью, его имя называлось среди корифеев русской науки вместе с именем Ивана Павлова. В 1912 году он создал в Киеве Врачебно-педагогический институт для умственно отсталых и страдающих неврозами детей – первое в мире учреждение, занимавшееся такого типа исследованиями. Благодаря своей деятельности он пользовался уважением в профессиональных кругах и среди широкого населения. И вот в 1913 году он выступил на процессе Бейлиса в качестве эксперта на стороне обвинения и свидетельствовал в пользу существования ритуальных убийств у евреев. Он определил убийство Юшинского как типичный случай такого «расового мщения, или вендетты сынов Иакова по отношению к субъектам другой расы». Это заключение вызвало бурю негодования в научных кругах России и за границей. Чем же объяснить его выступление? Несомненно, он был широко просвещенным человеком, верившим в науку. И ему, как и многим европейским рационалистам XIX века, казалось, что нет предела для разума. Умы общества будоражили тогда теории, предлагавшие заманчиво рациональные, а самое главное – единственно верные, научные рецепты решения всех общественных проблем. Расовая теория, евгеника и другие лженауки тоже числились среди таких «ключей» к новому, блистательному миру светлого будущего. И поэтому не было случайностью, что в среде интеллигенции весьма популярными были «новейшие» теории антропологического эволюционизма, которые предлагали универсальные схемы развития человечества и объявляли человеческие жертвоприношения необходимым этапом развития любой религии. В подобных схемах иудаизм считался более архаичной религией, нежели



христианство, а посему и ритуальные убийства в нем должны были сохраняться дольше, чем в «более развитом» христианстве. До современных идей мультикультурализма, равенства культур, приоритета общественного над национальным было еще далеко.

Интересно, что еврейская среда тоже не имела никакого иммунитета против лженаучных расистских теорий. Знаменитый сионист Макс Нордау, именем которого названы улицы во многих израильских городах, выступил в то время с теорией, согласно которой еврейский народ в диаспоре быстро деградирует в нравственном, моральном и физическом развитии. Формулировки Нордау весьма напоминали образ недочеловека в будущей нацистской расологии. Нордау и его последователи видели решение еврейского вопроса в создании еврейского государства. Увы, другие деятели сделали из соображений Нордау свои выводы и предложили более радикальные пути окончательного решения еврейского вопроса. Но и у тех, и у других их выводы обосновывались вполне рациональными научными соображениями и являлись в первую очередь достоянием просвещенной части общества.



Напрасными оказались тревоги Короленко, впавшего в отчаяние оттого, что в состав коллегии присяжных вошло семеро крестьян, два мещанина и три мелких чиновника. С таким составом устроители процесса рассчитывали на обвинительный вердикт, тем более что на присяжных оказывалось беспрецедентное в истории российского судопроизводства давление. На суде демонстрировали нетленные мощи «жидами умученного» священомученика инока Гаврилы. Перед вынесением вердикта в Софийском соборе, как раз напротив здания суда, служили молебен по невинноубиенному иноку Андрею. К неудовольствию церковного начальства, хорошо осведомленного, что мальчика собирались использовать при ограблении церкви, «в народе» раздавались призывы причислить Андрея Ющинского к лику святых. Черносотенная пресса ликовала: *«Наш православный мужичок не даст себя обвести вокруг пальца, уж он-то разберется, где святая правда, а где иудейские козни! Бейлису не выпутаться, его ожидает заслуженное возмездие, и это решающее слово скажет народ!»*

«Народ» сказал свое слово: «Невиновен». Мнения присяжных разделились поровну, в точности, как разделилось российское общество. Закон в таком случае был на стороне подсудимого. Мендель Бейлис встал, поклонился присяжным и упал в обморок.

Болевший за Бейлиса лагерь мгновенно забыл, что думал и говорил о присяжных до этого. А ведь знаменитый профессор Бехтерев в интервью перед процессом выразился весьма откровенно: «Такой серый состав трудно встретить даже в глуши». И это был далеко не самый нелестный отзыв. Разумеется, допущения типа «что было бы, если» никогда ничего не доказывают, но «просвещенная публика» скорее всего вынесла бы Бейлису об-

винительный приговор, как это случалось в подобных случаях, о которых я расскажу ниже.



В историко-теологическом исследовании Леонида Кациса «Кровавый навет и русская мысль»<sup>8</sup>, посвященном расколу в русской интеллигенции в связи с делом Бейлиса, оно названо «высшей точкой в напряженных еврейско-русских отношениях». Хотя антисемитская подоплека дела Бейлиса неоспорима, но очевидно и то, что, как уже сказано, российское общество разделилось не по оси «прогрессивный лагерь филосемитов против антисемитских сил реакции». Истинный расклад сил показывает, что евреи в данном случае были, как говорится, в «сострадательном наклонении», то есть главный вопрос состоял не в отношении к евреям – нешуточный спор расколол российское общество совсем по другим признакам. Дело Бейлиса, да, пожалуй, и весь еврейский вопрос, были в лучшем случае поводом для других, более серьезных дискуссий.

Дело в том, что кровавый навет, т. е. обвинения религиозно-этнических меньшинств в ритуальных убийствах, не были в России новостью. Страдали от них не только евреи. Однако в обширной литературе о деле Бейлиса этот факт почти не упоминается и никак не рассматривается. Так, в современном интернете, где числятся уже сотни тысяч ссылок на дело Бейлиса, лишь в двенадцати случаях это дело упоминается вместе с так называемым Мултанским делом (оно, кстати, послужило основой для сюжета романа Бориса Акунина «Белый бульдог»). При этом две из таких ссылок – на статьи Владимира Короленко о Мултанском деле<sup>9</sup>. Прошло без малого сто лет после дела Бейлиса, прежде чем израильская исследовательница из департамента русских и славянских студий Иерусалимского университета Юдит Калик впервые решила сравнить эти судебные процессы<sup>10</sup>.

Мултанское дело 1892–1896 годов по обвинению в ритуальном убийстве удмуртов действительно очень похоже на дело Бейлиса. И в обоих этих делах в защиту обвиняемых выступил Владимир Короленко. Как и дело Бейлиса, Мултанское дело началось после убийства, которому придали вид ритуального в надежде, что правоохранительные органы предпочтут такую версию. Как и в деле Бейлиса, полицейское следствие сначала пошло по другому пути, но затем, в результате общественного давления, прокуроры предпочли развивать версию ритуального убийства. Кстати, во время про-

---

<sup>8</sup> Леонид Кацис. *Кровавый навет и русская мысль. Историко-теологическое исследование дела Бейлиса*. М.–Иерусалим: Гешарим–Мосты культуры, 2006.

<sup>9</sup> В. Г. Короленко. *Мултанское жертвоприношение* // Собр. соч.: В 6 т. М., 1971. Т. 6. С. 5–48; Он же. *Дело Бейлиса* // Там же. С. 289–308.

<sup>10</sup> Юдит Калик. *Дело Бейлиса в российской общественной дискуссии по отношению к другим национальным меньшинствам: случай вотяков (удмуртов)* // JSIS. 2006. Сент.

цесса Бейлиса прокуратура использовала Мултанское дело для доказательств факта ритуальных убийств. В обоих процессах обвиняемые были оправданы. *«Несмотря на все это, специалисты воздерживались от сравнительного исследования, – пишет Юдит Калик, – вероятно, из-за огромной разницы между идентичностью обвиняемых: между евреями, с одной стороны, и вотяками, далеким угро-финским народом на окраине Российской империи, с другой».* Впрочем, стоящая на Средней Волге Вятка – не окраина, а, скорее, географическое сердце России. Однако в остальном исследовательница права. Действительно, евреев не принято сравнивать с кем бы то ни было. Еврейские исследователи зачастую рассматривают историю своего народа в отрыве от истории мировой, как будто евреи жили в изоляции, свято храня свою генетическую и религиозную идентичность, а если и вступали в какой-то контакт с другими народами, то лишь во времена погромов, депортаций и других бед. Такая интерпретация истории идет еще от талмудической традиции, совершенно не интересовавшейся историей ради познания истины и пользовавшейся историческими примерами лишь для назидательных и воспитательных целей. Один из величайших еврейских законоучителей Маймонид (Рамбам) и вовсе полагал историю вредной, отвлекающей от единственно важного занятия – изучения Торы.

Вернемся, однако, к Мултанскому делу. Оно началось в мае 1892 года, когда на окраине удмуртского села Старый Мултан было обнаружено тело бездомного нищего Матюнина. Тело было выпотрошено, что сразу возбудило подозрения в ритуальном убийстве. Хотя полицейские приставы нашли следы крови, ведущие в расположенную по соседству русскую деревню Анык, прокурор Раевский решил дать ход версии о ритуальном убийстве. Полиция арестовала 12 удмуртов из Старого Мултана и обвинила их в совершении человеческого жертвоприношения богу Курбону. Бога такого никогда в удмуртской мифологии не было, и слово это татарское, вернее – татарская форма арабского слова *курбан* («жертва»). (Мусульманский праздник жертвоприношения Ид аль-адха по-татарски называется *Курбан-байрам*.) Сами удмурты веками числились православными. Но все эти вопиющие несоответствия оказались несущественными для затеявших суд шовинистов и ослепленного предрассудками общественного мнения. Подсудимые представляли перед судом присяжных трижды. Два раза суд присяжных, состоявший (в отличие от дела Бейлиса) из просвещенной публики, выносил приговор «виновны». И каждый раз Правительствующий Сенат в Петербурге, исполнявший в Российской империи функции верховного суда, отменял приговор – случай беспрецедентный в российской судебной практике. Лишь на третий раз присяжные оправдали подсудимых. После суда нашлись и истинные убийцы. Сход деревни Анык изгнал их из общины и лишил удела в сельском мире. Убийцам не было куда идти, и они явились с повинной, признавшись, что инсценировали ритуальное убийство, чтоб завладеть землей соседей-удмуртов.



Экспертом со стороны обвинения на суде над мултанцами выступил Иван Смирнов<sup>11</sup>, профессор Казанского университета, признанный в то время специалист по этнографии восточных угро-финских народов, автор нескольких книг, посвященных их обычаям, верованиям и образу жизни. Более того, верный русской интеллигентской традиции нести в народ семена просвещения, Смирнов активно популяризировал свои изыскания на многочисленных публичных лекциях. И на этих лекциях, задолго до всякого Мултанского дела, Смирнов говорил о том, что языческая религия удмуртов предполагает человеческие жертвоприношения. Некоторые исследователи полагают, что лекции Смирнова, если и не натолкнули убийц на мысль инсценировать такое жертвоприношение, то, во всяком случае, способствовали формированию общественного мнения в этом вопросе.

В любом случае профессора Смирнова нельзя было обвинить в удмуртофобии. Напротив, удмурты были любимой темой его исследований. И перед судом он предстал как вполне независимый эксперт, крупный специалист, выступающий от имени науки, представитель авторитетной тогда школы антропологического эволюционизма, продолжатель дела упомянутого выше, ныне почти забытого, а тогда очень популярного британского антрополога Тейлора. По теории Тейлора, каждая религия обязательно проходит в своем развитии этап человеческих жертвоприношений. На следующих этапах религиозной эволюции следы таких жертвоприношений обязательно остаются в фольклоре. Такая заманчиво простая и убедительная схема казалась весьма правдоподобной образованной публике конца XIX века, увлеченной расистскими приключенческими романами о первобытных людях, изображавшихся то в виде кровавых злобных дикарей, то в виде наивных и примитивных «детей природы». (Впрочем, Юдит Калик считает, что утверждения Смирнова о кровавых жертвоприношениях среди вотяков как раз противоречили эволюционизму, а больше соответствовали взглядам немецких антропологов школы Фолькстейн; по ее мнению, американский исследователь Роберт Джерацци<sup>12</sup>, называя Смирнова эволюционистом, просто следует современным американским воззрениям на тейлоровский эволюционизм как на причину всех грехов и преступлений расизма.)

Впрочем, уже и тогда в российских научных кругах возникли сомнения в достоверности построений Смирнова. Не найдя «следов» человеческих жертвоприношений в фольклоре удмуртов, ученый использовал для доказательства сказки другого угро-финского народа – черемисов (сегодня их называют мари). Такая подтасовка насторожила ученых, но защитникам мултанцев не удалось найти эксперта, равного Смирнову. В процессе Бей-

---

<sup>11</sup> И. Н. Смирнов. *Следы человеческих приношений в поэзии и религиозных обрядах приволжских финнов*. Казань, 1889.

<sup>12</sup> Robert Geraci. *Ethnic Minorities, Anthropology, and Russian National Identity on Trial: The Multan Case, 1892–96* // *The Russian Review*. 2000. 59.

лиса такой ученый был – им оказался всемирно известный профессор-востоковед Данила Хвольсон. Фигура Хвольсона разрушает многие газетные штампы, вроде утверждений регулярно пишущего на религиозно-национальные темы израильского русскоязычного автора Арье Бараца, заявляющего, что «за обвинениями в кровавых наветах стояли евреи», т. е. еврейвероотступники, выкресты<sup>13</sup>. Хвольсон был крещеным евреем – и он же оказался самым главным и авторитетным экспертом, опровергнувшим обвинения в ритуальных убийствах. Основной – и неопровержимо убедительный – аргумент Хвольсона против использования евреями крови заключался в том, что еврейская традиция в течение всей истории запрещала использование крови в любом виде. Хвольсон также показал, что нет ни одного достоверного исторического факта, указывающего на существование какой-либо изуверской иудейской секты, которая практиковала бы человеческие жертвоприношения или использовала кровь в ритуальных целях. «Евреи веками жили скученно, – аргументировал Хвольсон, – и такой секте негде было бы скрыться». (Кстати, Хвольсон и впоследствии не раз приходил на помощь своим бывшим единоверцам, которые обращались к нему, вопреки религиозным запретам. И хотя в еврейской среде любят цитировать изречение, якобы принадлежащее Хвольсону, о том, что лучше быть крещеным профессором в Петербурге, чем еврейским учителем-меламедом в Вильно, однако статьи этого ученого проникнуты такой неподдельной любовью к Христу и к христианству, что это отменяет всякое сомнение в его искренности и бескорыстии.)

Джераци считает, что в Мултанском деле столкнулись два направления русского национализма. Народник Короленко, никогда не бывший либералом и идеализировавший крестьянскую общину, представлял здесь консервативную «имперскую версию» русского национализма, по которой все народы империи неминуемо станут русскими в процессе русификации. Короленко заявлял на суде, что вотяки живут не где-то в сибирских лесах, а в самом центре Российской империи и, кроме языка, ничем не отличаются от русских крестьян. Раздувание национальной вражды против любого народа в империи равносильно разжиганию вражды против всей России, позорит Россию в глазах всего мира как страну отсталую и дикую. Не удивительно, что Правительствующий Сенат проявил единодушие с писателем-революционером. Консервативные сенаторы в Петербурге тоже защищали не удмуртов, а интересы России, как они их понимали.



Короленко не изменил своих взглядов и во время дела Бейлиса. Не удивительно, что он оказался в одном стане с державниками, с которыми, вероятно, расходился по любым другим вопросам – архиепископами Анто-

---

<sup>13</sup> Арье Барац. *Еврейский антисемитизм* // на сайте [www.jewniverse.ru](http://www.jewniverse.ru)

нием и епископом Люблинским и Волынским Евлогием (Георгиевским), представлявшим в Думе черносотенный Союз русского народа.

*«Она сказала свое слово, народная Россия, – слово зрелого смысла, слово народной честности! Она доказала, что для русского суда общественной совести "несть ни эллина, ни иудея", что в XX веке суд народной России над жертвой кровавого навета не судит "по одному побуждению", а судит по уликам, как того хотел еще Александр I. В совещательной комнате, наедине со своей совестью, русский человек остался верен себе, своим лучшим духовным вождям; простой русский человек от сохи остался еще раз в духовном единении со своей интеллигенцией»,* – писала газета того времени, отражая точку зрения имперских националистов.

Газета «Киевлянин» под редакцией Шульгина писала: *«Низкий поклон этим киевским хохлам, этим серым гражданам киевской земли»*. Назвать их украинцами у великорусских шовинистов из редакции язык не поворачивался – всех жителей Украины в «Киевлянине» называли малороссами. (Русские этнические националисты и до сих пор утверждают, что украинского народа нет вообще, и это название появилось якобы лишь в 1914 году.) Подчеркивавший свой антисемитизм великоросс Шульгин придерживался, по сути, того же имперского национализма, что и украинец Короленко. Шульгин верил, что бредовые и беспочвенные кровавые наветы лишь позорят Россию, нанося ее интересам непоправимый вред. При этом Шульгин, как и Пихно и прочие журналисты из «Киевлянина», а также многие другие в России, испытывал мало симпатии к евреям и вряд ли видел в них интегральную часть Российской империи. Однако он был убежден, что такой тотальный, или, как сегодня пишут, «фантастический», антисемитизм лишь вредит антисемитизму реалистическому. Фантастический антисемитизм лишал смысла обоснованные претензии антисемитов-реалистов к евреям. Написанная через 20 лет после процесса книга Шульгина «За что мы их не любим» четко сформулировала эти претензии: нечестная конкуренция, полный контроль над определенными отраслями экономики и свободными профессиями, массовое участие в революционном движении, доминирование в либеральной российской прессе.

Интересно, что многие современные еврейские авторы выражают полную солидарность, по крайней мере, с двумя последними обвинениями. Надо сказать, что и раньше еврейская политика царского правительства всегда находила поддержку в тех или иных еврейских кругах в России. Так, ликвидация кагалов – органов еврейского самоуправления, сохранившихся еще с феодальных времен, – вызвала горячую поддержку сторонников еврейского движения просвещения – Хаскала, – а дискриминационные меры по ограничению еврейской деятельности поддерживались традиционным раввинским истеблишментом. Во время нашествия Наполеона, несшего в Россию идеи французской революции, основатель любавичского течения в хасидизме рабби Шнеур-Залман из Ляд призвал своих последователей сопротивляться французам. Он весьма откровенно формулировал свои аргу-

менты: если победят французы, то евреи разбогатеют и перестанут быть евреями, тогда как царское правительство держит евреев в бедности и изоляции, что позволяет им сохранить себя и избежать греха, дожидаясь прихода Мессии.

Не удивительно, что такие убежденные имперские националисты, как Шульгин или владыка Евлогий, в конце концов, пришли к поддержке большевиков, исповедовавших, по сути, ту же имперскую доктрину, что и они сами.

---

Однако вернемся снова к Мултанскому делу, где очень ясно выявился и другой вид русского национализма – этнический, зачастую расистский. Этнические националисты верили, что каждый народ обладает определенными, «заложёнными в крови» особенностями, и никакое культурное влияние, никакая ассимиляция не способны их полностью уничтожить. Главным пропагандистом этой разновидности национализма оказался журналист Бабушкин, публиковавший свои, нагнетавшие ненависть к удмуртам памфлеты в казанском «Волжском вестнике»<sup>14</sup>. Он писал: *«Кто теперь будет отрицать, что несчастные эти вотяки, носящие христианские имена Иван, Семен, Василий... с которыми и ты, дорогой читатель, мог стоять рядом, на самом деле в душе настоящие дикари с островов Тихого океана, о которых ты читал в книжках»*. Такую уверенность, понятно, нельзя было поколебать ничем – ни оправданием подсудимых по Мултанскому делу, ни вердиктом «невиновен» по делу Бейлиса. Как писала петербургская газета «Русское знамя»: *«независимо от оправдательного или обвинительного приговора – процесс сделал свое огромное общественное дело: разоблачена, удостоверена и закреплена в народной душе страшная сторона изуверской жидовской обрядности, существующей незыблемо с древнейших времен и до наших дней. Русское общество и русский народ и раньше таили в глубине сознания уверенность в существовании ритуальных зверств. Теперь уверенность сменилась убежденностью, что как бы ни щеголяло жидовство "культурностью", "прогрессом", "цивилизацией" и "борьбой с предрассудками", цена этому жидовскому хвостовству – грош»*.

---

Против антрополога Смирнова на Мултанском процессе выступил писатель Владимир Короленко, не имевший не только антропологического, но и никакого высшего образования. Он попросту высмеял аргументы профессора с позиции здравого смысла: *«Из сказок про Бабу Ягу тоже можно вывести доказательства, что в наше время русский народ приносит че-*

---

<sup>14</sup> И. И. Бабушкин. Человеческое жертвоприношение языческим богам в Волжско-Камском крае // Волжский вестник. 1894. 15 дек.

ловеческие жертвоприношения!» Защита строилась на том, что вотяки – православные люди, почти ничем не отличающиеся от своих русских соседей, и всякие утверждения, будто они тайком приносят жертвы богам, – явная клевета. Положения эти весьма сомнительны, если не сказать ложные. Как-то в начале 1990-х годов мне пришлось побывать на фестивале угрофинских культур в Хельсинки. В течение нескольких дней я ходил смотреть на красочные шествия финнов, эстонцев, лапландцев, удмуртов, мари, эрзя и других народов. Устроители фестиваля на славу постарались представить культуру и верования угрофиннов, тем более что щедрое субсидии Евросоюза позволяли широко развернуться. В удмуртском павильоне я запасся отлично иллюстрированной книгой о народных обычаях. Мне с гордостью рассказали об обычаях жертвоприношения, или *куала* по-удмуртски. В павильоне можно было даже посмотреть фильм, где эти церемонии проводились при участии президента их автономной республики. Уже не было нужды бояться ни атеистической Советской власти, ни гнета Московской Патриархии. Народные обычаи угрофиннов открывали им окно в Европу. При подготовке материала я узнал, что одно из самых крепких удмуртских ругательств *крёшин* происходит от русского слова «крещеный». Так что, по крайней мере, здесь Смирнов и обвинение были правы.

Это невольно заставляет задуматься – если так у угрофиннов, то, может, и у евреев обнаружится что-либо подобное, если не в деле Бейлиса, так когда-нибудь раньше, в ходе их многотысячелетней истории. Сегодня бояться такого вопроса уже не следует. Сегодня никто уже всерьез не боится кровавого навета. Не случайно, когда в ответ на конкурс карикатур о Холокосте, объявленный в Иране, несколько тель-авивских художников объявили свой конкурс «Антисемитская еврейская карикатура», то, как заявил глава группы Амитай Санди: *«Главным призом нашего конкурса будет машина, пекущая мацу из крови христианских младенцев»*.



Так как же – было или не было? Слова Владимира Жаботинского, написанные в связи с делом Бейлиса, цитируют, кажется, в любой, посвященной этому делу работе: *«Нам не в чем извиняться. Мы народ, как все народы, не имеем притязания быть лучше. В качестве одного из первых условий равноправия, требуем за нами право иметь своих мерзавцев, точно так же, как имеют их другие народы»*. Разумеется, искать этих «еврейских мерзавцев» надо не в антисемитских сочинениях, вроде тех, которые представил на процессе единственный эксперт-теолог, католический профессор Иустин Прайнайтис. Не случайно одно из таких сочинений, труд польского священника XVIII века Гуадентия Пикульского<sup>15</sup>, фигурировавший на суде, было закле-

<sup>15</sup> G. Pikulski. *Złość żydowska przeciwko Bogu y bliżość żydowska przeciwko Bogu y bliżniemu prawdzie y sumieniu na objaśnienie talmudystow...* Lwow, 1758.



мено, как фальшивка. Впрочем, для русских националистов-антисемитов, как и для католика из Ташкента Пранайтиса, это решение суда – не указ.

Русско-еврейский писатель из США Семен Резник в серии статей<sup>16</sup>, посвященных делу Бейлиса, приводит длинный список «кровавых наветов», возводившихся на евреев в ходе истории. Резник отмечает, что его материалы не вполне достоверны, поскольку многие случаи либо просто вымышлены, либо ложно интерпретированы, однако продолжает цитировать, поскольку это соответствует его задаче показать непрерывную череду преследований евреев. Преследования, действительно, были. Однако рассматривать еврейскую историю только как цепь погромов и холокостов – по меньшей мере, унизительно. Евреи жили в Европе две тысячи лет. Здесь они сформировались как народ в нынешнем своем виде, и спокойных периодов добрососедских отношений было значительно больше, чем периодов преследований. Даже в периоды гонений, как и в деле Бейлиса, общая картина событий была значительно шире и сложнее, чем ее зачастую изображают в стандартных курсах еврейской истории. И, кстати, далеко не все случаи обвинений евреев в ритуальных преступлениях были совершенно несостоятельными. В исследовании профессора еврейской истории университета Бар-Илан Элиота Горовица «Безрассудные ритуалы»<sup>17</sup> представлена долгая история иудейского фанатизма с его намеренными оскорблениями христианских святынь, самооговорами, имевшими целью спровоцировать невиданные мучения и «дернуть за бороду самого Господа Бога», заставив его, наконец, вмешаться и выступить на стороне своего избранного народа. В свои студенческие времена, роаясь в старой немецкой церковной истории, я нашел рассказ об иудейских фанатиках XIV века, публично оплевывавших распятие и мочившихся на крест во время праздника Пурим. В средние века с этим не шутили, и богохульников притащили на суд к князю-епископу, слывшему защитником евреев. Не помогли даже взятки, поскольку фанатики не только не выражали покаяния, но и заявляли, что близится приход Мессии, и Бог скоро уничтожит всех христиан. На следствии они оговорили не только раввинов и богатых евреев своей общины, но и собственных жен и детей. И даже на эшафоте, пройдя через страшные пытки, они все ждали, что жребий – «пур» (откуда и пошло название Пурима) перевернется, и они поменяются ролями со своими палачами. Есть в книге Горовица и рассказы о совершенных евреями убийствах, как своих единоверцев, так и христиан. Власти сасанидской Персии, да и кое-где в Византийской империи, позволяли евреям наказывать и даже казнить своих врагов и обидчиков во время пуримских процессий. Однако все это не ритуальные убийства.



---

<sup>16</sup> Семен Резник. *Убийство Ющинского и дело Бейлиса* // Вестник. Ноябрь 1999 – январь 2000 (Нью-Йорк).

<sup>17</sup> Elliott Horowitz. *Reckless Rites: Purim and the Legacy of Jewish Violence*. Princeton: Princeton University Press, 2006.

Со времен всеобъемлющего исследования Хвольсона в научном обороте не появилось никаких свидетельств использования евреями крови в ритуальных целях. Не нашлось, как уже сказано, и ни одного факта, подтверждающего существование иудейской секты, использующей кровь в ритуальных целях. Так откуда же столь упорные и многовековые кровавые наветы? Еврейский народ и до Жаботинского не особо испрашивал права иметь собственных мерзавцев, однако в истории происхождения кровавого навета, похоже, в жертву приносили не чужих христианских детей, а своих собственных, да и делали это не мерзавцы, а... те, кого принято считать святыми. В работе видного израильского историка, профессора Иерусалимского университета Исраэля Юваля «Месть и проклятие, кровь и навет»<sup>18</sup> происхождение кровавых наветов выводится из определенных средневековых мессианских верований, бытовавших среди немецких (ашкеназийских) евреев добрую тысячу лет назад. Он прослеживает связь этого навета со средневековым иудейским учением о том, что мученическая смерть за прославление Божьего имени (так называемый «кидуш ха-Шем») в конце времен вознаградится не только воскрешением, поскольку восставшие из мертвых облекутся плотью и, во главе с Мессией, обрушатся на всех еврейских врагов и накажут их страшной смертью. Эта традиция, широко распространившаяся среди еврейских общин Германии и Северной Франции, предполагает, таким образом, что мученическая смерть и страдания евреев способны потрясти небеса и приблизить мессианское избавление. Распространение таких верований совпало с первым крестовым походом, когда толпы крестоносцев двинулись на Иерусалим, грабя и убивая на своем пути. Еврейские общины, на которые обрушились эти разъяренные религиозным фанатизмом толпы, чудовишно пострадали от погромов, убийств и грабежей. Жившие в мире и спокойствии несколько столетий, евреи Европы были потрясены этой неожиданной жестокостью крестоносцев. Особенно поразили их насильственные крещения, невиданные раньше в Западной Европе. Многие евреи восприняли эти события первого крестового похода как исполнение пророчеств, говоривших о наступлении тяжелых времен перед пришествием Мессии. В еврейской среде получили тогда широкое хождение поэтические духовные тексты (пיוты), говорившие о страшных страданиях и, в связи с этим, о необходимости подтвердить завет с Богом, принеся в жертву детей, как это готов был сделать праотец Авраам на горе Мория.



Реакция еврейских общин на погромы и насильственные крещения 1096 года оказалась парадоксальной. Вот типичный пример из еврейской

---

<sup>18</sup> Исраэль Юваль. *Месть и проклятие, кровь и навет* // Цион. 1993. 3; Он же. *Два голя в твоей утробе - евреи и христиане - образ друг друга*. Тель-Авив: Ам овед, 2001.

хроники того времени<sup>19</sup>. Епископ Майнца укрыв евреев в своем дворце, но крестоносцы взяли дворец штурмом и перебили всех евреев. Парнас (староста общины) Исаак каким-то образом уцелел и крестился, как сообщает летописец, *«чтоб спасти своих детей, чтоб избежать страдания, так как малы они и не отличают добра от зла»*. Спасение в данном случае имелось в виду не физическое, а мессианское. Дети Исаака уцелели, хотя и не крестились. У Исаака была возможность вернуться к своей вере, поскольку в иудаизме такая возможность предусматривается – особенно, если крещение производилось насильно. Однако Исаак решил иначе. Переживая погром, он через два дня явился домой и обнаружил, что ни дом, ни имущество особенно не пострадали. Этот контраст между своим духовным отступничеством и сохранившимся имуществом так потряс его, что он захотел искупить свою вину. Он сказал матери: *«Я согрешил перед Господом Всевышним и найду искупление»*. Мать взмолилась и призвала Исаака отказаться от своего намерения, но он был неумолим. Он заперся у себя в доме и спросил детей, ради спасения которых он крестился: *«Хотите ли вы, чтоб я принес вас в жертву нашему Богу?»* И дети, которые раньше *«не отличали добра от зла»*, теперь отвечали: *«делай, что хочешь с нами»*. Тогда Исаак взял своих детей и повел в синагогу и перед ковчегом, где хранятся свитки Торы, зарезал своих детей со словами: *«Пускай прольется кровь на святой ковчег... и кровь эта будет искуплением мне во всех преступлениях»*. Потом он пошел к дому, подпер снаружи двери и поджег дом. Вместе с домом сгорела и его мать. После этого Исаак вернулся в синагогу и поджег ее тоже. *«Праведник ходил из угла в угол, от стены к стене, – пишет хроникер, – откуда поднимался дым к Отцу, что на небесах. [Он] молился Господу из огня голосом приятным и громким... Христиане, наблюдавшие со стороны, кричали ему: "Злодей, выйди из огня" – и даже пытались спасти его и вытащить оттуда, – продолжает хроника, – однако праведник стоял прямой и честный в огне и узрел Бога»*. Хроникер называет праведником человека, только что собственноручно убившего своих детей и родителей, поджегшего синагогу Майнца и покончившего самоубийством. Причем произошло это не в минуту отчаяния перед лицом погромщиков, а среди дружественных соседей, в городе, где власть старалась помочь евреям. Исаак, надо думать, тронулся умом, но речь не о нем, а об идеологии, прославляющей и ставящей его в пример.

Этому примеру последовали многие. Многочисленные случаи массовых самоубийств, убийств детей и самосожжений описаны в любом курсе еврейской средневековой истории. В религиозных текстах того времени много говорится о самоубийствах и убийствах ради «кидуш ха-Шем», в том числе детей. Прославляется в них не столько сам факт жертвоприношения, сколько то, что жертва была призвана ускорить мессианское освобождение. И хотя зачастую такие ужасные поступки оборачивались бедой

---

<sup>19</sup> А. М. Хаберман. *Преследования (евреев) в Германии и Франции*. Иерусалим, 1972.

для всей общины, хроникерам, тем не менее, кажется, что чем хуже, тем лучше – чем ужасней, тем скорей содрогнутся небеса, и придет искупление. Рассказывается, например, о двух женщинах из Морса, убивших своих детей ради Святого имени. Одна убила 10-летнюю дочь, а вторая ребенка, которого только что родила. Это разозлило горожан, и те выдали всех евреев крестоносцам. Есть и более жуткие примеры, но достаточно и этих.



Даже в этих апологетических хрониках содержатся намеки на то, что в еврейском обществе существовала ожесточенная оппозиция такого рода поведению. Во многих случаях упоминаются раввины, которые энергично протестовали против безумных действий своих единоверцев.

*«Рассказ о раввине, зарезавшем во славу Имени Божьего много младенцев во время погрома, потому, что видел, что могут их забрать от веры. И был с ним один раввин, который очень гневался на него и называл его убийцей. А первый раввин не успокаивался. И сказал тогда ему, если не успокоишься, то по слову моему умрешь страшной смертью. Так и случилось. Поймали первого раввина и стали сдирать с него кожу и сыпать песок между кожей и мясом. И умер он в страшных муках, и кара (от общины) была отведена. И если бы не резал тех детей, то они бы спаслись».*

Хроника намекает, что кара была отведена от евреев из-за мученической смерти раввина-изювера, а позиция второго раввина просто отмечается. В основном, тогдашние еврейские хроники и литургические пиюты пронизаны кровавым духом фанатизма. В точности как другие мессианские фанатики в еврейской истории, эти фанатики совершали свои кровавые деяния в отчаянной надежде спровоцировать небеса на исполнение пророчеств. Однако их дела производили жуткое впечатление – прежде всего, на их христианских соседей. От них по всему тогдашнему христианскому миру пошла молва об особой кровожадности и о безумных кровавых обрядах евреев. Недаром в том же Майнце, где безумствовал парнас Исаак, почти через сто лет, в 1193 году, когда еврея уличили в убийстве христианина, то, хотя убийство было совершено на чисто уголовной почве, всех евреев города все равно заставили поклясться, что они не убивают христиан в канун Пасхи. Эта репутация и породила, уже во времена второго крестового похода, первые кровавые наветы. Профессор Юваль опровергает расхожее мнение, будто первый кровавый навет прозвучал в 1144 году в английском городе Норвиче. На самом деле, утверждает он, этот навет впервые был возведен на евреев как раз в Германии, куда ближе к тем событиям первого крестового похода, о которых говорят еврейские хроники и пиюты.

В работе Юваля много говорится также об истоках еврейской молитвы «Боже милосердный» (*Ав рахамим*), которая призывает Бога отомстить христианам и уничтожить их. (Скажем попутно, что традиция испанских

евреев-сефардов как раз предполагает не уничтожение, а принятие в конце времен истинной, т. е. иудейской, веры.) Юваль видит определенную аналогию между христианской ненавистью к иудеям и иудейской к христианам. (Впрочем, справедливость требует отметить, что евреи сжигают лишь чучело Амана, злодея из библейской Книги Есфирь, а христиане сжигали самих евреев.) Юваль пытается понять обе стороны. Подробный разбор работ Юваля и материалов других исследователей еврейского средневековья увел бы нас далеко от темы, заметим только, что публикация исследований Юваля вызвала скандал в кругах израильских историков. Автора обвиняли в том, что он якобы оправдывает преследования и убийства евреев в средние века, создавая у читателей впечатление, будто они сами были виноваты в этих зверствах. Ставился даже вопрос, имеет ли исследователь-еврей право вообще публиковать труды, способные повредить евреям. Юваль, который никогда не был ни диссидентом, ни виновником научных скандалов, отвечал, что *«антисемитские фальшивки не должны превращать изучение нашей истории в пропагандистский плакат»*.

---

Интересно, что считающийся первым кровавый навет в Норвиче в чем-то очень похож на кровавый навет в Киеве, который многим тогда казался последним. В Норвиче дело тоже началось не с кровавого навета, а с убийства влиятельного еврея Лазаря. Община обратилась к властям с требованием покарать убийцу, близкого друга норвичского епископа. И тогда, чтобы спасти обвиняемого от неминуемой казни, вдруг вспомнили о загадочной смерти пастушка Вильяма за пять лет до того. Норвичский епископ пришел на суд и потребовал, прежде чем разбирать смерть Лазаря, разобраться убийство Вильяма. Тогда же появилось на свет «Житие Вильяма» Томаса из Монмута о невинно убиенном мальчике, на могиле которого творились чудеса и исцелялись недужные. Кстати, и тогда прямых улик против евреев не было. Главным доказательством считались чудеса на могиле. По тогдашней логике, не могли твориться чудеса, если бы не что-то святое. Ничем не прославившийся при жизни пастушок Вильям мог считаться святым, лишь сподобившись мученической смерти. Весть о кровавом навете распространилась по городам и весям христианского мира и вызвала поток подражаний. Для евреев, оставшихся к тому времени единственным существенным религиозным меньшинством в Европе, этот навет стал одним из главных страхов, резко выявившим их беззащитность перед иррациональностью национального существования.

---

Сегодня кровавый навет принято усматривать повсюду. Упомянутый выше Леонид Кацис – известный литературовед, автор интересных работ по

русской литературе. Не будучи ни историком, ни теологом, он не случайно взялся за «историко-теологическое исследование» поведения русской интеллигенции во время дела Бейлиса. В его работах поиску антисемитов и, в частности, кровавого навета посвящено много сил. Так, Марина Цветаева, по Кацису, – несомненно, антисемитка, поскольку в свои рассуждения о революционности Мандельштама она вдруг вплела ассоциации с еврейским письмом, которое читают справа налево<sup>20</sup>, а в разговоре с «типично еврейским молодым человеком» Бахрахом затеяла спор о немецкой кровавой колбасе. Кацис убежден, что Бахрах не мог не уловить в этой застольной беседе «обертонь бессмертного мотива, который именуется "кровавый навет"».

В начале 2006 года, будучи в Киеве, я оказался свидетелем того, как возводят кровавый навет в еврейскую пасху. Только в этот раз не на евреев, а сами евреи – на других. История вкратце такова. После празднования пасхального седера в Днепропетровском еврейском центре группа учеников йешивы шла по привычному пути в расположенное поблизости общежитие. Задержавшийся в синагоге израильтянин Хаим Горбов пустился догонять товарищей. По дороге на него напали несколько неизвестных, ударили по голове, избили и нанесли ножевое ранение. Прохожие отнесли Горбова в помещение близлежащего клуба, откуда вызвали охрану, «скорую помощь» и мать потерпевшего, очевидно, жительницу города.

Сообщения пришли под шапками одна громче другой – «Разгул антисемитизма», «Антисемитизм на Украине» и т. п. Приводились слова главного раввина Днепропетровска и области Шмуэля Каминецкого, немедленно сделавшего из уголовного дела политические выводы: *«Антисемиты, чувствуя свою безнаказанность, попытались совершить самое страшное преступление – убийство. Слава Богу, что Хаим выжил. Руководство города и области, как и руководители Украины, должны не только сурово наказать тех, кто посмел поднять руку на самое святое, что есть на свете – человеческую жизнь, но и прекратить деятельность антисемитских и ксенофобских группировок, распространение литературы, призывающей к уничтожению евреев»*. Позже пришло заявление Азриэля Хайкина – именующего себя главным раввином Украины (за это звание сейчас борются сразу четыре претендента). Хайкин тоже усмотрел в нападении ксенофобию и отсутствие должной реакции властей на распространение антисемитской литературы и бесчинства антисемитов. Он увидел причину нападения на Горбова в том, что *«антисемитов приглашают на телевидение, они преподают в учебных заведениях, беспрепятственно распространяются их издания, свободно публикующие их вымыслы»*. Наконец, председатель Сохнута Зеэв Бельский заявил, что и через 60 лет после Холокоста еврейство Украины находится под непрерывной угрозой нападения.

Сообщение кочевало из одной новостной ленты в другую, обрастая по-

---

<sup>20</sup> Л. Кацис. «...Палестинские отроки с кровью черной...» (О двух еврейских эпизодах у Марины Цветаевой) // Новое литературное обозрение. 1997. № 38.

дробностями, а самое главное – паническими высказываниями местных и международных еврейских деятелей, которые рисовали картину терроризированной и подавленной еврейской общины, и призывами принять суровые меры, уже не против конкретных нападавших, а против скинхедов, антисемитов, прессы, а то и против Украины вообще.

Интересно, что днепропетровские деятели, в отличие от своих коллег более высокого ранга, воздержались от критики милиции, а предпочли обвинить политическое руководство Украины, якобы потакающее антисемитам, фашистам и скинхедам. В русскоязычном Днепропетровске такое обвинение ничем не чревато, поскольку город на Днестре последовательно голосует за пророссийскую Партию регионов, да и евреи Украины в большинстве своем подозрительно относятся к украинскому правительству. К тому же, в Днепропетровске как раз «моя милиция меня бережет». Ни одна из доступных мне русскоязычных новостных лент не сообщила, что сам начальник днепропетровской милиции является евреем и находился в тот вечер на сиде в синагоге. Об этом сообщила лишь корреспондент израильской газеты «Едиот ахронот» Мири Хасон. Так что Игорь Романов, директор регионального объединения Федерации еврейских общин, несколько погрешил против истины, заявляя, что милиции не было на месте. Но чего мелочиться, если на одном дыхании он возвел на неизвестных «неонацистов» и кровавый навет:

*«Не стоит забывать, что эту группу молодчиков видели ученики йешивы, которые прошли несколькими минутами ранее. Прямо в центре города, человек 30–40, с бутылками пива и даже с видеокамерами. Милиция отсутствовала. Студентам йешивы удалось убежать. Я уверен, что на Хаима Горобова напали только потому, что он еврей. Это было не просто хулиганство – это был спланированный акт антисемитизма. Они хотели убить еврея в день рождения Гитлера».*

Бутылки с пивом и видеокамеры стали для Романова явными признаками неонацизма. Про то, что скинхеды хотели убить еврея в честь дня рождения Гитлера, уже как о факте, а не как о личном мнении Романова, рассказала израильская газета «Едиот ахронот». Через два дня газета поместила извлеченное из архива фото агрессивно выглядевшего скинхеда, хотя к тому времени по этому делу никто еще не был задержан.

Того же порядка было и прозвучавшее из Израиля обвинение главы Сохнута Бельского, прямо намекающего, что Холокост на Украине продолжается. Впрочем, чего мелочиться, если сам Эйбрам Фоксман, глава Анти-диффамационной лиги, кстати, призванной по уставу бороться с любыми формами клеветы и ксенофобии, заявляет<sup>21</sup>, что сегодня угроза евреям в мире совершенно аналогична ситуации 30-х годов? А бывшая феминистка Филлис Чеслер в книге «Новый антисемитизм» провозгласила, что «война

---

<sup>21</sup> Abraham Foxman, national director of the Anti-Defamation League. *Never Again? The Threat of the New Anti-Semitism*. HarperCollins Publishers, 2003.

против евреев продолжается», намекая на название классического труда о Холокосте «Война против евреев» Люси Давидович. Впрочем, заявления о том, что нацизм не был повержен в 1945 году, а уж тем более огульные сравнения всех, кого не любишь, с Гитлером, порой встречаются и в русскоязычной еврейской прессе.

Разумеется, антисемитские инциденты на Украине происходят. За два месяца до случая в Днепропетровске в киевскую синагогу прибыл пожилой человек и попросил встретиться с раввинами. Не дождавшись раввинов, он выхватил нож и с криками о необходимости убить всех евреев напал на охрану. Охранники повалили нападавшего, связали его и передали подошедшей милиции. Со стороны еврейских деятелей немедленно посыпались обвинения в росте антисемитизма, а Антидиффамационная лига даже обратилась в конгресс США с требованием не отменять поправку Джексона–Вэника, вводящую ограничения на торговлю с Украиной, из-за угрожающего всплеска антисемитизма там. Скоро выяснилось, что нападавший был душевнобольным, однако поток обвинений не прекратился.

Интересно, что буквально в то же время трое израильтян – члены одной семьи – напали на Храм Благовещения в Назарете и закидали его петардами. Израильские власти выяснили, что нападавшие находились под опекой социальных служб и состояли на учете в психдиспансере. Однако арабские общественные деятели, в том числе депутаты кнессета, тут же заявили о росте насилия и расизма в Израиле, о неспособности и нежелании властей защищать мусульманских и христианских граждан и даже обратились в ООН с жалобой. Их реакция была совершенно аналогична реакции еврейских общественных и религиозных организаций на Украине, хотя некоторые в Израиле тут же обвинили их в антисемитизме, нагнетании ненависти и... возведении кровавого навета.

Примеров профанации и злоупотребления понятием кровавого навета множество. Впрочем, дело Бейлиса, по сути, не сыграло никакой роли в истории. Лучшая, на мой взгляд, книга по истории российского еврейства XX века «Еврейское столетье» Юрия Слезкина<sup>22</sup> даже не упоминает о нем.

И все-таки... Если все так относительно, если все поддается деконструкции, если нет никакой ясности и нет ничего святого, что осталось от дела Бейлиса? И что оно символизирует сегодня? Несомненно, дело Бейлиса символизирует, прежде всего, то сложное время, так непохожее на наше, которое безвозвратно ушло. Напоминает нам о тех людях, что остались в истории благодаря делу Бейлиса. Символизирует, наконец, завершение эпохи, к которой нет возврата. Меньше чем через год после окончания процесса с опозданием закончился XIX век и началась Первая мировая война, которая изменила все и создала новый мир, в котором мы живем.

---

<sup>22</sup> Yuri Slezkine. *The Jewish Century*. Princeton: Princeton University Press, 2004.



НАД  
ТЕКСТОМ...

доктор филологии, литературовед, автор двух книг и десятков статей о проблемах русской и мировой литературы. Живет в Израиле.

## «ЖД» И ВОКРУГ

К очередному опусу Дмитрия Быкова «ЖД» не знаешь, как и отнестись. Как к роману? Поэме? Скандалу среднего масштаба? Последнее вернее всего. Недаром издатели, не без самозащитного кокетства, обозначили это сочинение как «самую неpolitкорректную книгу нового тысячелетия», а автор в «Предисловии» во первых строках заявляет, что «не хотел возбуждать национальную рознь, а также оскорблять кого-либо в грубой или извращенной форме...» Иными словами, признает, что подобные подозрения напрашиваются.

Вообще, «ЖД» – как колобок (один из символических образов романа, кстати): критически «укусить» его нелегко. Автор туго знает, как выстраивать современный «жареный» дискурс, запрограммированный на громкий успех/провал, а главное – как оборонить его от упреков. Станут предъявлять претензии литературного свойства – растянутость, композиционная рыхлость, порой риторичность, – он возразит, что главной его целью было мысль сформулировать и до публики донести. Возопят против концепции – скажет: что ж вы, юмора, иронии, шуток не понимаете? Это же в первую очередь литературная игра, которую судить можно только по ее имманентным правилам. И т. д.

А главное: начнешь обижаться «за нацию» (да-да, за свою пресловутую еврейскую нацию, которой в романе изрядно-таки достается), – и Быков пошлет тебя в Жадруново... я хотел сказать: запишет в патриоты, т. е. в готтентоты или суицидальные садомазохисты – ох, запутаешься в его забористой терминологии, да и в собственном синтаксисе.

Ну вот, не хотел начинать с этого, да само получилось. Попробую иначе: для тех, кто с «ЖД» еще не знаком, – кратко (или как получится) сюжетно-смысловая схема.

Действие разворачивается в недалеком, но устрашающем российском будущем. В стране царят разруха, нищета, произвол бездарных бюрократов, тупая покорность народа и оголтелая демагогия милитаристов-государственников. Кроме того, по просторам России растекается странная война между русским воинством и загадочными силами ЖДов, они же хазары. В войне этой задействованы так или иначе многие герои романа. Расклад сил, цели воюющих сторон, исходная точка конфликта – неясны. Основное допущение, оправдывающее этот футурологический сценарий, элементарно: в мире открылся новый источник энергии, и российские нефть с газом стали никому на фиг не нужны.

Российская околвоенная и военная реальность изображена в красках свинцово-мерзостных: тупость и бардак почти карикатурные, в армии свирепствуют особисты, смершевцы и политурики-иереи, символизирующие сращивание военизированного православия с самым лютым и военизированным же государственничеством. Больше солдат в российской армии гибнет от расстрелов, чем от боевых действий, в которых, правда, генералы соревнуются между собой, кто больше положит своего «пушечного мяса» на полях сражений. Немногом лучше положение и в тылу, где царят разруха, нищета, эгоистический произвол властей и привычное загнивание «населения».

По сути, Быков дает здесь злую карикатуру на сегодняшние проявления российской общественной жизни и социально-исторической ситуации, причем по всему идеологическому азимуту: звонкие оплеухи адресованы либералам и государственным, ультрапатриотам и космополитам, церкви и генералитету, чиновникам-бюрократам и бардам-постмодернистам, русским – и евреям, евреям, евреям (но об этом позже)! Автор исполняет роль Того, кто раздает пощечины.

Все это написано зло и выразительно, с выверенным коэффициентом гротеска, но для экстраполяции и выставления на посмешище опасных тенденций нынешней полуискусственной стабилизации не нужно быть семи пядей во лбу. И ограничься Быков этой линией – все сошло бы за очередную, пусть недурно написанную, антиутопию ближнего прицела и особого резонанса не вызвало бы.

Нет, автор тут сознательно и целенаправленно вызывает огонь на себя – огонь общественной полемики, который не жжется и дым от которого глаза не ест. И для этого помещает в центр повествования ту самую этническую проблематику, которая, как говорят в один голос политологи, является сейчас самой огнеопасной для России.

За чернушной поверхностью кроется некая, поначалу неясная, гипотеза, которая раскрывается перед читателем поэтапно. Одному из героев, историку-альтернативщику Волохову, когда он гостит у своей подруги-хазарки в Каганате (прозрачные эти псевдонимы нет нужды особо раскрывать), сообщают подлинный секрет российской истории: именно хазары были «коренным населением» страны, а собственно русские – не более чем пришельцы-варяги, явившиеся на эту землю и частично уничтожившие, час-

тично поработившие ее исконных жителей. Этот секрет многое упорядочивает и объясняет в российской истории последнего тысячелетия, если рассматривать ее под знаком непрерывной подспудной борьбы варягов с хазарами, в которой верх брала то одна, то другая сторона. Например, революция 1917 года была успешным хазарским начинанием, а смена курса и чистки конца 30-х – варяжским реваншем. За возвращение утраченного отечества и ведут сейчас хазары свою борьбу.

Это, однако, еще не все. Впоследствии Волохову открывается еще более глубокий пласт истины о прошлом и настоящем его родной страны. Оказывается, подлинное ее «коренное население» тысячу лет назад стало жертвой двойного завоевания – варяжско-хазарского. Все последующее время эти два «супостата» боролись между собой за господство, а «коренные» – выжидали и по мере возможности выживали. Таков концепт. Сюжетные события и обстоятельства романа являют собой развертку этой фантастической схемы и выведение следствий из предложенных посылок.

Персонажи странствуют по просторам страны и книги, выполняя свое мистическое предназначение или противясь ему, подтверждая некие стереотипы или разрушая их. Фабульные следы и тропы запутаны, однако система отношений проясняется. Главное – триада «варяги–хазары–коренные», в соответствии с которой и группируются романские персонажи. Это бывший поэт, а ныне офицер Громов, варяг с «человеческой» примесью, человек с гипертрофированным чувством долга, исступленно держащийся за эту натянутую посреди вонючей трясины струну. Это другой офицер, уже упоминавшийся историк-альтернативщик Волохов, пытающийся поднять «местных» до уровня вменяемого деяния и истории,водя свой отряд по России подобно тому, как Моисей когда-то «водил» евреев. Это его любимая женщина, хазарка Женька, неутомимая и неутолимая, жаркая и жестко устремленная к общей цели: победоносному возвращению хазар на свою восточно-европейскую историческую родину. Это губернатор-англоман Бороздин, пытающийся сохранить оттенок благородства в условиях всеохватывающего бардака, – и его возлюбленная, девушка Аша из древнего местного рода, приобщенная к эзотерическим практикам Золотого века. Это главный болельщик за сохранение в неприкосновенности основ «доисторического порядка», коренной жизни, Петр Гуров, ведущий спасительно-подрывную деятельность в обоих противостоящих станах – хазарском и варяжском. Это и нервная, чуткая, жалеющая всех городская девочка Аня... Правда, внутренние границы триады проницаемы и, порой, размыты.

Прежде чем перейти к анализу смысловых ореолов романа – несколько слов о его литературных качествах. Текст определенно свидетельствует о таланте автора. Проза эта легка, гладка и аппетитна – что твое яблочко, которое приносит чудо-яблонька в благодатной деревне Дегунино. Она обладает полузабытой прелестью прямого, без гримас и вывертов, литературного высказывания: картины рельефны и живы, образы персонажей достоверны (хотя перед нами отнюдь не психологический роман), метафо-

ры и прочие тропы стоят на местах и при деле, даже в показательно гротескных эпизодах чернушность не зашкаливает. От всей этой повествовательной *нормальности*, пусть и тронутой налетом вполне современных литературных тактик и стратегий, я как-то отвык, и она – освежает. К этому добавлю экспрессивные поэтические вставки и интерлюдии, выполненные в манере, читателям Быкова хорошо знакомой.

Композиция романа сложна, многофигурна, со спиральными и зигзагообразными фабульными ходами. Этаким сетевой или многофасетный сюжет. И Быкову, на протяжении большей части романа, удается поддерживать эту громоздкую конструкцию в состоянии равновесия и даже придавать ей вид легкости. Некий центр тяжести, гравиконцентрат, к которому устремлены все смысловые линии текста, помещается все время где-то впереди, чуть за линией горизонта, он сообщает действию динамику, а всему изображаемому – колорит влекущей и нестрашной эсхатологичности. Ибо русскому миру, каким он предстает в романе, несомненно и по справедливости должен наступить пи... – я хотел сказать, конец.

Вот мы плавно и перешли к сути дела. Что же Быков хотел сказать (нам и вообще – городу и миру) этим своим 700-страничным «мессиджем»?

В центре смыслообразующей схемы, внутри Кашеева яйца пребывает, как уже сказано, идея двойного порабощения Руси: северянами-варягами, жестокими вояками и насильниками, неспособными ни к какому созиданию, религиозно поклоняющимися государственному началу; и степняками-хазарами, торговцами, менялами и пересмешниками, противниками всякой вертикали, адептами ценностей либерализма и гедонистической вседозволенности. Причем все вышесказанное еще надо и понимать наоборот: варяги-вожди жертвенностью и героизмом кормят плебс, рабоче-солдатско-крестьянскую массу, а сами в частном порядке предаются жизнелюбию и неге. Хазары же в своей среде крайне энергичны и подтянуты, подчиняются надличным идеалам и нормам, идеологически унифицированы, а плюрализмом и общегуманистическими соплями торгуют исключительно навывнос.

Остается еще местное население. Эта этнокультурная сущность, хотя и изображается в романе с некоей поэтической задушевностью и сочувствием, не представляется автору полноценной альтернативой двум другим. Главное качество «коренных» заключается в их принадлежности к доисторическому периоду, к Золотому веку, когда люди жили в счастливом единстве с природой, в естественном и неиерархическом сословном разделении, не знали ни борьбы, ни труда (тут, правда, есть у Быкова неувязки), ни вражды, ни, боже упаси, прогресса – все циклически повторялось, двигаясь по кругу. Нынче же древние устои жизни порушились, население под властью захватчиков деградировало, сокровенное знание и способность к осмысленному действию сохранились лишь у горстки его представителей.

Понятно, что тут берется автором российское «национальное тело» с психеей заодно и подвергается умозрительной вивисекции, или спектральному разложению на три составляющие, три силы, три начала-субъекта,

орудовавшие в этом пространстве. Под знаком «единства и борьбы» этих противоположностей в романе и препарируются прошлое, настоящее и не менее фантазмагорическое будущее России.

Схема эта для Быкова, кстати, не нова. Интересующиеся могут обнаружить ее в публикующихся автором на протяжении ряда лет (в бумажной и электронной периодике) оперативных заметках – «квиклях», в том числе в достаточно шумевшем его отклике на солженицынскую книгу – «Двести лет вместе». Уже там, споря с пророком почвенности, Быков исподволь солидаризируется со многими его оценками, зато выдвигает экстравагантную гипотезу: это евреи делали за русских всю их историю, культуру и т. д. И тут же исповедуется в нелюбви к «подмигивающим и подхихикивающим компаниям еврейской молодежи». Это уже заявка на патент «ЖД». Правда, в романе гипотеза заметно трансформируется.

Итак, одна из сил, наложивших свой отпечаток на российское бытие, – это хазары, они же, по-простому говоря, евреи. Об этой стороне быковского текста и хочется – или приходится – говорить отдельно и более подробно. И причиной тому – не только особая чувствительность автора этих строк – или всех читателей в Израиле – к пресловутому «еврейскому вопросу», хотя такая чувствительность абсолютно естественна и не нуждается в извинениях. Дело еще и в другом. Варяги и «коренные» у Быкова – остроумно придуманные и живо изображенные, но все же концепты, порождения авторской фантазийной аналитики. В сущности, у этих «бзначающих» нет реальных «денотатов». Вряд ли кому-то даже из самых дремучих национал-патриотов или адептов «вертикали власти» придет в голову при чтении романа идентифицировать себя с чудовищными генералом Пауковым, капитан-иереем Плоскорыловым или особистом Евдокимовым. «Варяжство» здесь – явная гипербола, редукция, точнее, раздувание реальных явлений *ad absurdum*, материализация тенденций и потенций.

А вот с «хазарами» дело обстоит иначе. Они – вполне ясная, прямая отсылка к еврейскому этносу и национальному этосу. Ни один из принадлежащих к еврейскому национальному коллективу не может сказать: это не про меня. А говорятся в романе о «хазарах» вещи в высшей степени неприятные.

Антиеврейский дискурс романа широк, многоаспектен и всеобъемлющ. Он включает в себя полемику на психологически-бытовом, поведенческом, этноисторическом и самом что ни на есть концептуальном уровне. Волохов, один из любимых героев Быкова в романе, пребывая в Каганате и в еврейских компаниях в Москве, подмечает множество черточек, деталей, оттенков и качеств, которые делают для него «хазар» неприятными и раздражающими. Это все мелочи – но значащие, особенно после того, как герой узнает о главной тайне и сокровенной цели ЖДов – отвоевать Россию. (Поначалу-то он к ним вполне расположен и упрекает себя за малейшие признаки как бы наследственного антисемитизма, которые в себе подозревает).

Вот одно из его суждений, которое в рамках сюжета можно объяснить запалом Волохова после острой стычки с оппонентами: «В-вы... только и

умеете, что жаловаться по углам, трепаться на кухнях, кусать губы под одеялом... Вы черви в трупe, заведшиеся ходом вещей...». Ну, несправедливо до полной очевидности, до карикатурности, тем более что сам же Волохов тут же или чуть позже признает, что умеют и могут много больше.

Постепенно эти частные детали складываются в более общую картину «еврейской ментальности» и поведенческую модель. Евреи спаяны между собой теснейшими узами, они милы и любезны друг с другом, но по отношению к представителям внешнего мира – высокомерны, презрительны, непримиримы, они, разумеется, не на одно лицо, но сознание своей избранности и особой миссии превращает их в нераздельную общность, руководимую высочайшей внутренней солидарностью и единой волей. Волохов признает за «хазарами» огромную силу, основанную на убежденности и чувстве собственной правоты. И очень боится, что когда эта сила восторжествует над погрязшим в собственной глупости, нелепости и безобразии русским населением, она окажется безжалостно последовательной в своей мести и целенаправленности и обернется для побежденных либо изгнанием, либо тотальным рабством.

Позже в его тирадах появляются обобщения и обличения, касающиеся мирового, универсального характера и значения «хазарства»: «Они желали гибели всем царствам, чтобы на их руинах наконец утвердить свое». Или: «Вы – гениальные посредники и пиарщики, промоутеры и пересмешники чужих ценностей, вы отлично их перепродаете, разрушаете, низводите и укрошаете...» Это уже совсем обидно. Труднее всего терпеть старинные наветы относительно творческой бесплодности твоего народа, его неспособности порождать оригинальные ценности.

Суждения Волохова, возможно субъективные, получают опору и подтверждение в личности видного деятеля «хазарского движения» Эверштейна. Этот персонаж зловеще многолик, изменчив. Поначалу он представляется тому же Волохову публицистом и теоретиком – именно он, кстати, читает Волохову лекцию, содержащую главные элементы «хазарской концепции». В дальнейшем Эверштейн оборачивается чуть ли не главным автором и исполнителем же стратегии «отвоевания исконных земель» у русских. Этот Эверштейн отлично владеет уже не только логикой и риторикой, но и штабными картами, разведанными, пистолетом, методами демагогии, подкупа, провокации... Эверштейн и словом, и делом подтверждает худшие опасения Волохова относительно судьбы русского (или коренного) населения в случае успеха «хазар».

Попробуем разобраться со всем этим пропагандистским джазом. Согласимся, что на самом «феноменальном», эмпирическом уровне инвективы Волохова как-то соприкасаются с реальностью. Ну, маловато в нас округлости, лепоты, неспешного достоинства и милосердной кротости. Давно признано, за подписью и печатью. И то правда, что на вкус и цвет товарищей нет, насильно мил не будешь и на всякий чих не наздравствуешься. Быков, кстати, это все и сам признает.

Две сцены общения Волохова с «хазарскими» компаниями – в Каганате и в Москве – хоть и написаны зло, но отмечены подлинностью – по крайней мере, подлинностью раздраженного чувства протагониста. Особенно эпизод, связанный с езжим бардом Псишем Коробрянским – за «псевдонимом» нетрудно разглядеть реального Пся Короленко с его широкописной постмодернистской задушевностью. Здесь посверкивают искорки концептуализации, действительно высвечивающие какие-то стороны национального характера, врожденного или навязанного обстоятельствами. Тотальная насмешливость, не щадящая никаких – чужих – святынь; корпоративная интеллектуальная солидарность, оперирующая набором звонких имен и теорий (Гадамер и Хайдеггер, Деррида и Делез, деконструкция и герменевтика, психоанализ и постструктурализм), легко щетинящаяся против «чужих», третирующая внележащие мнения как невежество и недомыслие; жесткое отрицание ценностей и парадигм неиндивидуалистического, нелиберального плана; всеобъемлющий релятивизм, скептицизм, направленный, однако, исключительно вовне и никогда не используемый в целях самокритики.

Дело, однако, в том, что все эти точно подмеченные особенности не являются исключительно «хазарскими», не присущи всем «хазарам» и уж тем более не являются вечными, вневременными характеристиками. Ну, дал автор синхронический срез некоего социокультурного слоя (узкого, к тому же), ну, выразил свое несогласие и посмеялся над ним – зачем же по этому частному поводу этнические стулья ломать?

Тем более что еще в самом начале романа, по ходу ошеломившего его разговора с Эверштейном Волохов высказывает серьезное соображение: а не смешивает ли тот национальность с идеологией? Не объявляет ли Эверштейн глубочайшей духовной сутью «хазарства» просто либертарианскую доктрину, вызывающую к абсолютной рыночной свободе, минимизации всяческих государственных механизмов и границ, устранению качественных различий между народами и индивидами? И оппонент легко идет ему, вроде бы, навстречу: конечно, в основе всего лежит не кровь, а культура, «внутрихазарская солидарность» основана на этической, а не этнической близости.

В другом эпизоде романа тот же Волохов спорит уже с Гуровым, радетелем и защитником «коренного населения» от «чуждых элементов»: варягов и хазар. Волохов резонно замечает ему: «Любое общество раскалывается на варягов и хазар, любое, в полпинка». И, хотя ответные аргументы Гурова не лишены остроумия (относительно совершенно особой природы «коренных», «доисторических» национальных общностей, уникально приобщенных к мифическо-циклическому существованию, к Золотому веку), тезис Волохова, переводящий всю дискуссию в мировоззренческую сферу, звучит вполне убедительно. Однако в смысловом пространстве романа все остается по-прежнему: «хазары» предстают не обобщенным символом неких частичных потенций и тенденций рода людского, а вполне определенной этнорелигиозной группой.

По сути – важно не то, что именно в романе сказано о «хазарстве»/ев-

рействе, ибо сказанное во всяком случае не ново. Интересны две вещи: сама возможность спокойно вбрасывать в сегодняшний российский общественный дискурс такого рода концепты – и причины подобного умонастроения автора. Иными словами: почему и зачем Дмитрию Быкову, известному, модному литератору и публицисту, к тому же, очевидно, еврею, понадобилось столь провокативно и брутально будировать еврейскую тему? Что стоит за его «хазарофобией»: чисто личные антипатии и комплексы – или принципиальные соображения? Здесь мы, конечно, вступаем на зыбкую почву догадок и чтения в сердцах, но без этого, похоже, не обойтись.

Напрашивающийся ответ – банальная еврейская самоненависть, столь частая у «выкрестов» и прочих отступников (кстати, от чего – от национального дела? Но такая формулировка, согласимся, в чем-то подтверждает антиеврейские инвективы романа). Автор в личном плане предпочитает христианство иудаизму. При этом он, в полном соответствии с постулатами ортодоксального еврейства, от которого, вроде бы, отталкивается, отождествляет национальность с религией, а потом рассматривает это тождество в качестве некоего духовно-исторического проекта, запущенного на века и тысячелетия. Значит, выступает он не против конкретных евреев, а против «платоновой идеи» еврейства, против носителей еврейского «проекта», или духа, что ли... Все равно неясно, насколько – в рамках такой концепции – отдельные евреи несут ответственность, или клеймо, за вышеуказанный проект. И должен ли каждый, желаяший отделиться от «проекта», объявить об этом «граду и миру», путем крещения или иного демонстративного шага? А если кто считает, что проект этот Быковым неправильно интерпретирован, или его, чего доброго, вообще не существует – тому как быть? Наверное, морду Быкову набить?

Другая версия ответа: все это такая сложная, перекрестная, невеселая авторская шутка. Мол, сам я еврей по крови, пусть и вполне далекий от иудаизма и еврейской духовной традиции, антисемитов не терплю, и вот артикулирую и объективирую антисемитский дискурс, невозмутимостью тона подчеркивая его нелепость, абсурдность... Может быть, хотя навряд ли. Неубедительно как-то получается.

Есть, однако, еще один вариант объяснения – экзистенциально-психологический. Попытаемся войти в положение автора, влезть в его шкуру – шкуру российского интеллигента/интеллектуала последней выточкой, привольно расположившегося в домене русского языка и просторном хронотопе российской истории, по случайностиотягощенного еврейской этнической принадлежностью (и в паспорт заглядывать не надо), озабоченного судьбой России и российского общества, ощущающего себя христианином в широком смысле слова. Многие элементы такого набора вызывают, несомненно, раздражение, презрение, а то и ярость с обеих сторон. Русопяты восклицают: ах ты, ЖД-вская морда, безродный космополит, паразитируешь на пышном белом теле русской культуры! А еврейские патриоты: отступник, трус, низкая душонка, пытающаяся изгладить свой первородный грех еврейства заискиванием перед идеалами и верованиями «титularyной нации»!



Ну вот, автор в своей шкуре как бы загодя восстает против «критики обоего рода» и старается дискредитировать ее носителей, а заодно и их принципиальные подходы. Словесные удары, наносимые им «готтентотскому» русскому национализму, вполне увесисты. Но меня сейчас интересует его реакция на выплески еврейского патриотизма. Последние, кстати, хорошо отработаны на «случае Пастернака», о котором Быков написал талантливую и апологетическую книгу.

Так вот, Быков как бы говорит: ни от чего я не отрекался, кроме ярлыка, который мне норовят приклеить помимо моей воли и в силу самого факта моего рождения. Принадлежность к миру христианской, а не еврейской цивилизации, я считаю актом своего свободного выбора, за который не несу ответственности ни перед какой инстанцией, кроме собственной совести. А вы – сами дураки! И начинает, в ответ на обвинения или опережая их, а может, просто изливая душу, перечислять, что ему не нравится в обобщенной и умопостигаемой «еврейской природе», которую ему пытаются навязать априори.

Такой вариант кажется мне самым психологически достоверным. Однако – оправдывает ли он размашистость и агрессивность антиеврейских тезисов, наполняющих роман? Конечно, нет.

Верно, Быков разбрасывает по тексту множество деталей и оговорок, смягчающих железобетонность концепции. Подруга Волохова Женька, при всей ее идеологически «хазарской» ангажированности, показана девушкой яркой и по-человечески привлекательной. В одном из центральных – символически – персонажей романа, девушке-подростке Ане, которая призвана вместе с Громовым положить начало «новой земле», есть примесь «хазарской» крови. Но ведь главное для автора – не кровь, а дух и культура, читай – душевный строй, читай – деятельное добро, милосердие, любовь. Так неужели же он считает, что именно этнические «хазары» – евреи – как национальный коллектив имеют статистически дефицит этих качеств?

А, собственно, откуда мы знаем, что для автора главное? Очень просто: в романе присутствует «привилегированная» инстанция, с которой связаны авторские симпатии, которая являет в романе благой идеал. Это – некий монастырь, затерянный на просторах России, его братия и его настоятель, отец Николай. Монастырь и его монахи – Быков замечает, что подобных монастырей на Руси совсем немного, с десятков – представляют здесь от лица истинного христианства, адептом которого явно выставляет себя и сам Быков. В речах и суждениях отца Николая, в его беседах с Громовым действительно открывается мировоззрение, по-своему обаятельное и светлое. Это верование абсолютно адогматичное, одухотворенное и гуманное, требовательное к человеку в плане его помыслов и поступков, а не в плане соблюдения обряда. Его христианство – содружество добрых и совестливых людей, соревнующихся в ненатужном пересечении границ собственного эго, стремящихся почувствовать и разделить боль других. Они и в загробную жизнь не слишком веруют, рассматривая ее как «бонус»; они и бытие Божие принимают как благоую гипотезу, а не в качестве краеугольного камня своей докт-

рины. Члены этого монастырского братства являются если не распорядителями мирских дел, то заинтересованными, сочувствующими и очень много знающими наблюдателями. С ними в романе связаны свет и надежда.

Так вот, отец Николай, ясный и благой, не терпящий насилия, узости, догмы – и тот о «хазарах» высказывается резко и нетерпимо. Ну и что, скажут мне, ведь тут спор концептуальный, теоретический – как еще убежденный в своей правоте христианин может отзываться о мировоззрении, христианству глубоко чуждом и враждебном? К тому же профанированное, извращенное на жестокий варяжский лад православие он бичует не менее сурово.

В этом-то и проблема быковского дискурса: он постоянно зависает между мировоззренческим спором и этнической инвективой, между вольным фантазированием и прицельной социальной аналитикой, между нравоописанием и карикатурой. Таким образом автор стремится обеспечить себе пространство ничем не стесненного, как бы сбрасывающего с себя всякую ответственность высказывания. Более того, где-то с середины повествования, когда все концептуальные тезисы уже сформулированы, Быков вроде бы сам немного пугается бесшабашности своих заключений и начинает нашептывать: несмотря на все злободневные и зубодробительные намеки, в ней содержащиеся, сказка-то – ложь.

И этому действительно можно найти подтверждение в тексте. Во второй половине сего обширного опуса все чаще встречаются вешки и стрелки, указывающие на фикциональную, т. е. вымышленную природу текста, на его сугубую сочиненность. Автор-кукловод начинает высовываться из-за кулис: «Кой черт мне в порядке, когда я знаю, что от перемены атомов молекула не меняется! Тесно мне, тесно мне». А вот описание генеральной битвы между силами варягов и хазар в районе деревни Дегунино, являющееся квинтэссенцию абсурдизма и фантомности этой (всякой?) войны. Посреди эпизода автор находит нужным подчеркнуть литературность происходящего и свое присутствие: «Воцарилось благолепие. Хеллер отдыхал, Гашек сосал, и я тоже что-то плохо себя чувствую».

Усиливаются ближе к концу и сказочно-сказовые интонации повествования (со всяческими Гамаюнами, Финистами и прочей гжелью), выявляя его условно-былинную основу. Создается впечатление, что прямо на глазах у читателей автор начинает свертывать пространство романа в рулон, убирать со стола. Он прилагает усилия к тому, чтобы его нельзя было поймать на серьезном слове, предъявить ему... Но Быков ведь достаточно искушенный литератор и публицист, чтобы не понять: вопросы этим не снимаются. Условная природа литературного микрокосма не отменяет ответственности за суждения и высказывания, возникающие в рамках микрокосма.

И тут от персонального дела «Дмитрий Быков против еврейства» мы переходим к более широкому вопросу: о чем «сигнализирует» роман в плане актуальной общественно-культурной ситуации в России? Ну, прежде всего о том, что всяческая игровая прогностика, футурология, антиутопия вместе с опытами «альтернативной истории», и все это с общей фантазмагори-

ческой подсветкой, очень популярны там нынче. Об этом свидетельствуют также сочинения А. Кабакова, М. Веллера, В. Рыбакова, да и того же В. Пелевина. Последний успех Ольги Славниковой с ее романом «2017», получившим «Букера», тоже это подтверждает.

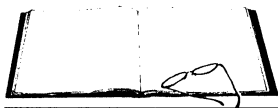
А означает сия мода, что всем все стало неясно, густой туман заволакивает горизонты, а контуры реальности – тем более, перспективы будущего, даже ближайшего – предательски расплываются.

Всякие корректные понятийные схемы и экстраполяции – побоку. Рациональному анализу действительности, попыткам постижения ее подлинных, устойчивых тенденций, закономерностей и свойств буквально не на что опереться, под ногами трясина, реальность виртуализируется.

И тогда возникает дивная свобода оперирования с фрагментами такой реальности. Все становится можно, нет пределов и запретов в конструировании конфигураций и моделей, плоскостных и объемных. При этом размывается и граница между «всерьез» и «в порядке стеба», между наблюдаемым и воображаемым. Разумеется, это тенденция универсальная, связанная с нынешней стадией западной постиндустриальной цивилизации культуры, но русский извод ее имеет весьма специфические особенности. Тут многое сошлось: грандиозность катаклизма, в пятнадцать лет изменившего рельеф бытия до неузнаваемости, крушение всех стен, устоев и скреп, страшное падение уровня жизни, национального престижа, кризис самоидентификации российского человека. К этому добавился эфемерный и полувиртуальный нефтяной бум последних лет, пресловутая стабилизация, сопровождаемая апокалиптическими предчувствиями и сплетнями, – вполне достаточно для того, чтобы у общества в целом «крыша поехала».

И вот на таком фоне появление абсолютно отвязных, сказочно-игровых, провокативных и безответственных текстов, вроде «ЖД», абсолютно неизбежно. В принципе относиться к этому роману нужно не как к новому завету, пророчеству или откровению, а как к фантазии, капризу, пусть злому, едкому и многостраничному. Что-то, однако, мешает этому. Наверное, опасение того, что в российском обществе, в читающей аудитории еще сохранилась реликтовая убежденность в *серьезности* напечатанного черным по белому. Как бы кто не воспринял фантастический произвол или крик души Быкова в качестве нового учебника истории или даже евангелия. Не все ведь столь же эмансипированы и искушены в полетах по гипотетическим сферам, как уважаемый автор. Его полемика с «хазарством», внешне напористая и безапелляционная, а внутренне, быть может, сто крат мазохистская, умытая невидимыми миру слезами и связанная с тяжелыми душевными переживаниями, запросто может быть трактована простыми душами как руководство к действию. Какому? Сами понимаете. Не такой уж «ЖД» эзотерический текст, чтобы с ним не могла ознакомиться «улица».

В итоге хочется сказать: поосторожнее со спичками.



поэт, прозаик, драматург. Автор книги стихов, книги драматургии, двух книг прозы, многих публикаций в периодике; значительная часть произведений издана (а пьес – поставлена) также по-немецки. В начале 90-х – один из ведущих авторов литературной программы «Поверх барьеров» (Радио Свобода). Один из основателей литературной группы «Камера хранения». Живет в Германии.

## БЕДНЫЙ ЮНОША, РОВЕСНИК...

*Евгений Хорват. Раскатанный слепок лица: Стихи, проза, письма / Сост. и коммент. И. Ахметьева и В. Орлова. М.: Культурный слой, 2005. (К 100 экз. приложен компакт-диск «Проба акустики» с авторским чтением стихов.)*

...но диска этого я так и не слышал. Не стал слушать. Не захотел. Или, говоря точнее, не смог.

Побоялся услышать петушиный тенорок, дрожащий от ничего не значащей значительности и взвизгивающий от провинциального задора. Скажите мне, что это не так – я обрадуюсь и поверю. Но слушать все равно не стану.

Потому что уже от самой этой книги – прекрасной и страшной – было мне достаточно тяжело. От стихов, встающих с ее страниц. От судьбы, опускающейся на ее дно. Не хочется усугублять. Да и незачем.



*Бедный юноша-ровесник...* Ровесник не ровесник, но из провинциальных вундеркиндов нашего поколения, каких я видел много, а близко наблюдал как минимум двух – и почему-то оба они оказались из Львова – Евгений Хорват был, несомненно, единственный настоящий чудо-младенец. В главном, но, увы, не единственном измерении этого понятия – в собственно поэтическом даре. Пожалуй, сравнение с двумя (едва знакомыми между собой) львовянами может кое-что прояснить. И не только в судьбе Евгения Хорвата, но и в нашей общей судьбе – судьбе новой русской поэзии, начавшейся в 80-х гг. прошлого века.

Итак, первый львовянин был упитанное дитя на табуретке, дай ему конфетку, заговорит в рифму, да так ловко, так складно... И взрослые передавали его – годами семилетнего, годами девятнадцатилетнего, годами двадцатилетнего – из рук в руки, из Львова в Москву, из Москвы... ну и т. д. Подкармливали, гладили по голове, ставили на табуретку... Мог зарифмовать все, но не зарифмовал ничего. Увлёкся надуванием красных щёк и топтанием на очередной табуретке в ожидании очередного леденца. Его тянуло к «настоящей карьере» – к писательским кооперативам, к переводческим заработкам, к подтасованным тогдашним тусовкам (слово, кстати, существовало и в 80-е гг.). Теперь где-то чего-то преподаёт. Ему хотелось быть санкционированным кем-нибудь большим, как это у них в Москве было принято. Но «большие» не санкционировали его, иногда только выдавали конфетку...

Второй, смешивший и раздражавший пижонством и безвкусицей (тросточка, трубка, жалкая элегантность и недорогой демонизм), умер недавно в Иерусалиме, успев перед смертью удивить: оказался настоящим поэтом. Был ли он им и тогда, в 80-х гг.? Ох, не знаю, не знаю... Может быть, тогда я несправедлив был к нему. Этого манило скорее в Ленинград – к величинам потустороннего мира, к призракам обратной культуры, к котельным и дворничкам. Он предпочёл бы санкционировать себя сам, как это у нас было принято. Но у него не хватало сил...

Стихотворческая способность Хорвата выходила далеко за пределы чисто версификационной, чисто формальной способности первого из львовских юношей. Эту удивительную способность следовало бы скорее назвать врождённым пониманием стиха – вещью крайне редкой в активном залоге (в пассивном, т. е. как абсолютный слух на стихи, она иногда ещё встречается, хотя тоже нечасто и, к нашему общему несчастью, все реже). Способному в 19 лет написать:

...Мы хитрости своей стыдимся, но Аполлону не сдадимся,  
и в том неизъяснимый смак,  
что «Я» шагающая буква, и связки трав моя обувка,  
и на песке не след, но знак.

*«R латинское» (1980),*

ему были открыты все пути – от советской (московской) литературной карьеры (в «культурном», в худшем случае, переводческом сегменте) до (ленинградской) котельной и дворничкой. Дело даже не в «недетской» рифмической, ритмической, строфической уверенности – дело во врождённом (вероятно) владении логическим телом стиха: если латинское «R» в заголовке, то русское «Я» в последней строке, и все стихотворение пятится, как украденные Гермесовы коровы «вперед хвостами». И это, напоминаю, в 19 лет!

Не думаю, однако, что эту свою свободу выбора (в рамках возможного тогда социального репертуара) Хорват действительно осознавал. Надо по-

лагать, жизнь казалась ему детерминированной «ими» (это едва ли не всем тогда так казалось), и выход, казалось, был только «там».

---

Ну, и что же случилось «там»? За короткие пять лет – с 1981, года отъезда в Германию, по 1986, когда двадцатипятилетний Евгений Хорват, судя по всему, прекратил писать стихи – он пропорхнул по дереву возможностей, в схематической и пунктирной форме демонстрирующему и параллельное, и последовательное состояние русской поэзии 80-х гг.

Да, собственно, и позднейшей, поскольку именно в 80-е гг. с опорой на базовые фигуры предыдущего десятилетия, на завершителей первого всплеска чудом возрожденной в 50–60-х гг. русской поэзии, была заложена зачаточная схема, в развертке которой мы и имеем удовольствие существовать. Хорват эту схему в каком-то смысле *олицетворил*. И именно поэтому приходится думать о нем. Хоть и тяжело это, и на нехорошие мысли наводит...

Конечно, можно сформулировать со всей возможной безжалостностью (не означающей, конечно, несочувствия): личная трагедия Евгения Хорвата была в том, что человеческий склад его, человеческий объем совершенно не подходил к складу и, главное, размеру его дара. Он был (по вторичным материалам нашего издания это превосходно видно) – легкий, легкокостный, летучий человек. Упрямый и мягкий. Блестящий и неловкий. Вы скажете, таков был в конечном итоге и Осип Мандельштам. И то верно. Но Мандельштам знал, чего требует от него дар. В культуре, из которой Мандельштам вышел (какую бы вы культуру таковой не считали), это определялось как одно из краеугольных понятий. Хорват – советский полукровка, как и все мы – ничего такого не ведал. Да и время было не такое, чтобы понимать, что значит «подчинение дару» – время детей, проснувшихся в темной комнате и не понимающих, а где же взрослые.

Или скажем так: дар – это дареная шуба. Каленая шуба, железная шуба, тяжелая воронья шуба с плеча великана – если она тебе не по силе и не по росту, то это тоже горе. Дар Хорвата требовал – возглавляй, основывай, иди напролом. А легкая его, летучая природа искала: за кем бы – старшим – пойти, к какому бы – уже кем-то окормленному – причту прибиться, как бы взять да обойти непробойную стену. Но никаких «старших» тогда не было – «старшие» наши сами были потерянные дети. Да и сейчас нет никаких «старших», вот ведь какое несчастье...

---

Почти на каждой веточке нашего дерева, где Евгений Хорват на мгновение присел и несколько раз прочирикал, остались приколоты листочки-стихи, отмеченные все тем же врожденным органическим пониманием механизма стиха, все тем же врожденным совершенным звуком – от цитирован-

ного «R латинское» до «Надгробной частушки» 1984 г. (...*Но закончен мой полет. / Я в земле моей полег. / Над моею головою / мотылек теперь поет. // Червячок меня грызет, / голубок меня клюет. / Херувимской хорovou / человек меня спасет*). Стихи, которые, по всей видимости, навсегда останутся. Но если бы не эта его *эмблематическая важность*, то легкого, немучительного сожаления о кишиневском принце да десятка чудных стихотворений – для будущих антологий – было бы (лично мне) мимолетно достаточно. Мало ли в нашей поэзии горьких судеб. Да и не только в поэзии.

Быстрый переход Хорвата от кристаллических решеток условно Бродского к кустам (или *храмам кустов*) условно Аронсона, а от них к еще более скорому распадению на отдельные вскрики и всхлипы – к авангардизму с человеческим лицом Константина Кузьминского или с нечеловеческим (в смысле, с мистическим, затейливо – в тогдашнем вкусе – православным) – Игоря Бурихина грубо очерчивает контур дерева возможностей – или соблазнов – русской неподцензурной поэзии 80-х гг. Коротко говоря, путешествие из советского ада на трансцендентные небеса и падение на простую твердую физическую землю – вдребезги! Кто хочет с этим путешествием конспективно ознакомиться – тому стоит хотя бы поддержать в руках книгу Хорвата.

Но и тому, кто просто хочет услышать это:

Ты наклонись, Пречистая, – я шепну.  
Так спутано пространство в земном клубке  
что Ты и покрываешь в одной строке  
и на груди вмещаешься в образке –  
того, кому из черепа в вышину  
открылось отверстие в потолке.

---

## О ПОЭТАХ КАК РЫБАХ

Игорь (Гоша) Буренин (брынь). Луна луна. М.: Запасной выход, 2005.

Сергей Дмитрировский. С. А. Д. М.: Запасной выход, 2006.

Ксения Агалли. Василиса и ангелы. М.: Запасной выход, 2005.

Книжечки все модного московско-немецкого издательства «Запасной выход» (принадлежащего Борису Бергеру, родом оттуда же, откуда и все три автора – из Львова) и выглядят очень забавно. Несколько напоминают советские провинциальные сборники (прибалтийские, например), а одна даже на скрепках – столько лет я не видел книжек на скрепках, я прямо даже удивился.

Игорь Буренин (это который на скрепках и которого я раньше вообще не знал как поэта) понравился мне сначала больше Дмитровского. Какая-то в нем оказалась... внутренняя ясность, что ли. Переходящая на чужие слова (а они у всех чужие, своих не бывает) и делающая их хотя бы отчасти своими. И мир за этим голосом не то что глубже, а как бы... шире.

У Сергея Дмитровского, умершего в прошлом году в Иерусалиме (с ним я был отчасти знаком лет двадцать пять – двадцать назад, когда он пытался закрепиться в Ленинграде и посещал Бориса Понизовского<sup>1</sup> в его знаменитой комнате на ул. Герцена), обнаружилось несколько замечательных стихотворений (в первую очередь открывающее книгу «Когда луну проглатывает еж...»)<sup>2</sup> и много довольно замечательных кусков (во что бы я в свое время ни за что не поверил), почти всегда подпорченных некоторой поспешностью и манерностью (что я в свое время только и слышал – впрочем, я его стихи только и слышал несколько раз – и, кажется, никогда не читал глазами). Конечно, очень жаль, что при стихах (и у того, и у другого) отсутствуют датировки, показавшие бы страшное движение жизни (и того, и другого, и обоих вместе).

Отчасти эти датировки заменяет «Василиса и ангелы» Ксении Агалли, редактора-составителя обоих стихотворных сборников. Книга очень смешно и местами заковыристо написана, рассказывает грустные и весьма поучительные байки о жизни львовской богемы 80-х гг., в первую голову о двух вышеназванных поэтах, и может быть всячески рекомендована. Собственно, следовало бы продавать эти три книжки пакетом, под одной бандеролью (но и по отдельности, конечно, тоже можно).

...И все-таки Дмитровский, наверное, был сильнее. Это уже суждение не по процессу чтения, а по его результату. По послевкусию, так сказать. Чужие слова у него, правда, никогда не становятся своими, но за ними всегда что-то мучительно толчется и ворочается, выпирая из глухой резины

---

<sup>1</sup> Борис Юрьевич Понизовский (1938–1995) – ленинградский режиссер, теоретик искусства, скульптор, фотограф, художник-прикладник. Он сам и его дом (в 80-х гг. комната в коммунальной квартире на ул. Герцена, в 90-х – помещение театра «ДаНет» в знаменитом сквоте на Пушкинской, 10) почти четыре десятилетия были пунктами притяжения ленинградской литературной и театральной жизни. Некоторое время работал (как режиссер) во Львове, где с ним свели знакомство герои настоящей статьи, что их (в том числе) и подвигло позже на попытки переселения в Ленинград.

<sup>2</sup> Когда луну проглатывает еж,  
в дремучих селах, вязаных соломой,  
колодец может стать хорошим домом,  
а дом – рекой. Косцы заходят в рожь  
по пояс. И в присутствии пейзажа  
на нем самом от перемены мест  
срывают злость. В то время еж пропажу,  
как яблоко ворованное ест...



искаженными страданием лицами. И много, очень много той второсортной, чужеголосой, слегка гниlostной и мучительной красоты, которой дышал воздух того времени – второсортных, чужеголосых, гниlostных и мучительных 80-х годов. Но одно маленькое стихотворение Буренина про армию все равно прекрасно само по себе:

хлеб зацвел; черстей шинели  
лица скомканные спящих  
я ревел; солдаты ели;  
дождь шипел в угольной чаше  
где протяжный лось дубами  
плотный лоб чесал под пулю  
заскучавших караульных;  
танк урчал и пела баня

я слепой иглой еловой  
ящериц на камне трогал  
и проснувшись – злой, блестящий –  
красный зев казал мне ящер

Армейские будни (учения) глазами ребенка, полковничьего сына. Но это вам необязательно знать, это я из «Василисы» почерпнул и своим умом скомбинировал. Стихи замечательны и без этого знания.

Если бы из этого стихотворения (судя по всему, одного из самых ранних) все пошло дальше, может быть, оно бы иначе и обернулось. Может быть, внутренняя ясность Буренина победила бы. Но «оно», под влиянием, вероятно, Дмитровского и, несомненно, других обстоятельств жизни, пошло в совсем иную сторону, деликатно названную в издательской аннотации «экзистенциальным сюрреализмом» и «новой эклектикой», т. е., попросту говоря, в сторону бесконтрольного наворота слов и выворота нервов. В сторону второсортной, чужеголосой, гниlostной, мучительной красоты... см. выше. Жаль, очень жаль, но ничего не поделаешь.

Крайне любопытно нехарактерное для того (да и для этого) времени полное отсутствие Бродского<sup>3</sup> у обоих. Царствует победивший – на отдельно взятых пятнадцати квадратных метрах Понизовского с окнами во

---

<sup>3</sup> Бродский Иосиф Александрович (1940–1996) – ленинградский, позднее нью-йоркский поэт. В юности друг и соперник, позже, после ссоры, только соперник Леонида Аронсона (см. прим. 4), другого великого поэта того времени. Долгое время казалось, что в соперничестве этом победил Бродский (в связи с ранней смертью Леонида Аронсона и его известностью, ограниченной кругом ближайших друзей, что, тем не менее, не исключало его заметного влияния на неподцензурную поэзию 70–80-х гг.). Сейчас так уже не кажется – ныне все шире и шире распространяется мнение, что это поэты, сопоставимые по масштабу и значению. Я лично – Бродского ценю, а Аронсона люблю. Интересно, что лет тридцать назад было ровно наоборот.

двор – Леонид Аронзон<sup>4</sup>. И кое-где (заметно у Дмитровского) – Сергей Вольф<sup>5</sup>.

Перечитал предыдущую фразу и вдруг заметил: Боже, все названные в ней уже умерли! А по возрасту не только могли, но и должны были бы жить.

К слову говоря, я убежден, что Аронзон не вынес перепада давлений – все его великие стихи написаны в последние два-три года жизни. До того он был в целом «один из многих» и вдруг оказался в глубоководных областях, где давит вся толща. Выдержать внезапно обрушившееся на него величие он оказался не в состоянии. Вот если бы это произошло раньше... Или позже.

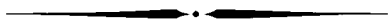
Собственно, и с Бродским случилось сходное: перепад давлений, но только в обратную сторону. Проживший всю жизнь «под грузом», после достижения всех поставленных целей он вдруг очутился в слоях разрежения. Что-то вроде кессонной болезни.

...Поэты у меня оказались почему-то как рыбы. Хорошо, тогда скажу так: вот, невеликие львовские рыбки через какие-то ржавые шлюзы отважно заплыли в какие-то страшные каналы и водохранилища, наглotalись ядовитой воды, слитой портвейными фабриками, надышались отравленным дымом, сдутым пельменоварнями, ободрали бока и серебристые спинки, но не нашли дороги назад... никуда не нашли дороги...

И ничего уже не поделаешь, но как все же хорошо, что эти книги есть! Наряду с наконец-то изданным в прошлом году Евгением Хорватом это еще две точки на карте русской поэзии 80-х гг. Хочется надеяться, что не последние.

...Хочется, конечно, надеяться, что не последние, но кто же еще, откуда?

Откуда, из каких еще придуманных городов (верите вы во Львов? – я нет!), в каких я никогда не бывал? Из каких еще ржавых вод, в какие я никогда не занывал, из каких еще затонов, садков и прудков? Я знаю, там было еще несколько несчастных заблудившихся рыбок. Я слышу их плеск, я вижу мельканье их серебристых теней, я чувствую их толчки, мучительно длящиеся, но остановить их, освободить, выпустить – увы, не умею...



---

4 Леонид Львович Аронзон (1939–1970) – ленинградский поэт. Значение его все нарастает и нарастает. Только что в Петербурге (изд-во Ивана Лимбаха) вышло первое научно подготовленное собрание его произведений в двух томах, которое мы самым настоятельным образом рекомендуем вниманию читателей, интересующихся русской поэзией второй половины XX в. Близкий друг Б. Ю. Понизовского (см. прим. 1).

5 Сергей Евгеньевич Вольф (1935–2005) – ленинградский, позднее петербургский поэт. Начиная как прозаик, сделался детским писателем (выпустил больше двадцати детгизовских книжек). В конце 70-х гг. стал сочинять стихи, создавшие ему репутацию одного из тончайших лириков современной русской поэзии. Близкий друг Б. Ю. Понизовского (см. прим. 1).



литератор, публикуется в Израиле, России, США. Живет в Израиле.

## РЕКА ПРОЗА, или ДРУГОЙ БЕРЕГ ГУБЕРМАНА

О книге «Вечерний звон» и возле

Я не променял бы эту книгу даже на  
пару красных одеял.

*О.Генри. Справочник Гименея*

Вестимо, славен Губерман. Воистину так. Он издаваем, читаем и часто цитируем. Его строчки спонтанно возникают в устной речи, а порой – даже на этикетках водочных бутылок (что может быть чудесней для русско-читающего индивидуума!), словно некий знак дворянства, как марк-твен-новская карикатура в «Панче». В стихии русского стиха, в его снегах и завываньях Губерману тепло и домашне: он проторил тропу к своей берлоге, нашел свою нишу – создал «гарики». Четыре ступеньки вниз – и вверх взят! Ирония, сарказм, афористичность, многосмысленность при внешней доступности, легкости заглазыванья делают «гарики» всенародной радостью (думаю, что их скоро начнут петь под струнный инструмент), причем каждый – от запойных читателей до абстинентов стиха – видит, слышит, чувствует в них свое – кому чего отпущено. В этом смысле Губерман – национальный поэт (как говорил довлатовский герой – русской еврейской нации). Стада подражателей пытаются пастись на его лугах, но эпигонские горе-«гарики» без сока и смака, и смальта слов бесцветна, и мозаика не выкладывается... Хотя дело, конечно, зело заразительное, хочу предостеречь: пия душистый сок цветочка, мир исцеляется от ран, коль поешь лишь в четыре строчки, то ты еще не Губерман. По близким ему дорогам хаживал, пожалуй, Алек-

сандр Гликберг (он же – Саша Черный) еще в Серебряном веке – этакая чернь с серебром, смесь быта и Бытия...

Но остановимся, ибо «гарик» есть вещь в себе, он неисчерпаем, аки атом. «Чуть о нем попозже», как выражается сам Игорь Миронович. Да, да, во благовремение – пространно, с гурманством комментариев, лелея схолии... А сейчас на дворе ночь, и в моей тель-авивской келье (приют аскета, навестите, музы), наконец, тишь, лишь потрескивает семисвечник, и на столешнице ждет свежая книга Губермана «Вечерний звон» – приятный упитанный том, и во многия его страничной мудрости, поверьте, – многия радости. Пришла пора поговорить про прозу. Точнее, научнее сказать – за прозу. Тем, кто лазал, пробирался прозой поэтов – белым коридором петербургских зим – понравится это повествование, этот странный мемуарно-философский роман в рассказах (а также в новеллах, эссе и лирических отступлениях). Проза Губермана всегда напоминала мне веселую, стремительную, иногда яростную, реку. Она плещет, звенит, струится – от тихих заводей странствующего интеллектуала до obscenных, матерных перекатов ссыльного поселенца. «Прогулки вокруг барака», «Штрихи к портрету», «Пожилые записки», «Книга странствий», нынешний «Вечерний звон» суть притоки этой реки по имени Проза (чуть особняком, хижинами дяди Тома – «негритянские» тома о Морозове, Бехтерева, Огареве). На поверхности, пленкой, первоплавающий слой – как бы плавный отчет остроумного, врожденно талантливого, благоприобретенно мудрого человека о своем движении в пространстве–времени и «в людях» (жуткое горьковское выражение). Но если легонько поскрести, хотя бы и затылок, то сразу обнаруживается, что роман-то – палимпсест, и проступают – пластами – подтексты, успевай усваивать. Потому как грех, на хрен, «гонять порожняк» – это Губерман о прозе без послания, без откровения, без благой вести (сравните – «Грохочущие мимо литературные порожняки», – жаловался всю дорогу бедный Сигизмунд Кржижановский).

Несомненно, письменная речь – речна. Глубокая, она течет мощно и вольно. Да не всякому, увы, даны бездны. Часто имеем заключенный в обложку бездарный подневольный труд каналармейца. У Губермана же, куда ни ткни, ткань текста живая и светится – обитающие в его прозе микроорганизмы фосфоресцируют – блеск плюс плеск слововолны! А какова вталкивающая сила – не оторваться! Помню, прочитал залпом «Прогулки вокруг барака» – скромное издание времен развала Союза, на серой бумаге – сидя на зимней скамейке в своем волжском граде (а чего домой топать – там столько же градусов), над застывшей ледяной Рекой, восхищенно шмыгая обмороженным носом – во, книжка! В Израиле уже, малешко прозрев, я доник, что «Прогулки вокруг барака» – нечто вроде «жизни с молнией», хождение души по мукам и радостям, свод притч, эдакая «Мишна на Севере» (и от обратного, «Мишна» – это «гарики» цадиков). Окуджава отозвался о «Прогулках» – «элегическая исповедальность». И верно – элегия. Сквозь тюремную муть и отчаяние размеренно и чуть печально сочится радость

бытия. Языческая, ярилова радость произрастания (а поэзия его – та же добыча Ра). Энергичность, как говаривали конструктивисты, текстов Губермана – солнечна. Фонтанирующая лучами, фотонная проза. Печаль – и та светла. Читая, окунаясь, впитывая, ты вырабатываешь юдохлорофилл, нечувствительно выращиваешь в себе лозы не зеленого, но бело-голубого, доброго, вечного. Чудесного, как «стаканчик виски», который у Игоря Мироновича всегда полон и ждет прихода нас. О, бело-голубой змий!

Если ранние «Прогулки вокруг барака» – это дневник узника, упорное николай-морозовское двуперстие: «Писать, писать!», то поздняя проза – это Улиссово раздолье: двигаться, смотреть, рассказывать – мир распахнут, и плавать по морю, летать по небу и бродить посуху – совершенно необходимо. Губерман, как щедрая губка, выжимает на нас звуки, запахи, цвета, шумы и ярость мира. Да, объясняет он, мир – абсурден и одновременно детерминирован, но мы – не пешки в клетке. Существуют, хотя бы теоретически, свобода и воля. Доступно путешествие на край доски. Опять же – ирония лечит (если еще не всё отвалилось). Помнится, у Джойса еврей Блум подробно, плотоядно и с наслаждением жарит свиную почку. Очень на меня подействовало – теперь почек не ем.

Кстати, в «Вечернем звоне», как и в «Улиссе», восемнадцать (с предисловия и послесловием) глав – сакральное, нашенское число. Гематрия слова «жизнь». И герой книги – его зовут «Я» – находится в постоянном броуновско-блумовском движении, хотя и неизменно возвращается, к счастью, к родным берегам, в точку исхода (не путать с вершиной пирамиды). Это присущий прозе Губермана «эффект бумеранга» – все возвращается на круги, где кружки, други и подруги. И книжки... «Много еще хочется прочесть и выпить», – вздыхает Игорь Миронович. В его текстах любимое мной сочетание прожитого и прочитанного, коктейль Борхеса – «то, что мы называем творчеством, на самом деле смесь забвения и воспоминаний о том, что мы прочитали». Описываемый, выстраиваемый им мир – отнюдь не бережно подстриженный газон, а лохматый луг, луг в мае, по которому ходят женщины-иконы, да-с, читатель-поручик, в книгах Губермана женщины светлы, веселы, разумны и текут молоком и медом («Нет, не переписываться они хотят!» – воскликнула бы жена Тата). Способ собственно же письма прост, как прустов куст – почкование, цветение, разбегание ветвящихся ассоциаций – на просвет эта проза напоминает разноцветную формулу ДНК.

Отчасти «Вечерний звон» – эссеистика хорошей выделки, самовитое музильянство в главах о человекосвойствах, и всюду – музыка, разлитая по фразам, внутренний гул книги. Игорь Миронович мыслит притчево и пишет ритмически. Вот – навскидку – подряд, соструганное с одной страницы: «и постепенно в ужас приходил... мне предстояло повесть сочинить... я одолел свой страх и стал писать... писал о том, что понимал и ощущал...» Дивное книжное Беловодье, белостишье и, лагерными местами, вполне по Галичу – Беловошье!

Обычно, мча по тексту, быстро устаешь от однообразия рельефа – кру-

гом вода, водица, «а мысли – не бурлят они уже, а вяло шелохаются, как усталые и снулые раки». А Губерман сроду в бурунах, он всегда нов, как морской змей, и берега его книг цветущи, причудливы и правдивы вымыслом. «Описаны события, которые со мной случались или же могли случиться», – честно предупреждает автор.

На меня совершенно ошеломляюще подействовал рассказ, как народо-волец Морозов в тюрьме читал стихи соседним камерам сквозь канализацию, склонившись в унитаз, – образ поразительный, символ. «Дивная история», как любит приговаривать Губерман. Я думаю, он это придумал. Или – про себя. Чтение – это все же сладкая ловля ветра, поди пойми, что там шуршит в камышах строк, что на самом деле хотел высказать пишущий, имманентные его эскизы и помыслы. Много ли удастся, по выражению Ходасевича, «наблюдсти правильно» – Бог весть... Один писавший о «Вечернем звоне» добрый человек (св. Простота) обмолвился, что, мол, Губерман замечательно рассказывает занимательные истории. Что-то такое. Эх, кандидушка, хмыкну я умудренно, да ведь и «Замок», скажем, занимательная история землемера К., и «Процесс» – очень занимательное дельце господина К. Примерно тем же макарон и «Я» в прозе Губермана – это персонаж, Куже («фигуры не имеет»), а далеко и вовсе не живущий в Иерусалиме реальный, можно потрогать, Игорь Миронович Губерман, книжник и поэт. В его сочинениях сквозит изощренная стилизация, творится лепка дневника. Многобайтовость, насыщенность яковы баек. Это проза очень не простая, пластичная, плотская (некий нектар холодной водки с амброзией соленого груздя) – она просмолена тьмою проглоченных книг, пропитана их светом, текст инкрустирован доспасовскими вставками «извне» – заметки и обрывки из зала и со стен.

Коли моя исколотая нарзаном память не изменяет, то, кажется, вроде Малларме мечтал сконструировать такую книгу, чтобы можно было читать с начала и конца, с любой страницы, чтобы проза извивалась, «как кольца змеи» (потом Павич опробовал это в своем «Словаре», назвав «нелинейным письмом»). Поздняя проза Губермана структурно, ежели под мелко-скопом, сложена из множества жизнеспособных клеток (можно даже хвост оторвать) – она читается Отовсюду (и географически тож). Проза – пазл. Попав к нему на любую страницу, двигаясь по ее тропам, ты везде, очарованный странник, находишь искомый приют, тебя, буратинку, ждет уютный огонь в очаге, лакомая чарка с интеллектуального устатку и приветливый собеседник – этаким попавший «на химию» персонаж Джерома Джерома, джентльмен в ватнике: «Присядьте, я расскажу вам одну историю...» У Губермана есть хорошее выражение (речь идет о периоде, когда он сибаритствовал в Сибири, в курной избе, и были там краски удивительные): «Если бы Куинджи попал к нам "на химию"...» Мне очень это понравилось, и я повадился вставлять, представляя: «Если бы имярек попал "на химию"».

Кстати, о ссылке, тюрьме, вообще лагерной прозодежде книг Игоря Мироновича хочется тоже вякнуть, вставить свои пять копеек (да уж не лет!).

Для Шаламова с его кошмарно-однотонным шаманством, камланием, вбиваемым в мозг, как ледяное кайло, лагерь – это ад. По Солженицыну, лагерь – это опыт («матерьяльчику!»), напряженное, из рвущихся жил, выживание, робинзопада. «Один день Ивана Денисовича» – это голый человек на голой заснеженной земле, лишь звук плывет: «дин-день, ван-ден» – звон рельса на морозе. У Губермана лагерь – это быт. Жисть-жистянка. Книжки Бытия. Его лагерный мир с его кругами, Рвами и Злыми Щелями – абсурдный, опрокинутый, как стопка, – не чудовищен. По Губерману, ада как такового нет (это утешает), есть общее пространство – Ад Эден – с закоулочками судьбы. А все дело в людях – «повсюдное двуногое», как он их ласково называет, – которые водятся, роятся вокруг в согласье с Сартром («ад – это другие»), и надо в набитой камере вставать до петухов, назаретно – чтобы писать, писать... «Сгнил на зоне» – печальные слова Губермана о сломавшихся душах. Напоминают мне оне об Овидии (Назоне!) и его посланиях из ссылки, столь же ледяной и дикой: «Здесь я варвар затем, что никому не понятен...» Довлатов, показавший нам лагерь с вышки, осовелыми глазами вохра, выдохнул: «Ад – это мы сами». «Да ну, заладили, ад, ад, – успокаивает нас Губерман. – Я там был и видел – нет его. Всюду жизнь». И пишет:

Когда я срок мой подневольный  
Тянул по снегу в чистом поле,  
То был ли счастлив мой конвойный,  
Который жил на вольной воле?

По мне, так этот «гарик» – о жизни нашей преходящей и о Четырехбуквенном (не «вохра») Смотрящем нашем.

Когда бредешь лабиринтовой, словно гоби городов, по Вальтеру Беньямину, каменистой, как Стоунхендж, ежедневной постылой пустыней вяло-текущего существования, то рад чуду, когда на тебя губерманно падает пища мысли, иронии, надежды, придавая силы – в борьбе за огонь, и воли – в обретении воли (думаю, Губерману об этом часто пишут читающие, спасибо говорят). «Свободен!» – этот крик, кредо, лозунг Мастера звенит по всей его прозе – вечерний (дум, дум!) звон. Да, да – свечение текста, ибо слово для Губермана иоанново самоценно, самоцветно, радужно. Ежели б Ремизов вслед за Куинджи попал «на химию», эх, эх... Губерман пожизненно на «алхимии слова». Губерманствуя, пробуя слова на соль, он, гурман, хлебосольно объясняет нам ценность обценного, цимес послания по матушке. «Энергичное стило», как балакал Буало. А про евреев яро как (сам раскололся – аидолопоклонник)! Цитирую: «Кошмарная модель историка Дубнова: ни разумом, ни глазом неохватное гигантское консервативное ядро всемирного еврейства дьявольски загадочно пульсирует, выбрасывая в беззащитный мир активные свои частицы с длинными носами». А как здорово о еврейских дураках, кои скитаются по свету (так карма легла), подрывая корни нашей древней кроманьонской избранности! Да чего стоит

один, живущий под мостом, огнедышащий еврей из иранского эпоса (если не сам Игорь Миронович его придумал)!

Но по мере распятия книги, ко дну ее, коньячок иронии убывает, и последняя глава – «Сезон облетевшей листвы» – покрыта патиной памяти, словно саргассова зелень окутала светлый Мир Реки – куда сплавляемся, куда втекаем, в какой и кем придуманный Солярис?.. Здесь мягкое сожаление по шагренево сжимающейся жизни, по «пропрустово» утраченному времени, легкая тоска по дивной молодости, «когда выпивку закусывали мы весенним ветром». Жизнь коротка, вздохнем вслед, но прекрасна, а наросшая короста – это понарошку. Грустная мудрость Губермана.

«Глухая пора, батенька, – разводит он руками. – Время катится к закату, и жена уже пошла советоваться с курицей насчет обеда». Надо понимать – к «гарикам» клонит! И точно – мы причаливаем к пристани этой прозы – пристальной, чуть печальной – и движемся по сходням послесловных, ступенчатых страниц – там стихи Игоря Мироновича.

У О.Генри есть новелла, как два рудокопа застряли в занесенной снегом хижине и нашли там книжку Омара Хайяма, и один говорит другому: «Это стихотворная книга. Сначала я не мог понять, в чем тут соль, но покопался и вижу, что жила есть». «Гарики» генно сродни О.Генри – последняя строчка, уходя, включает свет. Отворяет жилу. «Распирающее душу удовольствие от жизни», – пишет Губерман. Тут очень важно – не брюхо распирается, а душа! Это знаковое слово в данных «гариках»: «душе так интересно было здесь», «теперь душа моя пуста», «душа полна укромными углами», «душе моей пора домой», и многое, многое иное (так заканчивается одна книжка под названием «Ада»). В четырех строках «гариков» обитает вся набоковская троица: история, магия, поучение. Губерман, рассказывая и околдовывая, подспудно, но неустанно проповедует, внушает нам – думайте, думайте, в том числе о душе, шевелите извилинами, ресничками и ложноножками! Так будем же и дальше еще больше стараться, раскидывать мозгами и «почесывать бумагу пером», как учит Игорь Миронович. Доброе дело. Напослед – рожденный в трудах «панегарик»:

Когда и даль, и близь туманна,  
Не лезьте в Даля иль в трактат –  
С утра читайте Губермана,  
Слегка раскачиваясь в такт.

---



**ДАЛЕКОЕ  
БЛИЗКОЕ**

доктор философии и политических наук,  
писатель, китаевед, автор статей по со-  
циологии и интеллектуальной истории.  
Живёт в США.

## ПОД СЕНЬЮ РУССКИХ МУЗ:

### Славянские чертоги европейских интеллектуалов и художников

Тайна мира – это тайна России. Тайна России – в загадочной русской душе. Тайна русской души – в русской женщине. Так мыслили Россию поэты, историософы, метафизики истории, мистики и мистагоги. Женское и русское начала скрутились и переплелись в глазах западных интеллектуалов и художников в сложный метафизический, политический и лингвистический узел. Ещё в XIX веке в Европе расцветает пышным букетом романтическая идеология своего рода славянского «ориентализма», идеология, сопряженная со специфическими формами экзальтации по поводу будущего России и часто одержимая идеей спасения мира. Европейские философы и историки культивируют мистику России, отчётливую уже в сочинениях многих классических германских философов. Этой мистике благоволила и интеллектуальная Франция, где славянский миф получил хождение в сочинениях многих популярных писателей<sup>1</sup>. В самой России эту культурную мистику позже подхватят литераторы славянофильского и евразийского лагеря. Вера в особые и таинственные качества русских женщин стала неотъемлемой частью этого славянофильского европейского идеологического комплекса.

<sup>1</sup> Достаточно назвать здесь имена Киприена Робера, Адольфа Лебра и Элизе Реклю. См.: Adamovsky, E. Euro-Orientalism and the Making of the Concept of Eastern Europe in France, 1810–1880 // The Journal of Modern History, volume 77 (2005), pp. 591–628. В этой связи особенно примечательно сочинение Робера «Славянский мир»: Robert, C. Le monde slav I (Passard, Paris, 1852), Le Slaves de Turquie, 2 vols (Paris, 1844); Lebre, A. Oeuvres (Lausanne et Paris, 1856).

Наиболее артикулированное выражение эта идея находит в известной книге немецкого славянофила, шпенглеровца и историософа Вальтера Шубарта «Россия и душа Востока». Шубарт был очарован русскими женщинами и писал о них как о вершине совершенства и добродетели, представляющих лучшее возможное сочетание всех женских и человеческих качеств. Интересно, что именно из этих соображений Шубарт выводил особую миссию России в зигзагах и перипетиях будущей мировой истории: «Русская женщина самым удивительным образом соединяет в себе добродетели и достоинства своих западных сестёр. С англичанкой её роднит чувство женской раскованности и независимости, но при этом она не выглядит и синим чулком. Подобно француженке, у неё есть тонкий вкус, элегантность и особая восприимчивость к красоте, которые, однако, не переходят в легкомысленное пристрастие к нарядам. Она обладает всеми достоинствами немецкой домохозяйки, не будучи в то же время заиклившей на кастрюлях. Как и у итальянок, в русских женщинах сильно развито чувство материнства, которое при этом никогда не вырождается в анималистические инстинкты. Ко всем этим качествам следует добавить специфические грацию и мягкость, которые присущи только славянкам. Женщины никакого иного народа не могли бы тягаться с русскими в их способности слиться в гармоничном единстве роли возлюбленной, матери и спутницы жизни. Ни одна другая женщина мира не сочетает в себе столь искреннего стремления к образованию с заботой о практических делах, и ни одна так не открыта навстречу красоте искусства и религиозному вдохновению. В России именно женщины первыми и наиболее горячо отдаются пробуждающей силе религии и уже потом зажигают своей верой близких им мужчин. Можно смело надеяться, что именно женщины, в конце концов, спасут русский народ»<sup>2</sup>.

Идея об уникальности русских женщин, высказанная Вальтером Шубартом, была частью мировоззрения и практической религии многих европейских художников, писателей и интеллектуалов на протяжении десятилетий, хотя она никогда и не высказывалась ими столь откровенно. Русские женщины были для них не просто прекрасными экзотическими существами, но и творческими менадами, открывающими для них и помогающие им обжить не только глубины этого мира, но и пространства иных, более высоких, миров. В начале прошлого века эта традиция достигает своей кульминации в Европе.

Из всех художественных направлений русские женщины стяжали себе наиболее высокое место в интеллектуальном иконостае сюрреалистов, более других одержимых мифом России. На изготовленной в 1929 году сюрреалистической карте мира Россия займёт центральное положение, а из всех городов на ней останутся только Париж и Константинополь. Крошечные Германия с Австро-Венгрией сожмутся в сравнении с огромной Рос-

---

<sup>2</sup> Schubart, W. *Europa und die Seele des Osten*. Riga, 1938, s. 39.

сией, а США и Великобритания почти исчезнут совсем с лица земли в пользу испанских доминионов. Французские сюрреалисты были влюблены в русское чувство абсурда и иррациональности, которое всегда было более густым и аутентичным по сравнению с игрушечным и нарочитым абсурдом французского дадаизма и сюрреализма. Культура картезианства и Просвещения даже в своём тотальном самоотрицании могла только мечтать о том высоком градусе абсурда, который предложила Россия, абсурда совершенно безнадёжного и совсем не затронутого червоточинами рефлексии. Для членов этого интеллектуального и художественного ордена русская жена станет своего рода партбилетом всего движения.

Итальянские сюрреалисты, в том числе сами идеологи этого художественного течения – такие, например, как Аргендо Соффици и Джорджио де Чирико – оставались последовательными русофилами в вопросах своих эротических и матримониальных пристрастий. Первой женой де Чирико была русская балерина из пиранделловского *Teatro degli Undici* (Театра Одиннадцати) Раиса Гуревич-Кроль, женщина, как он говорил, «с грудью, налитой борщом». Раиса училась археологии в Сорбонне и выступала прима-балериной в знаменитой «Сказке о солдате» Игоря Стравинского. С Джорджио, помимо всего прочего, их роднила любовь к греческим древностям и античным руинам. Их брак, заключённый в 1930 году, впрочем, был недолгим. Через несколько лет она выйдет замуж за известного итальянского археолога Гвидо Калза. Де Чирико же вскоре женится на русской польке Изабелле Паксцвер, с которой он будет жить душа в душу до конца своих дней<sup>3</sup>. Изабелла стала для де Чирико тем же, чем позже станет Гала для Дали, – вдохновительницей и навязчивым образом его сновидений и картин. Русофильство де Чирико, впрочем, простиралось гораздо дальше выбора жён. Подобно авторам иных серийных детективных повествований, к производству картин на продажу он приобрёл своего русского повара. Для того чтобы работа шла быстрее, он натренировал Владимира – так звали повара, с которым он работал отныне не только в гастрономическом, но и в творческом содружестве, – красить копии своих полотен. В частности, Володя отвечал за синеву знаменитого де чириковского средиземноморского неба и часто за день успевал нанести его сразу на несколько холстов.

Многолетний соавтор де Чирико по «метафизическим манифестам» сюрреалист Аргендо Соффици был связан романтическими узами с киевской художницей Александрой Экстер<sup>4</sup>. Макс Эрнст, Поль Элюар и Сальвадор Дали – последовательно с Дали и симультанно с Эрнстом – делили любовь и постель с легендарной и скандально знаменитой Галой – Еленой Дмитриевной Дьяконовой. Елена становится посредницей в «русских» по-

<sup>3</sup> Brandon, R. *Surreal Lives: The Surrealists 1917–1945*. London, 1999, p. 96.

<sup>4</sup> *Amazons of the avant-garde: Alexandra Exter, Natalia Goncharova, Liubov Popova, Olga Rozanova, Varvara Stepanova and Nadezhda Udaltsova* / Ed. by J. Bowlt & M. Drutt. NY, 2000, p. 130.

исках всех этих художников. Так, она помогает Элюару переводить стихи Александра Блока; к ней адресованы его лирические «Письма к Гале». Вдохновлённый Еленой, Макс Эрнст создавал свои знаменитые декорации к балетам Сергея Дягилева. Хоругвь с изображением Галы, святой блудницы, помещена в центр пророческого полотна Сальвадора Дали «Открытие Нового Света». Отец сюрреализма и автор сюрреалистических художественных манифестов Андре Бретон напишет «Надю» – первый и самый удачный его сюрреалистический роман. Капризная проводница писателя с русским именем, с которой они перемещаются по Парижу, предстаёт не просто как взбалмошная и сумасбродная героиня, но и как принцип самого бытия, неустойчивого и по-русски хаотического. Россия в образе русской женщины становится у сюрреалистов онтологическим императивом, принципом самой жизни. Гуру сюрреализма французский писатель Луи Арагон также женится на русской. Его избранницей стала дочь московского адвоката Элла Коган, вошедшая в историю французской литературы под именем Эльзы Триоле. На литературный труд её благословил в своё время сам Максим Горький. Луи Арагон писал о своём друге Эльзе как о хранительнице и спасительнице мира в апокалиптической перспективе конца времён:

В глубинах глаз твоих, где я блаженство пью,  
Все миллиарды звёзд купаются, как в море.  
Там обретает смерть безвыходное горе,  
Там память навсегда я затерял свою.  
И, если мир сметёт кровавая гроза  
И люди вновь зажгут костры в потёмках синих,  
Мне будет маяком сиять в морских пустынях  
Твой, Эльза, дивный взор, твои, мой друг, глаза<sup>5</sup>.

Сочинения Эльзы и Луиса окажутся скоро под общей обложкой подобно супружеской паре, разместившейся под одним одеялом.

Русская любовница была также у принца сюрреалистов Жана Кокто (1889–1963) – поэта, режиссёра, драматурга и писателя в одном лице, – хотя в целом у него была другая, более артистическая сексуальная ориентация. Это была княжна Наталья Палей (1905–1963), внучка российского императора Александра II и дочь великого князя Павла Романова, ставшая в эмиграции известной моделью и актрисой немого кино. Натали была беременна от Кокто, горько сожалевшего впоследствии, что она не родила ему наследника из-за вмешательства красной виконтессы и патронессы сюрреализма Мари-Лор де Ноай (1902–1970)<sup>6</sup>. Наталья Палей была замужем за французским кутюрье Люсьеном Лелонгом и позже – за бродвейским продюсером Джоном Уилсоном. У неё также были романы с французскими

<sup>5</sup> Вedom, Э. Глаза Эльзы, <http://www.infrance.ru/france/stars/elsa/elsa.html>

<sup>6</sup> Benaim, L. Marie Laure de Noailles: la vicomtesse du bizarre. Paris, 2001.

писателями Полем Мораном и Антуаном де Сент-Экзюпери, а кроме того – многолетний роман с Эрихом Мария Ремарком<sup>7</sup>.

Русские жёны и увлечения сопутствовали и представителям многих других художественных кланов и романтических течений, и именно женская романтическая карта часто даёт ключи к пониманию их концептуальных схем и русских сантиментов. Так сумеречный германский гений постигал чары России через русских женщин.

Жизнь австрийского мистического поэта Райнера Марии Рильке ознаменовалась сразу двумя русскими встречами. Первой была Луиза Густавовна фон Саломе, выросшая в Санкт-Петербурге, дочь немецкого генерала на русской службе. Второй – русская поэтесса Марина Цветаева, с которой у него развернётся многостраничный и многолетний «эпистолярный роман». Заметим в скобках, что все романы писателей в известном смысле эпистолярны. Именно эти женщины приводят его к мысли о том, что Россия – это страна божественных вдохновений и восторгов, куда он едет прикоснуться к безоглядному и пообщаться с русскими поэтами. «Есть такая страна – Бог, и она граничит с Россией» – так сформулировал он своё религиозно-географическое кредо. В «Часослове» нашли выражение важнейшие элементы и мотивы его воинствующей романтической русофилии. «Все настоящие русские – это люди, которые в сумерках говорят то, что другие отрицают при свете», – писал Рильке своей матери после знакомства с Лу. Россия была их общей любовью и дверью в закрытый для профанов, заколдованный, сказочный мир.

Женой основателя антропософии Рудольфа Штайнера была Мария Савич, или Мария фон Зиверс (1867–1948), дочь служившего в России остзейского генерала. Первые десять лет своей жизни она провела в Риге, следующие двенадцать – в Санкт-Петербурге. В ранней молодости она примыкает к народникам и вместе со своим братом живёт под Новгородом, где они открывают воскресную школу для крестьянских детей. Просвещая русский народ, Мария одновременно сама проникается его идеалами. В 28 лет она навсегда уезжает из России в Европу<sup>8</sup>. Вскоре она становится корреспонденткой французского мистика Эдуарда Шюре. Позже сблизается со своим будущим мужем и соратником по антропософскому обществу и вальдорфской педагогике Рудольфом Штайнером. Мария станет автором предисловий ко всем книгам и лекциям Рудольфа Штайнера, которые выйдут на русском языке. В одном из своих предисловий она делилась своими проницательными наблюдениями о провидческой связи антропософии со славянством, которая, в частности, воплотилась и в личности самого Рудольфа Штайнера, и в судьбоносном месте рождения антропософии – Австро-Венгерской империи, пропитанной соками и религиозно-эстетическими интуициями славянства. Эту мистическую связь

---

<sup>7</sup> Liaut, J.-C. Natalie Paley: Princesse en exile. Paris, 2002.

<sup>8</sup> Steiner, M. Esoteric Studies. London, 1993, pp. 12–14.

антропософии со славянством будет всячески подчёркивать также русский последователь антропософии писатель и поэт-символист Андрей Белый.

Русское женское начало акцентировано в теософском движении не только в смысле каталитической основы последующих исторических перипетий, но и в смысле человеческого источника его важнейших интуиций. Сама истина теософии открывается европейским интеллектуалам и художникам через медиум русской женщины. Елена Блаватская стала подлинной жрицей и культовой фигурой новой религии. Дань на алтарь этой вечной девственницы принесли не только административные лидеры теософии – такие, как Уильям Джадж и полковник Генри Олкотт, но и многочисленные европейские художники – Пьет Мондриан, Йейтс, Т. С. Эллиот, Томас Эдисон и Василий Кандинский. Стоит напомнить, что среди прочего в новой религии Блаватской речь шла о смене рас в мировой духовной эволюции и о благотворном слиянии западной цивилизации с душой Востока – в том числе и с русской душой.

В «Закате Европы» Освальд Шпенглер пророчил скорый конец Запада и неизбежное пробуждение поднимающейся на Востоке России. В понимании бездн и хлябей России ему помогала русская проводница Елизавета Каеррик, или Лесс, как её любовно называли в кругу семьи. К моменту их встречи Елизавета уже перевела все важнейшие романы Фёдора Достоевского на немецкий язык. Она родилась в семье немецкого коммерсанта в Эстонии в 1886 году и изучала философию и историю литературы в Тартуском университете. Шпенглер познакомился с Елизаветой в Мюнхене после Первой мировой войны и долго потом состоял с ней в переписке и даже пытался помочь ей опубликовать её главный литературный труд. Своими сведениями о молодом и холодном восточном соседе – как известно, вся конструкция России «Заката Европы» зиждилась на цитатах из Достоевского, и его интерпретациям Шпенглер был обязан прежде всего именно Лесс. До встречи со Шпенглером у Елизаветы был роман с известным немецким писателем и скульптором-экспрессионистом Эрнстом Барлохом (1870–1938). Как и Рильке – и примерно в то же самое время – Барлоху чудилось в самой субстанции и природе России нечто мистическое и провидческое. Подобно Рильке, он мифологизировал русских крестьян. Они предстают в его скульптурах со слегка приоткрытыми ртами от мистического предвосхищения и восторга. Как и Шпенглеру, Россия чудилась ему новой цивилизацией Востока, которая встаёт, чтобы сменить дряхлеющий Запад, и это видение, возможно, было связано с его романтической ангажированностью.

Старшая сестра Елизаветы Люся Каеррик (р. 1876) вышла замуж за автора концепции Третьего рейха, богемного интеллектуала и ультранационалиста Мёллера ван ден Брука. Люся закончила консерваторию в Санкт-Петербурге, но, в отличие от сестры, была поглощена в большей степени изящными искусствами, чем философией или литературой. Елизавета так характеризовала её в письме: «её отличает тонкое эстетическое чутьё во всех вопросах, касающихся искусства, но ей не следует особенно доверять»

ся в вопросах, относящихся к истории»<sup>9</sup>. Задолго до Шпенглера Мёллер противопоставил дряхлеющим цивилизациям романской Европы две поднимающиеся молодые нации – Россию и Германию<sup>10</sup>. Как и все немецкие романтики, Мёллер был русофилом и ожидал «света с Востока». В Париже дружил с русским писателем Дмитрием Мережковским и с энтузиазмом подхватил многие его идеи, в том числе идею о трёх царствах и трёх заветах, которая своеобразно преломилась в его концепции смены германских рейхов. Униженная и обездоленная войной Германия, считал он, должна вооружить голодную Россию против Запада и либерализма. После смерти мужа Люся Каеррик оставалась верной памяти Ван ден Брука и с трепетной серьёзностью курировала его колоссальный литературный архив<sup>11</sup>.

Русская жена была также у уже упоминавшегося ранее немецкого мистического философа Вальтера Шубарта, что, впрочем, неудивительно. Избранницей этого автора панегириков России и русским женщинам стала Вера Энглерт. О её истории до недавнего времени было известно крайне мало. Ходили смутные слухи о том, что она происходила из рода князей Долгоруких. Недавние исследования профессора Райнера Голдта из Майнцского университета указывают на более прозаические её корни. Вера (урожд. Роза Ребекка Берман) родилась в городе Вентспилс, Латвия, в 1897 году. В 1933 году семья русофилов Шубартов переехала в Ригу, где в 1941 году супруги были арестованы русскими и сгинули в неведомых лагерях<sup>12</sup>.

Родоначальником германской русофильской традиции, по-своему отразившейся в идеях перечисленных авторов, был, безусловно, сам Фридрих Ницше, увлечённый Лу Саломе и прозревавший сквозь века решающую роль России и славянства в будущих судьбах Европы. Припомним также славянскую родословную Ницше, которую он сам себе приписывал, – про-

---

<sup>9</sup> Garstka, C. Arthur Moeller van den Bruck und die erste deutsche Gesamtausgabe der Werke Dostojewskijs im Piper-Verlag 1906–1919. Eine Bestandsaufnahme sämtlicher Vorbemerkungen und Einführungen von Arthur Moeller van den Bruck und Dmitrij S. Mereschkowskij unter Nutzung unveröffentlichter Briefe der Übersetzerin E. K. Rahsin. Mit ausführlicher Bibliographie. Geleitwort von Horst-Jürgen Gerigk. Frankfurt/M. u. a.: Lang 1998 (Heidelberger Publikationen zur Slavistik: B, Literaturwissenschaftliche Reihe; Bd. 9).

<sup>10</sup> Moeller van den Bruck. Rechenschaft über Russland / Ed. by Hans Schwarz. Berlin, 1933. См.: Stern, F. Politics of Cultural Despair: A Study in Rise of the Germanic Ideology. Berkeley & LA, 1974, pp. 246–47.

<sup>11</sup> Lucy Moeller van den Bruck, «Erbe und Auftrag», Der Nahe Osten, v. 20 (October 15, 1932), 430. Заметим в скобках, что, подобно жёнам Рудольфа Штайнера и Мёллера ван дер Брука, к прибалтийским немкам принадлежала также жена сицилийского писателя графа Джузеппе де Лампедуза, легендарного автора «Леопарда», с которой он венчался в Риге в православной церкви в 1932 году.

<sup>12</sup> Gold, R. Vom Mythos verschlungen. Wirken und Verschwinden des Walter Schubart // Schweizer Monatshefte 2000, Heft 2, s. 39–43. Автор благодарит профессора Гарстку из Гейдельбергского университета за указание на эти источники и за другие ценные советы и замечания для немецкой части этой статьи.

исхождение от польских князей Ницких. Многие его любимые темы и сюжеты навеяны именно его печальным романтическим опытом с Лу.

Но русские женщины сражали своей красотой, грацией и обаянием не только хрупких и падких на всё экзотическое и таинственное германских мистиков, но и наследников наиболее рационалистических и просвещенческих течений европейской мысли.

Итальянский экономист и социолог Вильфредо Парето, автор гениальных идей о циркуляции элит и распространённой в экономическом анализе формулы 80/20, женился на нищей русской княжне Дине (Алессандре) Бакуниной. Познакомились они в Венеции. Дина Бакунина была в то время активной социалисткой. Парето прожил с ней в общей сложности 12 лет. Утомлённая отшельническими повадками мужа и его непрерывными учёными занятиями, Дина бежит от Парето с их семейным поваром (ох уж эти повара!) в 1901 году. Парето развивал неоклассический подход в экономике в русле теории равновесия. Его идеи оказали колоссальное влияние как на структурно-функциональную школу и неолиберальную доктрину в целом, так и на Муссолини и итальянских фашистов, которые считали его теорию элит и теорию иррационального действия важными предвосхищениями фашистского интуиций. Его формула распределения потребностей и ресурсов, своего рода формула золотого сечения общества, добытая статистическими методами, является сегодня общим местом в анализе рынков и в построении других аналитических моделей в экономике и социологии.

Британский экономист Джон Мейнард Кейнс (1892–1981), один из столпов экономической науки XX века, был женат на русской балерине Лидии Лопиковой (1892–1981). Лидия была яркой участницей Русских сезонов в Париже Сергея Дягилева и танцевала с Вацлавом Нижинским. Кейнс был в двух поездках по России, где встречался с семьёй жены в Ленинграде. Из этих поездок он вынес самое благоприятное представление о нравственных ценностях и идеалах русских людей. Саму Россию Кейнс, впрочем, считал страной варварской и бестиальной, что отразилось, по его мнению, в самом характере русского большевизма, его бессмысленной брутальности. Но бескорыстная мораль, чуждая духу наживы и неиспорченная стяжательством и тем самым близкая его собственным идеям фабианского социализма, наиболее импонировала ему в числе прочих русских качеств. Именно поэтому Россия, несмотря на её «бестиальность», является «надеждой мира». Как и остальные фабианцы, Кейнс был также очень высокого мнения о статусе и престиже науки в Советском Союзе. Друзья Кейнса по Блумсбергскому кружку писателей и литераторов – Вирджиния Вулф, Герберт Уэллс, Джон Голсуорси – были не самого высокого мнения об интеллектуальных достоинствах Лидии. Брак был «старомодным». Лидия вела дневник со сводками о болезнях Кейнса. Их трёхгодичная переписка до замужества вошла в собрание его сочинений.

Русские жёны были вездесущи и на прямо противоположном полюсе спектра политических идей, в особенности в Италии. Лидеры итальянского социализма всех оттенков и мастей имели русских жён или любовниц – от Ан-



тонио Грамши до Бенито Муссолини. И это, вероятно, не случайное совпадение. Русские и итальянские социальные движения поначалу шли почти в ногу – примечательно, например, что из всех европейских социал-демократов только русские большевики и итальянские социалисты однозначно выступили против Первой мировой войны. Известный итальянский социал-демократ и теоретик марксизма Антонио Грамши (1891–1937) женится на дочери ближайшего соратника Ленина Юлии Шухт, с которой он впервые встретился под Москвой, в Серебряном Бору, в 1922 году, вероятно, не без участия разведслужб. У них родилось двое сыновей. Грамши воспринял марксизм сквозь призму теории элит Вильфредо Парето: интересы пролетариата на современном этапе воплощает интеллигенция. Идеологическая гегемония достигается через социализацию и создание контргегемонии пролетариата. Россия воплощает эту контргегемонию. Многие мысли, связанные с Россией, нашли отражение в недавно опубликованной переписке с сестрой Юлии<sup>13</sup>.

Филиппо Туратти, один из основателей итальянской социалистической партии, учился социализму у русской народолюбки и феминистки Анны Кулешовой, которая до этого была замужем за швейцарским анархистом и одним из основателей итальянской компартии Андреа Коста (1851–1910). Анна Кулешова (настоящее имя Аня Розенштейн; 1854–1925) участвовала в народолюбческих кружках в Одессе и в Киеве. Позже поселилась в Милане, где основала свою партию и стала выпускать популярный в свое время теоретический журнал «Социальная критика» (*Critica Sociale*)<sup>14</sup>.

Бенито Муссолини, лидер итальянских фашистов, учился у другой русской социалистки – Анжелики Балабановой (1869–1965), которая была старше дуче на четырнадцать лет. Анжелика, происходившая из богатой консервативной еврейской семьи на Украине, училась в Европе и стала одним из выдающихся деятелей итальянской социал-демократии и одной из ключевых фигур в возрождении II Интернационала. Последовательница меньшевика Юлия Мартова, она долгое время сотрудничала в троцкистской газете «Наше слово» и была секретарём антивоенной Циммервальдской конференции, а накануне революции 1917 года на короткое время примкнула к большевикам и была выдвинута ими в первые секретари Коминтерна. Именно Балабанова представляет Муссолини Ленину в 1904 году. Она становится любовницей Муссолини и берёт его под своё покровительство, знакомит с сочинениями Маркса, Ницше и Сореля. Многие историки считают, что именно благодаря её влиянию будущий дуче, который первоначально был застенчивым и нелюдимым юношей, становится членом ЦК

---

<sup>13</sup> Gramsci, A. & Schucht, T. Lettere: 1926–1935 / Ed. Aldo Natoli & Chiara Daniele. Torini: Einaudi, 1997.

<sup>14</sup> Il Monopolio dell' uomo (1890). Lit: Carteggio (correspondence with Filippo Turati, 3 vols, 1949–59); Alessandro Schiavi, Anna Kuliscoff (1955); Anna Kuliscoff e l'eta del riformismo (1978); Claire LaVigna, Anna Kuliscoff (1991); Marina Addis Saba, Anna Kuliscoff (1993); Lettere d'amore a Andrea Costa (1996).

социалистической партии и редактором официального её органа – газеты «Аванти!» В своих мемуарах Балабанова напишет позже о грубой посредственности Бенито Муссолини и об истоках его социализма в личных фрустрациях и жажде самоутверждения, в мести за личные неудачи, а не в знании законов классовой борьбы и социальной теории<sup>15</sup>.

Русские жёны и любовницы также пользовались огромным спросом среди европейских писателей, особенно французских. Наличие русской жены, возлюбленной или хотя бы интрижки с русской были неизменным атрибутом светского туалета многих крупнейших европейских писателей. Оноре де Бальзак был одержим пылкой страстью к Эвелине Ганской, неоднократно предпринимая поездки к ней на Украину. Своими впечатлениями от этих поездок он поделился в «Письмах из Киева». Как-то проезжая на дилижансе по одному из гречишных полей по дороге к любимой, Бальзак записал в одном из своих писем: люди в этих местах настолько бедны, что они едят птичью пищу – гречневую крупу. Бальзак настолько проникся русским бытом и обычаями, что свои корреспонденции к Эвелине из Парижа неизменно подписывал сакраментальным: «Твой мужик Оноре». Русские жёны (или любовницы) были также у Ромена Роллана (Майя Кудашева), Герберта Уэллса (Мария Закревская-Будберг), Поля Элюара (Галина Дьяконова), Жана-Поля Сартра (Елена Зонина). Творчество Ги де Мопассана ознаменовалось перепиской с Марией Башкирцевой<sup>16</sup>. Русские тени также проходят через спальню любвеобильного, прославленного амурными похождениями итальянского писателя и драматурга Габриэля д'Аннунцио, основателя Фаюмской республики, – балерина Ида Рубинштейн и Наташа Кросс-Голубева. С Идой он близко познакомился во время репетиций балета «Пизанелла, или Смерть в цветах», поставленного по его пьесе.

Жак Маритен, рыцарь рационального начала в теологии и патриарх возрождённой философии неотомизма, ещё в студенческие годы женился на однокурснице Раисе Уманцевой, которая происходила из хасидской еврейской семьи из Ростова-на-Дону. Они познакомились в Сорбонне после одного из семинаров, когда Жак попросил её присоединиться к одному из митингов протеста против расправы с русскими социалистами. Раиса, поэт и мистический философ в одном лице, останется пожизненной избранницей и единомышленницей Жака Маритена; её он считал своим мистическим двойником, наставницей и «второй половиной своей души»<sup>17</sup>. Неотомистская философия, противопоставленная духу Французской революции, которую отстаивал Маритен, написана как бы от лица обоих – Жака и

---

<sup>15</sup> Balabanoff, A. *My Life as a Rebel*. London, 1938, p. 60, cited in Denis Mack Smith, *Mussolini*, Paladin Grafton Books, London, 1987, p. 13.

<sup>16</sup> Мария Башкирцева (1860–1884). «Она была единственной розой в моей жизни. Знай я, что её путь будет так краток и яростен, я усыпал бы его розами», – сказал Мопассан о ней.

<sup>17</sup> Sherwin, M. *Raissa Maritain: Philosopher, Poet, Mystic* Catholic Education Resource Center. «We Have Been Friends Together», «Adventures in Grace», «Молитва и разум».

Раисы<sup>18</sup>. Интересно, что ренессанс католической философии во Франции после мировой войны, одним из главных лидеров и вдохновителей которого был Маритен, развивался во многом параллельно ренессансу православной религиозной философии в России. Не случайно супруги Маритен поддерживали в Париже близкие отношения с семьёй Бердяева, а Владимир Соловьёв восхищался идеями учителя и соратника Маритена Леона Блуа, который, кстати, посвятил одну из своих главных работ Раисе Уманцевой. Новая католическая философия Раисы и Жака должна была сочетать при этом традиционализм в религиозных и философских вопросах с авангардом в искусстве. Подобно Кейнсу, Жак Маритен считал Россию источником высочайших нравственных начал, а безбожные русские коммунисты казались ему превосходящими в некоторых отношениях добродетели самих христиан. Не случайно в США, где он много преподавал, за ним закрепилось прозвище «католический марксист».

Примеры западных интеллектуалов с особенными русскими амбициями включают многих маститых психологов. И это неслучайно, ибо русское бессознательное всегда считалось более глубоким, насыщенным и открытым. В сумеречном сознании русских богатые загадками и парадоксами психические пласты и породы залегают гораздо ближе к земной поверхности, чем у прочих европейцев. Не случайно отец психоанализа так любил русских пациентов. Его ученики пошли в этом отношении гораздо дальше. Роман Карла Густава Юнга с русским психоаналитиком Сабиной Шпильрейн в контексте психоаналитического движения был неоднократно описан<sup>19</sup>. Русская жена была и у другого видного члена фрейдовского кружка – Альфреда Адлера. Русские жёны были также у видных французских философов – марксиста-структуралиста Луи Альтюссера, который однажды в приступе безумия убивает свою жену, литовскую еврейку Фаину Ритман, и у французского Розанова – сюрреалистического мыслителя и социолога Жоржа Батая.

Княжна Диана Кочубей де Богарне была русской канадкой, происходившей из древнего русско-татарского рода. Жорж Батай посвящает ей свои исполненные страсти и отчаяния поэтические строки, напечатанные в собрании «Аллилуйя». А стихи Батай, как известно, ставил выше всякой философии. Сборник вышел с подзаголовком «Катехизис Диане» и содержал в себе ответы на те вопросы, которые она ему задавала<sup>20</sup>. Философия Жоржа Батая, выраженная в тезисе о том, что целью экономики является не производство, а чистая трата, могла бы стать эпиграфом к русской экономической истории. Диана Кочубей сама была писательницей – в Париже в 50-е годы вышел её эротический роман «Плети ангелов», который превзошёл эротические романы самого Батая как по продажам, так и по количеству запретов. В этом романе, который одно время циркулировал в англо-

---

<sup>18</sup> Barre, J.-L. Jacques & Raïsa Maritain: *Beggars for Heaven* / University of Notre Dame, 2005.

<sup>19</sup> Эткинд, А. Эрос невозможного. История психоанализа в России. М., 1991.

<sup>20</sup> Surya, M. *George Bataille, la mort a l'oeuvre*. Paris: Gallimard, 1992.

язычном мире под псевдонимом Серены Варфилд на титульном листе, речь шла об эротических посвящениях юной девушки, заносившей в дневник впечатления о своих опытах. Диана оставила ради Батая мужа, и некоторое время они составляли *ménage-a-trois* с другой многолетней спутницей французского философа – Денис Роллин<sup>21</sup>.

Жена известного психоаналитика Альфреда Адлера Раиса Тимофеевна Эпштейн была русской социалисткой, и многие идеи австрийского учёного были созвучны социальным идеалам и устремлениям его жены или прямо инспирированы ими. В отличие от Фрейда, Адлер считал главным элементом в развитии психики не сексуальность, а комплекс неполноценности и борьбу за социальное признание. Раиса, хорошо знакомая с Львом Троцким, при этом была убеждённой феминисткой. Возможно, именно от неё австрийский психоаналитик унаследовал свой интерес к идеям власти и полового доминирования. Девальвацию всего женского Адлер считал главной движущей силой всей человеческой цивилизации и положения «наверху» и «внизу» – важнейшими маркерами и метафорами новоевропейской культуры. Вероятно, из-за этой социальной составляющей именно адлеровская ветвь психоанализа ближе всего сомкнулась с марксизмом в 20-е годы прошлого века.

Популярность русских жён была чрезвычайной и в учёном, и в музыкальном мирах. Известна многолетняя связь стареющего физика Альберта Эйнштейна с сотрудницей советской разведки Маргаритой Конёнковой (урожд. Воронцовой), супругой известного скульптора Сергея Конёнкова. Недавно опубликованная переписка между ними, относящаяся к 1945–1946 годам, недвусмысленно подтверждает эту связь<sup>22</sup>. Женой первооткрывателя Трои археолога Генриха Шлимана была русская Екатерина Лыжина. Нежная привязанность, выходившая за пределы отношений учителя и ученицы, связывала Карла Веерштрасса и Софью Ковалевскую.

Русские жёны также были окружены чрезвычайным пиететом в мире музыки. Женой венгерского композитора и короля оперетты Имре Кальмана стала Вера Макинская, актриса и танцовщица. Кальман, уже будучи знаменитым, однажды подобрал её в венском кафе. В 1930 году он посвящает ей свою новую оперу, где одна из героинь, Виолетта, мокнувшая под венским дождём, была списана с его Веры. Вера великолепно танцевала чардаш, восточно-европейское танго – танец, в котором сплелись венгерские и цыганские мелодии, всегда милые русскому слуху. Женой выдающегося дирижёра Леопольда Стоковского была Ольга Самарова. Первой женой богемного французского поэта и шансонье Сержа Гинзбурга была русская аристократка Елизавета Левицкая.

То, что было принято среди музыкантов, стало общим местом в среде художников<sup>23</sup>. В женских фигурах Аристиды Майоля запечатлелся образ рус-

<sup>21</sup> Kotchubey, D. *Whip Angels*. Paris, 1955.

<sup>22</sup> Carter, P & Highfield, R. *Private Lives of Albert Einstein*. London, 1993.

<sup>23</sup> Сен-Бри, Г., Федоровский, В. *Русские Эгреии*. Paris, 1994; Седых, В. *Русские музы великих французов*. М.: Наш дом, 1997.

ской крестьянки – его жены Дины Верной, – своего рода славянской Афродиты, символа плодородия, символа, восходящего к амулетам древнейших аграрных племён. В его скульптурах перед зрителем предстаёт сама древняя крестьянская аграрная цивилизация. Дочь пианиста-меньшевика, Дина приезжает в Париж в 1926 году. «Мадмуазель, – писал ей Майоль до их встречи, – мне говорили, что вы походите одновременно на Майоля и Ренуара. Мне будет довольно, если бы оказалось, что вы похожи на ренуаровских женщин». И Ренуар и Майоль любили пышные женские формы, но Майоль был чужд розового цвета и ренуаровской сладковатой сентиментальности.

Русская жена была также у великого и фантастически плодовитого Пабло Пикассо, периоды творчества которого шли цветами и любовными циклами. В качестве свидетелей на его свадьбе с балериной Ольгой Хохловой присутствовали Жан Кокто, Гийом Аполлинер и Макс Жакоб. Русские жены также были у Фернана Леже, Робера Делоне и Диего Риверы, при этом все они сами были достаточно известными художницами. Надя Ходасевич, жена Леже, была ученицей Казимира Малевича. Софья Ильинична Терк, жена Делоне, была прекрасной художницей и модельершей костюмов и предвосхитила в дуэте со своим мужем многие новации декоративного искусства и дизайна одежды. Её ультрасовременные и значительно опередившие своё время проекты оказали значительное влияние на многих современных кутюрье. Она совместила в своём декоративном и художественном творчестве русский фольклор с абстракционизмом и авангардом. Робер Делоне (1885–1941), её муж, французский кубистский художник, писал о ней следующее: «Она несёт в себе ту теплоту, ту характерную восточную таинственность, которая не только не истощилась от контакта с Западом, но, напротив, обогатилась им и находит своё конструктивное выражение и растёт в этом контакте... Те стихии, которые пробиваются в её творчестве, становятся органической частью нового искусства, сочетающего себе восточные и западные элементы, едино и неделимо, по форме и содержанию, – и только она одна могла их так сплавить»<sup>24</sup>. Под словами Делоне могли бы подписаться многие другие счастливые обладатели русских жён, европейек по наружности, с восточною душой.

Две другие русские женщины, при этом обе художницы, во многом определили политическую судьбу и коммунистические симпатии своего мужа, мексиканского авангардистского художника Диего Риверы. От первой у него родился сын, от второй – дочь. Первая, Анжелика Белова, познакомила его с Леоном Троцким, встреча с которым во многом определила его союз и солидарность с мировым коммунистическим движением, встреча, память о которой осталась с ним на всю жизнь. Через много лет беглец из сталинской России Леон Троцкий станет гостем Диего Риверы и Фриды Калло в Мехико. Любвеобильный Ривера позже оставил свою жену. Он вспоминал в своих мемуарах, что Анжелика «дала ему всё, что женщина только способна дать

---

<sup>24</sup> Damase, J. Sonia Delauney. Fashion and Fabrics. London, 1991, p. 6.

мужчине. Взамен она получила от меня все возможные тягости и сердечные муки, которые мужчина только способен навлечь на женщину»<sup>25</sup>. Второй русской привязанностью Риверы была Мария Брониславовна Воробьёва-Стебельская (1892–1984), художница с сильными пуантилистскими и кубистскими пристрастиями, более известная, впрочем, по сказочному имени, которым нарёк её когда-то Максим Горький – Марья-Маревна Воробьёва. Мария родилась в Чебоксарах в семье провинциальной артистки и польского военного. Много позже – через Москву и Петербург – она переезжает в Париж<sup>26</sup>. Диего ушёл от Анжелики к Марии. Сохранилась картина Маревны: русская художница в мужском костюме, в ботинках укротителя тигров и в львиной шкуре через плечо рисует Риверу, сидящего с голыми скрещенными ногами. Через много лет Маревна напишет книгу воспоминаний о своей жизни с Риверой на Монпарнасе среди художников и поэтов «Улья»<sup>27</sup>.

Те французские художники, у которых не было русской жены, должны были довольствоваться русской моделью или русской любовной интригой. Так связь с Анной Ахматовой стала праздничным фейерверком в жизни итальянского художника Амедео Модильяни<sup>28</sup>. Моделью Анри Матисса – а все его новые периоды творчества были отмечены или вызваны к жизни именно новыми моделями, а не новыми цветами или формами – стала Лидия Дилекторская. У Матисса, правда, существовало строгое табу на использование моделей не по их прямому назначению. Например, если он рисовал натюрморт с раками, то по окончании работы раки не съедались, а отправлялись назад в тот ресторан, откуда ему их принесли. То же самое правило неприкосновенности распространялось и на женщин-моделей. Потребление натуры казалось Матиссу непозволительным нарушением высоких законов служения искусству. Интересно также отметить, что русские увлечения Матисса развивались также и по совершенно другой – цветовой линии. Матисс навестил Москву в 1911 году и привёз оттуда восхищение русскими иконами, воплощённое позже в красных красках его картин. Он также был в восторге от платков русских крестьянок.

Здесь нельзя не вспомнить также о легендарной Марии Годабской (1872–1950), покровительнице искусств и законодательнице художественных вкусов, которая вошла в культурную историю Франции под именем Мисия. Мария родилась в Санкт-Петербурге. Её отец, Киприен Годабский, был придворным скульптором, участвовавшим при Александре II в строительстве Летнего дворца в Царском Селе и усадеб многих русских аристократов<sup>29</sup>. Мать происходила из одарённой музыкальной франко-еврейской семьи с петербургскими корнями по материнской линии. В доме её бабушки и бабуш-

<sup>25</sup> Rivera, D. *My art, my life*. NY, 1960, p. 102.

<sup>26</sup> Богатырёв, А. Дитя Монмартра из Чувашии // *АиФ*, 2005. № 30.

<sup>27</sup> Воробьёва, М. *Моя жизнь с художниками «Улья»*. Нью-Йорк, 1957.

<sup>28</sup> Носик, Б. Анна и Амедео. История тайной любви Ахматовой и Модильяни. М., 1997.

<sup>29</sup> Gold, A., Fildale, R. *Misia. The Life of Misia Sert*. NY, 1980.

ки, где она росла, часто гостили Лист и Берлиоз, бывал Антон Рубинштейн. Мисия великолепно и совсем не во французском стиле – с размахом – играла на фортепьяно. Её имя оказалось тесно связанным с историей авангарда. Ближайшими друзьями её были Сергей Дягилев, Игорь Стравинский и Жан Кокто<sup>30</sup>. В «Поисках утраченного времени» Марсель Пруст вывел Марию Годебскую под именем княжны Юрбелетьевой. Её портреты рисовали Тулуз-Лотрек, Боннар, Валлотон, Вюллар, а также стареющий Ренуар, любивший всё сочное и румяное и с которым наедине не рисковал её оставлять муж. Последним мужем Мисии был знаменитый испанский художник, дизайнер по интерьерам и декоратор Хосе Мария Сёрт (1874–1945), расписавший Дворец Лиги Наций в Женеве, Рокфеллеровский центр и здание Валдорф-Астория в Нью-Йорке, городскую ратушу в Барселоне, а также многочисленные виллы, бальные залы, мюзик-холлы и внутренние покои вельмож и миллионеров на трёх континентах. Морис Равель, Игорь Стравинский и Франсис Пуленк славили для Мисии музыку. Ей посвящали стихи Стефан Малларме, Поль Верлен и Макс Жакоб. Поэт-символист Малларме написал ей как-то на японском веере – они были тогда в ходу во Франции – такое хайку, в память о её необыкновенной манере исполнения концертов Бетховена:

Разворачивающееся крыло бумаги  
Полностью открылось, если недавно  
Тебя посвятила Мисия  
В шторм и радость своего фортепьяно.

Это ей первой читал Малларме, сосед по Лагранжет, своё знаменитое «Видение»:

И вечером ты явилась мне, смеясь.  
И я подумал, что вижу фею в чепчике знания,  
Когда-то промелькнувшую в моих избалованных детских снах  
И выронившую из своих полураскрытых ладоней  
Белые букеты надушенных звёзд.

Французский писатель и дипломат Поль Моран, часто навещавший Мисию, метко назвал её «пожирательницей гениев».

### **Псевдорусские женские имена**

Спрос на стиль «рюс» и славяно-коммунистическую красно-матрёшечную экзотику в Европе был в какой-то момент столь велик, что реальных русских иммигранток явно на всех художников и поэтов не хватало. Поэтому псевдорусские имена начинают пестрить и распространяться среди

---

<sup>30</sup> Мисия. Мемуары. М., 2001. 335 с.

именитых и амбициозных женщин из артистической и художественной божественной среды в качестве псевдонимов. Так, жена знаменитого итальянского артиста, звезды немого кино Рудольфо Валентино становится Наташей Рамбовой. В действительности она происходила из мормонской семьи с тёмным жённым прошлым и была праправнучкой известного мормонского святого. Одно время она была влюблена в русского танцовщика Фёдора Козлова и состояла в труппе русского императорского балета. С подсказки Аллы Назимовой, голливудской актрисы русского происхождения, она начинает выдавать себя за русскую княжну. Сходным образом датская актриса Ханна Байер, жена французского режиссёра новой волны Жана-Люка Годара, становится Анной Кариной. Русское имя ей прописала Коко Шанель, законодательница мод и нравов Парижа, у которой, как рассказывают, были романы с Игорем Стравинским и с великим князем Дмитрием Павловичем, племянником последнего русского государя-императора. А коли столь падким на такие имена оказался кинематограф, сам Бог велел носить их зарубежным балеринам. Английская балерина Алисия Маркс, выступавшая в балетах Дягилева, вошла в историю балетного искусства под своим русским псевдонимом – Анна Маркова. Такая метаморфоза была характерной и для некоторых других членов труппы Дягилева.

Конечно, тяга к экзотике и иноземным жёнам отнюдь не уникальна в истории и отнюдь не сводится к русской карте. В этом контексте русские жёны – не более чем иллюстрация в этноисторической галерее: так египтянки были популярны у римских цезарей и полководцев, еврейки – среди кремлёвских вождей, латиноамериканки – у голливудских кинозвёзд, малороссы – у турецких султанов, немецкие провинциальные княжны – у российских императоров, японки – среди левых художников и интеллектуалов послевоенной Европы и Америки (Генри Миллер, Джон Леннон, Александр Кожев...). Заметим в скобках, что большинство русских жён вовсе не были русскими в этническом смысле. Это были чаще всего инородки – польки, татарки, немки и еврейки, но инородки, проникнутые великоросской национальной гордостью и особыми русскими континентальными токами, которые варились в общем евразийском этническом котле. Несмотря на свою физическую инородность, они несли в своих глазах искры русской воли и русской мечты и в их профилях и манерах нетрудно различить крепь и печать русской выплавки.

Но в синдроме особой привлекательности русских женщин есть и нечто не совсем обыкновенное. Только момент экзотики или особенной физической красоты здесь мало что объясняет, хотя именно на просторах Евразии природа особенно изощрённо могла потрудиться со своими кровосмесительными экспериментами ввиду изобилия и богатства природного материала. И хотя эти эксперименты с неизбежностью создавали и создают особое очарование и особую статью женского лица и контура, мы бы поколебались назвать это последней причиной, объясняющей загадку русской женщины. Ведь сами эстетические представления и идеалы всегда насквозь пропитаны всяческой идеологией и мифологией. И дело здесь также не в происках ГРУ и



НКВД, как хотелось бы верить некоторым историкам и литераторам, подготавливавшим русских жён великих художников слова и кисти в сотрудничестве с советской разведкой. Заметим опять же в скобках, что многие героини нашего повествования действительно были или вероятно были советскими разведчицами – Юлия Шухт, Мура Будберг, Маргарита Конёнкова, Майя Кудашева. Но даже воображаемый или реальный статус разведчиц и агентов в глазах мужей скорее придавал пикантность роману, хотя вряд ли мог быть его главной составляющей и движущей силой. И вряд ли всё окончательно проясняет моральные достоинства, а именно беспрецедентная жертвенность и покладистость русских женщин – их способность пойти за мужем в Сибирь или переписать «Войну и мир» восемь раз. Загадка русских женщин не в их физике, но в их особой мифологии и метафизике, которая напрямую связывает их с мифом России, получившим чрезвычайное распространение среди западных интеллектуалов. Этот миф перешёл в своего рода религию.

По сути, речь в этой новой хтонической религии шла о культе и ритуале поклонения земле, возвращения и причащения к почве. В глазах многих западных художников и интеллектуалов встреча и романтическая связь с русской женщиной была мистерией и своего рода иерогамией – священным браком разума и мировой души, души, которая воплощалась самой Россией или даже всем славянством в целом. Но это была не просто религия ностальгии и возвращения, но религия, обращённая в будущее, – религия спасения. «Жизнь есть женщина», – говорил Ницше. Ну а коли так, то русская женщина, женщина вдвойне, должна воплощать в себе жизнь в квадрате. Россия – это молодая и энергичная женская крестьянская цивилизация, сменяющая ветхую духом технологическую цивилизацию Запада. Это страна снов, страна нетронутого и ещё прозрачного бессознательного, страна девственно-наивных творческих энергий. Это юная красавица, просыпающаяся от многовекового сна, женственная и самобытная, способная оживить европейский духовный упадок и культурный декаданс. Эта задорная фольклорная крестьянская культура, лежащая в основе русской, должна прийти на смену сухой европейской фаустовской культуре – она более витальна, сочна и долговечна.

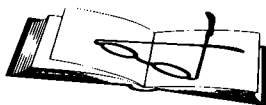
Балеты Дягилева в Париже, Лондоне и Монте-Карло стали своего рода прелюдией к этой грядущей небывалой культуре, культуре, слившейся в себе крестьянскую витальность с аристократической утончённостью. В «Сказке о золотом петушке», в «Жар-птице» и в «Ритуалах весны» Игоря Стравинского музыкально речь шла о том же, о чём говорил Освальд Шпенглер в «Закате Европы». Петушиный крик русской литературы, русской музыки и русского балета огласил темнеющие подмостки и разбудил европейских художников, предвосхищая в их глазах великое будущее России. Романтическая философия истории, лежащая в основе их миропонимания, искала новых энергий и нового вдохновения у молодых почвенных земледельческих народов, и в особенности у русских – народа до сих пор внеисторического, дремлющего и многообещающего в своём долгом молчании.

Европейские художники и интеллектуалы благословлялись Россией –

через коммунизм или через любовь. У каждого из них должны были быть свои русские амбиции, своя русская политика и своя русская жена. Эзра Паунд метко назвал поэта «антенной общества». Так, улавливая тончайшие импульсы и токи эпохи, поэты и художники в своей любви тянулись к русским и мировым тайнам. Их воспалённая страсть поднималась до высочайшего духовного градуса, подпитываясь из каких-то неведомых метафизических источников и приобретая в своём фатальном движении различные формы: от мимолётного мистического экстаза до роковой всепоглощающей страсти. Сама связь с русской женщиной уже мыслилась как соприкосновение с тайной России и почвенными и лапотными истоками самого мироздания. И наоборот, слияние с дионисическим и стихийным началом русской революции приобретало эротические очертания и становилось высшей формой эротического духовного опыта.

Вольтер как-то заметил, что те вещи, которые являются роскошью для одного поколения, для последующих поколений часто становятся вещами прозаическими и даже обыденными. Нечто подобное произошло сегодня и с русскими женщинами, которые оказались широкодоступными для мирового мешанства на международных рынках невест. Наряду с энергоресурсами и бессознательным, женщины остаются одной из немногих статей русского экспорта. Падение коммунизма, многочисленные бюро знакомств, а также свирепая зима и неотёсанность местных кавалеров выбросили десятки тысяч русских невест на поиски семейного и экономического счастья за пределами отечества. Нам остаётся только вспоминать о породистости и об интеллектуальном и творческом великолепии былых женихов. О том времени, когда лучшие люди Европы искали благосклонности ни на кого не похожих молодых и румяных русских княжон, летучих балерин, романтических и взбалмошных мечтательниц о недостижимом, дочерей белых генералов и опальных большевиков...

Где-то там далеко, в охваченных дрёмой русских снегах, чинно спят овины и избы. По занесённым сугробами дорогам, как и встарь, мчатся, звеня бубенцами, тройки, а красногрудые свиристели озорно склёвывают с деревьев обледеневшую терпкую красную мякоть рябиновых ягод. Оттуда, из-за зябких лесов, в белом мареве пурги, из व्यюжных далей, по дорогам, где путанные следы диких зверей замечает позёмка, являются новые образы. Где-то там возрастает и вызревает новая жизнь, рождается новое слово и новая сказка. Вслушиваясь в вой пурги и в полувнятные звуки русских стихий и стихов, вглядываясь в васильковые глаза русских женщин, Запад, в лице своих поэтов, философов и художников, ищет ответы на свои проклятые вопросы, пытается распознать своё будущее, свою судьбу, будущее мира. В загадке женщины дрожат загадки вселенной, в загадке России мерцают загадки женщины как таковой. Наверное, так и есть – именно в русских женщинах природа сокрыла самые сокровенные, самые страшные, самые заветные и трепетные свои тайны.



музыковед, журналист, эссеист, выпускник теоретико-композиторского факультета и аспирантуры Ленинградской консерватории, член Союза советских композиторов. Среди опубликованных работ – «От Гайдна до Шостаковича», «Особенности сонатной формы в симфониях Шостаковича», «Песня и стих», «Певцы и вожди». С 1988 до 2006 года – сотрудник Русской службы «Голоса Америки» в Вашингтоне. Живет в США.

## ЛЕГКАЯ КАВАЛЕРИЯ БОЛЬШЕВИЗМА

Люди часто говорят: революция прекрасна, зло – это лишь порождаемый ею террор. Но это не так. Зло изначально заключено в прекрасном, ад присутствует в мечте о рае, и, если мы хотим понять сущность этого ада, нам нужно вникнуть в сущность рая, из которого он происходит. Осуждать ГУЛАГ невероятно легко. Гораздо труднее отвергнуть тоталитарную романтику, которая, обещая рай, ведет к ГУЛАГУ.

*Милан Кундера*

Октябрь 1974 года, моя первая осень в Америке. Я, директор общежития «Русский дом» в Оберлинском колледже, штат Огайо, смотрю со студентами вечерний выпуск новостей.

«А теперь мы приглашаем вас в студию композитора, который решил откликнуться на призыв президента Джеральда Форда новой песней, – бодро сообщает, чарующе улыбаясь, симпатичная дикторша. – Песня, как и только что объявленная президентом кампания, называется "WIN – Whip Inflation Now!"»

Камера наезжает на сидящего за роялем мужчину лет 50, тот, тряхнув седеющей шевелюрой, с размаху ударяет по клавишам, и нашу неболь-

шую гостиную оглашает упругий бравурный марш. Слова были примерно такие:

WIN! WIN! WIN!  
We will whip inflation!  
WIN! WIN! WIN!  
Glory to our nation!  
(Победим! Победим! Победим!  
Разгромим инфляцию!  
Победим! Победим! Победим!  
Слава нашей нации!)

Автор пел их самозабвенно, его руки картинно взлетали в эффектных пассажах. В какой-то момент мне почудилось, что на экране передо мной американская реинкарнация незабвенного Дмитрия Покрасса, который вместо «Кипучая, могучая, никем не побежимая» вдруг, с привычным энтузиазмом, запел о том, что весь народ как один должен объявить непримиримую войну инфляции...

У меня слегка потемнело в глазах. Я-то ведь думал, что навсегда избавился от пламенных маршей, от набивших оскомину политических шлягеров – и надежно укрылся от них в стране, выросшей на совершенно иных ритмах, гибких, раскованных, свингующих, в стране, чьи собственные марши – не те, что были заимствованы из имперской культуры британцев, а родились на родной почве, – звучат без тени милитаризма, легко, если не легкомысленно: под них не печатать шаг хочется, а, скорее, двигаться в фокстроте... Неужто и сюда добралось это зловредное поветрие, эта губительная для свободы мода на массовые песни-марши? Неужто опять сниматься с места? И куда бежать-то теперь? Куда ехать? В Канаду? Гренландию? Я потерянно оглянулся на студентов – и успокоился. Песня на них не действовала. Они иронически улыбались, переглядывались, пожимали плечами. Музыкальный плакат, призывающий, задрав штаны, немедленно ринуться на борьбу с инфляцией во славу родной страны, вызвал у них недоумение. Нет, братцы, все в порядке. Остаюсь. Не нужен мне берег гренландский... Похоже, что у этих ребят надежный иммунитет к лозунгам и маршам, у них свои головы на плечах, а в головах – трезвый ум и здоровый скепсис. Именно то, чего мне так не доставало в моей советской молодости. Я был конформистом до мозга костей. Все принимал за чистую монету. Всему верил. И больше всего – звеневшим вокруг меня песням о нашей юной прекрасной стране, в которой с каждым днем все радостнее жить, вдохновенным гимнам о Сталине мудром, родном и любимом, который – наша слава боевая и нашей юности полет. Песни убеждали меня больше, чем жуткая реальность Большого террора. Бывало, я просыпался по ночам от тревожного шепота моих родителей про новые аресты в нашем рабочем поселке или про то, что один из арестованных чудом вернулся и – под страшным секретом – рассказал, как его пытали в районном НКВД: сажали, как на кол,

на ножку перевернутой табуретки... Но наступало утро, включалось радио – и ночные кошмары отступали, рассеивались, опровергались непреложной достоверностью улыбчивых песен, излучавших молодость, радость и веру в счастливое будущее.

Я оказался абсолютно незащищенным от ловко сработанных лживых мифов, от государственной демагогии и вранья. Допускаю, что этот «иммунodefицит» объяснялся отчасти моей врожденной наивностью, на которой я (в мои-то годы!) ловлю себя порой и сегодня, и тем, что все свое довоенное детство я провел в глухой провинции, в белорусской глубинке: отец мой был техноруком спиртзавода, которые строились среди полей, поближе к сырью. А потом были годы эвакуации в Омске, который тоже вам не Москва или Ленинград... Не исключаю и того, что вера моя подпитывалась примитивным, глубинным, вытесненным в подсознание страхом.

Но так или иначе – ведь не одного меня соблазнили, обвели вокруг пальца красавицы-песни! Поддались и люди вовсе не наивные и вполне городские. И были их миллионы. Как это произошло? Как случилось, что покоровившие меня песни и гимны так глубоко и надолго запечатлелись в душах советских людей и, как выяснилось через много лет, людей постсоветской России? Вопрос этот стал мучить меня уже после того, как схлынуло наваждение, когда мое «оттепельное» поколение, мучительно прозревая, всерьез задумалось о природе Утопии, во имя которой были погублены десятки миллионов жизней, и о том, почему она с такой легкостью завладела нашим сознанием. В начале 80-х годов мои догадки и гипотезы оформились в очерк, который был напечатан в 1983 году (в 5-м и 6-м номерах) в парижском журнале «Обозрение». Статья называлась «Технология убеждения: заметки о политической песне». С тех пор она была основательно переработана...

«Зачем раздражать народ, вспоминать то, что уже прошло? Прошло? Что прошло? Разве может пройти то, чего мы не только не пытались искоренять и лечить, но то, что боимся назвать и по имени... Оно и не проходит, и не пройдет никогда, и не может пройти, пока мы не признаем себя больными... А этого-то мы и не делаем» (Л. Толстой).

«Особенно удобно было производить известное впечатление на массы песнями» (из следственного протокола)<sup>1</sup>.

«Запалает песня сердца ярее всяких уговоров» (А. Солженицын. Октябрь 16-го).

### Апология песни

«Красные армии разбили белых <...> отчасти потому, что ораторская подготовка заменяла в Красной Армии артиллерийскую подготовку, – заметил как-то Г. Померанц. – Мне рассказывал товарищ по нарам, солдат

---

<sup>1</sup> Показания народовольца А. В. Низовкина, участника процесса «193-х». См.: М. Друскин. Русская революционная песня. М., 1954. С. 8.

1920 года, какое потрясающее впечатление производил приезд оратора № 1 или № 2 (имена их сейчас одиозны). Речь равна была по силе пятистам оружийным стволам, сосредоточенным на километре прорыва <...> Короче: красные победили белых потому, что овладели искусством красноречия»<sup>2</sup>.

Преувеличение? Скорее – заострение той хорошо известной истины, что по части искусства убеждать красные далеко превосходили всех своих противников. Большевики хорошо постигли секреты массовой психологии, они раз и навсегда усвоили, что путь к сознанию толпы лежит через ее подсознание; что не теория, не идея как таковая овладевает массами (как утверждал Маркс), но идея мифологизированная, одобренная художественной фантазией; что управлять этими массами следует через хитроумную систему идеологических инстинктов и рефлексов, которая вырабатывается при помощи особого языка, насыщенного символами, способного возбудить эмоции, увлечь воображение и воспламенить веру<sup>3</sup>.

Песня – идеальная модель такого языка. Особенно же песня политическая, массовая: она приобщает к искусству красноречия каждого рядового участника массового пения. Он чудесным образом сам вырастает до уровня ораторов № 1 и № 2, он сам себе оратор – на те несколько минут, что длится песня. Крылатый афоризм поэта «Наше оружие – наши песни» – не гипербола, но факт, подтверждаемый историей. Нет натяжек и в большинстве прозаических апологий песни, принадлежащих марксистским идеологам и искусствоведам.

«Песня превосходит все другие жанры поэзии и музыки по способности высказать в краткой форме с максимальной обобщенностью идеи и чувства, общие для миллионов людей, непосредственно воздействовать на их волю, "заразить" их одинаковым настроением или порывом к действию, сплотить их и повести за собой»<sup>4</sup>. Особенно ценился в СССР тип песни, в котором музыка преобладает над словом. Почему? Всё по той же причине: так обеспечивается «большая сила непосредственного эмоционального воздействия на массы»<sup>5</sup>.

### **«Создать таковые для России»**

Надо отдать должное русским социал-демократам первого призыва: их отношение к песне диктовалось не одной лишь политической корыстью. Соблазняя песней других, архитекторы русской революции сами были глубоко преданы ей. Пели они в тюрьмах и на воле, на родине и в эмиграции,

---

<sup>2</sup> Г. Померанц. Антикрасноречие Достоевского // «Россия / Russia». Studi e ricerche a cura di Vittorio Strada / Torino, 1980. № 4. С. 154.

<sup>3</sup> Об идеологических инстинктах и рефlekсах см.: Д. Нелидов. Идеократическое сознание и личность // Вестник РСХД. Париж–Нью-Йорк, 1974. № 111.

<sup>4</sup> А. Сохор. Русская советская песня. Л., 1959. С. 15.

<sup>5</sup> Там же. С. 13.

в ссылках, на демонстрациях и на тайных сходках. Как видно, не только массы, но и их поводыри остро нуждались в «вокальных источниках возбуждения... революционной энергии»<sup>6</sup>. Песня была для них мощным эстетическим стимулятором, средством «самозавода», она поддерживала их дух, укрепляла волю и решимость идти до конца.

«Особую страстность... в наши вокальные увлечения вносит Владимир Ильич... он входит в раж и начинает командовать:

"К черту "такую ее долю" ("Така її доля" – грустная по настроению украинская песня. – В. Ф.)... Давайте жарим: "Смело, товарищи, в ногу!"

И тотчас же... он спешит затянуть своим несколько хриплым голосом, представляющим нечто среднее между баритоном, басом и тенором:

Смело, товарищи, в ногу,  
Духом окрепнем в борьбе...

И когда ему кажется, что честная компания недостаточно отчетливо фразирует козырные места песенки... <...> он начинает энергично в такт размахивать кулаками, нетерпеливо притоптывать ногой и подчеркивает, в ущерб элементарным правилам гармонии, нравящиеся ему места напряжением своих голосовых средств, причем очень часто, к ужасу Василия Васильевича (В. В. Старков. – В. Ф.), с повышением какой-нибудь ответственной ноты на полтона или даже на целый тон...»<sup>7</sup>

Свидетельствует тот же П. Лепешинский: «Ильича хлебом не корми, а только подавай ему это самое: "Смело, товарищи, в ногу" или "Вихри враждебные". При этом он – основной элемент хора и очень темпераментный дирижер...»<sup>8</sup>

Дирижировал Ильич не только хором своих соратников, но и партийной песенной политикой. К песне возвращается он постоянно – в статьях, письмах, разговорах. Рас толковывает скрытые в ней возможности, учит, какие песни партии нужны, а какие нет, требует скорейшего внедрения полезных песен в массы (только в 1904–1907 гг. партийная печать публикует около 50 революционных песен, причем многие из них печатались неоднократно и большими тиражами – до нескольких десятков тысяч экземпляров)<sup>9</sup>.

Ленин отлично сознавал, что может проделывать с человеком спетое слово, вокальная музыка – жанр, наиболее им ценимый. Внимая романсу Чайковского, «он бледнел, слушал, не двигаясь, точно прикованный...»<sup>10</sup> Он знал, что музыка может смягчать душу, рождать жалость и сочувствие,

<sup>6</sup> П. Лепешинский. Старые революционные песни // Огонек. 1927. 7 авг.

<sup>7</sup> П. Лепешинский. На повороте. М., 1955. С. 109–110.

<sup>8</sup> См.: А. Сохор. Ленин и революционная песня // Сов. музыка. 1957. № 4. С. 11.

<sup>9</sup> Н. Валентинов. Встречи с Лениным. Нью-Йорк, 1981. С. 78.

<sup>10</sup> М. Горький. Собр. соч.: В 30 т. Т. 17. М., 1952. С. 39–40. Беседа Горького с Лениным состоялась в октябре 1929 года.

настраивать на доброе и гуманное, – и сознательно противился такому действию: «Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя – руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм, должность адски трудная»<sup>11</sup>.

Потому и преследует Ильич с маниакальным упорством песни, в которых прорывается эта самая неподобающая мягкость, всякое там сочувствие народу или жертвенность. «Владимир Ильич очень не любил песен, в которых звучали слова уныния и печали, вроде следующих:

Стонет и тяжело вздыхает  
Бедный наш русский народ,  
Руки он к нам простирает,  
Нас он на помощь зовет!

Ну, говорил Ленин, вы там как хотите, а я буду петь только один куплет, призывающий к восстанию»<sup>12</sup>.

Что из того, что песня эта – высокочтимый революционными рабочими России гимн народовольцев «Смело, друзья, не теряйте»? Мало ли что нравится массе? Ильич не сомневался, что ее вкусы можно и должно переделывать, и ратовал за то, чтобы старые песни были вытеснены новыми, боевыми – такими, как польские «Варшавянка», «Беснуйтесь, тираны» и «Красное знамя» («Слезам залит мир безбрежный»): они были начисто свободны от нежелательных мотивов и до краев наполнены заразной энергией, верой в победу и подстегивающими призывами к немедленному революционному действию. Познакомившись с этими песнями, Ленин настойчиво «указывал на необходимость создать таковые для России»<sup>13</sup>. Указание было выполнено: одна за другой появляются русские версии всех трех боевых польских гимнов, затем – в 1902 году – французского «Интернационала». А чуть раньше, в 1897-м, возникла и первая оригинальная песня нового типа – мажорная, мускулистая «Смело, товарищи, в ногу».

## Слова

Эти пять боевых гимнов и составляли излюбленный песенный рацион Ленина, их он пропагандировал с особым усердием. В их текстах много сходного, они варьируют один и тот же ограниченный набор тем.

Одна из тем – многократно повторяемый набатный призыв разрушить,

---

<sup>11</sup> М. Горький. Собр. соч.: В 30 т. Т. 17. М., 1952. С. 39–40.

<sup>12</sup> М. Эссен. Песни революционного подполья // Сов. музыка. 1955. № 12.

<sup>13</sup> Воспоминания родных о Ленине. М., 1955. С. 73.



взорвать существующий мировой порядок («Долой тиранов, прочь оковы!.. Мы путь земле укажем новый...», «На бой кровавый... Марш, марш вперед, рабочий народ!»). Следующая тема – омерзительный мир насилия, залитый слезами и населенный сворой псов и палачей, паразитами и тиранами, – подкрепляет и обосновывает первую. Третья тема, резко контрастная второй, рисует конечную цель борьбы – пленительный новый, лучший мир, ослепительное царство свободы, где владыкой мира будет труд, а кто был ничем, тот станет всем.

Еще одна тема – своего рода автопортрет бойцов-пролетариев: дети семьи трудовой, голодные рабы – и в то же время сильные духом титаны, полные решимости отвоевать свое добро. Наконец, отчетливо проступает мотив мести и кровавой расправы: «Кровью народной залитые троны / Кровью мы наших врагов обагрим... Месть беспощадная всем супостатам...», «И стыд, и страх, и смерть вам, тираны!» (последняя строка сильно действовала на Ленина, «он повторял ее с каким-то торжественным одушевлением»)<sup>14</sup>.

«Выходите на улицу... Пойте громче ваши боевые песни...» – звали первомайские листовки начала XX века. «Угнетатели... дрожат перед звуками рабочих песен...», «Пусть они, словно раскаты весеннего грома, сотрясают воздух и приводят в трепет всех палачей и насильников»<sup>15</sup>.

Вершители революции, очевидно, хорошо понимали, что, устрашая других, смелеешь сам, что шаманские заклинания и мысленное размахивание топором – проверенное средство преодолеть, вытеснить эмоции нерешительности и страха. Впечатляющую картину вытеснения страха песней написал А. Солженицын в «Октябре 16-го»: оробевшая перед полицией толпа демонстрантов, запев «Рабочую Марсельезу», преображается, идет напролом, сминает пеших городских и полицейскую конную стражу. Выбор песни не случаен: «Отречемся от старого мира» по накалу ненависти, по страстности призыва к расправе занимает в русской революционной гимнографии заслуженное первое место («Встанем, братья, повсюду зараз... На воров, на собак – на богатых! Да на злого вампира-царя! Бей, губи их, злодеев проклятых!»).

Но не из-за этого отрекся от нее Ленин после Февраля. Не по соображениям этики или эстетики выговаривал он рабочим, встретившим его этой песней у Финляндского вокзала 3 апреля 1917 года<sup>16</sup>. Его новый враг – Временное правительство – возвел «Рабочую Марсельезу» в ранг официального гимна демократической России. От врага следовало отмежеваться, общую с ним песню забыть до лучших времен (реабилитация произошла вскоре после Октября). Что до министров Временного правительства, особой свирепостью вроде бы не отличавшихся, но сделавших, тем не менее,

<sup>14</sup> М. Гольденштейн. Музыка в жизни Ленина. Л., 1959. С. 19.

<sup>15</sup> С. Дрейден. Музыка – революции. М., 1966. С. 17–19.

<sup>16</sup> См.: А. Сохор. Ленин и революционная песня. С. 8.

столь сомнительный выбор, то они смолodu свыклись с «Марсельезой» (ее текст сочинен народником П. Лавровым в 1875 году «на голос», по-видимому, того варианта французской «Марсельезы», который звучит в песне Шумана на слова Гейне «Два гренадера») и воспринимали ее как бы общим планом, как музыкально-поэтический символ Революции.

Солженицын, однако, не первый русский писатель, сумевший взглянуть на революционную поэзию в упор, ясными и трезвыми глазами. Был у него предшественник – Бунин. Весной 1919 года Ивану Алексеевичу попался в руки сборник «Библиотека трудового народа. Песни народного гнева» (Одесса, 1917). Писатель заносит в дневник строки из «Рабочей Марсельезы», «Варшавянки» и комментирует: «...Всё злобно, кроваво донельзя, лживо до тошноты, плоско, убого до невероятия... Боже мой, что это вообще было! Какое страшное противоестественное дело делалось над целыми поколениями мальчиков и девочек... поминутно разжигавших в себе ненависть...»<sup>17</sup>

Труднее понять отклик на те же песни Анны Ахматовой, чья духовная зоркость и нравственный слух вполне сравнимы с зоркостью и слухом Бунина. Побывав на исполнении 11-й симфонии Шостаковича «1905 год», построенной на мотивах революционных песен, Анна Андреевна отозвалась о ней «с восторгом: Там песни пролетают по черному страшному небу, как ангелы, как птицы, как белые облака!»<sup>18</sup> Песни, пролетающие по 11-й симфонии (среди них – все те же «Варшавянка», «Беснуйтесь, тираны», «Смело, товарищи, в ногу»), как видно, сливались в памяти Ахматовой в музыкальный образ революционных лет, в один из голосов той «музыки революции», которую так страстно призывал слушать Блок. Они были у нее на слуху, и если она и читала их слова, то разве что в «Двенадцати», в гениальном, очищающем исполнении «трагического тенора эпохи», как она однажды назвала Блока:

И вьюга́ пылит им в очи  
Дни и ночи напролет...  
Вперед, вперед,  
Рабочий народ!

### Преображение слов

Но и во вполне рядовом массовом исполнении преобразаются слова революционных гимнов. Живое звучание песни, сливающее воедино поэзию с музыкой, рождает новые оттенки и смыслы, перехлестывающие через прямое значение слов. Это в свое время тонко подметил Горький в романе «Мать». Матери не нравились «резкие слова и суровый напев» «Рабочей Марсельезы», «но за словами и напевом было нечто большее, оно заглушало звук и слова своею силой и будило в сердце предчувствие чего-то необъятного для мыс-

<sup>17</sup> И. Бунин. Окаянные дни. Лондон (Канада), 1973. С. 194–105.

<sup>18</sup> Л. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. Париж, 1980. С. 215.

ли... Казалось, в воздухе поет огромная медная труба, поет и будит людей, вызывая в одной груди готовность к бою, в другой неясную радость, предчувствие чего-то нового, жгучее любопытство, там – возбуждая смутный трепет надежд, здесь – давая выход едкому потоку годами накопленной злобы».

Здесь не место углубляться в природу этого чуда преображения. Скажу только, что уже озвученный декламацией стих претерпевает известные перемены. Интересно в этом смысле свидетельство о том, как «удивительно смягчались» в напевном чтении Гете «самые грубые места "Илиады"»<sup>19</sup>. Замечено, далее, что массовая аудитория склонна ухватывать в звучащем стихе его общий тон и отдельные слова, для этой аудитории особенно важные. Случалось такое даже с высокообразованной петербургской публикой. Аполлон Майков читает (в 1860 году) на публичном литературном вечере недавно написанный «Приговор», и в зале прорывается неожиданный, но общий аплодисмент на слове «свобода». В стихотворении нет никакой политики, речь идет о пении соловья, которое напомнило суровым судьям-богословам «...золотые сердца годы, / Золотые грезы счастья, / Золотые дни свободы». Год спустя на другом вечере вновь выступает Майков, звучит «Два Карлина», стихотворение «грациозное, миленькое, умненькое, но есть в нем одно слово – "деспот". Это слово публика подхватила и стала хлопотать. Ей как будто иногда и дела нет, к чему иное слово относится»<sup>20</sup>.

В 1919 году в киевском театре перед толпой красноармейцев выступали поэты. «Выяснилось, что существенно лишь одно – в стихах должно было мелькнуть знакомое слово из нового арсенала... Зал взревел от счастья, когда выступил Валя Стенич со стихами о заседании Совнаркома. Этот человек, слишком рано всё понявший, сочинил острые стихи, запечатлевшие один исторический миг – разрез времени, его подоплеку, а толпа реагировала не на смысл прочитанного, а на отдельные слова, на их звук, на слово "Совнарком", как на красный лоскут. Ее уже успели натренировать на такую реакцию»<sup>21</sup>.

Еще решительнее, чем декламация, сказывается на восприятии стиха пение. Музыка обволакивает его атмосферой волнующей приподнятости<sup>22</sup>. Тексты революционных песен, на глаз довольно неуклюжие, разностильные и суховатые, только в пении обретают художественную плоть. Цельная, литая мелодия марша, как обручем, охватывает стих; в мощном мелодическом потоке тонут смысловые и стиливые шероховатости, над песней взмывает некий общий пафос волевой решимости и благородной силы, сквозь который брезжат короткие лозунговые фразы, обращенные не столько к разуму, сколько к чувству.

Здесь перед нами один из парадоксов идеологизированной массовой

<sup>19</sup> Б. Эйхенбаум. О поэзии. Л., 1969. С. 529.

<sup>20</sup> См.: Е. Штакенингейдер. Дневник и записки. Л., 1934. С. 246, 281.

<sup>21</sup> Н. Мандельштам. Вторая книга. Париж, 1972. С. 348.

<sup>22</sup> Подробнее об этом см.: В. Фрумкин. О некоторых функциях музыки в синтетических искусствах // Papers in Slavic Philology. 1. Ann Arbor, 1977. P. 77–99.

культуры: политическая песня, порожденная идеологией и призванная ей служить, не имеет дела с идеями как таковыми. То, что передается от нее массовому исполнителю-слушателю, гораздо тоньше и неопределеннее, чем четко оформленная мысль. Не потому ли так легко мигрирует песня из одного идеологического лагеря в другой?

До 1933 года немецкие коммунисты и нацисты нередко обменивались песнями, приспособлявая их к своим нуждам при помощи «нескольких поправок в тексте», как вспоминал композитор-нацист Ганс Баер. Обходилось иногда и без поправок: любимая ленинская «Смело, товарищи, в ногу», подхваченная берлинскими коммунистами, пелась потом штурмовиками в неизменном виде, и лишь позднее в ней появились специфические для нацистов словесные детали<sup>23</sup> (о песнях, которые верой и правдой служили и сталинской России, и гитлеровской Германии, см. в моей статье «Песни меняют цвет, или Как Москва перепела Берлин» // *Nota Bene*. 2006. № 16). Как видно, неточно выразился Ильич, говоря о «пропаганде социализма посредством песни» (см. в моих статьях «Евгений Потье» и «Развитие рабочих хоров в Германии»). Если пропаганда это «распространение в массах и разъяснение воззрений, идей, учения, знаний» (словарь С. И. Ожегова), то песня ничего не пропагандирует. Ее специальность – не разъяснять идеи, а внушать бесконечную веру в их непогрешимость.

### **«С верой святой в наше дело...»**

«Что поешь – в то и веришь», – заметил Солженицын, раздумывая о том, почему «политическое начальство» так убеждено «в первостепенном воспитательном значении именно хора»<sup>24</sup>. Начальство вряд ли изучало психологию музыки, но оно, по-видимому, кое-что знало о ее магической власти над нашим сознанием и волей. Власть эту глубоко чувствовал и проникновенно передал Лев Толстой. «Страшная вещь музыка, – писал он в "Крейцеровой сонате". – Музыка заставляет меня забывать себя, свое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу... В Китае музыка государственное дело. И это так и должно быть (!? – В. Ф.). Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих, и потом бы делал с ними, что хочет».

Толстой почувствовал в действии музыки то, что на языке науки называют «отчуждением сознания». Догадка писателя вполне подтверждается политикой и практикой идеологических культур: массовые жанры музыки широко используются ими для манипулирования общественной психикой.

Русская дореволюционная политическая песня, ставшая (пока что) не

<sup>23</sup> Й. Шкворецкий. Жгучая тема // *Континент*. 1982. № 33. С. 252.

<sup>24</sup> А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Т. 2. Ч. III–IV. С. 479.

государственным (это – в будущем), а партийным делом, успешно гипнотизировала тысячи людей вестью «о близком освобождении человечества от наемного рабства» (Ленин)<sup>25</sup>. Великое Учение, воплощаясь в песне, обретает явные черты религии, своего рода идеологического культа.

Энгельс как-то обронил замечание, что песни прошлых революций, за исключением «Марсельезы», редко звучат по-революционному в позднейшие времена, так как для того, чтобы воздействовать на массы, они должны отражать и «предрассудки того времени». Поэтому «Марсельезой Реформации», гимном крестьянской войны XVI века был хорал Мартина Лютера «Господь – наш истинный оплот», а «религиозная чепуха» есть «даже у чартистов»<sup>26</sup>. Не без изумления обнаружил бы Энгельс «религиозную чепуху» и в гимнах русских марксистов. В их тексты то и дело вплетается (пришедший отчасти из народнической поэзии) язык Священного Писания, дополненный оборотами из торжественной оды. Конечная Цель окружается ореолом святости («И сольются в одно все народы / В вольном царстве святого труда»), освящаются и средства ее достижения («На бой кровавый, святой и правый...»). Высокая лексика (в сочетании с величавым ритмом) камуфлирует «низкие» мотивы ненависти, зависти, мести («Раздайся, крик мести народной»), так что из шкалы революционной злобы, начертанной Блоком в «Двенадцати» («Злоба, грустная злоба кипит в груди... Черная злоба, святая злоба»), в песнях явственно слышится только одна – святая.

Музыка гигантски усиливает этот мотив величия и святости. В ней тоже есть отголоски религиозных традиций, а именно – русского духовного канта XVII–XVIII вв., который продолжал питать отечественную музыку и в следующем столетии, сказавшись, к примеру, в знаменитом «Слався» из «Жизни за царя» Глинки. Другая музыкальная традиция, усвоенная пролетарскими гимнами, пришла из Европы. Это – героический марш, зародившийся во Франции во время революции конца XVIII века и развитый Бетховеном, Россини, Верди, Листом, Берлиозом, а также повстанческим фольклором Италии, Испании, Венгрии, Польши<sup>27</sup>.

Круговая порука национальных и интернациональных культурных связей поднимала моральный авторитет русских марксистских гимнов, их голосом как бы говорила сама Великая Доктрина, провозгласившая себя венцом общечеловеческой культуры. «Наши песни – в них наша вера», – произносит один из героев горьковского романа «Мать». И правда – где еще так концентрированно и страстно выражены основные постулаты новой религии? Псалмы и хоралы русской революции стали важнейшим элементом партийной литургии. Их исполнение часто превращалось в некое таинство, в своего рода обряд причащения. Участники песенного действия дово-

<sup>25</sup> А. Сохор. Цит. соч. С. 10.

<sup>26</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 36. М., 1964. С. 269, 268.

<sup>27</sup> См.: М. Друксин. Интернациональные традиции в русской революционной песне // Исследования и воспоминания. Л., 1977.

дили себя до экстаза – совсем как члены священного ордена или религиозной секты, вкладывающие в молитву весь пламень своей веры. Вот несколько свидетельств, относящихся только к одному гимну – «Интернационалу».

Фурманов, 1917: «Певали свой гимн мы до этого, певали и после этого многие сотни раз, но не помню другого дня, когда его пели бы, как теперь: с такою раскрывающейся внутренней силой, с таким горячим захлебывающимся порывом, с такой целомудренной горячей верой в каждое слово... вот он и грянул, великий гром!.. – может ли ошибаться эта песня, впоенная кровью мучеников?»<sup>28</sup>

Безыменский, 1918: «...О, как спели мы тогда "Интернационал". Каждое слово великого гимна сливалось с биением сердца любого из нас, каждая строчка гимна была нашей клятвой партии большевиков, навечной присягой молодежи в верности идеям коммунизма»<sup>29</sup>.

Горький, 1928: «...Сто сорок батраков пропели "Интернационал" с такой изумительной силой, какой я не чувствовал никогда еще, хотя и слышал, как "Интернационал" пели тысячи – прекрасно пели, но это было пение верующих давно и крепко, а сто сорок батраков спели символ веры борцов как люди, только что и всем сердцем принявшие новую веру, и с поразительной мощью звучал гимн ста сорока сердец, впервые объединенных в одно...»<sup>30</sup>

Действие этих «символов веры» было глубоким и долговременным. Образ Утопии внедрялся ими в самые интимные уголки народного сознания, миллионы душ проникались нездоровой дихотомией любви (к будущему) и ненависти (к настоящему). Пламенные и гордые песни освящали и заранее искупали кровавое насилие над частью человечества ради спасения грядущих поколений.

### **«Купим кровью мы счастье детей»**

Красные победили отчасти потому, что смогли сложить вдохновенные гимны, покорившие массы. У белых таких гимнов не было. Правда, попытки соревноваться с красными они предпринимали, в частности – переделывая их песни на свой лад. Ленинградский музыковед Александр Наумович Должанский поделился со мной однажды своим детским воспоминанием: в Ростова-Дону входят войска белых, оглашая город призывной героической песней:

Смело мы в бой пойдем  
За Русь Святую  
И всех жидов побьем,  
Сволочь такую!

---

<sup>28</sup> Биографии песен. М., 1965. С. 45.

<sup>29</sup> Там же. С. 46.

<sup>30</sup> Там же. С. 50.

Можно не сомневаться, что призыв падал на благодатную почву, но все-таки куда убедительней и набатнее звучали у красных высокие жертвенные строки «И как один умрем / В борьбе за это!»

Песнопения советского времени унаследовали ряд особенностей революционных гимнов, но их тематическую схему – отвергли. Новая эпоха внесла коррективы как в катехизис марксистской веры, так и в ее литургию.

### Аккомпанемент или контрапункт?

**Ефросимов:** ...И девушки с ружьями – девушки! – ходят у меня на улице под окнами и поют: «Винтовочка, бей, бей, бей... буржуев не жалей!» Всякий день!..

**Адам:** Вы против этой песни?

**Ефросимов:** Нет, я вообще против пения на улицах.

**Адам:** Ге-ге-ге... Однако!.. Вы забываете, профессор Ефросимов, что на стороне СССР великая идея!

*М. Булгаков. Адам и Ева*

Общественная чуткость песни (свойство, давно за ней замеченное) выступает в иные моменты истории с поразительной наглядностью и притом в самых неожиданных формах. Молниеносно реагировала советская песня на смерть Сталина. Не то чтобы она принялась оплакивать почившего вождя – нет, она попросту растерялась. Ее зычный, самоуверенный голос словно бы осекся. Что-то явственно сдвинулось в звуковой атмосфере страны. Из радио враз исчезли песни о Сталине – святая святых советской гимнографии. Вместо них на передний план вышли песнопения на тему «Партия – наш рулевой», но звучали они, по сравнению с исполненными теплоты и обожания сталинскими гимнами, риторично и холодно, оставляя народ в равнодушном недоумении. Сник и дрогнул, будто чувствуя свою неуместность, весь головной эшелон советской массовой музыки – песни-лозунги, песни-плакаты, служившие вечно праздничным звуковым фасадом государства.

Огромная, безупречно отлаженная песенная индустрия стала давать перебои. Ее привилегированное положение пошатнулось. Почти четверть века государственная песня практически не знала конкуренции внутри страны. Теперь у нее появились соперницы: вначале песни лагерей и тюрем, принесенные на волю дожившими до амнистии ээками, потом – песенный фольклор студентов, альпинистов, туристов, геологов, наконец – свободная, внецензурная «гитарная поэзия» Окуджавы, Галича, Высоцкого и других поэтов-певцов, песни которых стали растекаться по стране на сотнях тысяч магнитофонных лент.

Официальной песне пришлось несколько потесниться. Массовые гимны перестали вызывать массовый энтузиазм, они все реже вспыхивали на праздничных демонстрациях или домашних вечеринках. Зато все чаще они становились мишенью бурно расцветавшего подпольного юмора. Парафразы и па-

родии на советские и революционные песни действовали ошеломляюще: крылатые строки, составлявшие «поющийся кодекс» нашей морали и веры, вдруг закружились в каком-то дьявольском танце, стали издевательски подмигивать и выворачивать священные постулаты наизнанку, пустились в дерзкие намеки:

Весь мир насилья мы разрушим  
До основания. А зачем?

Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью...

За столом никто у нас не Лифшиц...

Мы сводили счеты с прошлым, развенчивая песни, с которыми прожили жизнь. Еще вчера они были растворены в воздухе, которым мы дышали. Песни роились в атмосфере, сливаясь в сплошной будоражащий гул, в неутомимый аккомпанемент событий, разыгрывающихся на советской исторической сцене. Станный это был, однако же, аккомпанемент: вносил он, скорее, диссонанс, чем благозвучие. Впрочем, до смерти Сталина, XX съезда, «оттепели» диссонанс этот ощущался немногими. Потребовались годы, чтобы люди (увы, далеко не все) смогли понять, что между тем, как они жили, и тем, как они пели, ничего похожего на благостную гармонию не было. Песни не аккомпанировали действительности, они сплетались с ней в сложной полифонии, в причудливом контрапункте, основанном на какой-то таинственной логике.

В самом деле, в относительно спокойные 20-е годы, при нэпе, когда — после гражданской войны, военного коммунизма, разрухи — народ стал понемногу приходить в себя, в песнях, насаждавшихся сверху, продолжал клекотать дух борьбы, их поступь была либо суровой, либо механически-рассудочно бодрой, эмоции — спартански-аскетическими. Но стоило только разразиться коллективизации, а за ней — в 1932 году — жесточайшему голоду, как советская песня начала безмятежно улыбаться, и улыбка эта становилась все шире по мере того, как раскручивалась мясорубка террора, методически перемалывая слой за слоем советского общества.

Лишь в годы войны с Германией песня, наконец, отозвалась на то, чем жили, что чувствовали люди, чтобы потом, когда отшумела война и государство оправилось от смертельного испуга, снова заговорить, загалдеть о чем-то своем, от реальной жизни весьма далеком. Песни наполняли нас гневом к мифическим поджигателям новой войны, гордостью покорителей природы, любовью к Сталину, Мао, Ленину, партии...

Спору нет, не одна песня — вся советская культура норовила глядеть как-то в сторону от живой жизни. И все-таки песня — особый случай, испокон веков находилась она в руках самого народа, была его голосом. Недаром мыслители прошлого не уставали дивиться правдивости песни, ее умению схватывать ход истории. Пушкин, например, сочувственно цитирует Эжена Скриба, назвавшего песни Франции «веселым архивом», «поющими летописями».



И вот впервые в истории песенная культура нации перестает быть непосредственным голосом народа, живое народное творчество вытесняется и подменяется централизованной индустрией идеологических шлягеров и строго дозируемых, тщательно выверенных цензурой лирических песен. Вольная птица – русская песня приручается, национализируется, присваивается могущественным государством. Ликуют советские критики: «Победа качественно нового жанра...», «новая, небывалая доселе песня...»<sup>31</sup>, «песни, принадлежащие профессиональным авторам, стали занимать в быту народа то место, которое раньше принадлежало песням народным»<sup>32</sup>. Радуются, что песня – уже не веселый архив, не летопись, не зеркало народной души. Судьба ее отныне – стоять на «переднем крае фронта идейного воспитания масс»<sup>33</sup>.

### Почти бесплодные 20-е годы

«Ходячий граммофон» – так говорит о своей жене Уинстон Смит, герой орвелловского «1984»: «В голове у нее не было ничего кроме лозунгов». Лозунги обрушиваются на граждан Ангсоца с плакатов, телескринов, со столбцов газет, из речей ораторов. Не из песни – она здесь воспринимается как элемент официозной декорации, как рядовой участник пропагандистской рутины. Сминая песня раздражает: «Телескрин передавал надрывное дребезжащее пение какой-то девицы, исполнявшей патристическую песню. Уинстон сидел, уставившись на тетрадь в мраморной обложке и тшетно пытаясь выключить из сознания металлический голос... Девица запела другую песню. Голос ее вонзался в мозг, как зазубренный осколок стекла».

Орвелл явно недооценил возможностей, таящихся в огосударствленной песне и столь успешно использованных в советской России, фашистской Италии, нацистской Германии, в коммунистическом Китае и других деократиях. Со знанием дела пишут о действии массовой песни советские авторы:

«Все детство и юность Виктора прошли под знаком песен борьбы, подполья и баррикад. Эти песни учили его жить, чувствовать, думать. И он знал уже, что вся-то наша жизнь есть борьба, и чуял, как веют над ним вихри враждебные, и готов был стоять насмерть под натиском пьяных наемных солдат, и понимал, что иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка, а остановка, отдых, покой – только в мировой коммуне. В этих песнях был образно сформулирован весь кодекс чести коммунара; и доведись Виктору попасть под вражьи пули – он уж знал бы, как держаться: стоял бы, бровью не дрогнув, и умер бы с песней на устах»<sup>34</sup>.

Виктор списан с натуры, он вполне реален и типичен, сказанное о нем можно отнести «ко многим и многим тысячам комсомольцев тех лет», то

<sup>31</sup> А. Бочаров. Советская массовая песня. М., 1956. С. 5, 6.

<sup>32</sup> А. Сохор. Русская советская песня. С. 157.

<sup>33</sup> А. Сохор. Воспитательная роль музыки. Л., 1962 С. 28.

<sup>34</sup> Б. Горбатов. Донбасс // А. Сохор. Цит. соч. С. 28.

есть 1920-х годов<sup>35</sup>. Трудное это было десятилетие для молодой советской песни, отмечено оно считанными удачами: не случайно, как видно, в репертуаре Виктора фигурируют только песни революции («Варшавянка») и гражданской войны («Марш Буденного», «Расстрел коммунаров», «Паровоз»), созданные фольклорным или полуфольклорным способом.

У профессионалов дело шло из рук вон плохо. Сотни композиторов и поэтов, разбившись на леворадикальные «производственные коллективы», трудились в поте лица, пытаясь сконструировать некий новый, очищенный от народных традиций стиль пролетарской массовой музыки. Результатом этих попыток явились песни-монстры, трескучие, усложненные и холодные, которые никто не хотел петь. Недисциплинированные массы пробавлялись так называемой «нэпманской» музыкой и даже на демонстрациях, попеременно с «Молодой гвардией» и «Нас побить, побить хотели», горлачили «Цыганочку», «Разлуку», «Ах, зачем ты меня целовала» или «Товарищ, товарищ, болят мои раны»<sup>36</sup>.

Деятели РАПМа (Российской ассоциации пролетарских музыкантов) в пылу сражения против «легкого жанра» ополчились также на гимны гражданской войны и молодежные песни 20-х годов (типа «Там, вдали, за рекой») – за близость городской лирической и солдатской песне. Эти жанры фольклора объявлялись мещанскими, псевдореволюционными и солдафонскими и, следовательно, для пролетариата вредными. Между тем без поворота вспять, к привычной для миллионов русской мелодике, на успех новой песенности нечего было и рассчитывать. Весной 1932 года государство разгромило рапповских фанатиков-пуритан, а заодно и все другие полунезависимые объединения (постановлением ЦК «О перестройке литературно-художественных организаций»). Идеологический ригоризм в подходе к массовой музыке уступил место прагматизму. Результат сказался немедленно: тот же 1932 год стал годом перелома в истории советской массовой песни.

## Расцвет

Казалось, что мастера песни, подобно алхимикам, открыли некую sacramентальную формулу, магический рецепт коммунистического шлягера. Новые песни становились всенародно популярными, едва появившись в фильме или прозвучав по радио. Они были близки музыкальному сознанию масс, ибо опирались на родные интонации, отстоявшиеся в русском городском и солдатском фольклоре, а также на элементы западной легкой музыки и джаза. Талантливые композиторы ковали из них прекрасные мелодии – пластичные и ясные, ухитрявшиеся сочетать лирическую теплоту с упругим маршевым шагом. Неотразимая музыка обеспечила новой песне львиную долю успеха.

Не отставали и поэты. Они научились говорить с массами просто, непри-

<sup>35</sup> А. Сохор. Цит. соч. С. 28.

<sup>36</sup> М. Заржевская. Опыт изучения песен на демонстрации // Пролетарский музыкант. 1930. № 9/10.

нужденно и увлекательно, бросая им ловко сколоченные афористические фразы, которые, как крючки, зацепляли сознание и навсегда застревали в нем. Подхваченные горячим, пульсирующим потоком музыки, эти призывы и сентенции запленили страну: их цитируют в политических речах и докладах, художники снабжают ими плакаты и рисунки, редакторы выносят их в заголовки статей и фотоматериалов, народ включает их в повседневную речь.

Новые песни многое взяли от революционных гимнов: форму построения (куплет), технику лозунгов-афоризмов, маршевость походки. Остались в них и черты культовости (особенно в гимнах о Сталине, Ленине, партии), но скорее не христианской, а древней, языческой: в их звучании, в обстановке исполнения все заметнее проглядывает дремучая ритуальность с ее фетишизмом, культом вождей, манией переодеваний и шествий<sup>37</sup>.

В то же время смысловая основа классической советской песни – совсем иная. Песня нового типа полностью свободна от главного пафоса революционного искусства – пафоса отрицания. Его заменил пафос утверждения. Это уже не «песни народного гнева», некогда встретившиеся Бунину, но песни всенародного счастья. Образ обещаемого прекрасного мира, когда-то маячивший где-то вдалеке, теперь разросся, заполнил всё песенное пространство и, главное, стал сегодняшним, уже достигнутым. Прежде декларативный и туманный, он обрел чувственные формы, краски, запахи:

Нас утро встречает прохладой,  
Нас ветром встречает река.  
Кудрявая, что ж ты не рада  
Веселому пенью гудка?

Мелодия, которая несет эти бодрящие слова, прозрачна, как свирельный наигрыш, и подвижна, как легкий веселый марш. Возвращения ее с очередным куплетом ждешь как праздника. «Песню о встречном» написали Борис Корнилов и Дмитрий Шостакович для фильма «Встречный» в 1932 году. Фальшивый и посредственный фильм, в котором «сусальные ударники одерживали легкие победы»<sup>38</sup>, давно забыт, а песня жива, ее еще помнят в России и знают за ее пределами: в 1948 году она стала (с новыми словами) гимном ООН, в Швейцарии ее пели на свадьбах. Историки и теоретики музыки рассматривают эту песню как истинное произведение искусства, достойное самого вдумчивого анализа. Интерес специалистов к «Песне о встречном» не случаен: она стала вехой в истории советского песнетворчества, с нее начался период ослепительного расцвета, пик которого совпал с апогеем «большого террора» 30-х годов.

Песня эта задавала тон массовой музыке всего предвоенного десятилетия – тон неомраченной радости. Написали ее молодые авторы: Корнилову было

<sup>37</sup> *И. Шкворецкий*. Цит. соч. С. 253–254.

<sup>38</sup> *И. Эренбург*. Люди, годы, жизнь // Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. М., 1967. С. 48.

25 лет, Шостаковичу – 26. Оба впоследствии оказались жертвами эпохи, но по-разному. Поэт был расстрелян в 1938-м. Композитор двумя годами ранее подвергся общественной казни (за оперу «Леди Макбет Мценского уезда» и балет «Светлый ручей»), затем публично покаялся, обещая «перестроиться», через год был облакан (за Пятую симфонию), через 11 лет – снова экзекуция («антинародный композитор-формалист»), и эти мучительные циклы подъемов, падений, покаяний и перестроек наложили трагический отпечаток на его человеческую и художническую биографию.

Свои счета с официальной критикой были и у Корнилова. В начале 30-х годов он был вознесен ею (за массовые песни и поэму «Триполье»), в 1934-м Бухарин объявил его надеждой советской лирики и взял в редакцию «Известий». В 1936-м поэта отлучают от литературы: «набор слов», «торопливейшая и безграмотная мазня», «пошлость и беспардонная болтовня» – таковы типичные оценки его новых работ<sup>39</sup>. И дело здесь не только в падении его высокого покровителя, но и в духовном кризисе, постигшем поэта, который не умел приладиться к новому времени, к сталинщине. С конца 1935 года его вещи производят впечатление «усталого движения по инерции», в них чувствуется «вымученный оптимизм», «усталость и апатия»<sup>40</sup>. Как далеко это от «Песни о встречном», где «радость поет, не скончав», от песни, запечатлевшей юношеские иллюзии и упрямую веру в правоту советского дела, обернувшуюся потом самообманом, самоослеплением!

Был ли это только САМОобман, только пережиток былого энтузиазма революционных и пореволюционных лет? Нет, упорный оптимизм, теплившийся в сердцах (преимущественно городской) молодежи, усиленно подогревался властью и расталкивался ею вширь, в массы. Пресловутый энтузиазм молодых строителей первой пятилетки был сложной смесью импульсов, шедших снизу и навязываемых сверху. Вера в неминуемый прогресс и бодрое настроение становились нормой, правилом идеологического хорошего тона, признаком принадлежности к передовому классу. В «Котловане» А. Платонова активист Сафронов постоянно озабочен тем, чтобы сердце каждого «обратило внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы, и произошел бы энтузиазм!» Бывало, однако, что и он «начинал сомневаться в счастье будущего» и «боялся забыть про обязанность радости... "У кого в штанах лежит билет партии, тому надо непрерывно заботиться, чтобы в теле был энтузиазм труда. Вызываю вас, товарищ Вошев, соревноваться на высшее счастье настроения!.. иль ты не знаешь, что скорбь у нас должна быть аннулирована!"» Сафронов предлагает установить громкоговоритель «для заслушанья достижений и директив! У нас есть здесь отстающие массы, которым полезна была бы культурная революция и всякий музыкальный звук, чтоб они не скопляли в себе темное настроение!»

Реальные прототипы товарища Сафронова, занимавшие куда более высо-

<sup>39</sup> В. Эрлих. На правах рецензии // Литературный Ленинград. 1936. 17 сент.

<sup>40</sup> Б. Корнилов. Стихотворения и поэмы. М., 1966. С. 41.

кие посты, вели агитацию за «счастье настроения» в масштабе страны. Делали они это, как правило, руками деятелей искусства, в частности – мастеров «музыкального звука», массовой песни. Правда, некоторые из этих мастеров проявляли непонятное упрямство и, несмотря на блестящий опыт «Песни о восточном», считали выражение чистой радости делом преждевременным:

И мы сумеем грянуть песней,  
Чтоб от нее сады цвели, –  
Сильней, лиричней и чудесней  
Всех прошлых песен всей земли.  
А нынче – пусть простой и храбрый,  
Как воин, бьет врага мой стих  
И, как уборщик, жесткой шваброй  
Метет в проулках бытовых.  
*В. Лебедев-Кумач. 1933*

Тем временем требование писать лиричнее и проще стало включаться в условия государственных песенных конкурсов: заказчики, не церемонясь, давали понять художникам, за какую музыку они собираются платить. ЦК ВЛКСМ, объявляя всесоюзный конкурс на массовую походно-маршевую военную комсомольскую песню, указывал, что песни «должны быть написаны в бодрых, жизнеутверждающих тонах, необходима напевность» и, кроме маршевых вещей, желательны также «бытовые (плясовые, лирические, частушечные и т. д.)»<sup>41</sup>.

### **«Мы можем петь и смеяться, как дети...»**

Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками.

*Ф. Достоевский. Братья Карамазовы.  
Глава «Великий инквизитор»*

В зловещем декабре 1934 года, через три недели после убийства Кирова, на экраны выходят «Веселые ребята», первая кинокомедия с музыкой И. Дунаевского. Страна, как по мановению дирижерской палочки, подхватила марш «Легко на сердце от песни веселой» и «Сердце, тебе не хочется

---

<sup>41</sup> Советское искусство. 1933. 2 сент.

покая». Так началась повальная песенная эпидемия второй половины 30-х, и развивалась она, по странному (а, может, и не очень странному) совпадению, параллельно с ужесточением и расширением репрессий. Сам Дунаевский объяснял успех «Марша веселых ребят» «общим настроением широких масс, к тому времени явно захотевших шагать по жизни с веселой песней»<sup>42</sup>. Композитора дополняет историк музыки: «...В середине 30-х годов страна словно расправила плечи, вздохнула полной грудью. Повысился уровень жизни масс, появилось больше возможностей думать о быте, отдыхе, веселье – и людей еще сильнее потянуло к песне»<sup>43</sup>.

Да, кончился катастрофический голод, унесший миллионы жизней, отменили карточную систему, в магазинах появились кое-какие товары – но могла ли вздохнуть полной грудью страна, скованная нарастающим страхом?

В одном, правда, не погрешил советский историк: потянуло людей к песне неудержимо. Миллионы граждан были охвачены песнеманией, авторы и издательства не успевали насытить рынок: невиданные до того тиражи листовок с новыми песнями – до 600 тысяч! – расходились с невероятной быстротой. К мощной армии песенников-профессионалов присоединились отряды любителей: тысячи самодеятельных авторов принимают участие в конкурсах на лучшую песню. Конкурсы проводятся даже за колющей проволокой, и песни, сложенные лагерниками, публикуются в специальных сборниках<sup>44</sup>. Читатели газет постоянно жалуются на нехватку нот. «Сотни, тысячи экземпляров песен немедленно по их получении расхватываются, – сообщает 30 июня 1936 года челябинская газета. – "Уральский рабочий", подобно ряду других газет, время от времени печатает музыку и текст популярных песен. Это вызывает усиленный спрос на соответствующие номера газет!»<sup>45</sup>

Как известно, газеты, кроме песен, в изобилии печатали материалы показательных процессов – обвинительные заключения, приговоры, резолюции трудовых коллективов с требованием немедленной казни врагов народа – и призывали население разоблачать еще не выявленных врагов. В кампанию по нагнетанию ненависти включились все средства, формы и жанры массового воздействия.

Все – кроме песни. Ей выпала иная миссия. Песня приняла участие в другой кампании, которая велась параллельно и была направлена, с точки зрения психологического эффекта, в прямо противоположную сторону. Если первая тянула психику вниз, в темную бездну, то вторая толкала ее вверх, к свету. Она порождала ощущение беззащитности, подозрительности и страха, другая провоцировала атмосферу побед и свершений, молодости и прогресса<sup>46</sup>.

---

<sup>42</sup> Ленинградская правда. 1937. 4 янв.

<sup>43</sup> А. Сохор. Русская советская песня. С. 155.

<sup>44</sup> А. Соляженицын. Цит. соч. С. 119.

<sup>45</sup> Цит. по: А. Сохор. Русская советская песня. С. 171.

<sup>46</sup> О двунаправленности советской пропаганды тех лет см.: Р. Конквест. Большой террор. Firenze, 1974. С. 208.

Известный философ Георгий Федотов с удивлением прислушивался к доносящимся к нему в Париж из охваченной террором страны звукам радостного ликования: «Перебираешь одну за другой черты, которые мы привыкли связывать с русской душевностью – и не находишь их в новом человеке... Мы привыкли думать, что русский человек добр. Во всяком случае, что он умеет жалеть... Кажется, жалость теперь совершенно вырвана из русской жизни и из русского сердца... Чужие страдания не отравляют веселья, и новые советские песни не звучат совершенно фальшиво в СССР:

И нигде на свете не умеют,  
Как у нас, смеяться и любить...»<sup>47</sup>

Леденящий страх и окрыляющая радость были реальны в равной степени для миллионов советских людей. Как же совмещались они в массовом сознании? Как убереглось оно от непоправимого надлома, почти неизбежного при столкновении столь диаметрально противоположных эмоций? Произошло это, вероятно, потому, что эмоции эти были неравнозначны по своей роли и весу. Перефразируя Орвелла, можно сказать, что одна из них – радостная – была «равнее другой». Террор воспринимался как нечто временное, преходящее, народ из всех сил старался верить, что «у нас зря не сажают», что искореняемые враги скоро будут выловлены и уничтожены до последнего, что невиданное массовое кровопускание – это последняя туча гигантской революционной бури, после которой воцарится тот лучезарный свет, который уже полыхал в прекрасных счастливых песнях. Нелишне здесь вспомнить и высказанную Ханной Арендт в «Истоках тоталитаризма» отрезвляющую мысль о том, что тоталитарное общество, в отличие от тирании, создается снизу и в определенных условиях отвечает глубоким потребностям масс. Террор порождает социальную мобильность, активную вертикальную миграцию. Александр Зиновьев заметил как-то, что если бы не Великая Чистка, не стать бы ему, крестьянскому сыну, видным московским философом. И в самом деле, в те годы многие из тех, кто был ничем, становился хоть чем-то, а потому «Ну, как не запеть в молодежной стране...»

Отсюда, как видно, и подлинная, не наигранная радость на лицах тогдашних москвичей (что отмечал в свое время Наум Коржавин), как и то, что новые песни, по наблюдению Г. Федотова, не звучали в те годы «совершенно фальшиво». «Да, – подтверждает слова философа московский критик Бенедикт Сарнов, – в стране повального страха, чудовищного тотального террора все эти ликующие, до краев наполненные радостью и счастьем слова и мелодии ("Я другой такой страны не знаю, где так вольно ды-

---

<sup>47</sup> Цит. по: Б. Сарнов. Наш советский новояз. М.: Материк, 2002. С. 252. Г. Федотов, очевидно, привел «Песню о Родине» по памяти. У Лебедева-Кумача: «И никто на свете не умеет / Лучше нас смеяться и любить».

шит человек...", "Только в нашей стране дети брови не хмурят, только в нашей стране песни радуют слух..." и т. п.) не звучали тогда фальшиво»<sup>48</sup>.

Во второй половине 30-х годов две отмеченные выше главные темы психологического воздействия сосуществовали и переплетались в прессе и радио, в поэзии и прозе, в искусстве плаката, в театре и кино. Песня на такую эластичность оказалась неспособной, она не примкнула к хору озлобленных, охрипших от ярости голосов, призывавших к сыску и расправе. Погромные стихи Д. Бедного («Пощады нет!»), Безыменского, Джамбула Джабаева («Уничтожить!») или П. Антокольского («Ненависть») так и остались стихами, никто не положил их на музыку. Традиционный для дореволюционных политических гимнов мотив классовой ненависти притих, передвинулся на периферию песни и подчинился общему пафосу прославления сущего: упоминание о враге (это, как правило, внешний враг) связывается с мотивом защиты социалистического отечества («Но сурово брови мы насупим, / Если враг захочет нас сломать»).

Песне хватило деликатности, чтобы не включиться в кровавую оргию 30-х годов. Грех подстрекательства к убийствам или их восторженного одобрения ее не коснулся. Над ней тяготеет другой грех – соучастие в создании миража, который для многих стал «реальнее действительности»<sup>49</sup>. Мифическое светлое будущее, которое вроде бы еще только строилось, уже было воздвигнуто в душах людей. Песня – талантливый манипулятор и гипнотизер, великий ловец человеческих душ – сыграла в этой роковой операции далеко не последнюю роль. Ловко обвела она вокруг пальца и иностранных граждан: перелетев за рубеж, песня стала важнейшим элементом советского камуфляжа, улыбчивой посланницей гуманной социалистической страны. Государство-монстр напялило и выставило миру ярко раскрашенную маску. Многие приняли ее за человеческое лицо.

---

<sup>48</sup> Б. Сарнов. Цит. соч. С. 252. Объясняет этот феномен Сарнов как-то вскользь, и притом загадочно и туманно: «Ведь помимо смысла, помимо "текста слов", было в этих любимых наших песнях еще и что-то другое, заставлявшее вздрагивать наши сердца. Мелодия? Да, конечно, и мелодия тоже. Но и не только мелодия. Что-то еще, неуловимое, трудно определяемое. Быть может, воздух того времени, когда страна, в которой мы жили, еще не успела стать планетой без атмосферы». Из дальнейших рассуждений критика, правда, можно заключить, что «планетой без атмосферы» СССР стал к концу Второй мировой войны, когда страна начала все больше смахивать на фашистскую диктатуру. Отсюда напрашивается вывод, что, по мнению Б. Сарнова, песни, покорившие молодое поколение 30-х годов, мог породить лишь режим периода «бури и натиска», когда молодые идеалисты все еще верили его пропаганде.

<sup>49</sup> М. Геллер, А. Некрич. Утопия у власти. Т. 1. Лондон, 1982. С. 291.



# КРЕМЛЕВСКИЕ СОСИСКИ, или ИСЧЕЗНУВШАЯ РЕЧЬ ХРУЩЕВА

Странная судьба постигла эту речь. Несправедливая судьба.

Куда как больше повезло тем речам и репликам вождя, которые были обращены к художникам и скульпторам, писателям и поэтам. Они – тем или иным способом – становились достоянием гласности и предметом осмысления историками культуры, несмотря на вкрапленные в них подчас крепкие выражения и неожиданные, прямо-таки шокирующие оценки. «За что этому художнику платят 50 рублей? За эту мазню? Денег ему дать до границы!» Эта тирада, как кое-кто еще наверняка помнит, была вызвана «Обнаженной» Фалька, которую Никита Сергеевич увидел на выставке в Манеже в роковой для советской культуры день, 1 декабря 1962 года.

Услышав в ответ, что «Фальк уже четыре года как на кладбище», высокий гость быстро двинулся вдоль стен, выкрикивая на ходу: «Кто им разрешил так писать?», «Всех на лесоповал! Пусть отработают деньги, которые на них затратило государство!», «Безобразие! Что это – осел хвостом написал, или что?!» Затем именитый посетитель набросился на Эрнста Неизвестного, стоявшего возле своих абстрактных работ из бронзы, но, получив отпор, побагровев, бросил знаменитое: «Пидарасы несчастные!» – и пулей вылетел из Манежа.

Вслед за этим грянули кремлевские встречи, по официальной формулировке – «с деятелями искусства и литературы»: 17 декабря того же года и 7–8 марта следующего, 1963-го, где новоявленный художественный критик энергично и красочно поучал Эренбурга, Евтушенко, Вознесенского, Аксенова, для пушей убедительности топая ногами и стуча по столу кулаком... И все же встречи эти, в отличие от эпизода в Манеже, широко освещались в печати.

Как же получилось, что пространное выступление главного искусствоведа страны перед композиторами так и осталось за зубчатыми стенами Кремля, не пополнило сокровищницу марксистской мысли об искусстве, кануло в лету? Чем была вызвана такая несправедливость? Может, кто-то там, наверху, счел ее, эту речь, государственной тайной, ибо произносилась она не только без бумажки, но и в сильном подпитии, так что ее не смогли причесать для печати, даже одного абзаца выбрать для публикации?

Экскурс в тонкую область музыки вождь совершил в том же марте 1963-го, за полтора года до того, как был отправлен соратниками на заслуженный отдых.

\*\*\*

Солнечный, погожий, с легким морозцем, день ранней московской весны. Только что закончился Всесоюзный съезд композиторов СССР, и мы, его делегаты и гости, направляемся в Кремль на правительственный прием. Впрочем, «направляемся» – не вполне подходящее слово: мы почти бежим, ибо из-за насыщенности последнего дня у нас не было перерыва на обед, все страшно голодно. А тут еще время поджигает: на встречу с руководителями страны надо успеть точно к назначенному сроку! По специальным пропус-

кам входим в Кремль. В просторном фойе перед Георгиевским залом, где назначен прием, нас набивается видимо-невидимо, едва ли не вся могучая композиторская армия страны Советов. Внутрь пока не пускают, чего-то ждут. Наконец, двери распахиваются, и нас приглашают к длинным столам, поставленным буквой П. За «перекладиной» – пусто, «слугам народа», очевидно, полагается выйти, когда публика займет места и утомонится.

Публика между тем повела себя в высшей степени некультурно. Увидев, что высокого начальства в зале нет, композиторы проявили невероятную прыть и ринулись к столам, работая локтями и перебраниваясь. Ни дать ни взять Ходынка в миниатюре. Мне, молодому члену Союза с шестилетним стажем, было невдомек, что виной столпотворения был не столько голод, сколько желание моих коллег встать (сидеть нам не полагалось) как можно ближе к руководителям партии и правительства...

Их появление, однако, было встречено сдержаннее, чем можно было ожидать. Что неудивительно: нашим вниманием безраздельно овладело то, что мы, не веря своим глазам, увидели на покрытых белоснежной скатертью столах. Такого изобилия не было даже в «Кубанских казаках» в фантастической сцене колхозного свадебного пиршества...

И какая сервировка, какие закуски, какие напитки: лучшие сорта водки, редкие грузинские вина, отборный армянский коньяк! Но больше всего поражала цветовая гамма. Еще бы! Перед нами расстелились свежайшие овощи, фрукты и ягоды, которых простой советский человек отродясь не видел в такое время года – ведь не июнь какой-нибудь, а март стоял на дворе! Вот как, значит, питаются наши дорогие вожди, авитаминоз им не грозит...

Не думали мы тогда, что такого гастрономического буйства мы уже не увидим на правительственных приемах: после Никиты хлебосольство властей резко пошло на убыль. Первый же «постхрущевский» прием был устроен не в роскошном Георгиевском зале, а в фойе Кремлевского Дворца съездов, и пир там был отнюдь не горой, без водки и коньяков, одни вина, и те похуже, чем выставил нам от широты души Никита Сергеевич. К тому же его преемник не удостоил нас своим личным вниманием и ближайших соратников на прием не отрядил. Начинались унылые времена серости и застоя...

Поднимая бокалы в ответ на тосты и ухитряясь опрокинуть рюмку-другую в паузах, мои соседи комментировали поглощаемые блюда и гадали, принесут ли официанты на горячее «кремлевские сосиски». «Неприменно возьмите! Сразу, а то вмиг разберут!» – шепнул мне кто-то. Я был заинтригован: речь определенно шла о величайшем деликатесе, потребляемом в высочайших сферах. Вожаденные сосиски оказались липипутами: коротенькими, тоненькими и весьма приятными на вкус. Приехав в Америку, я испытал почти что шок: кремлевский деликатес продавался едва ли не в любой забегаловке...

Гастрономический ажиотаж прекратился, как только объявили, что сейчас с приветственным тостом выступит Никита Сергеевич Хрущев. Выглядел хозяин Кремля радушно, лицо его лоснилось, глаза поблескивали, рот расплывался в широкой улыбке. Был он явно навеселе, вел себя демокра-

тично: «чокался с простыми смертными», как свидетельствует в письме из Гамбурга мой друг и коллега Михаил Бялик.

В непосредственной близости от «великих» Миша оказался случайно. До начала банкета он успел погулять по дворцу, осмотреть царские покои и Грановитую палату. «Играл, помнится, невидимый духовой оркестр... Когда по радио прозвучало приглашение закусить, я счел неудобным бросаться есть, с кем-то еще побеседовал и, когда не торопясь приблизился к столу, оказалось, что места, куда бы можно стать, не было. Коллеги выстроились плечом к плечу, я подошел к одному знакомому, другому – все они, пребывая в ажиотаже, меня не узнавали, никому и в голову не пришло чуть потесниться. "Ну, и упивайтесь-обжирайтесь, – подумал я, – обойдусь без ваших сосисок". И, сильно обидевшись, пошел прочь; туда как раз, куда вскоре явилось великое начальство. Наблюдать его, конечно, было любопытно. Но еще любопытнее – следить за теми музыкантами, что, стоя, как и я, на юг от верхней палочки, считали, что их место – на север (от нее), и стремились туда попасть. Так, отчаянно жестикулировавшего Натана Рахлина заметил К. Данькевич, и, испросив разрешение у кого-то, может, самого Никиты, провел его сквозь караул музыковедов в штатском, торчавших по краям палочки... Когда же вожди чокались с народом, композиторские жены бросались к ним в каком-то экстатическом самозабвении».

Так и не выпало Мише Бялику счастье выпить с Никитой Хрущевым, отеснили его перевозбуждившиеся жены членов СК. Зато «удалось чокнуться с Брежневым», – вспоминает Миша, – да и то «только потому, что он тогда еще был серой лошадкой... Моя соседка крикнула: "Дорогой Леонид Ильич, живите тыщу лет!" "Тыщу не обещаю, – отвечал он, – но буду жить долго"»...

Среди боевых соратников Хрущева светлым нарядным платьем выделялась министр культуры Фурцева. Тут же рядом – прославленные композиторы страны, среди них председатель СК СССР Хренников, Блантер, Шостакович... Дмитрий Дмитриевич, который на публике и, особенно, на официальных церемониях и всегда-то выглядел страдальцем, был бледнее и несчастнее обычного. Возможно, оттого, что ему пришлось (кажется, по требованию Поликарпова, ведавшего в ЦК вопросами культуры), выступить в конце съезда, чтобы уговорить делегатов подвести черту под заранее заготовленным «партийным списком» кандидатов в Правление.

Дело в том, что незадолго до нашего съезда при выборах руководства одной или двух творческих организаций произошла «мирная революция»: официальный список под давлением делегатов был дополнен «случайными лицами», ортодоксов-начальников с треском прокатали, и у руля оказались их более молодые и более либеральные коллеги. Напуганные власти решили воспользоваться авторитетом Шостаковича, чтобы прекратить опасный разгул демократии. «Убедительно прошу делегатов проголосовать за подведение черты», – еле слышно, мертвенным, лишенным тембра голосом проговорил Дмитрий Дмитриевич, глядя куда-то в сторону. Авторитет, на который рассчитывало партийное начальство, сработал, но уважение к великому Мастеру после этой тяжелой сцены несколько пошатнулось, особенно среди композиторской молодежи...

Чтобы лучше видеть говорящего Хрущева, гости вышли из-за столов и сгрудились в середине зала, тянули шеи то вправо, то влево, поднимались на цыпочки. К тому же жара стояла невыносимая, в Кремле было натоплено, как в русской бане. Мне не повезло: я оказался позади ленинградского композитора-песенника Михаила Яковлевича Феркельмана, который был выше меня ростом, так что на цыпочках я простоял всю речь, в результате чего у меня потом дней десять болели икры ног...

Наиболее яркие моменты затянувшего тоста вождя мне хорошо запомнились по той причине, что я их не раз пересказывал моим друзьям и знакомым. Излагаю я их здесь, разумеется, не дословно.

Начал Никита Сергеевич с притчи о том, как некий сельский учитель в один прекрасный день отправился в город по делам. Пешком. Идет он, значит, по дороге, идет, а до города еще далеко. Приустал учитель, присел на обочину отдохнуть, пот со лба вытирает. Вдруг видит – мужик на телеге едет, а в телеге – мешки с зерном. «Куда едешь?» – спрашивает учитель. – «Да в город: на базар пшеницу везу». – «Мне тоже в город, – говорит учитель. – Подвези, будь другом!» – «Нет, барин, лошаденка-то у меня никудышная, и так еле-еле тащится». – «А ты скинь с возу пару мешков и меня посади. Я тебе за них заплачу. В накладе не останешься – получишь больше, чем на базаре бы выручил». – «Э, нет, барин, так не пойдет. Пойми: я же ж эту пшеницу не для себя выращивал – для людей! А ты – "скинь"... Нет уж, извини...» И поехал мужик дальше. А учитель крепко призадумался: вот как простой крестьянин труд свой ценит, и не деньгами его меряет, а людской пользой!

В этот момент мое внимание привлекла невероятная сцена, разыгравшаяся вокруг Феркельмана: его крепко держали неизвестно откуда взявшиеся двое рослых мужчин в одинаковых темно-серых костюмах. Один из них вцепился в правую руку Михаила Яковлевича, которую тот сунул в карман брюк. «Что у вас там!?» – послышался грозный шепот. «За платком полез, жарко...» – «Покажите!» Феркельман дрожащей рукой вытащил носовой платок – и молодчики моментально исчезли, как в землю провалились. Что ж, логично. При входе в Кремль нас не обыскивали, через металлоискатель не проводили – вот и расставили по Георгиевскому залу зорких и быстрых парней: а вдруг у композитора или критика в штанах окажется нож или бомба?

«Ну, а вы, товарищи композиторы? – донесся до меня голос оратора, начавшего тем временем растолковывать смысл своей притчи. – Задумываетесь ли вы, для кого трудитесь, для чего музыку сочиняете? Знаю, есть у нас творческие работники, которые пишут так, чтобы самому нравилось, чтобы своему вкусу потрафить, да еще своей семье, своему узкому кругу. Нет, товарищи, так дело не пойдет. Для людей надо писать, для народа!»

«Между прочим, – тут Никита перешел на более интимный тон, – у меня в спальне на тумбочке приемник стоит. Есть у меня привычка такая: после трудового дня музыку на сон грядущий послушать. Ну, вот недавно лежу, слушаю – и понять не могу. Что-то несусветное играют, скрежет какой-то, вой, лязг – попробуй засни после этого! Вызываю дежурного спе-

циалиста, техника: проверь, говорю, приемник, барахлит, наверно. Посмотрел он, покрутил – нет, говорит, Никита Сергеевич, машина в порядке. Это музыка такая. Как так, говорю, кто же такую, с позволения сказать, музыку написал!? Дождались мы конца, объявляют...»

Гробовая тишина нависла над Георгиевским залом. В воздухе запахло грозovým электричеством. Рассказчик сделал паузу, явно наслаждаясь произведенным эффектом.

«Оказалось... что музыку написал... иностранный автор».

Такого коллективного вздоха облегчения, вырвавшегося из сотен глоток, я не слышал ни до, ни после этого дня...

«Рано радуется, товарищи, – вдруг строго отчеканил Никита, и зал снова замер. – У нас тоже такую, так сказать, "музыку" сочиняют. Некоторые... Да... Но я их называть не буду. (Новый вздох облегчения, смех. Тон вождя мгновенно меняется на доверительный.) Мы же с вами прекрасно знаем: стоит мне кого-нибудь покритиковать, как нижестоящие товарищи тут же начнут принимать меры. И дров наломают. Так что сегодня обойдемся без имен. У вас есть свое руководство, оно само наведет порядок!»

Хрущев был в ударе. Его несло. Его распирало. Это был поток нетрезвого сознания, вдохновенная импровизация хитрого мужичка, упивающегося ролью единоличного Хозяина страны, способного научить уму-разуму кого угодно: физиков и лириков, кукурузоводов и музыковедов...

«Оно, руководство ваше, знает, какую музыку ждет от вас народ. Музыка должна быть красивой, душевной, понимаешь, мелодичной. Хотите, скажу вам, что меня лично больше всего трогает? Скрипка Ойстраха, к примеру, коллектив скрипачей Большого театра (так и сказал "коллектив" вместо "ансамбль"). Но особенно – "Рушничок". Украинская песня. Ее современный композитор написал, ваш коллега. Хорошо постарался, молодец! Побольше пишите такой музыки, побольше. Да я уверен, что вы справитесь. Вот за это и выпьем, товарищи!»

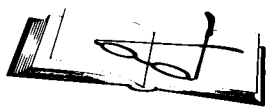
Что-то не помню я, чтобы в ответ на откровения вождя стали чаще передавать игру Давида Федоровича Ойстраха или выступления ансамбля скрипачей Большого театра под руководством Юлия Реентовича. Но вот «Рушничком» начали кормить нещадно. Как демьяновой ухой.

Ридна маты моя, ты ночей не доспала...

Утром и вечером, из радио и телевизоров, с концертных подмостков и скромных сцен домов культуры и сельских клубов лилась милая и славная, но вполне ординарная песенка, ставшая по капризу всемогущего Никиты наваждением огромной страны. Не за это ли бывшие соратники Хрущева, объясняя народу причины его низложения, обвинили его среди прочего в страшном грехе – «волюнтаризме»!?

Вряд ли, конечно, но – чем черт не шутит?..

---



**Владимир Буковский**

бывший политзаключенный, правозащитник, автор пяти книг и десятков статей. Живет в Англии.

**Павел Строилов**

журналист, соавтор В. Буковского книги «Евро СССР, или Советские корни Объединенной Европы». Живет в Англии.

## ЯВЛЕНИЕ ПО ИМЕНИ КЕННЕДИ, ИЛИ АМЕРИКАНЕЦ И МОСКВА

*«Я приветствую Вас как представителя всех Кеннеди. Есть такое явление, именуемое "Кеннеди". Я думаю, оно известно во всем мире, благодаря Вашему брату Джону, прежде всего. Если припомнить его время, именно тогда был дан толчок последующему развитию международных отношений. Даже в ходе той жесткой конфронтации, во времена кубинского ракетного кризиса, мы видели в нем провозвестника нашего сегодняшнего сотрудничества. А если говорить о Роберте Кеннеди, то следует припомнить Вьетнам и извлечь оттуда некоторые уроки. И вообще, если вспомнить братьев Кеннеди, они всегда умели собирать вокруг себя самых талантливых людей, создавать "команду". И я думаю, что это урок для многих».*

Этими словами (согласно архивам «Фонда Горбачева») советский президент Михаил Горбачев приветствовал прибывшего в Москву в марте 1990 года американского сенатора Эдварда Кеннеди.

Во времена холодной войны поведение западных политиков в ходе их контактов с Советами варьировало от откровенной враждебности до бесстыдного коллаборационизма. Какое место в этом спектре занимал сенатор Кеннеди?

Разумеется, Кеннеди не был единственным американским сенатором, посещавшим СССР. Однако другие сенаторы, за редким исключением, обычно прибывали группами. Сенатор Кеннеди, насколько это следует из документов, всегда приезжал в одиночку. Мало того – ни один другой американский сенатор не контактировал с Советами так часто, как Эдвард Кеннеди. При этом его отношения с Москвой не ограничивались одними лишь официальными визитами. По его указанию туда несколько раз в год от-

правлялся начальник его канцелярии Ларри Горовиц. Ни один из американских сенаторов не имел такого специального посланника в СССР.

Все эти факты, вероятно, известны всем, кто изучал историю советско-американских отношений. Вопросы относительно роли Кеннеди в холодной войне не раз задавались и раньше. И время от времени какие-то аспекты этой загадочной истории даже слегка приоткрывались, но лишь затем, чтобы засвидетельствовать, что куда большее все еще остается сокрытым.

Теперь ситуация повторяется. Профессор Пол Кенгор в своей новой книге «Крестоносец: Рональд Рейган и крах коммунизма» процитировал сверхсекретный отчет КГБ о контактах советской разведки с сенатором Кеннеди. Этот документ, впервые опубликованный известным английским журналистом Тимом Себастианом в газете *Sunday Times*, свидетельствует, что Кеннеди втайне предложил КГБ свое сотрудничество, чтобы совместно ставить палки в колеса политики президента Рейгана. Это предложение Эдварда Кеннеди было передано Советам бывшим сенатором Джоном Танни (John Tunney) в 1983 году.

Танни и раньше участвовал в играх Кеннеди с Москвой. Другой сверхсекретный отчет КГБ, опубликованный в 1992 году в российской газете «Известия», сообщает, что в 1978 году Кеннеди «попросил помощи КГБ для установления контактов» между фирмой, принадлежащей Танни, и СССР. В связи с этим КГБ рекомендовал ЦК КПСС удовлетворить просьбу Кеннеди, поскольку фирма Танни уже находится в контакте с неким Дэвидом Карром, тогдашним агентом КГБ во Франции (см., например, статью Герберта Ромерштейна (Herbert Romerstein) «Тед Кеннеди был коллаборационистом» в *Human Events* от 8 декабря 2003).

Многие тайные детали сотрудничества Кеннеди с Москвой стали известны после того, как знаменитый перебежчик Василий Митрохин сумел переправить на Запад бесценное собрание тайных документов КГБ. В 2002 году он процитировал некоторые из них в своей статье «КГБ в Афганистане», опубликованной Международным центром исследований им. Вудро Вильсона. Так, согласно этим документам, в 1980 году сенатор Кеннеди резко критиковал президента Картера за его жесткую реакцию на советское вторжение в Афганистан. Как показал Митрохин, сенатор, по всей видимости, за несколько недель до того скоординировал это свое выступление с Москвой – через того же Танни, а также Эгона Бара, одного из ведущих немецких социал-демократов, который втайне часто контактировал с КГБ.

Затем, в 1983 году, как свидетельствует печально знаменитый ныне документ КГБ, процитированный Себастианом, а теперь Кенгором, все тот же Танни передал другое тайное послание Кеннеди советским руководителям, в котором сенатор сообщал Андропову о своей готовности, «в интересах мира во всем мире», предпринять некоторые совместные действия против «милитаристской политики Рональда Рейгана». Это послание было засекречено в КГБ не просто как «сверхсекретное», но как «документ особого значения» и «особая папка». Оно было немедленно передано Андропову, но тот

не придал ему «особого значения». В результате назойливый проситель из американского сената на некоторое время получил от ворот поворот.

Однако Андропов вскоре умер, и ему наследовал сенильный Черненко. Не прошло и двух лет, как к власти пришел Михаил Горбачев. Он довольно быстро пересмотрел политику в отношении Кеннеди и согласился встретиться с ним в феврале 1986 года. Но история не кончилась на этом. Ниже мы приводим другие сверхсекретные документы из советских архивов, рассказывающие о дальнейших контактах Эдварда Кеннеди с Кремлем.

### Перековывая мечи на орала

К сожалению, среди этих документов нет протокольной записи первой встречи Горбачева с Кеннеди. Зато имеются отчеты Вадима Загладина, второго по значению человека в тогдашнем Международном отделе КПСС, который также встречался с Кеннеди во время этого визита.

Хотя Международный отдел КПСС менее известен, чем КГБ или ГРУ, он на самом деле был не менее опасной советской тайной службой за рубежом. В его задачу входило руководство сетью зарубежных компартий, советских агентов влияния и просоветских организаций во всем мире. И вот что пишет заместитель начальника этого отдела Вадим Загладин в своем отчете:

*«Во время переговоров, имевших место <...> 5 февраля [1986 года] Э. Кеннеди особо подчеркнул следующие соображения.*

*Недавняя встреча (между Горбачевым и президентом Рейганом в Женеве) во многом изменила международную атмосферу. Это сильно ощущается в США. Произошло изменение к лучшему, появилась надежда на лучшее будущее. Однако этот процесс имеет также отрицательную сторону. Президент Рейган активно использует новую обстановку в своих целях. И проблема не только в том, что после Женевы его популярность еще более возросла. В действительности, Женевская встреча позволила Рейгану замедлить движение к новым позитивным результатам в переговорах с СССР. Теперь он говорит, что ситуация уже изменилась, что он наладил диалог с русскими, тогда как на самом деле он не делает ничего или продолжает действовать в прежнем направлении, то есть наращивает военные приготовления.*

*С точки зрения Демократической партии, это очень плохо. Не в том смысле, будто демократы против Женевы или духа Женевы, – тут они за, но они считают важным помешать Рейгану злоупотребить этой встречей и использовать хорошее дело для дурной цели... По мнению Кеннеди, необходимо сохранять давление на администрацию со всех сторон – как из-за границы, так и внутри США. Он хотел бы высказать кое-какие конкретные соображения по этому поводу во время своей беседы с тов. Горбачевым».*

Более поздние документы свидетельствуют, что во время этого разговора сенатор предложил, чтобы следующая советско-американская встреча в верхах была назначена как можно скорее. По его утверждению, это позво-



лило бы оказать более сильное давление на администрацию. Если Рейган откажется от обсуждения важных вопросов на саммите, этот отказ можно будет использовать против него, а также «на пользу сторонникам мира и установления более реалистических отношений между нашими странами». Именно в этих словах Горбачев позднее передал идеи Кеннеди генеральному секретарю американской компартии Гэссу Холлу.

После беседы с Горбачевым 6 февраля Кеннеди снова встретился с Загладиным, который сообщает:

*«Вечером 6 февраля я имел беседу с Э. Кеннеди.*

*1. Сенатор находится под сильным впечатлением от своего разговора с т. Горбачевым. "Он мне очень понравился, – сказал Кеннеди. – Это сильный и в то же время достаточно гибкий руководитель, который знает, чего он хочет". <...>*

*2. В то же время, по мнению Э. Кеннеди, "мои советские друзья все еще недостаточно хорошо понимают психологию американцев и суть тактики Рейгана".*

*Хотя Женева была большой победой Советского Союза в глазах всего мира, она не была таковой в глазах американцев. Рядовой американец видит ситуацию иначе: "Рейган ухитрился установить контакты с русскими и получить от них многое, не уступив ничего. Он настоящий лидер!"*

*Рассуждения сенатора можно было истолковать в том смысле, что Женева была настоящим успехом для Рейгана и сомнительным достижением для нас. Поэтому я спросил его напрямую: так что же, мы ошиблись, пойдя на Женевскую встречу? Сенатор ответил не колеблясь: "Нет, это было правильно, но вы должны продолжать давление, вы должны быть жестче".*

*Кеннеди кажется, что мы спокойно ожидаем реакции США, потому что убеждены, что время работает на нас. По его мнению, однако, это не совсем так. Пока что Рейган впереди. Он делает вид, что "обдумывает" наши идеи, но в действительности продолжает свою прежнюю политику – ускоряет гонку вооружений. Нам он ответит позже, взяв какой-нибудь отдельный пункт из всего пакета советских предложений, но ответит так, что нам трудно будет с ним согласиться. Например, он будет говорить о контроле за вооружениями без разоружения и тому подобное.*

*Тем временем популярность Рейгана только растет».*

Далее, по Загладину, сенатор поделился с ним практическими рекомендациями и полезной информацией.

*«3. У вас, продолжал Кеннеди, есть понятие о военно-промышленном комплексе США. И действительно, у него есть сила и влияние. Но, во-первых, он на самом деле не так силен, как вы полагаете. Во-вторых, он не монолитен. К примеру, у военных есть свое мнение. Многие из них одобряют соглашение по антибаллистическим ракетам (ABM Treaty), "СТАРТ-2", замораживание ядерных вооружений, снижение их уровня... И вообще, сказал Кеннеди, у вас нет рычагов влияния на военную верхушку. Это плохо, потому что с ними вам было бы легче договориться.*

*Сегодня Америкой правит только часть влиятельного политического руководства, а именно – его "консервативно-эгоистическая" часть, целью которой является подчинение всей нации идеям "правого националистического эгоизма", очень опасного по своей сути.*

*Реалистически мыслящие люди, при всей их многочисленности, оттеснены Рейганом, и сегодня нет таких сил, которые могли бы объединить "консервативный эгоизм" с реализмом, как это сделал Никсон. Действительно, нынешняя правящая элита тесно связана с военно-промышленными кругами, но только с некоторой их частью. Но в элите есть и другая часть, более склонная к реалистическому мышлению, способная представить себе, например, некое мирное сближение. С ними тоже можно иметь дело.*

*По мнению Кеннеди, сейчас невозможно воплотить весь план [Горбачева] одним махом. Нужно выбрать два-три достижимых пункта и оказывать постоянное давление на Рейгана, чтобы помешать ему лавировать. Это могут быть следующие пункты: ратификация ABM Treaty, ограничение мощности ядерных испытаний и сокращение их числа, размещение ракет в Европе (хотя, по словам Кеннеди, Рейган потребует удаления ракет из Азии). По всем этим пунктам имеется известный прогресс, и они могут получить существенную поддержку в конгрессе.*

*Но для этого необходимо все время давить на Рейгана, давая ему понять, что ему некогда раздумывать. Помощник Кеннеди Л. Горовиц с раздражением рассказал мне, что Рейган сказал сенатору: "Я готов встретиться с русскими этим летом, только не в августе – в августе мои кобылы должны рожать, и для меня это намного важнее, чем любые переговоры с русскими".*

*4. Подводя итоги, Кеннеди сказал: "Нынешнее благодушие американцев, их почти рождественское настроение необходимо переломить. Вы должны как можно сильнее и жестче давить на Рейгана... И я, разумеется, обдумую, что я могу сделать со своей стороны, со стороны сената. Я доложу на заседании конгресса о своей встрече с Горбачевым. Я буду как можно чаще выступать перед людьми. Горбачев прав, мы не должны упустить эту возможность"».*

## **Военная разведка**

В том же документе приводится интересный разговор Кеннеди и Загладина о терроризме. Просто позор, что суждения такого выдающегося политика, как Кеннеди, по столь актуальному ныне вопросу так долго были засекречены.

*«В то же время Э. Кеннеди подчеркнул, что есть несколько вопросов, которые тормозят улучшение американско-советских отношений, хотя вопросы эти отнюдь не имеют такого глобального значения, как проблема разоружения.*

*Первым из этих вопросов, по Кеннеди, является проблема терроризма. "Я не хотел бы втягиваться в спор о том, как следует рассматривать на-*

ционально-освободительные движения. Но я хотел бы отметить, – сказал сенатор, – что есть разные виды терроризма. Лично я склонен считать чилийский режим, действия властей в Южной Африке или активность "контрас" в Никарагуа разновидностью терроризма. Разумеется, существует также левый терроризм, но я не думаю, что всё сводится только к нему".

Я заметил, что тот терроризм, который сенатор назвал "левым", вызывает чувства людей, доведенных до отчаяния. Хотя мы выступаем против террористических методов, мы понимаем это различие. Сенатор ответил: "Конечно, мы должны признать, что существуют разные терроризмы. Тем не менее, нашей общей целью должно быть искоренение почвы для любого терроризма".

Кто такой этот Ларри Горовиц, которого так задела забота Рейгана о своих кобылах? В действительности, он является ключевой фигурой во всей истории отношений Кеннеди с Советами. Будучи начальником канцелярии Кеннеди, Горовиц очень часто отправлялся в Москву как его специальный посланник. Из документов КГБ со всей очевидностью следует, что Советы относились к нему как к человеку, который пользуется полным доверием сенатора и потому является надежным каналом для передачи сообщений ему. В отчетах Загладина довольно много упоминаний о встречах с Горовицем, и эти упоминания сопровождаются теплыми ремарками, вроде: «По давней нашей привычке виделся с Горовицем» – и даже: «Разговор имел конфиденциальный характер».

Действительно, информация, которую Горовиц передавал Загладину, всякий раз ссылаясь на указания Кеннеди, зачастую была весьма щекотливого свойства. Так, в отчете об их встрече 27 ноября 1990 года мы читаем:

*«По словам Л. Горовица, в Белом доме окончательно решено, что кризис в [Персидском] Заливе должен решаться военным путем. Крайним сроком определена [ближайшая] весна».*

И это говорилось русским в то время, когда президент Буш (старший) завещал Горбачева и весь мир, что он все еще готов к мирному решению конфликта. По сути, только благодаря этой заявленной американцами готовности Горбачев и согласился, в конце концов, поддержать США в их конфликте с Ираком.

Не остались секретом во время этой дружеской беседы и послевоенные планы американского президента.

*«По завершении эффективной военной операции и ликвидации кризиса Буш будет готов приступить к немедленному решению других проблем региона, включая палестинскую. По его мнению, это давно пора сделать. Палестинскую проблему нужно решить, чтобы "умиротворить" арабские страны и пригасить их "антиамериканский синдром"».*

### **Конфиденциальные сообщения**

В других случаях Горовиц информировал Загладина о секретных инструкциях президента Буша американскому посольству в Москве. Один та-

кой случай относится к 1991 году и касается проблемы независимости Украины. Для Советов в то время это был вопрос жизненной важности. По сути, от того, выйдет или не выйдет Украина из СССР, зависело само существование Советского Союза. И вот что говорит Загладин:

*«1 Октября [1991 года] я беседовал с Ларри Горовицем, помощником сенатора Кеннеди. Беседа имела конфиденциальный характер... Затем Горовиц информировал меня, что после визита в США [президента Украины] Л. Кравчука Дж. Буш направил личное послание [американскому] послу [в Москве] Штраусу. Горовиц видел это послание. В нем говорилось, что, в конечном счете, Украина намерена выйти из [Советского] Союза».*

Каким образом Горовиц, начальник канцелярии главного сенатора от оппозиции, мог видеть личное послание президента? Мы можем только догадываться. Горовиц между тем продолжил свою доверительную беседу с Загладиным пересказом комментариев посла на послание президента:

*«Посол сомневается в отделении Украины, поскольку положение там весьма непростое. По мнению Штрауса, нынешние маневры Л. Кравчука являются просто частью его предвыборной кампании».*

### **Успокоение Балтики**

Обеспечение секретности переписки между Вашингтоном и американским посольством в Москве было не лучше и во времена предшественника Штрауса, посла Джека Мэтлока. Такая же утечка конфиденциальной информации и тоже через Горовица произошла в декабре 1989 года. И тогда речь шла о сепаратизме, но в тот раз проблема была еще более острой, поскольку дело касалось прибалтийских республик – Литвы, Латвии и Эстонии. Соединенные Штаты никогда не признавали аннексию этих стран Советами в 1940 году, и борьба прибалтов за свою независимость пользовалась сочувствием американского общественного мнения. В свете этого приводимая ниже история выглядит особенно странной.

*«Посол Мэтлок сообщил Л. Горовицу о своей беседе с "одним из руководителей КПСС" (не называя его имени), который сказал Мэтлоку: если прибалты выйдут из СССР, это будет конец перестройки. Посол сообщил об этом разговоре в Вашингтон. Полученная им в ответ инструкция гласила: в своих контактах с людьми из прибалтийских республик (а эти контакты весьма многочисленны) он должен предостерегать их от чрезмерной активности и всяких заявлений о немедленном выходе из состава СССР. "В ближайшие 4–5 лет" этот вопрос не подлежит практическому обсуждению».*

Уже через два года после этих инструкций прибалтийские страны завоевали свою независимость, а Советский Союз распался. Но история все равно остается странной и сразу в нескольких отношениях. Помощник американского сенатора рассказывает советскому чиновнику о содержании конфиденциальной инструкции, полученной американским посольством в Москве. Сама инструкция указывает, как помочь Советам сохранить контроль над тремя

незаконно оккупированными странами. И началом всему этому оказывается дешевый дезинформационный трюк «одного из руководителей КПСС».

Предположим, что Мэтлок и его начальство в Вашингтоне попросту проявили политическую наивность. То же самое касается президента Буша. Однако почему Горовиц, поощряя намерение Советов подавить оппозицию в балтийских странах, прибегал к аргументам, которые в лучшем случае можно назвать нечестными?

*«Л. Горовиц сказал: многие серьезные люди в США удивлены: почему в СССР не прибегают к силе, чтобы пресечь нарушения закона. Если бы какой-нибудь американский штат начал поступать вопреки федеральным законам, президент направил бы туда Национальную гвардию. И никто не счел бы это антидемократическим поступком».*

### Германский гамбит

В то время центральной международной проблемой было воссоединение Германии. На встрече в верхах на Мальте 2–3 декабря 1989 года Горбачев пытался убедить Буша объединить усилия, чтобы сдержать и замедлить этот процесс. Через неделю после этой встречи Кеннеди отправил Горовица в Москву со свежей информацией.

*«По просьбе сенатора Э. Кеннеди я повидался с его ближайшим помощником Л. Горовицем, — сообщает Загладин 11 декабря. — ...Л. Горовиц сообщил мне следующее: "По мнению сенатора, проблема Германии — это та европейская проблема, которой Дж. Буш уделяет особое внимание. Ему вовсе не хочется, чтобы дело дошло до воссоединения. Но он не может открыто заявить об этом, а с другой стороны, он не совсем понимает, что с этим делать". Л. Горовиц сообщил: "По мнению Буша, в нынешних условиях является необходимым сохранение двух военных блоков и установление более тесных контактов между ними. Столь же необходимым является ускорение объединения Европы, несмотря на сопротивление М. Тэтчер. Оба эти механизма, по мнению Буша, помогут "контролировать" Германию. Вероятно (по мнению Э. Кеннеди), дальнейшее развитие событий (которое, по мнению Буша, может стать неконтролируемым) побудит президента обратиться к нам с просьбой о консультациях».*

Описанная здесь политика Буша весьма близка к позиции самого Горбачева — зажать объединенную Германию внутри «общего европейского дома». Но Буш никогда не высказывал эти соображения на публике или же во время встречи в верхах на Мальте. Однако он позволял себе бóльшую откровенность в тесном кругу своих приближенных, и тогда некоторые «доброжелатели» тотчас передавали эту информацию в Москву.

Тем не менее даже эта помощь не помогла Советам в их германской игре. Уже через несколько месяцев стало ясно, что все попытки приостановить воссоединение бессмысленны. Более того, стало очевидным, что объединенная Германия неизбежно останется членом НАТО. Это обеспокоило Москву, и в

сложившихся неблагоприятных обстоятельствах там сформулировали новую цель – в обмен на согласие на объединение Германии выторговать у Запада согласие на реформу НАТО с тем, чтобы эта организация стала дружественной, а не враждебной СССР. Достижение такого взаимобмена было главной целью визита Горбачева в США 31 мая – 2 июня 1990 года. В преддверии этой встречи в верхах Загладин начал собирать полезную информацию.

### **Гонец с добрыми вестями**

*«24 мая я встретился с Л. Горовицем.... Я спросил, какие идеи в отношении Германии обсуждались в кругах, близких к сенату. Л. Горовиц сказал, что не только в ближайшем кругу Э. Кеннеди, но и среди членов Совета национальной безопасности сформировалось следующее мнение: Советский Союз не согласится на членство объединенной Германии в НАТО, если эта организация сама не будет реформирована. Уже намечена схема первых шагов по пересмотру ее доктрины. В этом отношении было бы крайне важно, чтобы М. С. Горбачев во время своего визита в США со всей ясностью сформулировал "необходимые параметры изменений". Используя ситуацию, – добавил Л. Горовиц, – можно многого добиться».*

И действительно, многое из той «информации из близких кругов», которую Горовиц доставлял в Москву, было, надо думать, желанной доброй вестью для Советов, касалось то Литвы или Украины, Германии или Латинской Америки.

### **Представляя друзей**

Вашингтон относился теперь к Москве исключительно дружески – почти весь американский истеблишмент так и рвался сотрудничать с Советами. Всё, что Москве оставалось делать, – это выбирать самые важные фигуры в этом истеблишменте. Чтобы облегчить Советам эту задачу, Горовиц передавал им некоторые полезные соображения своего сенатора.

*«Ссылаясь на сенатора Э. Кеннеди, Л. Горовиц сказал, что нынешняя ситуация исключительно благоприятна для развития наших контактов с американским конгрессом. Впервые за 40 лет обе его палаты контролируются демократами. И в то же время общественное мнение становится все более дружественным по отношению к СССР... Разумеется, прежде всего, мы должны активизировать наши контакты с новым спикером палаты представителей Фолли. Он занимает центристскую позицию, и с ним вполне можно иметь дело. Тем не менее, хотя Фолли имеет первостепенную важность в силу своего положения, Горовиц не думает, что он самый ценный для нас человек. Самый интересный в действительности это Ричард Генхардт из Сан-Луи, штата Миссури. Он будет играть очень важную роль как лидер большинства в палате... Генхардт – гибкий и умный человек. Он решительный противник программы Звездных войн и*

сторонник продвижения в деле разоружения и развития отношений с СССР вообще».

Представляя своих друзей, Горовиц не забывает и о врагах:

*«Я спросил Горовица, верны ли слухи, что вице-президент Квэйль является главным среди правых. Горовиц ответил, что это неверно. Конечно, Квэйль принадлежит к правому лагерю, но не он там "мозг". Он вообще очень слабый политик. Буш выбрал его, чтобы угодить правых, и теперь искусно разыгрывает эту фигуру, выдвигая его вперед, когда нужно задобрить своих "друзей-недрузей" в республиканской партии».*

## Друг в нужде

Тревожная озабоченность сенатора Кеннеди судьбами мятежных советских окраин не мешала ему волноваться и в связи с ситуацией в самой Москве. Когда в 1991 году провалилась отчаянная попытка установить чрезвычайное положение (так называемый «Августовский путч»), реальная власть в стране перешла от центральных советских структур к демократическим правительствам России и других республик. То были последние недели правления Горбачева, и к тому времени его покинули даже самые близкие его соратники. Но Кеннеди хотел быть верным до конца.

*«Э. Кеннеди проинструктировал Л. Горовица встретиться с Э. Шеварднадзе и... просил его не критиковать президента [Горбачева], а помочь ему укрепить свое положение».*

Разумеется, Кеннеди куда больше симпатизировал Бушу (старшему), чем Рейгану. Горовиц даже сказал Загладину, что демократы во многих вопросах сотрудничают с Бушем, тогда как правые республиканцы им недовольны. Тем не менее Кеннеди продолжал передавать в Москву (через Горовица) информацию о «друге Буше» столь же регулярно и надежно, как когда-то – о «враге Рейгане».

*«1 октября я встретился с помощником сенатора Э. Кеннеди Л. Горовицем... На прошлой неделе Буш сказал в тесном кругу: "Горбачев мой друг. Лично я ему доверяю. Я готов помочь ему любыми возможными путями. Но я сомневаюсь, что это чем-то поможет ему"».*

Даже Буш всё понимал. Ничто в мире уже не могло спасти Советский Союз, даже наличие такого всезнающего информатора, как сенатор Кеннеди. Но сенатор старался до последнего.

По мере того как эти события уходят в прошлое, из тщательно охраняемых советских архивов всплывают все новые и новые поразительные факты, которые вынуждают заново пересматривать как сами эти события, так и ту роль, которую играли в них те или иные люди. Возможно, в один прекрасный день мы увидим всю картину целиком. Но пока мы стоим перед рядом загадок.

Одна из них называется Эдвард Кеннеди.



кандидат филологических наук, историк, автор двух монографий: «Счастливыи Феникс: Очерки о русском сонете и книжной культуре XVIII – начала XIX века» (СПб., 1997); (в соавторстве) «Пантеон российских писателей XVIII века» (СПб., 2002) и более 100 публикаций в России, США, Канаде, Израиле, Германии, Дании, Латвии. Член Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП). Член Союза писателей Москвы. Живет в США.

## КРОВАВЫЙ ШУТ НА ТРОНЕ

«Он мучитель в жизни и в своих писаниях, действующий в них так же, как актер с элементами скоморошества», – так характеризовал академик Д. С. Лихачев царя Московского Ивана Васильевича (1530–1584), прозванного за свирепый нрав Грозным<sup>1</sup>. Однако шутство никоим образом не ассоциируется с жестокостями и мучительствами. Зародившись в языческие времена и восходя к грубо-развлекательной культуре трикстеров, оно возникает еще в искусстве синкретизма, где скоморох соединял в себе певца, музыканта, мима, танцора, клоуна, импровизатора. В русской народной культуре оно, по-видимому, укореняется еще в дописьменный период и уже в XI веке фиксируется в летописях. Неразрывно связанные с фольклором, скоморохи, объединившись в ватаги, странствовали по всей Древней Руси, потешая честной народ своим метким острым словом, разудалыми песнями и зажигательными плясками. А потому Грозного если и можно назвать шутом и скоморохом, как его иногда аттестовали, то шутом особым, кровавым, ибо царь этот отличался остроумием изувера, черным юмором и адской насмешливостью, которые приносил в свои многочисленные казни, до коих был столь охоч. Как же дошел до жизни такой этот палач на троне? Где берет свое начало его воистину инквизиторское шутство?

Основные свойства личности (правы психоаналитики с Зигмундом Фрейдом во главе!) закладываются еще в детские годы. Обратимся же ко

<sup>1</sup> Лихачев Д. С., Пащенко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984.



времени, когда Иван был еще малолетним, и прозвание «Грозный» еще не пристало к нему. На четвертом году жизни он лишился отца, великого князя Василия III, на восьмом – матери, Елены Глинской. Соперничавшие у трона бояре не слишком церемонились с венценосным отпрыском. «Люди из враждующих группировок, – отмечает историк В. Б. Кобрин, – врывались во дворец, избивали, арестовывали, убивали, не обращая внимания на просьбы малолетнего государя пощадить того или иного боярина»<sup>2</sup>. Иван жаловался впоследствии, что тогда с ним обращались, как с убогим, ни в чем воли не давали, издевались над ним, заставляли делать тяжелую работу, а подчас даже забывали накормить. Особенно врезалось в память Ивану, как однажды боярин Шуйский вальяжно развалился в государевой спальне, демонстративно положив ноги на постель покойного отца.

Вспоминали же об Иване только тогда, когда на Русь наезжали иностранные послы – цесаревича облачали тогда в роскошные одежды, окружали пышностью, притворно выказывая смирение и раболепство; а кончалась церемония – поведение царедворцев разительным образом менялось, обнаруживая прежнее равнодушие. Небрежение бояр было для Ивана тем обиднее, что едва ли не с младых ногтей он с помощью благоволившего к нему митрополита Макария постиг божественную природу царской власти, ибо сказано в Писании: «...нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Как же смеют они, холопы, не оказывать ему, помазаннику Божию, должных почестей?!

Постепенно бояре стали, однако, втягивать Ивана в свои далеко не шуточные распри, заставляя принять ту или иную сторону. «В обстановке подслушивания и подглядывания, частых отравлений, – говорит французский историк А. Труайя, – Иван начинает воспринимать жизнь, как хищный зверек, который учится преследовать свою жертву и наслаждается ее страданиями»<sup>3</sup>. Это впоследствии он поймет, что властью сможет насладиться лишь тогда, когда причинит мучения другим. В ранние же годы, как об этом выразительно пишет историк С. Э. Цветков, «смерть кружилась вокруг своего маленького любимца, ходила за ним по пятам, склонялась над его детской кроваткой, заглядывала ему в очи... Слишком рано дано было Ивану ощутить на своих губах вместе с детскими слезами горький привкус небытия, почувствовать бренность человеческой жизни. И еще не постигая ее величия, он отлично понял ее ничтожество»<sup>4</sup>.

Он получил от природы ум гибкий, бойкий и насмешливый, жаждавший выхода и до поры до времени дремавший. Вместе с тем сызмальства ему было свойственно «затаенное чувство горькой обиды и негодования»<sup>5</sup>, и эта «необходимость сдерживаться, дуться в рукав, глотать слезы питала

---

<sup>2</sup> Кобрин В. Б. Иван Грозный. М., 1989.

<sup>3</sup> Труайя А. Иван Грозный. М., 2004.

<sup>4</sup> Цветков С. Э. Иван Грозный: Беллетризованная биография. М., 2000.

<sup>5</sup> Вернадский Г. В. Начертание русской истории. СПб., 2000.

в нем раздражительность и затаенное молчаливое озлобление против людей, злость со стиснутыми зубами»<sup>6</sup>.

Освободившись от опеки старейших бояр, великий князь сразу предался диким потехам и играм, которых его лишали в детстве. Он отчаянно безобразничал – тешился мучительствами и забавами. И жертвами его царственной злобы стали поначалу не люди, а братья наши меньшие. Сохранились свидетельства о том, что юный Иван, лет эдак в двенадцать, забирался на островерхие терема и сталкивал со «стремнин высоких» кошек и собак, с наслаждением наблюдая за их конвульсиями. Он выдергивал перья птицам, ножом вспарывал им брюшко, услаждая себя каждой новой стадией агонии. По словам В. О. Ключевского, «жалобный визг удовлетворяет живущую в нем темную жажду мщения, как если бы он предавал смерти ненавистных бояр»<sup>7</sup>. Подобное «озорство» державного отрока надлежит рассматривать как ученичество, как первую репетицию будущего тотального террора.

Летописец сказал об Иване: «Он находился более чем часто в гнев и чрезмерной ярости... был удобоподвижен к злобе, как по природе, так вместе и из-за гнева»<sup>8</sup>. С ватагой сверстников: А. Вяземским, Басмановыми, Малютой Скуратовым, В. и Г. Грязных, в будущем печально известных опричников, – царь разъезжал по московским улицам «скачущие и бегающие неблагочинно», топтал конями людей, бил и грабил все вокруг. Пристрастились они и к охоте: много времени проводили в лесах, где с наслаждением травили зверей, с кречетом в руках преследовали диких лебедей. В азарте погони охотники начинают и «человеков ураняти» – нападают на близлежащие деревни, колотят крестьян, забавляются с девицами, пьют без меры. Об этом говорит и Псковская летопись того времени, где отмечается, что царь со своими спутниками «гонял» однажды по Пскову, причиняя большие убытки горожанам. Бояре при этом (на свою беду!) не только не порицали поведение распоясавшегося юнца, а наоборот, восхваляли Ивана: «О, храбр будет сей царь и мужествен!»

Иван ерничал; как ряженный и скоморох, облачался в саван; ходил на ходулях, пахал вешнюю пашню и сеял гречиху – словом, откровенно валял дурака. Он рано научился обращать в шутку, игру жизнь и смерть окружающих, рано осознал, что ему, земному Богу, дозволено все – и казнить, и миловать.

Первые казни начинаются с 1545 года, то есть как раз с того времени, когда Иван осознал себя самодержавным государем: «егда ж достигохом лето пятнадцатого возраста нашего, тогда Богом наставляемы, сами яхомся царство свое строить». По приказу юного самодержца был схвачен и умерщвлен псарями боярин Андрей Шуйский – убитый пролежал на моро-

<sup>6</sup> Ключевский В. О. Соч. Т. II. М., 1957. С.188.

<sup>7</sup> Там же. С. 19.

<sup>8</sup> Временник Ивана Тимофеева. М.:Л, 1951. С.173.

зе нагим несколько часов. Очевидец свидетельствует, что после сего случая бояре стали «страх имети и послушание».

Известно, что до своего венчания на царство в 1547 году Иван (по минутной ли прихоти или «за дело») казнил восемь человек. Много это или мало? Историки утверждают, что это больше, чем было умерщвлено за все долгие годы правления его деда и отца.

После венчания на царство с великим князем происходит заметная и благотворная метаморфоза. Современники связывают ее с ужасающим Московским пожаром и бунтом 1547 года, когда мятежная чернь растерзала родного дядю Ивана, требуя также выдачи других его ближайших родственников по материнской линии. Иван, восприняв сие как кару за тяжкие грехи, убоился гнева Божьего, «и от того царь великий и великий князь прииде в умиление и нача многие благие дела строити».

Страх за содеянное внушал Ивану появившийся тогда при дворе священник Сильвестр, родом из Новгорода. Он пугал царя – как родители пугают детей, чтобы добиться их исправления, – рассказами о видениях, атаковал «кусательными словесами», обличая его беззакония, предсказывал гибель Ивану и всему его дому, если он не проявит послушание. «После этого, – сообщает противник Грозного князь А. М. Курбский, – царь наш как бы покался и немало лет затем царствовал хорошо, поскольку он испугался Божьих наказаний»<sup>9</sup>. Роль Сильвестра в управлении державой пространно характеризует летописец: «И был он всемогущ – все его слушались, и никто не смел ни в чем противиться из-за царского к нему расположения... Попросту говоря, всякими делами подвластными святителю и царю управлял, и никто не смел ничего сотворити не по его повелению, и были у него обе власти – и святительская и царская, как у царя и у святителя... был высоко чтим всеми и надо всем властвовал вместе со своими советниками»<sup>10</sup>. Одним из сподвижников Сильвестра был окольный Алексей Адашев, дипломат, человек яркого государственного ума, инициатор реформ середины XVI века, в ведении которого находились разрядные книги и летописи. Вместе же новые советники царя составили так называемую Избранную Radу, с именем которой связано покорение Казанского (1552) и Астраханского (1556) ханств, реформы управления и суда и знаменитый «Судебник» (1550), дипломатические связи с Англией, Бельгией, Голландией и многие другие славные деяния. Только благодаря ее благому влиянию Иван стал, по словам Н. М. Карамзина, своего рода «героем добродетели в юности».

На том этапе «царь чуждается грубых потех... зато находит удовольствие в богослужениях»<sup>11</sup>. Историк поясняет: «Тунеядцев, то есть блюдоли-

<sup>9</sup> Курбский А. М. История о великом князе Московском. М., 2001. С. 70.

<sup>10</sup> Московское государство. М., 1986. С. 484.

<sup>11</sup> Скрынников Р. Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. Смоленск, 1998. С. 163.

зов, товарищей трапез, которые живут шутовством, тогда не только не награждали, но и прогоняли вместе со скоморохами и другими»<sup>12</sup>.

Такое отношение к скоморохам и шутам тем понятнее, что его разделяли советники из Избранной Рады, и прежде всего всемогущий тогда Сильвестр. Последний был в этом отношении учеником византийских церковных аскетов, традиционно воспринимавшим скоморошество и лицедейство как «бесовские игрища».

Откроем знаменитый «Домострой», составленный при участии Сильвестра, и нас поразит в нем резкость оценок шутовства. Проповеди, грамоты, поучения, составившие эту книгу, закрепляют за скоморошеством репутацию чего-то «дьявольского», «сатанинского», грозят ему адом и проклятием. Говорится, в частности, что скоморохи «всякое скарედие творят и всякие бесовские дела: блуд, нечистоту, сквернословие, срамословие, песни бесовские, плясание, скакание, гудение, трубы, бубны, сопели»<sup>13</sup>. Порицается любая трапеза, сопровождаемая музыкой и пляской: «И аще начнут... смехотворение и всякое глумление или гусли, и всякое гудение... и всякие игры бесовския, тогдаж, яко дым отгонит пчелы, тогдаж отыдут ангели божия от тоя трапезы и смрадные бесы предстанут»<sup>14</sup>. Любопытно, что с этим перекликается старинная гравюра, где дается изображение именно такого застолья с характерной надписью: «Сия трапеза неблагодарных людей и празднословцев, кашуников (скоморохов. – Л. Б.)... Ангел Господен, отврати лице свое, отиде стоя плачет, видит бесы с ними»<sup>15</sup>.

В этом же ключе выдержаны решения Стоглавого Собора 1551 года, на открытии которого перед его участниками выступал сам царь. Здесь представлен целый ряд запретительных мер против скоморохов. Так, им возбраняется «ходить перед свадьбой», собираться в большие ватаги, участвовать в вечерних и ночных игрищах, а также переряживания и скоморошеские позорища. Излюбленные шутами маски названы «скаредными образованиями». Показательно и письмо патриарха Константинопольского Иоасафа Ивану (оно также приводится в материалах Собора), где тот настоятельно просит царя: «Бога ради, Государь, вели их (скоморохов. – Л. Б.) извести, кое бы не было в твоём царстве»<sup>16</sup>. О своем неприятии «скверного» скоморошества говорил царю и приверженец строгих аскетических правил старец Максим Грек.

Есть все основания полагать, что и государь Иван Васильевич в этот период относился к скоморохам и скоморошеству весьма отрицательно. Хотя каких-либо государственных постановлений на этот счет нет, но по-

---

<sup>12</sup> Цветков С. Э. Указ. соч. С. 94.

<sup>13</sup> Домострой. СПб., 1867. Гл. 26.

<sup>14</sup> Там же. Гл. 15.

<sup>15</sup> Ровинский Д. А. Русские граверы и их произведения с 1564 года до основания Академии художеств. СПб., 1870. С. 139.

<sup>16</sup> Стоглав. СПб., 1863. Гл. 41. Вопросы 16, 19, 23, 24; С. 311.

ражает обилие церковных, а также местных налагаемых на скоморохов табу. Вот лишь некоторые из них. В 1547 году двоюродный брат царя, старицкий князь Владимир Андреевич, запрещает скоморохам появляться в своих землях. В 1554 году было повелено не допускать их и в великокняжеские села – Афанасьевское и Васильевское. В 1555 году «Приговорная грамота» Троицко-Сергиевского монастыря объявляет: «А прохожих скоморохов в волость не пущать». Запрещение скоморохам играть и разрешение жителям высылать их вон насильно содержатся в грамотах 1548, 1554 и 1555 гг.<sup>17</sup>

Положение дел разительно изменилось к концу 1750-х гг. Говорили, что, вернувшись из неудачного литовского похода в январе 1558 года, царь словно подпал под власть злых духов, помрачивших его ум. Историки и современники говорят также о событии, коренным образом повлиявшем на монарха. Речь идет о его встрече в одном из монастырей, куда он ездил на богомолье, с неким зловещим старцем Вассианом Топорковым. Тот будто бы внушал царю: «Если хочешь быть истинным самодержцем, то не имей советников мудрее себя; держись правила, что ты должен учить, а не учиться, повелевать, а не слушаться. Тогда будешь тверд на царстве и грозою вельмож. Советник мудрейший государя, неминуемо овладеет им». Беглый князь А. М. Курбский именно на Топоркова возложил вину за произошедшую в Иване перемену. «О, дьяволов сын! – костерил он Топоркова. – Зачем ты в человеческом естестве жилы пресек и всю крепость разрушил и в сердце царя христианского посеял безбожную искру, от которой во всей Святорусской земле лютый пожар разгорелся?!»<sup>18</sup>

Перемена в царе была столь резкой и стремительной, что некоторые говорят даже о существовании, по крайней мере, двух разных Иванов IV. Это мнение высказал 25 марта 2006 года телеведущий программы «Постскриптум» Алексей Пушков в беседе с академиком РАН в области математики Анатолием Фоменко. Они утверждали, что Иван Васильевич – образ собирательный, придуманный уже после описываемой эпохи, в XVII веке, а затем поднятый на щит историографом Н. М. Карамзиным. Однако подобное «современное прочтение» истории царствования Грозного противоречит не только известным документальным источникам того времени (например, запискам опричников Г. Штадена, Таубе и Крузе, А. Шлихтинга и др.), но (и это особенно важно) бесценным свидетельствам весьма осведомленного А. М. Курбского, близко знавшего царя и непосредственно наблюдавшего за изменениями в его характере и поведении. Кроме того, трудно предположить наличие нескольких двойников, якобы действовавших под именем Ивана Васильевича.

Так или иначе, царь освободился от влияния Сильвестра и Адашева и

---

<sup>17</sup> Фаминцын А. С. Скоморохи на Руси. СПб., 1889. С. 142.

<sup>18</sup> Курбский А. М. Указ. соч. С. 66.

окружил себя друзьями новыми, о чем Н. М. Карамзин писал: «Старые друзья Иоанновы изъявляли любовь к государю и добродетели, новые – только к государю»<sup>19</sup>. Впрочем, как говорят, новое – это хорошо забытое старое: Иван призвал к себе товарищей ранней юности, участников своих прежних (отнюдь не невинных) забав. «Теперь вместо прежних любимцев, мыслителей из Избранной Рады, – поясняет писатель Э. С. Радзинский, – иные люди. Беспробудно пьют, веселятся... непрерывный пир, точнее – оргия. На многочасовое царское застолье приглашаются скоморохи, шуты и колдуны, которые нынче в царской свите»<sup>20</sup>. Примечательно, что во второй серии знакового фильма С. М. Эйзенштейна «Иван Грозный» (кстати, запрещенной Сталиным за явные аллюзии с современностью) есть эпизод, в котором царь и его клеветры дико пляшут в скоморошских масках.

Как видно, прежние карательные меры против скоморохов были оставлены, и уже в конце 1550-х гг. Москва стала для них притягательным центром<sup>21</sup>. По некоторым данным, в первопрестольной подвизались в это время не менее 16 шутов.

О феномене русского шутовства в ту эпоху говорит историк И. Е. Забелин: «Циническое и скандальное нравилось, и очень нравилось, потому что духовное чувство совсем не было воспитано, а было только связано, как ребенок пеленками, разными, чисто внешними, механическими правилами и запрещениями, которые, скорее всего, служили лишь прямыми указаниями на сладость греха»<sup>22</sup>.

Буйный нрав царя и его склонность к скоморошеству, искусственно сдерживаемые Сильвестром и Адашевым, выплеснулись теперь наружу. Иван становится жестоким тираном, от руки которого пали тысячи, да что там – десятки тысяч ни в чем не повинных россиян. Многие историки объясняют эту патологическую кровожадность Грозного не чем иным, как свойственной ему прогрессирующей манией преследования. Утверждают, что он параноик особого типа, находивший удовольствие в страданиях своих (по большей части) выдуманных врагов. При этом он часто прибегает к шутовству, но шутовство это особого свойства. Оно чисто внешнее, скрывающее злое, садистское начало.

В этой связи замечателен ставший хрестоматийным эпизод, воспетый в известной балладе А. К. Толстого «Князь Михайло Репнин». Как человек Средневековья, Грозный был склонен к театральным эффектам, и гибель неугодившего ему князя Репнина поставил театрально. Во время пира, когда перед царем плясали милые его сердцу скоморохи, Иван и этому славному воеводе повелел одеть потешную «машкару». Тот, однако, отказался

---

<sup>19</sup> Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. 3. СПб., 2000. С. 15.

<sup>20</sup> Радзинский Э. С. Мучитель и тень. М., 2001. С. 57.

<sup>21</sup> Власова С. И. Скоморохи и фольклор. СПб., 2001. С. 249.

<sup>22</sup> Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях. Ч. II. М., 1915. С. 258.

присоединиться к проклятым церковью «кошунникам» и, с достоинством отшвырнув прочь маску, протянутую царем, изрек:

Да здравствует вовеки наш православный царь!  
Да правит человеки, как правил ими встарь!  
Да презрит, как измену, бесстыдной лести глас!  
Личины ж не одену я в мой последний час<sup>23</sup>.

Иван велел вытолкать нахала взашей. А на следующий день, во время всенощной, когда несчастный, стоя на коленях, молился в храме, его зарезали прямо у алтаря.

Заподозрив в измене старика-конюшего И. П. Челяднина-Федорова, будто бы желавшего свергнуть его с престола, Грозный разыграл целое театральное действо. В присутствии всего двора он надел на него царскую одежду, посадил на трон, дал в руки порфиру, снял с себя шапку, низко поклонился и сказал: «Здрав буди, великий князь земли Русския! Се приял ты от меня честь, тобою желаемую!» Историкам культуры Средневековья эта сцена (временное смещение иерархического верха вниз и объявление «правителем» холопа или маргинала) весьма знакома. «В этом обряде увенчания и все моменты самого церемониала, и символы власти, которые вручаются увенчаемому, и одежды, в которые он облачается... становятся почти бутафорскими (но это обрядовая бутафория)»<sup>24</sup>.

Сходные шутовские церемонии были распространены не только на народных карнавалах, но и на бытовых пирушках, где по жребию избирали королей пира. «Игра в царя» была популярна и на Руси во время святочных и масленичных потех. В шутовских коронах с подвесками и павлиньими перьями паясничали скоморохи<sup>25</sup>. Иван Васильевич дополняет традиционный карнавальный обряд новым дьявольским содержанием. «Имея власть сделать тебя царем, могу и свергнуть тебя с престола!» – восклицает он и умерщвляет ряженого конюшего:

И, вспрынув в тот же час от злобы беспощадной,  
Он в сердце нож ему вонзил рукою жадной.  
И лик свой наклоня над сверженным врагом,  
Он наступил на труп узорным сапогом  
И в очи мертвые глядел, и с дрожью зыбкой  
Державные уста змеилися улыбкой<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Толстой А. К. Собр. соч. Т. 1. М., 1963.

<sup>24</sup> Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979, С. 166.

<sup>25</sup> См.: Даркевич В. П. Народная культура Средневековья: Светская праздничная жизнь в искусстве IX–XVI вв. М., 1988. С. 163–165.

<sup>26</sup> Толстой А. К. Собр. соч. Т. 1. С. 249.

Очевидец сообщает, что после расправы над Челядниним-Федоровым «кровавый дикарь» Грозный пожег все принадлежавшие тому вотчины: «села вместе с церквями были спалены. Женщин и девушек раздевали донага и в таком виде заставляли... ловить кур(!?)»<sup>27</sup>.

К шутовским переодеваниям царь прибегал и верша дела дипломатические. Известны, по крайней мере, два подобных случая. Однажды, возжелав поиздеваться над литовскими послами, Иван заставил своего шута надеть литовскую шапку и велел по-литовски преклонить колено. Когда же шут не смог сделать это, монарх преклонил колено сам и воскликнул: «Гойда, гойда». В другой раз он устроил маскарад перед гонцами крымского хана, требовавшими дань от поверженной Руси: обрядился в грубую сермягу, бусырь и баранью шубу навыворот. Обращаясь к крымчакам, он заговорил уничижительным тоном: «Видишь же меня, в чем я? Так-де меня царь (крымский хан. – Л. Б.) зделал! Все-де мое царство выпленил и казну, дати мне нечево царю!»<sup>28</sup> Заметим, что выворачивание наизнанку одежды, а также сермяга, береста и солома – это, по словам Д. С. Лихачева, «антиматериалы, излюбленные ряжеными и скоморохами. Все это знаменовало собой изнаночный мир, в котором жил древнерусский смех»<sup>29</sup>. Любопытно, что впоследствии, также после поражения (в битве под Нарвой; 1702), в подобную бутафорскую одежду облачится Петр Великий. Вот такая культурная преемственность!

И затеянная Грозным опричнина имела ярко выраженный игровой, скомороший характер. Введение ее происходило через карнавализацию, высмеивание существующего порядка. Напомним, что царь, желая укрепить свою самодержавную власть, «разделил единый народ на две половины, сделав как бы двоeverным, – одних приближая, а других отстраняя... Как волков от овец, отделил он любезных ему (опричников. – Л. Б.) от ненавидимых им (земских – Л. Б.)»<sup>30</sup>. Иван заявил о своем решении оставить трон, демонстративно покинул Кремль и обосновался в подмосковной Александровской слободе. Когда же духовенство и знать стали молить царя о возвращении в Москву, на престол, он испросил себе разрешение по собственному разумению нещадно казнить непокорных бояр. Тогда-то и был образован специальный опричный корпус – своего рода древнерусский КГБ. То было замкнутое общество с полицейско-охранительными функциями. Вот как описывает слободу историк: «В этой берлоге царь устроил дикую пародию монастыря, подобрал три сотни самых отъявленных опричников, которые составили братию, сам принял звание игумена, а князя Афанасия Вяземского обрек в сан келаря; покрыл этих штатных разбойников монашескими скуфейками, черными рясами, сочинил для них

<sup>27</sup> Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. М., 1925. С. 87, 88.

<sup>28</sup> Пискаревский летописец // Материалы по истории СССР. Т. II. М., 1955. С. 80.

<sup>29</sup> Лихачев Д. С., Пащенко А. М., Понырко В. Н. Указ. соч. С. 16.

<sup>30</sup> Временник Ивана Тимофеева. С. 174–175.



общежительный устав, сам с царевичами по утрам лазил на колокольню звонить к заутрене, в церкви читал и пел на клиросе и клал такие земные поклоны, что со лба его не сходили кровоподтеки. После обедни за трапезой, когда вся веселая братия обедалась и опивалась, царь за аналоем читал поучения отцов церкви о посте воздержания, потом одиноко обедал сам, после обеда велел говорить о законе, дремал или шел в застенок присутствовать при пытке заподозренных»<sup>31</sup>.

Опричина, как сие видно даже из самого названия (опричный – «особый, отдельный, сторонний»), – это изнаночное, перевертышное царство, своего рода антимонастырь с монашескими одеждами опричников как антиодеждами, с пьянством как антипостом, со смеховым богослужением, со смеховыми разглагольствованиями о посте во время трапез-оргий, со смеховыми разговорами о законе и законности во время пыток<sup>32</sup>. К тому же всю эту шатию-братию развлекали скоморохи – они смешили царя до и после убийств.

Даже обмундирование опричников было исполнено мрачноватой символики. Все они – в грубых нищенских одеяниях на овечьем меху (но надлежало иметь нижнюю одежду из золотого сукна на собольем или куньем меху), опирались на черные монашеские посохи с острыми наконечниками, носили за поясом длинные, в локоть, ножи. Они выезжали, гарцуя на вороных конях, а к седлу были привязаны собачья голова и метла. Первый опричный символ означал, что опричники грызут царских врагов, второй – что они выметают измену из государства. Перечислять все злодеяния этой тайной полиции царя (а один только разгром Новгорода в январе–феврале 1570 года унес более десяти тысяч жизней) мы не будем. Остановимся на кровавых потехах и шутовстве самого тирана.

Пытки и казни особенно воодушевляли Грозного. «Редко пропускает он день, – рассказывает очевидец, – чтобы не пойти в застенок, в котором постоянно находятся много сот людей; их заставляет он в своем присутствии пытать или даже мучить до смерти безо всякой причины, вид чего вызывает в нем, согласно его природе, особенную радость и веселость»<sup>33</sup>. Другой свидетель уточняет: «При этом случается, что кровь нередко брызжет ему в лицо, но он все же не волнуется, а наоборот радуется и громко кричит: "Гойда, гойда!" И все подонки убийц и солдат, подражая ему, также кричат: "Гойда, гойда!" Но если тиран замечает, что кто-нибудь молчит, то, считая его соучастником, он прежде спрашивает, почему тот печален, а затем велит разрубить его на куски»<sup>34</sup>.

После каждой экзекуции Иван бежит исповедоваться, иногда кается публично, называя себя «смердным псом», «убийцею», «проклятым». Но

<sup>31</sup> Ключевский В. О. Указ. соч. С. 177.

<sup>32</sup> Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко В. Н. Указ. соч. С. 48.

<sup>33</sup> Послание Таубе и Крузе // Русский исторический журнал. Кн. 8. Пг., 1922. С. 39.

<sup>34</sup> Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного. Л., 1934. С. 25.

такие слова раскаяния пострашнее любой угрозы. Ибо, знают близкие, сия процедура «моральной гигиены» – необходимая прелюдия перед новыми казнями: чем сильнее самоуничижает себя тиран, тем сильнее предается потом насилию и разгулу. Горе тому, кто был при нем в минуты раскаяния. Иван становился по отношению к нему «Грозным».

Шутов царь жаловал. Один итальянец, бывший в Москве в 1570 году, рассказывает, как царь въезжал в город: «Впереди ехали 300 стрельцов, за стрельцами шут его на быке, а другой в золотой одежде, затем сам государь». А в Новгородской летописи под 1571 годом упоминается, что «в те поры в Новгороде, и по всем городам и по волостем на государя брали веселых людей» и «поехал из города на подводах, к Москве Суббота (дьяк. – Л. Б.) и с скоморохами»<sup>35</sup>. Именно в это время (1571) при дворе был учрежден Потешный чулан, состоявший преимущественно из людей скоморошье профессии. Характерно, что на свадьбе своей племянницы, княжны Марии Владимировны, и Магнуса Голштинского (1573) монарх устроил срамные пляски скоморохов.

Известно имя лишь одного шута Ивана Васильевича – Осипа Гвоздева. Этот потешник был, так сказать, скоморохом-аристократом – происходил из родовитой семьи и имел даже титул князя. Надо полагать, что княжеское достоинство этого шута позволяло Грозному унизить весь его род и – шире – всю родовую знать «предателей-бояр» в целом. Не о таком ли монаршем самовольстве в России писал впоследствии маркиз Шетарди: «Напоминается время от времени вельможам здешнего государства, что ни их происхождение, ни состояние, ни чины... не ограждают их хотя от малейшей фантазии государя»<sup>36</sup>.

Рассказывают, что однажды царь взъярился за него за какую-то неудачную шутку и вылил ему на голову плошку горячих щей. Забавник взвыл от боли и пустился было наутек, но тиран настиг его и ударил ножом в грудь. Грозный посылает за доктором. «Исцели слугу моего. Я *пошутил* с ним неосторожно», – обращается он к эскулапу. «Так неосторожно, что разве только Бог и твое царское величество можете воскресить умершего. В нем нет уже дыхания», – последовал ответ. Царь махнул рукою, назвал мертвого шута псом и продолжал веселиться.

Хотя при дворе скоморохов было в избытке, царь потехи ради все умножал их число. Так, по его велению проштрафившегося новгородского архиепископа Пимена одели в отрепье, посадили на белую кобылу, дали в руки волынку и на глазах у честного народа возили по улицам. Государь сказал, что определит его в разряд волынщиков, чтобы играл и скоморошествовал под пляску медведя.

Его излюбленной забавой была так называемая «медвежья комедия», в которой ученые звери плясали и фиглярничали под водительством скоморо-

<sup>35</sup> Полное собрание русских летописей. Т. III. СПб., 1841. С. 167.

<sup>36</sup> Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 86. СПб., 1893. С. 227.

рохов. Царь, однако, не довольствовался ролью пассивного зрителя – он устраивал собственную комедию: самолично травил своих холопов медведями и в гнев, и в радость. Сохранились свидетельства, что Иван Васильевич, завидев толпу народа, приказывал выпускать двух-трех медведей и громко смеялся, когда все в ужасе разбегались. Монарх после этого приходил в такое благодушное настроение, что даже жаловал изувеченным по целой золотой деньге! Или велел зашивать провинившегося в медвежью шкуру (это называлось «обшить медведно»), а затем спускал на него свору собак. Так погиб новгородский архиепископ Леонид. А одного младенца из опального семейства он ничтоже сумняшеся отдал медведям на съедение.

В это трудно поверить, но рассказывают, что однажды царь наложил свою опалу на... слона, подарок персидского шаха. Животное посмело не встать по приказу тирана на колени, за что было тут же изрублено на куски.

А разве не уморительно повесить дворянина по фамилии Овцын рядом с натуральной овцой?! – и царь смеется, глядя на двух повешенных «однофамильцев».

Некий воевода Голохвостов, под видом монаха скрывавшийся от монаршего гнева в монастыре на Оке, пойман опричниками. «Монахи – ангелы и должны лететь на небо!» – «шутит» царь и велит взорвать несчастного на бочке с порохом.

Другой пример изуверского «остроумия» Ивана – расправа с героем войн, одним из ростовских князей, схваченным по его приказу. Его раздели и повезли обнаженного на берег Волги, где остановились. «Зачем?» – спросил князь. «Поить коней», – отвечали опричники. «Не коням, – сказал несчастный, – а мне сию воду пить и не выпить». Ему в ту же минуту отсекли голову; тело кинули в реку, а голову положили к ногам Ивана, который, оттолкнув ее, обронил: «Сей князь, любив обагряться кровью неприятелей в битвах, наконец обагрился и собственной».

Как-то раз одному дьяку принесли в гостинец щуку. Это увидел один злейший враг дьяка и донес государю: «Этот человек, воздерживаясь от малых рыб, пожирает большие, которые ловит из твоих садков». Тиран вызвал дьяка к себе и осыпал бранью: «Ты, злодей, ешь больших рыб из моих садков, хотя там могут оказаться и малые. Так ступай же ешь и тех, и других, больших и малых». Царь велел утопить его в пруду.

С другим дьяком, принявшим в качестве подношения жареного гуся, начиненного деньгами, Грозный расправился самым варварским способом. Тиран «спросил у палачей своих, кто из них умеет разрезать гуся, и приказал одному из них сначала отрубить у дьяка ноги по половине икр, потом руки выше локтя (все спрашивая его, вкусно ли гусиное мясо) и наконец отсечь голову, дабы он совершенно походил на жареного гуся»<sup>37</sup>.

Одного боярина, пытавшегося бежать в Речь Посполитую, тиран призвал к себе и приказал пытать. Когда тот сознался, то был привязан к теле-

---

<sup>37</sup> Флетчер Дж. О государстве русском // Накануне Смуты. М., 1990. С. 525–526.

ге, управляемой лошадей, у которой предварительно выкололи глаза. Опричники Грозного с гиканьем и улюлюканьем погнали слепую лошадь в пруд. Видя, что боярин тонет, самодержец театрально воскликнул: «Отправляйся к польскому королю, к которому ты собирался в дорогу, вот у тебя есть лошадь и телега!»

Опричина стала одиозным жупелом не только для России, но и для всей Европы. «Если бы сатана хотел выдумать что-нибудь для порчи человеческой, то и тот не мог бы выдумать ничего удачнее», – говорили иноземцы. Исполнив свою главную роль – укрепление безграничной деспотической власти, она неизбежно должна была согнуться с исторической авансцены. Свою роль сыграло здесь и опустошительное нашествие на Москву в 1571 году крымского хана Дивлет-Гирея, которому опричное войско не смогло противостоять. Так или иначе, к концу 1572 года царь решает отмежеваться от товарищей кровавых забав, а потому жестоко казнит почти все прежнее опричное руководство (кстати, также впоследствии поступит и Сталин, уничтожив верхушку МГБ с Ягодой, а затем с Ежовым во главе).

Показательна в этом отношении участь ближайшего фаворита тирана, слащавого красавчика Федора Басманова, с которым Грозный предавался содомскому греху. Этот опричник не только потешал монарха на пирах, но и умел придать убийствам характер шутовства. Федор пытался купить себе жизнь тем, что, потакая самодержцу, вызвался собственноручно отрубить голову своему родному отцу, тоже теперь уже опальному опричнику, что, однако, не спасло его от неминуемой смерти. А расправу с князем Афанасием Вяземским, бывшим в прошлом ближайшим советчиком и самым доверенным лицом тирана, Грозный, как у него водилось, обставил театрально. Однажды, возвратясь от царя, Вяземский увидел, что дом его разграблен, а вся челядь перебита. Охваченный ужасом, бывший опричник, однако, сдержался и затаился, боясь обнаружить сочувствие к убиенным. Но когда тиран казнил его брата, князь в страхе бежал, но был пойман и поставлен на правед. Вяземского нещадно лупцевали палками, вымогая у него деньги. В итоге его выслали в один волжский город, где он и умер «в железных оковах».

Современник передает леденящие душу подробности казней Иваном своих прежних заплочных дел мастеров: «У многих приказал он вырезать из живой кожи ремни, а с других совсем снять кожу и каждому своему придворному определил он, когда он должен умереть, и для каждого назначил различный род смерти: у одних приказывал он отрубить правую и левую руку и ногу, а только потом голову, другим же разрубить живот, а потом отрубить руки, ноги и голову; в общем, все это делалось различными неслыханными способами, о которых нельзя ни прочесть, ни услышать ни про одного тирана»<sup>38</sup>. Иван проявил при этом адскую изобретательность: не было двух казненных, которые умерли бы одинаковой смертью. Грозный

---

<sup>38</sup> Послание Таубе и Крузе. С. 51.

спешил предать забвению даже само слово «опричина», запретив произносить его под страхом сурового наказания.

Чувство одиночества, осложненное манией преследования, не дает покоя тирану в последующие годы. Он то говорит о желании облачиться в черную ризу монаха, то не в шутку ведет переговоры с английской королевой о предоставлении ему убежища в туманном Альбионе. Как бы готовясь к своему уходу, он в 1574 году объявил, что отказывается от своих обязанностей в пользу одного из татарских князей, крещенного под именем Симеона Бекбулатовича. Некоторые историки связывают этот факт с предсказаниями придворных астрологов, напророчивших «московскому царю смерть» на этот год. Другие полагают, будто бы царь желал свалить на Симеона непопулярные финансовые мероприятия: отмену привилегий монастырям по уплате налогов и выколачивании старых недоимок. Говорят и о «новом сумасбродстве» Ивана, о предпринятом им «политическом маскарade» и т. д.

Как бы там ни было, Грозный посадил Симеона в Москве, венчал его державным венцом, а сам назвался Иваном Московским, вышел из Кремля, жил на Петровке; весь свой чин царский отдал, а сам «ездил просто», как боярин, в оглоблях, и демонстрировал подобострастие к этому шутовскому царю. 30 октября 1575 года он пишет униженную челобитную: «Государю великому князю Симеону Бекбулатовичу всея Руси Иванец Васильев со своими детишками с Иванцом и с Федорцом, челом бьют...» При этом употребляет уничижительные самоназвания и выражения, принятые в челобитных к царю: «А показал бы ты, государь, милость...»; «окажи милость, государь, пожалуй нас...» Челобитная изобилует уменьшительными словами: «вотчишки», «поместышки», «хлебишко», «деньжонки». В заключение Иванец Васильев обращается к Симеону с нижайшей просьбой – разрешить ему «перебраться людишек». Этот шутливый эвфемизм означает не что иное, как вновь совершить массовые казни. Тиран остается верен себе...

Через год Симеон исчез, и, довольный разыгранным фарсом, Грозный вновь появляется на престоле. Он до 1578 года продолжает свои мучительства и расправы. И одновременно он кается, думая, что, составив синодики (поминальные списки) казненных и разослав по монастырям вклады на поминовение их душ, он вымолит прощение у Всевышнего. Перед смертью Иван Васильевич принял монашеский постриг. Но царь-скоморох, он и в ризе требует, чтобы его потешали и развлекали все новые шуты-забавники. И (это доподлинно известно) в день кончины они залихватски плясали у одра царя, словно радуясь уходу из жизни своего кровавого собрата.

---

# ЛЕЙБ-МЕДИК ИМПЕРАТРИЦЫ

Стоящий за конторкой человек лет тридцати пяти быстро водит пером. Сама его наружность сразу же приковывает к себе внимание и властно врзается в память: умное волевое лицо, лысый череп, худая шея аскета, выдающиеся скулы, сильно выраженные надбровные дуги, глубоко посаженные миндалевидные глаза. Человек этот – потомок португальских марранов, доктор Антонио Нуньес Рибейро Санчес, он же Санхец, Саншес, Санше (1699–1783), определившийся на русскую службу четыре года назад. А пишет он трактат о преследованиях в Португалии и Испании так называемых «новых христиан» (марранов), то есть евреев, насильно обращенных в католичество.

Здесь, в холодной Московии, доктор сделал завидную карьеру: поговаривают даже, что совсем скоро его назначат лейб-медиком императрицы Анны Иоанновны. Но хотя русская Фортуна и благоволит к Санчесу, инстинктивное чувство подсказывает еврею: все до поры, до времени, монаршая милость может в одночасье смениться гонениями и опалой. Потому и в пору благополучия он не перестает думать о злключениях своих соплеменников, и эта глубоко выстраданная, личная для него проблема никогда не теряет своей болезненной остроты. Вот он остановился, отложил перо и отдался воспоминаниям...

Вспомнилось ему, быть может, как он бежал из Португалии, которую так любил и которая отторгла его, как чужака. В начале XVIII века то была страна, где бесчинствовала инквизиция: не сыном, а недостойным пасынком был для власть имущих отпрыск марранов, повинный лишь в том, что ему случилось родиться евреем. В 1497 году евреи Португалии были поставлены перед выбором: крещение или выселение из страны. Многие уехали, а те, кто остались и назывались «новыми христианами», вызывали (и небезосновательно) подозрение в тайном исполнении иудейских обрядов. Положение особенно усугубилось после 1535 года, когда неистовые ревнители веры Христовой стали открыто вести против марранов яростную кампанию, жестокость которой постоянно нарастала. Несчастных преследовали в городах и деревнях, в лесах и горах, и, казалось, земля горела под их ногами. Запылали и костры – печально знаменитые аутодафе, в которых погибли тысячи «новых христиан». И многие умирали с иудейской молитвой на устах.

Дамоклов меч инквизиции был занесен и над Санчесами, которые, даже достигнув богатства и широкой образованности, привыкли жить в постоянном ожидании расправы. Антонио с детства внушали: он как изгой в этом ошетиनिвшемся мире должен быть лучше, образованнее, талантливее других. И эта извечная еврейская жажда познаний, стремление к внутреннему совершенству овладели им сизмальства.

Он не пошел по стопам отца – видного коммерсанта, зато последовал примеру дяди, Диего Нуньеса, – известного лиссабонского эскулапа, который и привил отроку интерес к медицине. Семнадцати лет Санчес отправляется в г. Коимбра, где учится в Иезуитском университете изяшных ис-

кусств. Затем, с 1721 года, углубленно изучает медицину в университете в Саламанке. В 1724 году он получает, наконец, диплом доктора и начинает свою врачебную практику в г. Бонавенти. Там он пишет свой первый ученый труд о свойствах целебных вод.

В 1726 году Атонио бежит из страны в туманный Альбион. Некоторые историки утверждают, что побег этот был связан с опасным положением евреев в Португалии, и напоминают о событии, прямо повлиявшем на это решение Санчеса: как раз в 1726 году инквизиция обвинила в тайном иудействе его кузена Мануэля Нуньеса, и семья Санчесов подверглась новым преследованиям. Но очевидно и то, что причиной побега юноши могла быть неукротимая страсть к знаниям, которые он мог обрести только за границей – в странах с передовой медицинской наукой.

В Англии Антонио провел два года, усиленно штудировав столь необходимые лекарю естественные дисциплины: физику, натуральную историю, химию, фармакологию, анатомию. Есть предположение, что здесь он свел знакомство с местными евреями (называют, в частности, имя его коллеги-еврея доктора Якоба Де Кастро Сараменто), был тайно обращен в иудаизм и даже сделал обрезание. Впрочем, он никак не афишировал свое иудейство, на которое тогда косо смотрели даже в «просвещенных» странах: карьера была прежде всего! Далее путь нашего героя лежал во Францию, где в университетах и больницах Парижа, Марселя, Монпелье и Бордо он жадно постигал науку врачевания.

Одно событие кардинально изменило жизнь и научное мышление Санчеса: в 1727 году он познакомился с сочинениями великого нидерландского врача, ботаника и химика Германа Бургава (1668–1738). Последнего называют основателем так называемой Лейденской медицинской школы. Он первым применил к медицине идеи эпохи Возрождения и вывел ее из области схоластического средневекового мудрствования, пытаясь связать основы анатомии и физиологии с практическим опытом. Им была устроена в Лейдене первая в то время клиника научного исследования болезней, сделавшаяся средоточием медицинской мысли эпохи. Туда-то незамедлительно и устремился Антонио, и через три года был назван одним из лучших учеников знаменитого голландца. Потому, когда в 1730 году русское правительство обратилось к Бургаве с просьбой рекомендовать ему ученого-медика для важной врачебной должности в России, он указал на Санчеса как на достойнейшего кандидата.

В Северную Пальмиру наш герой прибыл в 1731 году и служил на благо России свыше шестнадцати лет. Обучал медицинским премудростям русских фельдшеров, повитух и фармацевтов в Москве. Затем определился в военное ведомство и «не малое время находился при войсках, с которыми неоднократно бывал в походах». Позже перебрался в Петербург, где получил назначение на должность главного медика при Сухопутном шляхетном кадетском корпусе (это привилегированное учебное заведение для дворян называли Рыцарской академией). Одновременно он состоял домашним врачом кабинет-министра А. П. Волынского. Талант и мастерство доктора Санчеса

обратили на себя внимание самой императрицы, которая призвала его ко двору и сделала своим лейб-медиком. Известно, что он часто пользовал Анну Иоанновну, особенно во время ее обострившейся мочекаменной болезни.

Официально числясь католиком, он, казалось, должен был бы избежать гонений за свое еврейство. А потому его не коснулся введенный еще Екатериной I в 1727 году указ, запрещающий евреям жить на всей территории Российской империи. Но он, тайный иудей, не мог не содрогнуться, когда в 1738 году грянул процесс над евреем Борухом Лейбовым и обращенным им в иудаизм капитаном Александром Возницыным. Лейбову вменялось в вину и то, что он построил синагогу в местечке Зверовичи (Белоруссия), которую впоследствии власти, конечно же, сожгли вкупе с молебными книгами. Следствие вел начальник вездесущей канцелярии Тайных розыскных дел А. И. Ушаков – человек со зловещим лицом, чем-то смахивавший на великого инквизитора. И приговор вынесли поистине инквизиторский: Лейбова и Возницына «казнить смертию и сжечь!» Аутодафе над отступниками произошло в Петербурге, на углу Невского и Большой Морской, при большом стечении народа. Хотя Санчеса прямо не коснулась чаша сия, событие это отозвалось болью в его сердце, как и в сердцах всех этнических евреев империи. В их числе был и его друг, шут императрицы Ян Лакоста, тоже потомок португальских марранов.

Хотя и говорят «жид крещеный – жид прощенный», Санчесу время от времени напоминали о его еврейском происхождении. Писатель и стихотворец XVIII века А. П. Сумароков в одном частном письме говорит о некоем иностранце, как он пишет, «жидовской породы». Эта-то «порода» и вызывала у придворных неприятие и высокомерную брезгливость. Известный своим антисемитизмом исторический романист В. С. Пикуль в книге «Слово и дело», на наш взгляд, весьма достоверно показывает юдофобию русской императрицы. Санчеса она называет не иначе как «христопродавцем». «Ну, жид! – сказала ему Анна Иоанновна, до подбородка одеяла на себя натягивая. – Смотри мое величество...» Но одеяла снять не давала: «Ты так меня... сквозь одеяло смотри... Твое счастье, что я больна лежу. А то бы показала тебе... Пиши рецепт, гугнявец такой!.. Чтобы я, самодержица всероссийская, тебе жопу свою показывала? Да лучше я умру пусть, но не унижусь!» Униженным, однако, предстает здесь лейб-медик. И едва ли случайно то, что в декабре 1740 года он, сказавшись больным, не присутствовал на торжественных похоронах этой самодержицы.

Кратковременное правление прямодушной и милосердной регентши Анны Леопольдовны при младенце-императоре Иоанне Антоновиче было звездным часом карьеры Санчеса. В ноябре 1740 года его назначают императорским гоф-медиком с жалованьем в три тысячи рублей. Правительница настолько уверовала в чудесного доктора, что доверила ему свое августейшее чадо и посылала к нему на просмотр и утверждение все рецепты, выписанные другими врачами.

Историк П. Бартенев говорит об искренней приверженности доктора Бра-



уншвейгскому семейству, что, с его точки зрения, и явилось причиной его последующей опалы. Едва ли! Ведь вступившая на престол Елизавета Петровна Санчеса не преследовала. Она сохранила за ним пост царского лейб-медика и часто пользовалась его услугами. И это притом, что была яркой противницей евреев. Это она приказала изгнать их всех поголовно из пределов империи (исключение делалось лишь для тех, кто принял православие). Когда Сенат ходатайствовал о временном пребывании евреев в Риге и Малороссии, аргументируя это выгодами для казны, Елизавета бросила свою знаменитую фразу: «От врагов Иисуса Христа не желаю интересной прибыли».

По-видимому, поначалу императрица не подозревала португальского врача-католика в иудействе (как благоволила она и к возведшему ее на престол сержанту лейб-гвардии, еврею-перекрещенцу Грюнштейну, которому даровала сотни христианских душ). Тем более что доктор был весьма полезен: в 1744 году он излечил опасно больную плевритом невесту великого князя Петра Федоровича, будущую императрицу Екатерину II.

Когда Санчес из-за болезни глаз подал в отставку, его проводили из России с большими почестями. Вот копия выданного ему аттестата (абшида) за высочайшей подписью: «Оказатель сего, Медицины Доктор Антонио Рибейро Санхес, выписан и принят был в службу Нашу с капитуляцией в 1731 году, с которого в оную Нашу службу, в исправлении по искусству его медицинского дела, будучи в разных местах, доньше препроводил, как искусному доктору и честному человеку надлежит, добропохвально; так что за оказанные в том его труды и искусство Всемилостивейши от Нас пожалован и обретен при Императорской Нашей Особе вторым лейб-медиком с рангом Действительного Статского Советника, а понеже он, доктор, за болезнями, которыми он одержан, просил из службы увольнения, того ради указали Мы дать ему сей абшид за собственноручным подписанием. Елисавет. С. Петербург, Сентября 4-го 1747 года». Петербургская Академия наук поспешила избрать Санчеса «почетным членом физического класса, с определением Ея Императорского Величества жалования 200 руб. в год» с тем, чтобы он из-за кордона «для здешней Академии разные пьесы и диссертации присылал».

Перед отъездом Академия приобрела у Санчеса значительную часть его книжного собрания: более 700 томов – они и поныне хранятся в фондах Библиотеки РАН (Петербург). Состав коллекции свидетельствует о широте интересов доктора. Достаточно сказать, что здесь содержатся издания на латинском, французском, английском, итальянском, испанском и португальском языках. Преобладает литература по медицине: практические пособия, атласы, справочники, исследования в области анатомии, физиологии, хирургии, акушерства, фармакологии, гигиены и т. д. Доктор имел в своем распоряжении труды античных и средневековых врачей (Гиппократ, К. Гален, А. К. Цельс, Авиценна, А. Везалий, А. Парэ, Р. Грааф), а также современных ему эскулапов: Г. Бургава, Ж. Астриюка, А. Галлера, И. Юнкера и др. Но тематика книг одними естественными науками не ограничивается. Имеются фолианты по теологии, древней и новой истории, эс-

тетике, юриспруденции, математике, искусствам, риторике, поэзии, филологии, библиографии, торговле и т. д. Среди сочинений по истории трактаты Ж. Бодена и Н. Макиавелли, П. Сарпи и Фридриха II. Обращает на себя внимание содержащееся здесь жизнеописание Лючилио Ванини, итальянского вольнодумца, сожженного на костре инквизиции. Большинство экземпляров снабжено владельческими надписями, разного рода маргиналиями и памятными записями. Детальное изучение коллекции Санчеса еще ждет своего исследователя, оно могло бы приоткрыть творческую лабораторию этого энциклопедически образованного ученого.

Слава об императорском лейб-медики облетела всю Европу. Парижская Академия наук избрала его своим действительным членом. Санчес и отправился во Францию, чтобы после продолжительного отдыха снова практиковать медицину и писать научные трактаты. Выполнял он и поручения петербургских академиков: вел, в частности, переговоры о поступлении на русскую службу видных ученых-иностранцев. Тем неожиданное и обидное стал для него полученный из России указ Елизаветы Петровны от 10 ноября 1748 года о том, чтобы Санчеса «из академических почетных членов исключить и пенсии ему с сего числа не производить». Лишившись ученого звания и важного источника существования, недоуменный доктор пишет президенту Петербургской Академии К. Г. Разумовскому покаянное письмо. Полагая, что опала постигла его из-за обвинения в политической неблагонадежности, и припоминая случай, который мог подать повод к неприятным для него толкам, Санчес оправдывается, доказывая свою невиновность.

Причина немилости была, однако, совсем в другом. Вот что пишет по этому поводу канцлер А. П. Бестужев: «Г. Саншес обеспокоен тем обстоятельством, которое вовсе не было поводом к его опале. Ея Императорское Величество почитает ученых и покровительствует наукам и искусствам в высшей степени. Но она хочет также, чтобы члены ее Академии были добрыми христианами, а она узнала, что доктор Саншес не принадлежит к числу таковых. И так, сколько мне известно, причину, по которой он лишился места своего, было его иудейство, а вовсе не какие-либо политические обстоятельства». В том же духе высказался в письме Санчесу К. Г. Разумовский: «Она прогневалась на вас не за какой-то проступок или неверность, совершенные непосредственно против Нее. Но Она полагает, что было бы против Ее совести иметь в Своей Академии такого человека, который покинул зная Иисуса Христа и решился действовать под знаменем Моисея и ветхозаветных пророков». Почему же покровительствовавшая ранее ученому Елизавета Петровна вдруг, одержимая поистине инквизиторским пылом, обвинила его в отходе от христианства? Историки полагают, что, оказавшись в Париже, доктор сошелся с еврейской общиной города и посещал синагогу, о чем и донесли русской императрице.

Отчаявшись, Санчес прибегнул к заступничеству известного математика-швейцарца Л. Эйлера, бывшего членом Петербургской Академии со дня ее основания. «...Ее Императорское Величество, – пишет доктор, – не гне-

вается на меня ни за какой политический промах, но что ее совесть не дозволяет, чтобы я оставался в Академии, когда исповедую иудейскую веру. Я отвечал на это с большой умеренностью, что такое обвинение ложно и есть тем более клевета, что я католической религии, но что я не забочусь опровергнуть это, потому что мне от рождения суждено, чтобы христиане признавали меня за еврея... и сверх того Провидением это предназначено крови, текущей в моих жилах, той самой, которая была и у первых святых церкви и св. апостолов, униженных, преследованных и мученных при жизни, чтимых и поклоняемых после их смерти». Писано в XVIII веке, а как современно звучит эта отповедь всем юдофобам от религии, кои называют семитов потомками «колена Иудина». Они почему-то делают вид, что не знают, да и не желают знать, что еврейская кровь текла в жилах не только ветхозаветных пророков, но и первых христиан и евангелистов. Как сказал один остроумец после прочтения Библии: «Тогда все были евреи. Время было такое!» Есть и такой анекдот: одна богомольная русская старушка говорит другой: «Ты знаешь, оказывается, Христос-то был еврей!» – «Ну и что, – утешает ее вторая, – Он же нашу веру принял!..»

Ни ходатайство Л. Эйлера, написавшего: «Я сильно сомневаюсь, чтобы подобные удивительные поступки могли содействовать распространению славы Академии наук», ни явное расположение к Санчесу К. Г. Разумовского положения его не изменили: Елизавета Петровна была непреклонна.

Лишенный пенсии, а потому стесненный в средствах, доктор, тем не менее, работает во Франции с удвоенной энергией. Он бесплатно лечит бедняков, активно занимается научными изысканиями, ведет оживленную переписку со светилами медицины. В 1750 году он издает на французском языке первую свою большую работу – о происхождении и лечении сифилиса. Книга принесла автору громкую известность и была дважды переведена на немецкий язык. Труд этот почитается классическим и не потерял своего значения и сегодня.

Рационалист по убеждению, Санчес защищал науку и опыты, ратовал за образование светское, освобожденное от церковных пут, настаивал на открытии общедоступных школ. Его трактат по педагогике «Письма об образовании юношества» (1760) одушевлен идеями Просвещения и в ряду произведений Вольтера, Д. Дидро, Ж. Л. Д'Аламбера, П. Х. Гольбаха, Ж. Л. Л. Бюффона (с которыми доктор был знаком лично) является памятником просветительской мысли. А вот отзыв современника, русского князя Д. А. Голицына, об экономических воззрениях доктора: «Почтенный старец обладает в этом вопросе такими познаниями, что удивляешься их встретить в человеке, столь удаленном всю свою жизнь от управления делами. В разговорах с ним мы исчерпали этот предмет до дна».

Антонио Рибейро с полным основанием можно назвать энциклопедистом, и дело не только в его широчайшей эрудиции: Санчес писал словарные статьи для знаменитой французской «Энциклопедии», с которой активно сотрудничал. Имя Антонио Рибейро Санчеса стало почитаться и в

Португалии, где после прихода к власти маркиза С. Ж. Помбала (он правил в 1750–1777 гг.) были введены реформы против католической церкви и иезуитов. Фактический диктатор, Помбал насаждал просвещение жесткими авторитарными мерами. В 1773 году он реализовал давнюю мечту Санчеса: отменил все юридические различия между «старыми» и «новыми» христианами, уравнив их в правах. И хотя инквизиция будет окончательно уничтожена только в 1821 году, ее активность во времена правления маркиза существенно снизилась. И симптоматично, что именно Помбал с его просветительским запалом инициировал печатание трудов Санчеса в Португалии и восстановил его славу. Академия реальных наук в Лиссабоне избрала его своим действительным членом.

Санчес привлекал русских, оказавшихся во Франции, о чем свидетельствовал К. Г. Разумовский в своей докладной записке, поданной в канцелярию Академии наук сразу же после кончины Елизаветы Петровны: «Санше... живучи в Париже, по всегдашнему своему усердию к России, приезжающим туда для приобретения себе в науках и художествах вящего знания россиянам оказывал всякие полезные услуги, коих бывшие в Париже довольно похвалить не могут». Разумовский предлагал возратить ему звание и пенсию.

Это стало возможно только при императрице Екатерине II, которая сохранила к доктору глубокую благодарность. Монархиня распорядилась: «Бывшему наперед сего в здешней службе лейб-медиком, ныне же обретающимся в Париже доктору Санше производить из комнатной суммы пенсиию по тысяче рублей в год, по смерти его, для того, что он меня, за помощью Божию, от смерти спас».

Санчес и раньше негласно приятельствовал с русскими вельможами, теперь же они стали дружить открыто. Так, граф М. А. Воронцов писал И. И. Шувалову из Берлина в Париж: «Прошу сказать дружеский поклон г. Саншесу». Это Санчес составил для И. И. Шувалова программу преподавания медицины в Московском университете и записку «О значении науки в деле гражданского и политического развития России». Тесные контакты поддерживал доктор и с президентом Академии художеств, выдающимся русским педагогом и просветителем И. И. Бецким. Доктор послал ему написанное им наставление и другие материалы для открывшегося в 1764 году Воспитательного дома в Москве. Бецкому же он переслал в Россию для перевода на русский язык свою рукопись трактата о русских банях, впоследствии знаменитого. В России книга была издана дважды: в 1779 и 1791 гг. На титульном листе прижизненного издания значится: «О парных российских банях, поелику споспешествуют оне укреплению, сохранению и восстановлению здравия; сочинения г. Саншеса, бывшего при дворе Ея Имп. Величества славнаго медика...»

Тема эта была тем более актуальна, что известный оппонент Екатерины II, французский ученый аббат Ж. Шапп д'Отрош в своей книге «Путешествие в Сибирь» (1768) всячески доказывал вред русских бань, и императрица вынуждена была отвечать ему на это в самых резких выражениях.

В предисловии к своей книге «славный медик» Санчес пишет: «Искреннее желание мое простирается только для показания превосходства бань российских пред бывшими вдревле у Греков и Римлян и перед находящимися ныне в употреблении у Турков, как для сохранения здоровья, так и для излечения многих болезней». Между прочим, главное преимущество русской бани он видит в том, что здесь «возобновление паров чинится через всякие пять минут. Сим образом производимый пар расслабляет твердых частей тела, ибо сей пар составлен стихийными частицами огня и воздуха... Он смягчит кожу, а не расслабляет ее... Расширяет орудия дыхания, боевые и другие жилы, оживляет и восстанавливает оные части...» Далее автор говорит о русских банях как о драгоценнейшем благе, которое может послужить для «крепости и здоровья тела» не только у себя на родине, но и в других странах. Так, собственно, и получилось – с легкой руки Санчеса русские бани стали строить во Франции, Германии, Швейцарии, Англии и США. А книга его, переведенная на несколько европейских языков, стала классическим произведением всемирной медицинской литературы и не утратила своего значения и по сей день.

Антонио Рибейро была отпущена долгая, насыщенная творчеством жизнь. Он скончался в Париже в тиши своего кабинета 11 сентября 1783 года. Парижская Академия наук посвятила его памяти специальное заседание.

В бумагах доктора были найдены 28 законченных рукописей, две из которых заслуживают нашего особого внимания: «Размышления об инквизиции. Для моего личного употребления» и «О причинах преследования евреев». Названия говорят сами за себя: он и под старость был озабочен судьбой своих соплеменников.

В то же время он как-то признался, что смысл жизни видит и в «службе Империи Российской». И в самом деле, этой стране были отданы лучшие его годы. Он не только врачевал россиян и помогал им, но и всячески популяризировал на Западе российскую культуру и цивилизацию. А потому Санчеса можно назвать и русским, ибо он усердно трудился во славу и процветание России. В 2004 году в Российской Национальной библиотеке (Петербург) развернулась большая экспозиция, посвященная нашему лейб-медику.

Своим великим сыном объявляет Санчеса и современная Португалия. Один тамошний поэт посвятил ему комплиментарную оду, где назвал доктора «новым португальским Гиппократом». И в энциклопедиях этой страны неизменно подчеркиваются его португальские корни. В 1999 году 300-летие со дня рождения Антонио Рибейро Санчеса было торжественно отмечено в Лиссабоне.

Но какой бы стране он ни служил, он был все-таки прежде всего евреем, и только потом «русским», «португальцем» или «французом». В нем теплилось бессознательное влечение к иудейству – преклонение перед вечными идеалами добра и любви, завещанными религией Моисея.

---

# ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ «МЕНТ»

В кафтанах василькового цвета с красными обшлагами, в ярко-зеленых камзолах новоявленные стражи порядка, выстроившись в шеренгу, громко и внятно произносят слова полицейской присяги: «верным, добрым и послушным рабом» быть царю и «в том живота своего в потребном случае не шадить». А затем каждый поочередно подходит к обер-полицмейстеру Антону Мануиловичу Дивьеру и целует Евангелие и крест, которые тот держит в руках. И все было бы ладно, если бы не еврейская наружность главного полицейского чина: не крест ему под стать, а звезда Давида!

Однако, он – христианин. Христианство принял еще его отец-марран, бежавший от португальской инквизиции в Голландию и занявшийся там не очень-то прибыльным оружейным делом. Имя отца – Эмануэль Дивьер – упоминается в списках еврейской общины Амстердама. Известно также, что вскоре после переезда в страну тюльпанов доведенный до нищеты Эмануэль ушел в мир иной, оставив родившегося в 1682 году сына, Антона, круглым сиротой и без всяких средств к существованию. В поисках хлеба насущного Дивьер-младший сосредоточился на, казалось бы, столь не свойственном еврейскому мальчугану морском деле и в пятнадцать лет стал если не капитаном, то, по крайней мере, подающим надежды голландским юнгой.

Писатель А. И. Соколов очень точно назвал Антона «юркий Дивьер». И действительно, сызмальства Антона отличали ловкость и расторопность, что производило самое выгодное впечатление на окружающих. Он лихо лазил по канатам и правил парусами, без усталости плавал – словом, отменно нес матросскую вахту. А дальше ему улыбнулась сама Фортуна: он очутился в нужное время в нужном месте.

Случилось это в 1697 году, когда в Голландию прибыло Великое посольство из Московии, в коем под именем Петра Михайлова выступал сам государь. Амстердамские власти, зная о пристрастии царя к нептуновым потехам, устроили тогда маневры, в ходе которых разыгралась нешуточная морская баталия. Десятки парусных кораблей выстроились в две линии в заливе Эй, вблизи мыса Схелингвуд. Петр, как истый морской волк, в разгар военной забавы перебрался со своей яхты на один из кораблей и принял командование им. Здесь-то его внимание и привлек красивый исполнительный юнга. Его внешность очень выразительно описана у израильского писателя Д. Маркиша в книге «Еврей Петра Великого, или Хроника из жизни прохожих людей» (2001): «...Ловко сбитый мускулистый молодой человек в матросской одежде. В его то ли сильно загорелое, то ли от природы смуглое лицо вправлены были, как черные камешки, крупные выпуклые глаза в мягких метелочках юношеских ресниц. Кисти рук его были маленькие, сильные и тоже смуглые, темные. Во всем его взгляде... явственно проступало что-то экзотическое, неместное; держался он хотя и скромно, но

без всякого смущения». Разговорившись с юнгой, монарх тут же предложил ему перейти на русскую службу.

Остается загадкой, почему Петр, приложивший столько усилий к строительству флота и ощущавший острую нехватку в морских кадрах, не использовал Дивьера по его прямому назначению, а именно в качестве моряка или корабеля. Видимо, проницательный венценосец угадал в зеленом салажонке его более высокое предназначение, а потому сразу же определил Антона в придворные пажы.

Д. Маркиш приписывает Дивьеру такие думы: «Нет никакой разницы в том, как добывать деньги: пиратствовать ли в южных морях, следить ли за опальными русскими недорослями. Одно было ясно совершенно: чем ближе к царю, тем больше денег... А эти, русские, чужие, как все здесь чужое». Мы же полагаем, что такие корыстолюбивые мотивы свойственны исключительно «солдатам удачи», стремившимся подороже продать свою шпагу. Дивьер же не ощущал себя чужим в стране, ставшей для него новой родиной. Вручив себя и свою жизнь царю Петру и России, он пожелал всемерно укорениться в стране и стал не «прохожим» человеком, таким перекаати-полем (как почему-то принято называть всех иудеев диаспоры), а одним из рачительных хозяев и патриотов российской державы.

Будучи христианином (как и его покойный отец), Дивьер мог беспрепятственно жить в России и продвигаться по служебной лестнице, и не приняв греческого исповедания (ведь стал же полным адмиралом друг царя, кальвинист Ф. Я. Лефорт!). Тем не менее сразу же по приезде в Москву Антон обращается в православие. Шаг этот говорит о его неукротимом желании обрести подлинно русскую ментальность. Ведь известно, что «русский» – это имя прилагательное, поскольку носитель его к России приложен и самозабвенно ей служит. И не химическим составом крови определяется эта русскость, но радением о вере и судьбе империи.

Природный ум, веселый характер, рвение в делах быстро выдвинули новоиспеченного пажа в денщики царя: он занял должность весьма ответственную, облеченную особым доверием самодержца и часто служившую трамплином для дальнейшего карьерного роста (достаточно сказать, что «полудержавный властелин» светлейший князь А. Д. Меншиков тоже начинал с царева денщика).

«Смышлен, вкрадчив, бескорыстен, неутомим», – говорили современники о Дивьере. Монарха более всего пленили его неподкупность и бескорыстие, столь редкие в России той поры. По сему поводу существует анекдот. Однажды царь приказал генерал-прокурору Сената П. И. Ягужинскому подготовить указ: «Всякий вор, который украдет настолько, что веревка стоит, без замедления должен быть повешен». Ягужинский отказался. «Государь, – сказал он, – разве ты хочешь остаться без подданных? Все мы ворует, все, только одни больше и приметнее других!» Антон же не воровал, взятки не брал и руки в государственный карман не запускать, что в значительной мере и определило благоволение к нему Петра. Он получил право

без доклада входить в токарню царя. И вот уже Антон – генерал-адъютант, что по тогдашнему воинскому уставу равнялось полковничьему чину.

Как чувствовал себя при русском дворе этнический еврей? Современники свидетельствуют, что поначалу высшее общество относилось к нему, безродному выскочке, холодно и настороженно; и якобы, дабы упрочить свое положение, Дивьер решает выгодно жениться. «Обратить свои искательства в среду родовитых боярских семей, – пишет историк С. Н. Шубинский, – он не смел, зная, что его еврейское происхождение явится здесь непреодолимой препоной; оставалось пробовать счастья у новой аристократии». Выбор 28-летнего Антона пал на сестру сына конюха, а ныне всеильного князя А. Д. Меншикова, Анну Даниловну. Сколько чернил и бумаги было израсходовано, чтобы доказать, что Дивьер женился исключительно по голому расчету! Говорили, что его суженая – чуть ли не старая дева (хотя на самом деле ей было всего 22 года!) и красотой вовсе не отличалась. На самом же деле была она личностью примечательной и весьма эмансипированной: залихватски ездила верхом, к немалому соблазну ревнителей старины, была (в отличие от брата) грамотной и говорила на нескольких языках. Одно время она в числе прочих составляла ближний круг, своего рода гарем царя (куда, наряду с Меншиковыми и сестрами Арсеньевыми, входила, кстати, и Екатерина Трубачева – будущая императрица Екатерина I). Поговаривали, что Анна даже была мимолетной пассией желаннейшего императора.

Вознесенный из грязи на вершины российского Олимпа, спесивый Меншиков ответил Дивьеру резким и категоричным отказом. Тогда Антон решает соблазнить Анну и, поставив братца перед свершившимся, испросить у него разрешение на брак, дабы покрыть грех. Реакция светлейшего была, однако, прямо противоположной ожидаемому: он пришел в такое неистовство, что не только сам нещадно отлупцевал соблазнителя, но и (чтобы мало не показалось) кликнул челядь, которая и довершила мордобитие.

Видно, матримониальные планы в отношении его сестры не только не утишили гнев Меншикова, а, напротив, лишь усилили его. Какая уж тут женитьба по расчету: зная мстительность временщика, Антон не мог не понимать, что наживает в его лице могущественного и коварного врага. Не расчет, думается, одушевлял действия Дивьера, а сердечная склонность и любовь к Анне Даниловне. (Забегая вперед, скажем, что они были счастливы в браке; плодом их любви были четверо детей – три сына и одна дочь.)

Дальнейшие события современный писатель Н. Коняев живописует так: «Оправившись от побоев, Дивьер сообщил об этом Петру, и царь немедленно отправился к Меншикову сам. – "Ты чего, совсем охренел, камарад? – спросил он. – Ты пошто Дивьеру-то отказал? Ты кем меня перед Европой выставить хочешь?" И хотя Меншиков отдал сестру Дивьеру, но царь так и не простил светлейшего... Хотя при Петре Первом и не было еще антисемитизма, но Петр уже тогда решительно пресекал его». Правда состоит в том, что припертый царем к стенке Меншиков вынужден был согласиться



на этот «неравный» брак (продолжая испытывать к Дивьеру непреодолимую вражду). Касательно же антисемитизма можно сказать определенно: он в петровские времена имел место быть не только на религиозном, но и на этническом уровне.

Юдофобство при дворе достигнет своей кульминации в 1722 году, когда схлестнутся интересы того же А. Д. Меншикова и вице-канцлера еврея П. П. Шафирова (они не поделили барыши от совместной беломорской компании), свидетелем чего был и Дивьер. В ходе спровоцированного Меншиковым бурного скандала в Сенате вице-канцлеру помянули его протекцию своему брату Михаилу Павловичу Шафирову, члену Бург-коллегии. Один из приспешников светлейшего прямо обвинил Петра Шафирова в сокрытии своего еврейского происхождения и связи с некрещеными родственниками: «Михайла Шафиров – не иноземец, но жидовской породы, холопа боярского прозванием Шаюшки сын, а отец Шаюшки был в Орше у школьника (меламеда. – Л. Б.) шафором, которого родственник и ныне обретается в Орше, жид Зельман». И хотя Петру Павловичу не составило труда оправдаться в этом пункте (он сослался на знакомство государя с его крещеным отцом, а также на получение последним дворянства еще при царе Федоре Алексеевиче), поносительные слова о «жидовском роде» весьма симптоматичны.

Петр, однако, оценивал подданных не по национальной принадлежности, а по годности, потому в 1718 году назначил Дивьера на весьма ответственный, только что образовавшийся пост – петербургского обер-полицмейстера. Надо сказать, что Петербург (ставший фактической столицей с 1710 года) являл тогда собой обширное болотное пространство с разбросанными группами зданий, грязнейшими улицами, с самым разнокалиберным и беспокойным населением (значительная часть которого была переселена туда насильно). На улицах города хозяйничали волки. Пьянство, разврат, воровство, насилие и грабежи были обычным явлением.

И именно Антон Мануилович с его расторопностью и распорядительностью должен был, по мысли царя, возглавить работу по улучшению быта населения новой столицы, развитию в ней промышленности и торговли, устройству «благообразия и благочиния» и т. д. «Господа Сенат! – писал Петр 27 мая 1718 года. – Определили мы для лучших порядков в сем городе генерал-полицмейстера, которым назначили генерал-адъютанта Дивьера; и дали пункты, как ему врученное дело управлять». Далее следовали 13 пунктов, где описывались обязанности подначальной Дивьеру полиции.

В Генеральном регламенте (1721) задачи сего нового ведомства излагались несколько высокопарно и более смахивали на панегирик: «Полиция споспешествует в правах и в правосудии, рождает добрые порядки и нравоучения, всем безопасность подает от разбойников, воров, насильников и обманщиков и сим подобных, непорядочное и непотребное житье отгоняет, и принуждает каждого к трудам и к честному промыслу, чинит добрых досмотрителей, тщательных и добрых служителей города и в них улицы регулярно сочиняет (следит за прямизной улиц. – Л. Б.), препятствует до-

роговизне и приносит довольство во всем, потребном к жизни человеческой, предостерегает все приключившиеся болезни, производит чистоту по улицам; и в домах запрещает излишество в домовых расходах и все явные погрешения; призывает нищих, бедных, больных, увечных и прочих немощных, защищает вдовиц, сирых и чужестранных, по заповедям Божиим, воспитывает юных в целомудренной чистоте и честных науках; вкратце же над всеми сими полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальной подпор человеческой безопасности и удобности».

Каждый день обер-полицмейстер объезжал город и лично наблюдал за порядком и соблюдением правил общежития. Присутствовавший при дворе голштинский камер-юнкер Ф. В. Берхгольц говорил, что своей строгостью Дивьер вызывал у петербургских обывателей такой страх, что те дрожали при одном упоминании его имени. Зато и результаты его трудов были впечатляющи. Историки свидетельствуют: при нем был сформирован первый в России полицейский штат из 190 человек; устроена пожарная часть; поставлены в разных местах 600 фонарей на конопляном масле; замощены камнем главные улицы; организована команда фурманщиков для своза нечистот; учрежден надзор за продажей съестных припасов; установлена регистрация населения; сооружены шлагбаумы на конце каждой улицы и т. д. Строгие меры воздействия применялись против нищих попрошайек (их били батогами и высылали из города). За несоблюдение правил паспортного порядка, азартную игру, пьянство, неосторожную езду, пение песен на улицах полагались солидные штрафы, а при повторном нарушении – ссылка в Сибирь или даже смертная казнь. Рвение обер-полицмейстера было замечено государем, который 6 января 1725 года произвел его в генерал-майоры.

А 28 января того же года Петр Великий почил в бозе, и самодержавной императрицей была провозглашена его жена, Екатерина Алексеевна. Несмотря на безграничное влияние Меншикова на императрицу, Дивьер был какое-то время защищен от его происков личным расположением государыни. Антон Мануилович получил право во всякое время иметь к ней свободный доступ и немало забавлял монархиню своими неистощимыми рассказами, остроумными выходками и каламбурами. Французский посол в России Кампредон оставил о Екатерине такую дневниковую запись: «Дивьер... в числе явных фаворитов».

Все в том же 1725 году обер-полицмейстер был удостоен высокой награды – ордена Св. Александра Невского, в 1726 году – пожалован чином генерал-лейтенанта и возведен в графское достоинство. Графский герб Дивьера геральдисты описывают так: «В щите, разделенном на четыре части, по середине находится зеленого цвета щиток, покрытый графскою короною с изображением одноглавого орла, который в лапах держит скипетр и державу. В первой и четвертой частях в красном поле две серебряные башни. Во второй и третьей в голубом поле поставлены на задних лапах два льва. Щит имеет на поверхности шлем, увенчанный Графскою короною. Намет на щите голубой и красный, подложенный серебром». Супруга же

сего графа, Анна Даниловна, была причислена к свите императрицы как ее гоф-фрейлина.

В 1727 году Дивьер проявил себя еще и как талантливый дипломат, что в сочетании с его бескорыстием оказало неоценимую услугу российской короне. Речь идет об известном Курляндском кризисе, когда руки вдовствующей герцогини Анны (ставшей впоследствии императрицей Анной Иоанновной) добивался щеголь и авантюрист, незаконный сын короля Польского Августа II Мориц Саксонский. Избрание Морица герцогом было противно государственным интересам России. Задача Антона Мануиловича и состояла в том, чтобы убедить курляндцев отказаться от сей кандидатуры. Он отправился в Митаву сразу же после возвращения оттуда А. Д. Меншикова, чья миссия в Курляндии с треском провалилась: возжелав сам стать герцогом, светлейший действовал оскорблениями и угрозами, чем восстановил против себя всю местную знать. Потому, дабы исправить положение, Дивьеру надлежало действовать тонко и умно.

Мориц Саксонский предложил Антону 10 000 экю за содействие его браку с Анной. Эпистолярная отповедь взяточдателю лишний раз свидетельствует о верности долгу и неподкупности Дивьера: «Полученное мною сего числа письмо, – пишет он, – повергло меня в удивление и чувствительное волнение, тем более, что, благодаря Богу, все мое предшествующее поведение может служить доказательством, что я неспособен не только за несколько тысяч рейхсталеров, но и за сокровища всего света сделать хотя саомалейшее отступление от поручения, возложенного на меня инструкцией моей всемилостивейшей государыни. Это странное предложение, равно как и тому подобные искушения, предполагающие подлые и низкие чувства в том, к кому они относятся, оскорбительны для честного человека. В вышеупомянутом деле, в котором Ее Величество удостоила меня избрать мелким орудием своей воли, я буду без всякого уважения к видам частных лиц и чуждым интересам, равно как и без всякого постороннего вознаграждения, исполнять свои обязанности, как следует честному человеку...»

Миссия Дивьера в Курляндии способствовала тому, что там восторжествовали российские интересы. Однако Анна затаила на человека, который разлучил ее с женихом, жгучую бабью обиду: впоследствии, став императрицей, она это ему припомнит. По возвращении из Митавы в Петербург Антон Мануилович застал там картину мрачную и неутешительную. Екатерине все чаще нездоровилось, что сулило скорый и недобрый исход. Меншиков интриговал: чтобы удержаться на плаву и сохранить за собой неограниченную власть, он удумал возвести на престол внука Петра I, двенадцатилетнего Петра Алексеевича, и обручить его со своей дочерью Марией. При этом сам светлейший до достижения отроком совершеннолетия становился регентом империи.

Политическая наглость, всесилие и умопомрачительное богатство Меншикова стояли костью в горле многих видных царедворцев, кои всеми средствами старались противодействовать властолюбивым замыслам бывшего

пирожника. Против временщика составила́сь целая партия, во главе которой находились герцог Голштинский Карл-Фридрих, П. А. Толстой, И. И. Бутурлин, А. Л. Нарышкин, Г. Г. Скорняков-Писарев, А. И. Ушаков, И. А. Долгорукий. Узнав о происках шурина, Дивьер не только присоединился к партии врагов Меншикова, но и стал одним из самых деятельных ее членов.

Развязка наступила ранее, чем ее ожидали. У императрицы открылась горячка. Меншиков, находившийся при больной неотлучно, подсунул ей духовное завещание, по которому трон переходил к малолетнему Петру, а сам князь становился без пяти минут императорским тестем. Дни врагов светлейшего были сочтены, и для сокрушительного удара по супротивникам он ждал лишь удобного случая.

Случай представился скоро. Поводом к расправе стал невоздержанный язык Дивьера, не в меру развязавшийся из-за сильного подпития. Вот как рассказывается об этом в документе, составленном, по-видимому, Меншиковым и подписанном рукой монархини: «Во время нашей, по воле Божьей, престесток ой болезни параксизмуса, когда все добродетельные наши подданные были в превеликой печали, Антон Дивьер, в то время будучи в доме нашем, не только не был в печали, но веселился и плачущую Софью Карлусовну (племянницу императрицы. – Л. Б.) вертел вместо танцев и говорил ей: "Не надо плакать"... Анна Петровна (дочь Петра I. – Л. Б.) в той же палате плакала: Дивьер в злой своей предерзости говорил: "О чем печальешься? Выпей рюмку вина!" и т. п.»

Разумеется, пьяный кураж Дивьера был для Меншикова лишь поводом для того, чтобы поквитаться с птицами поважнее. И о сем говорилось в новом указе от имени Екатерины: «Я и сама его, Дивьера, присмотрела в противных поступках и знаю многих, которые с ним сообщники были; того ради объявить Дивьеру, чтобы он объявил всех сообщников». В тот же час Антон Мануилович был схвачен, вздернут на дыбу и после двадцати пяти ударов повинился во всем, назвав и всех своих поделщиков.

Буквально за несколько часов до кончины императрица по подсказке Меншикова подписала указ о наказании виновных: «Дивьера и Толстого, лишив чина, чести и данных деревень, сослать: Дивьера в Сибирь, Толстого с сыном в Соловки; Бутурлина, лиша чинов, сослать в дальние деревни; Скорнякова-Писарева, лиша чинов, чести, деревень и, бив кнутом, послать в ссылку и т. д.» Светлейший распорядился приписать к указу слова, относившиеся непосредственно к зятю: «Дивьеру при ссылке учинить наказание, бить кнутом». Не пощадил временщик и собственную сестру Анну, велев ей вместе с малолетними детьми Антона Мануиловича безвыездно жить в дальней деревне.

А самого Дивьера вкупе со Скорняковым-Писаревым, чтобы жизнь им медом не казалась, Меншиков упек в холодную Якутию, в Жиганское зимовье, что на пустынном берегу Лены, в 9 000 верстах от Петербурга и в восьмистах верстах от Якутска. В этой забытой Богом глухомани ссыльные часто нуждались в самом необходимом, питаясь одним хлебом и рыбой.

Несчастливым запрещалось даже общаться друг с другом, за чем бдительно следил приставленный к ним караул. Вести доходили к ним, отрезанным от мира изгнанникам, спустя не месяцы – годы. Вот уже упала звезда «прегормого Голиафа» Меншикова, который в 1729 году испустил дух в ссылке, в таежном Березове; преставился и юный император Петр II, а вступившая на престол Анна Иоанновна, памятуя о Дивьере как о разлучнике со своим бывшим возлюбленным, не спешила облегчить участь опального графа.

Лишь на закате царствования она смиростивилась и в апреле 1739 года издала указ о назначении Антона Мануиловича командиром вновь отстраивавшегося Охотского порта. Административный талант бывшего обер-полицмейстера не сломили годы лишений и бедствий. Он вновь оказался востребованным и действовал весьма энергично: раскрыл, между прочим, злоупотребления, допущенные прежними должностными лицами, быстро закончил снаряжение знаменитой экспедиции В. Беринга, достроил порт. Не пропала втуне и моряцкая жилка Дивьера: он основал мореходную школу, превратившуюся впоследствии в штурманское училище сибирской флотилии.

Парадоксально, но факт: Антона Мануиловича вернула из ссылки и обласкала императрица Елизавета Петровна, к иудеям вовсе не расположенная. (Впрочем, едва ли она видела жида-христопродавца в обрусевшем, православном Дивьере.) Высочайшим указом 14 февраля 1743 года ему были возвращены графское достоинство, чин генерал-лейтенанта и орден Св. Александра Невского. Елизавета пожаловала ему также 1 800 душ крестьян из имения ненавистного ему Меншикова, а также деревню Зигорица в Ревгунском погосте (180 дворов). Он был также произведен в генерал-аншефы.

Дочь Петрова, идя по стопам своего великого отца, 27 декабря 1744 года вновь назначает Дивьера обер-полицмейстером Петербурга. И хотя годы уже были не те (ему исполнилось 63 года), он вновь отдался своему любимому делу. Однако ужаса на петербургских обывателей дряхлый генерал уже не наводил.

Антону Мануиловичу не пришлось долго хозяйничать в Северной Пальмире. Многолетние страдания и лишения надломил его здоровье; он часто хворал и умер 24 июня 1745 года, прослужив наново в полиции не более полугода. Так закончил свои труды и дни этот ревностный сподвижник Петра I.

Тело его погребено на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Биограф прошлого века утверждал, что видел там расколотую плиту с надписью «Генерал-аншеф граф Антон Мануилович Дивьер. Погребен 27 июня 1745 года», однако сегодня его могила считается безвозвратно утраченной. Но в истории, по счастью, он не затерялся, напоминая всем патриотам-почвенникам о такой неприятной для них истине: первым российским «ментом» был этнический еврей.





## **«РУССКИЙ РОМАН». \* ПОПЫТКА ПРОЧТЕНИЯ ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ\*\***

Это неправильное название. Нарочито неправильное. Ничего русского, такого, что бы мог ожидать русский, в «Русском романе» Меира Шалева нет. Если бы свой роман так назвал француз, наверняка, мы бы обнаружили там Андрэ и Светлану, причем Светлана через двести страниц непременно вернулась бы в Саратов, а Андрэ всю оставшуюся жизнь терзал бы вопрос о загадочной русской душе вперемежку с двумя куплетами из «Катюши».

Израильтянин Меир Шалев назвал свой роман русским не для русских. Это – инсайдовский продукт для страны, где все пронизано этническими слоями и перегородками, играющими здесь роль культурных кодов и социальных адаптаций. Здесь всегда жадность – иранская (даже персидская!), наглость – марокканская, глупость – иракская, жена – польская, а приправа – йеменская.

Здесь всегда этническое выше национального, национальное выше государственного, государственное выше личного, а личное – выше всего остального на свете. Здесь всегда государство – говно, и всегда есть страна, которой больше нет нигде. За эту страну бегут умирать, пугаясь, что говенное государство умрет раньше.

Государство Меира Шалева пришло из России. Приплыло на кораблях из Одессы и Стамбула, тряслось на ослах и верблюдах в Сирийской пустыне, тащилось на голодных ногах из Яффо в Иерусалим. Правда, собственно России там почти и не было. Были Могилев и Киев, Орша и немного Прибалтики, редко Петербург, часто Польша. Но зачем Меиру Шалеву вникать в географические тонкости мира, который умер к моменту его рождения в 1948 году?

\* См.: «NB», № 11.

\*\* ЖЖ.

Спросите сегодняшнего израильтянина, и он вам скажет, что Баку, Самарканд, Рига и Кишинев – это... оставь... а разве?... Что, точно не Россия? Вот Меир Шалев и отправляет «Русский роман» своему сегодняшнему израильскому современнику, который вытягивает Россию из всего, что по модуляции похоже на суффикс «-чик» и твердую «о» в мягком местном «нет».

Если бы Меиром Шалевом был я, то непременно назвал бы его (свой?) роман – «Песней цикад», ибо сказано Меиром (мною?): «Настоящая песня этой земли – упрямый крик, без нот и мелодии, без конца и начала, одна лишь вызывающая и торжествующая декларация существования: "Вот она, я!"» Меир Шалев говорит о цикадах. А я читаю о стране.

...Несколько молодых евреев незадолго до Первой мировой войны приходят в страну. Кто-то бежит от погромов, кто-то от богатства, кто-то от еврейства, кто-то от капитализма, а кто-то – к мозговой горячке того времени, название которой социализм. И все бегут в страну. Нет, не так. И все бегут в Страну. И все – из России.

Так начинался роман России со Страной. Русский роман. Сюжет, увы, не нов. Люди испокон веков бегут от горя в горе, чтобы стать счастливыми. Причем сам факт финишного горя называют началом счастья.

...Болота Хадеры, которые еще шевелятся маленькими детьми, скончавшимися от малярии. Тотальная смерть. Поголовная. Правда, не русская. Это артефакты прежнего романа Страны. Ее германского флирта.

...Голод Шломи Левина. Голод нечеловеческий. Лагерный. Животный. И жалкая работа в грязной Петах-Тикве... Первые артели. Сухая земля. Мотыги. Еврейские книжные ладошки, лопающиеся русскими мозолями.

...Учитель Пинес, открывающий эту землю для биологического микроскопа.

...Эвкалипты, высасывающие болота с умершими немецкими младенцами.

Ну и любовь, конечно. Такая массивная, хлюпающая любовь с небритыми подмышками, потными спинами и с солью на ягодицах. Совершенно не русская любовь. И уж точно, не еврейская.

Израильская.

Новая.

И опять мотыги, арабы, смерти и надежды.

Вторая еврейская алия. Еще до Сараево. Еще до идиша в Кремле. Попытка вбить Толстого и Короленко в пяти минутах от арабского Яффо. Наивная попытка создать государство для себя. 90 процентов пионеров Второй алии вскоре покинули страну. Потому что предпочли жить в государствах для всех.

...Я думаю, что в этом постоянном бегстве отсюда и постоянном бегстве сюда – одна из многочисленных загадок, которую мы разгадываем до сих пор. Евреи едут сюда, чтобы перестать быть евреями вовне, но перестают быть евреями изнутри. Еще сто лет назад Страна отторгла их, этих русских Хаимов и Ривок, а мы – теперешние – упрямо продолжаем попытки вбить себя в нее через коров, молотилки и поливалки.

Десяти процентам это удастся. И тогда случается «русский роман». И кота называют Булгаковым. И с Мичуриным спорят в апельсиновых садах. И Пуш-

кина читают перед смертью. И самовар. И березки... И снег детских местечек. У остальных, увы – не складывается.

Вы часто встречали в России котов, которых зовут Булгаков? Я – нет. Неужели Шалев мне подсказал, что русский еврей – это больше, чем русский? И меньше, чем еврей? Или это я просто вспомнил?..

Десять процентов вбивается. Всего лишь десять. Впрочем, немало для начала. И вдруг!..

«НЕТ такого существа, как гомо сапиенс исраэли», – говорит Меир Шалев. И я вслед за ним повторяю: «Нет такого существа, как израильтянин разумный». И снова: «Нет такого существа, как израильтянин разумный?»

Зачем же тогда мы ехали сюда? И почему эти слова не встречают каждого зашедшего в отделение Сохнута?

Зачем же тогда мы ехали?! – взрывает меня волна раздражения. Чтобы родиться заново, как думали они, пришедшие сюда за 100 лет до нас? Чтобы забыть родителей и плакать о них всю оставшуюся жизнь, как плакали они, пришедшие сюда за 100 лет до нас? Чтобы забыть любимых и получать от них письма через розовых пеликанов, как думали, что получают они, пришедшие сюда за 100 лет до нас? А если пеликаны не прилетают, то подняться к солнцу и улететь к ним в Россию, как не улетели они, пришедшие сюда за 100 лет до нас?

Вы уже поняли, что эта риторика – исключительно во имя текста Меира Шалева. Ведь евреи тоже умирают только один раз. И это их роднит с гоями. И перед смертью еврей понимает, что родить мечту заново нельзя. Даже здесь. В Стране обетованной мечты.

...А пока трое и одна все еще бредут от Петах-Тиквы до Хадеры, все еще ищут Долину и вот-вот осядут на земле, чтобы вместе попробовать выжить. Трое договорятся забыть, что они мужчины, потому что она – одна. А когда в той, новой, жизни у них родится первенец, то он будет светиться, как ночная луна. Уставшие пионеры родили младенца, а Меир Шалев увидел новорожденного старика. Может быть, он увидел себя – заблудившегося в собственных противоречиях левого талантливого мыслителя? «Прокладывая первые борозды, выжигая сорняки, осушая болота и вырубая леса, мы одновременно сеяли семена своего поражения».

Почему поражения? – подумал я.

О, господи! Да просто потому, что, эта страна не нуждается в молоке и меде! И не спорьте со мной! Я готов вам сказать еще раз – эта страна не нуждается в молоке и меде! Просто вам, как и мне, без молока и меда не прожить. Помните? «Настоящая песня этой земли – упрямый крик, без нот и мелодии, без конца и начала, одна лишь вызывающая и торжествующая декларация существования: "Вот она, я!"».

Простая жизнь. Жизнь цикады. Ничтожного насекомого, поющего свои песни просто так. Не для секса и не для пропитания. Для красоты. Для счастья. Для любви. Вот, что надо этой стране.

Но мы так не хотим. Нам от этой страны надо не красоты, счастья и люб-



ви, а молока и меда. А страна желает быть обетованной лишь ментально. Трансцендентально.

Через пятьдесят лет внук одного из пионеров и главный герой «Русского романа» Барух Миркин хоронит своего дедушку не на кладбище, а в центре собственного сада. Прямо возле дома. Так хотел дедушка.

Еще через несколько лет Барух Миркин становится миллионером. Тысячи умирающих евреев из богатой Америки желают быть похороненными в Стране, в земле одного из первых кибуцев, рядом с пионерами Второй алии. Рядом с вбитымидесятью процентами. Они выкупают места, платят огромные деньги, после смерти их тела морем доставляют в Страну и оставляют здесь навсегда. Они вернулись. Потерянные девяносто процентов. Еврейский метафизический круговорот.

Молоко и мед кибуца становятся ненужными. Кладбище приносит доход на порядок выше. Последняя, в истинном значении этого слова, алия становится для этой земли выгоднее каторжного труда на этой земле. Еврейская смерть доходнее еврейской жизни. Какой же он грустный, мой Меир Шалев....

Наверное, об этой фантомной боли ему рассказал дальний еврей из Флориды, с вечно больным Израилем в сердце, во имя которого он ни разу не поднял мотыгу.

Фантастическая книга... Как еще один апокриф. Медленный текст. Русский язык, обтесанный ивритом – шершавый, лаконичный, монотонно-величественный. Это гениальный, с моей точки зрения, перевод Рафаила Нудельмана и Аллы Фурман, лишивший русский язык его привычных и милых прилагательных, привнеся в него математику ивритского алгоритма.

Фантастическая книга... Здесь дедушки разрываюtpасть гиенам, бабушки пьют мед на могилах дедушек, здесь на плечах носят быков и скрывают свои лица под непроницаемыми масками... Здесь лошади разговаривают и читают газеты. Здесь спокойно держат в руках обжигающие жаром чашки и наливают стакан водки индюку. Знаете для чего? Чтобы он заснул, когда будет высиживать куриные яйца. Почему индюк? Потому что он в несколько раз крупнее курицы и может покрыть гораздо больше яиц, чем мелкая несушка. Зачем его усыплять? Чтобы он беспокойно не трепыхался и не давил бы куриные яйца. Еврейская смекалка в латиноамериканской эстетике.

Меир Шалев заканчивает роман тем же, чем и начал.

«Я трахнул внуку Либерзона», – открываю я первую страницу.

«Я трахнул канторскую дочку», – закрываю я книгу.

(Снова отдадим должное переводчикам. В иврите, как известно, нет табуированных слов, и, наверное, Меир Шалев имел в виду все-таки не «трахнуть».)

Ури, трахнувший и внуку, и дочку, плодовит по самое нехочу. Все свое свободное время он проводит на вершине водонапорной башни, где предлагает плотские уроки многочисленным желающим. Увы, канторская дочка оказывается его роковым рубежом. Безбожный кибуцник влюбляется в дочку ортодоксального раввина, приехавшего в гости к колхозникам для служебного отправления культа и по глупости привезшего с собой свою Нехаму.

Ури, не знающий, что такое Судный день, сходит с ума от женщины, не знающей, что такое радио.

Он трахнул ее. Раввин забирает дочь и бежит из кибуца. Ури перестает есть. Он умирает от любви.

Через два месяца, когда он потерял 27 килограммов веса и большую часть волос на лобке, Нехаму доставляют обратно в кибуц.

«Она беременна», – говорят ему печальные родственники Нехамы и уводят Ури с собой.

Потом герои возвращаются в кибуц и рожают детей. Много детей. Как вам кажется, это проигрыш тех, кто бежал из Орши и Киева и хоронил своих покойников в гробах? Или это закономерный итог ошибок, совершенных покойниками? Не знаю...

Между обетованностью и оБыТованностью носятся герои этой Страны со времен оных. Ури и Нехамы – две кометы еврейского космоса. Обетованность и Быт. Святость и кибуцная социалистическая столовка. Две вечные иллюзии. Почти Шагал. Или все-таки Шалев? Ну, конечно, Шалев. Ведь это он позволил Быту трахнуть Святость.

«Здесь нельзя бросить камень, чтобы не попасть в святое место или безумца. Земля Израиля выдыхает пары безумия, и все ее обитатели, от мала до велика, все ее племена и народы им заражены»...

Я живу здесь уже 13 лет. И хотел бы прожить, как минимум, столько же. И я так и не понял, что же родилось здесь в результате столетней давности русского романа – страна или мечта? Все главные старики Шалева умирают обычными смертями стариков. Несмотря на то, что в молодости сотворили Чудо.

Значит, чудо и мечта молодости не компенсируют смерть и разочарование старости? Впрочем, даже древняя великая Книга это только подтверждает – разве Соломон в старости не перестал быть царем, оставшись им?

Израильскую современную литературу никто не называет великой. Здесь невозможно построить железную дорогу между Москвой и Петербургом и заставить несчастную женщину метаться между любовью и жизнью. Здесь нет Садово-Триумфальной улицы и Сенной площади. Никогда здесь не появится и Царское Село. Здесь масштаб величия может развиваться только по вертикали. Или вверх – в небо. Или вниз – в землю. В землю... Черт, как все-таки жалок этот русский язык! Ведь на иврите я сказал, что величие здесь идет в Страну. А по-русски это никто не понял. Право же, хотя бы только для ивритского кодирования русского языка Меиру Шалеву стоило написать свой «Русский роман». Ну и еще, разумеется, для величия Страны. Величия вниз. В землю. Кажется мне, что эта земля никогда не возвеличится Страной. Зато страна всегда будет велика Землею.

---



публицист, журналист, обозреватель журналов «Новое время» и «Индекс». Живет в России.

## ВОЕННЫЕ ИГРЫ МУЛЛ\*

**Тегеран развернул небывалый пиар своих оружейных достижений. Больше всего от этого страдает имидж Москвы – главного поставщика военных технологий Ирану**

Как поведала Исследовательская служба американского конгресса (Congressional Research Service, CRS) в докладе «Поставки обычных вооружений развивающимся странам с 1998 по 2005 год», Россия впервые обогнала США по экспорту таких вооружений. И это лидерство Москве обеспечили недавние сделки с Тегераном, согласно которым Иран получит мощную партию зенитных средств. Результатом этих поставок стало усиление иранской системы ПВО, прикрывающей объекты разработки ядерного оружия. Помимо прочего, Россия обязалась поставить Ирану также оборудование для бомбардировщиков Су-24, истребителей МиГ-29 и танков Т-72.

### «Невидимки» на марше

Завершающийся год вообще можно смело называть годом демонстрации иранской военной мощи – это была настоящая феерия масштабных сухопутных, воздушных и морских маневров и учений, во время которых иранские генералы и адмиралы сообщали о каком-то очередном своем прорыве на оружейной ниве.

В начале марта адмирал Сайяд Кучаки заявил, что Иран уже принял на вооружение некую сверхсовременную подводную лодку. Субмарина, которая «полностью приспособлена к условиям Персидского залива» и построена ру-

---

\* Новое время.

ками исключительно «специалистов министерства обороны Ирана», якобы способна нести «универсальное вооружение для выполнения различных заданий». Как такое могла сотворить страна, не имеющая ни верфей, ни технологий судостроения, ни соответствующего опыта и традиций, ни, наконец, кораблестроителей, – загадка! Отгадывающаяся, впрочем, легко: иранские адмиралы отчего-то не любят афишировать, что на вооружении их ВМС состоят три субмарины российской постройки класса «Кило», считающиеся самыми современными и бесшумными в мире из существующих дизельных подлодок. Правда, несколько лет назад Москва неофициально пообещала Вашингтону больше не продавать таких субмарин. И, похоже, дабы соблюсти видимость того, что слово держится, подлодка и была «построена в Иране».

В конце марта – начале апреля Иран учинил крупномасштабные военные маневры под кодовым наименованием «Великий Пророк». И пошла целая серия сенсаций. Началось все сообщением об успешном испытании новой баллистической ракеты «Фаджр-3» собственной разработки, которая мало того что поражает сразу несколько целей, так еще и для радаров якобы невидима. Спустя пару дней продемонстрированы кадры испытания уже «самой быстрой в мире торпеды», способной развивать под водой скорость 300 узлов (это, считай, 150 метров в секунду) и уничтожить любой корабль. Еще через два дня очередная новость: произведены испытания нового гидросамолета «невидимки». Новая машина, по словам иранских генералов, невидима для радаров противника и производится в массовых количествах. Было сообщено, что машина полностью сконструирована иранскими специалистами и может вести прицельный огонь во время движения. Помимо прочего, «Великий Пророк» послужил поводом, чтобы объявить об испытании еще пары ракетных систем. Все, естественно, «сверхсовременные» и исключительно «собственного производства».

Правда, западные эксперты сильно посмеялись над баллистической ракетой «Фаджр-3»: нет, мол, в иранском арсенале ракеты с такими претензиями на невидимость. Попутно разгорелся и небольшой скандал: в «самой быстрой торпед» специалисты в момент распознали знаменитую... российскую ракетоторпеду «Шквал»! Ту самую, за «секрет» которой в 2000 году вроде бы пострадали американец Поуп и российский профессор Бабкин. А тут – на тебе, никаких секретов, иранские ВМС на весь мир демонстрируют пресловутый секретный «Шквал»! Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 апреля даже был вынужден сделать специальное заявление по этому поводу, сообщив, что не узнал в иранской ракетоторпедой родной «Шквал»: «Не знаю, чье оружие кто испытывал. Иранцам оружие продавали многие западные страны. Я видел телевизионные кадры, я не специалист по морским торпедам».

Иран в принципе не в состоянии создать такую ракетоторпеду, заявил Юрий Фадеев, один из разработчиков «Шквала» в государственном научно-производственном предприятии «Регион». Но как же тогда оружие попало в Иран?! Загадка...

Но самая крутая сенсация произведена все же после тех учений. От имени ученых Исламского открытого университета в Тегеране прозвучало утверждение, что они «первыми в мире» овладели технологией... термоядерного синтеза типа «Токамак»! Прочие же страны, даже такие развитые, как США, Франция или Россия, приблизятся к освоению термояда лишь лет так через двадцать – не раньше. Тут уж эксперты просто развели руками: без какой-либо серьезной научно-производственной базы, без кадров и традиций, только под знаменем пророка и с духом имама Хомейни в голове – и такое?!

Поскольку на достигнутом нельзя останавливаться, то в конце мая Иран произвел показательный пуск новой модификации баллистической ракеты промежуточной дальности «Шихаб-3». Новая ее версия ныне якобы способна поразить цели в Израиле. А также достать большинство американских военных объектов в регионе, поскольку радиус ее действия вырос до 1300 километров.

В августе – новый пуск новой ракеты, тоже баллистической, но малой дальности, оперативно-тактической, получившей красивое название «Молния». Бьет всего на 250 километров, зато ужас как мобильна. И тут же вослед очередная новость: иранские информационные агентства поведали еще об одном грандиозном прорыве иранских ученых в сфере ядерных технологий. Конкретики, правда, никакой, зато фанфар не пожалели: «Это великое научное достижение стало плодом долгосрочного исследовательского проекта».

А там и новые учения приспели, многонедельные, с романтическим названием «Удар Зульфакара» (легендарный меч особо почитаемого шиитами имама Али). Вот уж тут состоялась натуральная выставка достижений иранского народного хозяйства. Фейерверк – это уже обязательная программа: показан пуск ракеты дальнего радиуса действия с подводной лодки. Естественно, испытания прошли успешно и ракета поразила заданную цель. Кто бы сомневался, что Иран – великая морская держава! Вот и адмирал Хабиб Сиари из иранских ВМС скажет, что новинка, против которой нет защиты, может быть запущена с любого корабля иранского военного флота. Правда, после изучения записи западные эксперты быстро успокоились: судя по тем кадрам, дальность полета чудо-ракеты никак не превышала... одного километра. А после более тщательного анализа и вовсе оказалось, что Иран продемонстрировал... подделку: это была архивная запись запуска... китайской ракеты, соединенная с кадрами движения подводной лодки.

Если бы «Удар Зульфакара» ограничился только этим! Было продемонстрировано испытание «нового подвижного зенитно-ракетного комплекса». Естественно, «собственной разработки». Ибо, как заявил ранее иранский министр торговли Масуд Мир-Каземи, Иран с точки зрения военных технологий является самодостаточным государством и... не испытывает необходимости в закупках вооружений за рубежом: «На сегодняшний день Иран располагает передовыми технологиями, сегодня есть тот потенциал по товарам, которые могут идти на экспорт. Иран сегодня самодостаточная страна». Вот эти «само-

достаточные» зенитные ракеты, как поведал заместитель командующего ВВС Ирана генерал Амир Амини, «успешно поразили цели на низких высотах». Вслед за этим сообщено об испытании новых авиабомб с лазерным наведением – это оружие, как водится, также самое-самое, о чем и поведают уже другой генерал, Гадер Рахимзаде. Поскольку бомбы должен кто-то нести, показан и носитель – новый боевой самолет опять же собственной иранской разработки. Сверхзвуковой реактивный истребитель «Удар молнии» по своему потенциалу превосходит... американский истребитель F/A-18! Так что отныне Иран вошел в узкий клуб самостоятельных разработчиков и производителей машин такого класса – в этом клубе пока лишь США, Россия, Франция и Китай...

Стоит ли удивляться, что букет достижений в ходе тех же учений этим не ограничился? Командующий иранскими ВМС адмирал Сайяд Кучаки с гордостью сообщил, что его специалисты создали «самое современное в мире» корабельное орудие «Фаджр». И отныне «Иран стал третьей в мире страной после США и Италии, которой удалось создать средство морской обороны подобного класса». Речь идет о некоей автоматической пушке калибром 76 миллиметров, скорострельностью 85 выстрелов в минуту, способной поражать самые различные цели – и морские, и воздушные – на расстоянии до 17 километров.

### **«Стелс» из мечети**

Итак, суммируем достижения, что продемонстрировали иранцы всего лишь за один 2006 год: несколько версий баллистических ракет – дальнего радиуса действия, ближнего, «невидимка», запускаемая с подводной лодки; сверхскоростная ракетоторпеда, самолет-невидимка, новая субмарина, зенитно-ракетный комплекс, управляемые по лазерному лучу авиабомбы, сверхзвуковой истребитель, пушка... Чуть не забыл – еще два крутых прорыва в области ядерных технологий, освоение термоядерного синтеза! Какая еще другая страна способна за год учинить такую военно-техническую феерию?!

Вопрос о том, насколько все это серьезно, явно выглядит несерьезным. Потому нет смысла даже теоретически рассуждать, может ли создавать современные субмарины страна, в которой отродясь не было судостроительных традиций, выходящих за рамки построения рыболовецких лодок.

Теоретически у Ирана есть собственное производство вертолетов на базе старых американских Bell'ов. И шесть лет Иран якобы даже производит по украинской лицензии транспортно-пассажирский самолет Ан-140 (чуть не 50 штук сваял). Но при этом постоянные авиационные аварии и катастрофы – самолеты падают и бьются, потому что нет запчастей. И в голове просто не укладывается: как можно разрабатывать какие-то новейшие сверхзвуковые истребители и не суметь за четверть века наладить выпуск качественных запчастей к технике старого образца? Ага, и тут же – гидросамолет-невидимка из новейших композитных материалов: да какие могут быть материалы в Иране, и близко рядом с технологией «Стелс» не стоявшем?! С успешно работающей системой лазерного наведения еле справились российские КБ – Иран расщелкал ее, словно

орешек. Новейшая пушка собственной разработки? Но пока Иран не в состоянии наладить свое производство даже такого относительно «простого» оружия, как обычные полевые гаубицы! Нет ни традиций, ни кадров, ни технологий, ни стали нужных сортов – нет и пушек, закупают их в России. Ан нет – прорыв!

Зато вот с танками у Ирана вроде бы порядок. На первый взгляд. И только по количеству. Поскольку основа танкового парка – наш Т-72 и «Сафир-74», каковой вообще-то – модернизированный вариант китайских танков «типа 59» и «типа 69» (созданы на базе советских Т-54 и Т-55). Т-72 даже делают по лицензии. Как делают и из чего – загадка! Потому как в Иране нет ни возможности производить качественный броневой лист, ни возможности делать хорошие двигатели. Не говоря уж о том, чтобы наладить производство танковых орудий... Ракеты – это проще. Особенно когда о точности попадания речи нет – всегда есть возможность позаимствовать китайские и северокорейские разработки (вариации советских «Скадов»). По меркам экспертов, реальный уровень иранского ракетостроения почти пещерный. С той разницей, что, если водрузить на эти ракеты химические боеголовки, мало не покажется. Да и ядерное устройство, как показывает пример КНДР, тоже можно сотворить.

Так или иначе, но большая часть экспертов склонна видеть во всем этом обычный пропагандистский пиар: муллы, мол, пугают, а нам не страшно. Смысл тегеранского блефа, впрочем, может еще и в том, что рассчитан он вовсе не на трезвомыслящих – на собственную публику, которая кушает все, что солют ей с экрана: «вот какие мы крутые». Публика других мусульманских стран? Возможно. Эти уж точно поверят всему, что им скажут с экрана муллы. Еще, быть может, тут расчет и на европейское общественное мнение. Хотя больше всего это смахивает на тот блеф, которым Пхеньян постоянно шантажирует мир. Метода абсолютно та же.

### **Доверчивость «Малого сатаны»**

Но допустим на миг, что все это – чистая правда, что не врут муллы и иранские генералы-адмиралы, что сил у них немерено и техника – на высоте. Тогда, выходит, под боком у России вызрела могучая военная держава с поистине непомерными амбициями. Этакий монстр с буграми мышц, совершенно зацикленный на религиозно-догматическом видении мира, взирающий на прочий мир исключительно через прицел. А нам это надо?

Сильные соседи с амбициями исторически всегда были для нашей страны головной болью, поскольку неизбежно влезали в ту геополитическую сферу, которую Россия считала своей. Скажем, в еще продолжающейся игре за ресурсы Каспия Тегеран вовсе не на стороне Москвы – это сторонники военного сотрудничества с Ираном помнят? Не стоит и забывать, что вовсе не снят с повестки дня и лозунг «Малого сатаны»: если «Большой сатана», самый главный враг мусульман, – это, конечно, Америка, то ведь нашу страну в Иране все еще именуют хотя и «Малым», но ведь тоже сатаной!

Отсюда и вопрос: стоит ли помогать соседу, который мало того, что опасный

и буйный, так еще и не особо скрывает свою неприязнь к тебе?! И то, что сосед этот платит хорошие деньги, покупая у нас танки, орудия, ракетные и авиационные технологии, «мирный атом» со «Шквалом» и зенитно-ракетными комплексами в придачу – это, собственно, ни о чем не говорит. Потому как выглядит классическим соответствием известной ленинской формулировке относительно буржуев, которые нам продадут веревку, на которой их же и повесят...

Так и тут: покупают, платят, а вместо «спасибо» сквозь зубы цедят, что все одно всем неверным скорый кирдык. Тем паче вековые традиции российско-иранских отношений позволяют говорить о чем угодно, только не о дружбе и добрососедстве – вот уж этого не было промеж нами никогда! И зачем, спрашивается, тогда помогать наращиванию иранского военного потенциала? Ах да, чуть не забыл: мы же делаем им «мирный атом»! Который, рано или поздно, рванет не хуже северокорейского.

Даже если пока иранские прицелы направлены не в нашу сторону (всему свое время), нельзя же не отдавать отчета в том, что сосед этот может в любой момент учинить в регионе такую заварушку – будет весело всем. Поскольку в стороне тут остаться будет крайне сложно, а положению «третьего радующегося» препятствует сама география.

Если же все это блеф (на что больше и похоже), позиция отечественных государевых мужей также вызывает недоумение. Поскольку российский подход выглядит как откровенное содействие провокаторам, открыто и без стеснения нагнетающим напряженность под нашим же боком! Ведь господину Лаврову уже пришлось краснеть, невнятно выдавливая из себя отрицания хотя бы по поводу той же ракетоторпеды «Шквал». Положим, оружие Ирану мы продаем. Много оружия. самого разного. В том числе, видимо, и того, которое потом демонстрируется на учениях под видом «новейших иранских разработок».

Спрашивается, неужели Москве нужен такой пиар? Ведь несомненно, что ряд поставок был произведен втихую, поскольку выходил за рамки неформальных соглашений между Россией и США. Выходит, иранские муллы – партнеры крайне ненадежные, тайну сделки соблюсти не могут. Ну вот хотя бы по этому поводу российская дипломатия могла внятно сказать партнеру, что есть вещи, о которых в приличном обществе принято глухо молчать?! Ведь весь этот иранский оружейный пиар явно рассчитан еще и на то, что в российско-американские отношения будет добавлена толика яда – иранского. И в этом смысле показательные выступления иранских военных можно считать успешными: в росте военно-технической мощи Ирана они мало кого убедили, зато очередной клин между Вашингтоном и Москвой вбили. И хотя Кремль явно уверен, что, играя на стороне Ирана в этом витке ирано-американского противостояния, выигрывает именно он, реальность такова, что мы от этого вовлечения в игры мулл можем только проиграть.

---





историк, автор и соавтор 8 монографий и десятков статей по истории России, СССР и Германии. Живет в Германии.

## **«СИЛА ЧЕРЕЗ СТРАХ»\***

### **Жупел «еврейской мести» в нацистской военной пропаганде**

Пятидесятилетний Петер Лонгерих, профессор современной немецкой истории и руководитель исследовательского центра по Холокосту и истории XX века при Лондонском университете, – одна из самых заметных фигур среди ученых, исследующих нацистское прошлое Германии. Его перу принадлежат широко известные книги по истории штурмовых отрядов (СА), взаимоотношениям партийного и государственного аппарата в Третьем рейхе, преследованию и уничтожению евреев. Последняя работа Лонгериха «Мы ничего об этом не знали! Немцы и преследование евреев в 1933–1945 гг.» трактует среди прочего и сюжет, вынесенный в заголовок данной статьи.

Лонгерих – не первопроходец в изучении темы; ее уже затрагивали и французский историк Марлиз Штайнерт, и израильский Отто Дов Кулка, и английские Иэн Кершоу, Дэвид Банкир, и американский Роберт Джелатели. Однако монография Лонгериха богаче фактологически, прослеживает явление в динамике, и потому целесообразно представить тему русскому читателю главным образом на ее материалах.

### **Любимое пугало Геббельса**

Вторая мировая война изображалась нацистской пропагандой как схватка не на жизнь, а на смерть между немцами и евреями, которые стоят якобы во главе враждебной Германии «коалиции большевиков и плутократов». Соответственно уничтожение евреев подавалось как необходимая оборона против заклятого врага, вынашивающего дьявольские планы искоренения всего немецкого. Собственная преступная практика приписывалась другой стороне; жертвы агрессии изображались как злодеи, от которых необходимо и законно защищаться.

---

\* Новое время.

В статье Геббельса «Война и евреи» (еженедельник «Дас Райх» от 9 мая 1943 г.) говорилось: «Эта война – расовая война. Она исходит от евреев и по своему смыслу и плану имеет одну лишь цель – уничтожение, истребление нашего народа. Мы противостоям евреям как единственная преграда на их пути к мировому господству. Если державы оси проиграют борьбу, не будет более преграды, которая могла бы спасти Европу от большевистского потопа».

В известной речи, произнесенной в берлинском Дворце спорта 18 февраля 1943 г. – сразу после объявления о катастрофе под Сталинградом – и названной «Хотите ли вы тотальной войны?», Геббельс страшал, что в случае военного поражения немцев ждет «еврейско-большевистское рабство», говорил о «еврейских ликвидационных командах» и т. д. и т. п.

Победа представлялась нацистской пропагандой как условие выживания нации. Чтобы достичь ее, следовало побудить немцев поставить себя всецело на службу тотальной войне, а для этого – внушить им, что все они соучастники геноцида, совершенного над евреями, и в случае поражения всех ждет неотвратимое возмездие. Убежденные в том, что люди будут лучше сражаться, если сочтут, что мосты за ними сожжены, столпы режима снова и снова заводили эту пластинку.

Геринг, например, в речи по случаю праздника урожая 5 октября 1942 г. (она транслировалась по радио и была воспроизведена в газетах) внушал: «Немецкий народ, ты должен знать, если война будет проиграна, ты будешь уничтожен. Еврей со своей неиссякающей ненавистью стоит за этими планами уничтожения... Кто еще не знает, что такое еврейская месть, тот испытает ее... И в этом отношении пусть никто не заблуждается и не думает, что сможет потом прийти и сказать: я всегда был хорошим демократом посреди этих подлых наци. Еврей ответит вам всем как следует, совершенно независимо от того, скажете ли вы, что почитаете или что ненавидите евреев... ибо его жажда мести относится к немецкому народу в целом. Все, что чисто в расовом отношении, что является германским, немецким, – все это он хочет уничтожить».

В другой речи, также передававшейся по радио (по случаю 10-й годовщины прихода нацистов к власти), Геринг развивал ту же мысль: «Итак, на сей раз речь идет о том, будет ли немецкий народ как таковой окончательно уничтожен, ибо адские замыслы уничтожения гнездятся в мозгах на другой стороне. И это, конечно же, еврей, который там заправляет. Нужно хотя бы однажды узнать еврея в его ветхозаветной ненависти, чтобы понять, что нам светит... что произойдет с вашими женами, дочерьми, невестами... как эта дьявольская ненависть, это зверство изольется на немецкий народ».

### **Боевой антисемитизм**

Тезис, что в случае поражения Германии у немцев нет будущего, повторялся и в речах других нацистских главарей – например, Роберта Лея перед рабочими-оружейниками в июле 1942 г., Геббельса перед сотрудниками министерства пропаганды в январе 1943 г. («Мы можем и должны выиграть эту войну.

Если мы ее проиграем, каждому из нас перережут глотку»», Гитлера от 9 ноября 1943 г. («Думайте все без исключения, мужчины и женщины, только о том, что в этой войне решается вопрос, быть или не быть нашему народу!»).

Один из самых активных глашатаев этого тезиса Роберт Лей писал в еженедельнике «Дер Ангриф» 14 января 1942 г.: «Если еврей победит, немецкий народ весь, целиком, будет уничтожен», а 12 марта 1944 г. заклинал: «Еврей должен умереть! Этим человечество будет освобождено от еврейского террора. Если же это не удастся, умрешь ты, немецкий народ... Помни это, немец: или он, еврей, или ты!»

Томас Манн в своих радиообращениях из Лондона к немецким слушателям неоднократно начиная еще с осени 1941 г. разоблачал этот расчет нацистского руководства – запугать немцев угрозой тотального уничтожения как неизбежного возмездия за геноцид, сковать их с собой цепью совместной ответственности и заставить, таким образом, драться до последнего.

Следует сказать, что нацистские главари, по-видимому, действительно считали, что на карту поставлено само физическое существование немецкого народа. Как свидетельствует запись в дневнике Геббельса от 21 февраля 1943 г., во время встречи с Гитлером они были едины в том, что «если случится такое несчастье, что мы проиграем войну, то мы будем... полностью уничтожены». Единство взглядов по этому вопросу выявилось и во время его беседы с Герингом 2 марта 1943 г.: «Герингу совершенно ясно, что будет угрожать нам, если мы в этой войне окажемся слабыми... Прежде всего в еврейском вопросе мы себя так поставили, что никаких путей отхода для нас нет». Геринг считал, что «это и хорошо. Движение и народ, которые сожгли за собой мосты, сражаются, как показывает опыт, куда безоговорочней, нежели те, кто сохранил возможность отступления».

Расчет поставить немцев перед альтернативой «победа или смерть» со всей очевидностью проявился в ходе пропагандистской кампании в связи со вскрытием массовых захоронений польских офицеров в Катыни (расстрелянных, как известно, НКВД по решению советского руководства еще в 1940 г.). После встречи с Гитлером 9 мая 1943 г. Геббельс записал в дневник: «Катынское дело чрезвычайно импонирует фюреру. Он и здесь снова распознал, какие огромные возможности заключены еще и сегодня в антибольшевистской пропаганде... Очень большое значение придает фюрер боевой антисемитской пропаганде. Он видит и здесь залог успеха в постоянном повторении. Он чрезвычайно доволен усилением нашей антисемитской пропаганды в прессе и по радио».

### Страх как стимулятор

На совещании в министерстве пропаганды 10 мая 1943 г. Геббельс поучал своих сотрудников: «"Большевизм" и "борьба с еврейством" – это лучшие пропагандистские коньки в нашей конюшне... Если мы постоянно будем указывать на евреев и их происки, мы сможем достичь того, что все пожелают: "Ах, если бы и у нас стало, как в Германии, чтобы и мы освободились однажды от евреев"».

Указание было принято к неуклонному исполнению, и соответствующие слоганы повторялись в ходе кампании бесчисленное количество раз. Так, известный нацистский публицист Иоганн фон Леерс писал 17 мая 1943 г. в баденской партийной газете «Дер фюрер»: «Между нами и евреями речь идет о том, кто кого переживет. Если евреи победят, весь наш народ будет искрошен, как польские офицеры в лесах Катыни; если же мы хотим лишить евреев возможности после этой войны затеять еще одну и еще новые и новые войны и революции, из коих каждая направлена против нас и все имеют цель совершить над нами еврейскую месть, то мы не должны позволять еврейству существовать между нами». В «Вестдойче беобахтер» от 22 апреля 1943 г. тот же Леерс возглашал: большевизм – это «гигантское массовое ритуальное убийство неевреев евреями»; «ответственность за это преступление (Катынь. – С. М.) должно понести еврейство в целом».

Однако воздействие пропагандистской шумихи на население было неоднозначным, как отмечали в докладах наверх партийные и полицейские источники. Так, окружное руководство НСДАП в Нойштадте (Франкония) констатировало: «Использовать лишь страх как стимулятор воли к продолжению борьбы и к тому, чтобы выстоять, – это вещь весьма опасная. Может выявиться и противоположное воздействие, и у слабых душ, по нашей констатации, именно это и происходит». Испуганные пропагандистской истерией, проникшиеся страхом за себя и близких, многие немцы впадали в отчаяние или апатию, ощущали не единство судеб с режимом, а, наоборот, растущее отчуждение от него. Окружное партийное руководство в Вайсенбурге (Бавария) сообщало: «В широких слоях народа в пугающих масштабах распространяется взгляд, что совершенно все равно, попадет ли немецкий народ под власть англичан, американцев или даже большевиков, лишь бы эта ужасающая война наконец закончилась». И заключало: «Увы, евреи и связанная с ними опасность в народе больше не принимаются во внимание».

Усилия нацистской пропаганды, прилагавшиеся, чтобы убедить немцев: именно «мировое еврейство» является вдохновителем, инспиратором, скрепой антигитлеровской коалиции, – давали подчас неожиданные для инициаторов плоды. Если евреи столь могущественны, задавались вопросом некоторые, зачем нужно было сделать их нашими врагами?

### **Бюргерская простота**

Другой тезис – о том, что именно евреи являются инспираторами массированных налетов союзнической авиации на Германию, – подчас тоже преломлялся в сознании бюргеров весьма своеобразно. В донесении из Бад-Брюккенау сообщалось, в частности, о высказывании некоего рабочего: «Нынешние террористические налеты являются лишь ответом на нашу акцию против евреев 1938 г. (имелась в виду т. н. "Хрустальная ночь" – всегерманский погром 10 ноября 1938 г. – С. М.). Этой акцией Германия начала тогда террор, и нынешние воздушные налеты являются лишь мстью американских и английских евреев».

Выбор союзной авиацией целей при воздушных налетах на Германию местами ставился в прямую связь с предшествующими гонениями на евреев. Так, СД из Кёльна сообщала о мнениях, что бомбардировка Кёльнского собора и других церквей – это «божья кара» за разрушение синагог в Германии. В Вюрцбурге, напротив, некоторые считали, что город до сих пор не подвергся бомбардировкам, потому что здесь не была разрушена ни одна синагога; теперь же, когда последний еврей покинул город, следует ждать налетов.

Приведенные данные показывают, что, хотя значительная часть немецкого населения, по-видимому, верила тезисам о «мировом могуществе евреев» и о «еврейской мести», грозящей Германии в случае поражения и уже проявившей себя в виде «большевистских зверств» на востоке и «воздушного терроризма» союзников, практические выводы она делала не всегда в соответствии с целями, которые ставила пропаганда. Многие, например, задавались вопросом: не лучше ли было бы не депортировать немецких евреев, а оставить их в рейхе, используя как заложников, живой щит против союзнических бомбардировок?

В этих высказываниях обращает на себя внимание, что «еврейская политика» властей осуждалась не по принципиальным нравственным, а лишь по прагматическим соображениям – как нерациональная, контрпродуктивная с точки зрения немецких интересов. Это обстоятельство подчеркивают такие исследователи, как Дэвид Банкир, Отто Дов Кулка и др. Петер Лонгерих, однако, полагает, что здесь не все просто и однозначно: поскольку критики указанной политики высказывали свои замечания «полупублично» (в компаниях, общественных местах и пр.), они, возможно, выбирали такую форму высказываний, чтобы не навлечь на себя смертельно опасное обвинение во враждебности режиму.

Вместе с тем – и тоже как реакция на пропаганду – в 1944 г. учащаются письма в партийные и правительственные инстанции (прежде всего в министерство пропаганды), авторы которых требуют «возмездия» по отношению к евреям за налеты союзнической авиации на Германию. Творческая фантазия их в изобретении таких мер поистине впечатляет. Так, в одном из писем предлагалось «свезти живущих в сфере влияния рейха евреев... в подверженные опасности воздушных налетов города» и там распределить по «малым гетто в жилых кварталах» так, чтобы при бомбежках они не имели права покидать эти гетто или укрываться в убежищах. В другом письме предлагалось в качестве возмездия за воздушные налеты «беспощадно расстрелять 10–20–30 тысяч евреев». Автор третьего призывал «воплотить в действительность внутреннее повеление каждого из членов немецкой народной общности: отомстить евреям, потребовать возмездия по принципу – сто евреев за каждую жертву». Наконец, еще в одном говорилось: «Число находящихся под немецким контролем евреев может все еще (!) составлять несколько миллионов. При продолжении воздушного террора нам следует угрожать еврейству полной ликвидацией его соплеменников».

Последнее высказывание, кстати, свидетельствует о том, что авторы писем оставались еще в неведении, насколько далеко продвинулся к тому времени процесс геноцида.

## Прозрение фюрера

В 1944 г. ввиду все более угрожающего положения, поражений на всех фронтах, усилившихся воздушных налетов ответственные за пропаганду уже не решались реактивировать в полном объеме прежний лейтмотив борьбы немецкого народа не на жизнь, а на смерть с «мировым еврейством», опасаясь, как отмечалось, вместо мобилизации сил получить обратный психологический эффект. Хотя данная тема время от времени всплывала и министерство пропаганды в указаниях редакциям подчеркивало «выдающееся значение... антиеврейской работы», говорить о «еврейской мести» более не рекомендовалось. «При выставлении на передний план прежних или нынешних планов мщения со стороны еврейства, — разъяснялось министерством, — в мировоззренчески нестойких кругах может возникнуть впечатление, что мы эту "месть" накликали на себя, как это утверждает враг, жестоким обращением с евреями. Ведь известно, что месть предполагает предшествующую несправедливость. Поэтому будем говорить лишь о еврейской войне на уничтожение, снова и снова указывая на то, что еврейство всегда было нападающей стороной и что мы сами с нашими мероприятиями находимся в состоянии жизненно необходимой обороны».

Во время встречи Геббельса с Гитлером 26 апреля 1944 г. первый не без удивления обнаружил, что фюрер явно отходит от лежавшего много лет в основе немецкой пропаганды тезиса о «еврейском большевизме» и «мировом еврейском заговоре» как скрепе вражеского лагеря. В дневнике Геббельс отметил: сейчас фюрер считает, «что Сталин отнюдь не в той мере пользуется симпатией международного еврейства, как это принято считать. И он также в некоторых отношениях достаточно строго действует против евреев».

Это, конечно, противоречило предшествующим трактовкам. Теперь антибольшевистская и антиеврейская пропаганда велись, как правило, уже отдельно. Если еще 12 мая 1944 г. «Фелькише беобахтер», видимо, по инерции оповестила немцев, что «центр мирового еврейства» переместился из США в Москву, то в последующие месяцы немецкая пресса чаще занимала читателя обсуждением «большевистских планов мирового господства», не указывая при этом, как раньше, на «ключевую роль евреев» в коммунистическом движении.

Центр тяжести в антисоветской пропаганде был перенесен, по указанию Геббельса, на «зверства большевиков» в занятых Красной армией странах Восточной Европы, а затем и на германских территориях. Большевизм все чаще преподносился как «азиатский» феномен, подобный нашествию гуннов, аваров или монголов. Тезис о «вторжении Внутренней Азии» проходил, в частности, красной нитью в призыве Гитлера по радио от 24 февраля 1945 г. в связи с очередной годовщиной основания партии.

## Бегство в неведение

Однако «еврейская тема» и теперь всплывала подчас неожиданным и неприятным для нацистских пропагандистов образом. Так, в связи с шумихой в

прессе вокруг событий в восточно-прусской деревне Немерсдорф, где красноармейцы якобы совершили убийства, штутгартское отделение СД в ноябре 1944 г. сообщало: публикации такого рода во многих случаях вызывают противоположную реакцию. Руководство, отмечалось во всех слоях населения, «должно понять, что каждый мыслящий человек... сразу же думает о зверствах, которые мы творили во вражеских странах и даже в самой Германии. Разве не вырезали мы евреев тысячами? Разве не рассказывают постоянно солдаты, как евреи в Польше должны были сами рыть себе могилы? А что мы сделали с евреями, которые находились в концлагерях в Эльзасе? А ведь евреи тоже люди. Всем этим мы показали врагам, что они в случае их победы могут сделать с нами».

Западные державы выступали теперь в нацистской пропаганде в первую голову не как связанные с СССР «всемирным еврейским заговором» равные партнеры, а как подручные, «прислужники Советов», «пролагатели путей для большевизма», «орудия Москвы». Однако «порабощение» Англии и особенно США евреями оставалось одной из констант нацистской пропаганды – таким путем объяснялась «иррациональная», якобы противоречащая национальным интересам политика их правительств. По-прежнему рисовалась страшная картина угрожающей миру «еврейской диктатуры», хотя и менее плакатно, чем раньше.

Теперь главными задачами пропаганды стали поиск и выпячивание противоречий во вражеском лагере; пугало грядущего советского господства над всей Европой казалось для этого более подходящим, нежели тезис о «мировом еврейском заговоре». Хотя в дневниковых записях Геббельса за последние месяцы войны представление о евреях как «связующем элементе» вражеской коалиции фигурирует по-прежнему, там же звучит и сожаление в связи с невозможностью в полной мере использовать этот тезис в немецкой пропаганде, ибо одну из последних своих фантомных надежд Гитлер связывал с идеей сепаратного мира со Сталиным.

Что касается немецкого населения, то оно по мере приближения конца Третьего рейха все более явно отгораживалось от того, что вбивала в головы пропаганда, – от тезиса о неизбежной коллективной ответственности за совершенные преступления. В надежде, что «простые», «рядовые» немцы не будут призваны к ответу за злодеяния режима, который они в большинстве своем по разным причинам и в разной степени поддерживали, они все более демонстративно «бегут в неведение». «Кажется, – завершает свое исследование Лонгерих, – что ставшая после войны стереотипом пустая фраза, что, дескать, "об этом" ничего не было известно, коренится именно в этой позиции, сформировавшейся во второй половине войны».

---



кинодраматург, литературный работник кино и телевидения (по ее сценариям снято порядка 20 картин разных жанров). Автор более десятка телефильмов для программы «Совершенно секретно» (1992–1993 гг.; Второй канал Российского телевидения). Автор более 500 эссе по вопросам культуры и искусства, опубликованных в периодических изданиях Америки и Европы; книг прозы и поэзии. Член Литературного фонда с 1977 года. С 1998 года – член Учредительного совета Европейского Центра по изучению проблем этноменьшинств и межкультурных взаимоотношений (София, Болгария). Живет в США.

## МЫ – РАБЫ\*

### Статья не для читателя о фильме не для зрителя

*Энциклопедическая справка: Алексей Герман. Режиссер. Народный артист России. Дважды лауреат Государственной премии. Родился 20 июля 1938 года в России. В 1960 году окончил ЛГИТМиК – мастерскую Г. М. Козинцева. С 1964 г. на киностудии «Ленфильм». Дебютировал в 1968 г. картиной «Седьмой спутник». В 1971 г. поставил «Операция "С Новым годом"». В 1976 г. – «Двадцать дней без войны». Приз критиков в Каннах 1977 г., Премия Жоржа Садуля, Франция, 1977. В 1982 г. снял «Мой друг Иван Лапшин». «Бронзовый леопард» в Локарно в 1986 г., награда ФИПРЕССИ, фестиваль в Ла-Рошель, 1986 г.*

*В конце 1998 г. удостоен высшей награды «новой» России – «Триумф».*

*Сын известного писателя Юрия Германа. Женат. Имеет сына.*

На исходе 1999 года Музей современного искусства США в Нью-Йорке – MOMA – хранитель одной из богатейших коллекций произведений искусства двадцатого века, приобрел фильм А. Германа «Хрусталёв, машину!» Киноотдел MOMA начал формировать свою коллекцию в 1935 году, первым закупив

\* Культура (София, Болгария).



ленты Сергея Эйзенштейна и Дзиги Вертова. Последней лентой, пополнившей в уходящем веке собрание из 14 тысяч лучших кинолент мира, стал тоже российский шедевр – «Хрусталёв, машину!»

В 1998 году Алексей Герман закончил этот фильм по сценарию, написанному совместно с женой Светланой Кармалитой. Лента была представлена на конкурсном показе Международного кинофестиваля в Каннах и на Нью-Йоркском МКФ. Производство картины затянулось на 7 (семь!) лет.

– **Почему так долго?**

– Когда в перестройку меня впервые выпустили за границу, я ездил-ездил, и снимать мне вообще совершенно не хотелось. А потом французы подбили. Когда распад кино начался, когда нечисть пришла с деньгами и разрушила наше кино, уважение и доверие к нему, когда плёнка кончилась и электроэнергия перестала поступать – тут-то я и начал снимать эту очень большую картину. И должен был закончить, чтобы француз не вылетел в трубу. Запуск, конечно, был кошмарной ошибкой: всё разваливалось, кончались деньги, нас обманывали. Но, как лошадь, которая попала в упряжку, я должен был дотащить этот воз. Поэтому всё растянулось на семь лет. И мне до сих пор совершенно непонятно, как я вообще пошёл пастись на это минное поле...

*Эта лента – вершина художественного кино как искусства. Как кинематограф будет жить, осознав даже не величие, а просто наличие этой ленты – не знаю. Пока им движет здоровый инстинкт самосохранения, и встреча не происходит. Происходит не-встреча. Индустрия кино как бизнеса отторгает фильм, как инородное тело.*

*Во Франции на МКФ в Каннах ложа прессы покинула просмотровый зал через двадцать минут после начала показа. На фестивале в Нью-Йорке профессиональные зрители вышли через час. (Фильм идет больше двух!) Это естественно для коррумпированных «профи» от кино: Алексей Герман, как всякий обычный гений, нарушил слишком много границ «нормативного» поведения. Его кино вышло за рамки дозволенного «денежными мешками». Но и задачу он поставил такую, что ни в каких в рамках было не уместиться.*

– **О чем фильм?**

– О русских, о нас. О том, что мы такое. Загадка! Но – вот такие мы... О пятьдесят третьем годе. Дело происходит, когда умирает Сталин, но никто об этом ещё не знает.

– **Кто ваш герой?**

– Русский генерал. Огромный, красивый, который считает, что всё это его не касается – то, что происходит в стране. Все занимаются евреями, а его – пронесет. И вот его судьба. Достаточно драматичная и любопытная. Ещё там есть иностранец, который приехал, чтоб всем сделать хорошо, а сделал плохо. Есть мальчик, который вроде бы я сам, и чуть-чуть моя семья. Сталин и Берия тоже там существуют, но через призму этого генерала. И так плетутся три линии: генерал, иностранец, мальчик... Мальчик достаточно дрянной. Я, напри-

мер, никогда не доносил на собственного отца, а в фильме мальчик пытается это сделать. Такая картина нравов Москвы высокопоставленной...

*Я слушаю Алексея и сверяю с увиденным. Сходится, но мало. И он не виноват: СЛОВОМ в этой ленте действительно можно передать только фабулу. Невероятность ленты в том, КАК это снято. КАК художник реконструировал картину мира в момент смерти Ирода.*

*«Какие же мы?» – я не спрашиваю, потому что ВИЖУ: МЫ – РАБЫ. Это первое, что следует из фильма Алексея Германа «Хрусталёв, машину!» Рабы не чего-то определенного, а абсолютно ВСЕГО: что есть, кто есть – того рабы и будем. Потому что это единственное, что мы хорошо умеем делать: давно привыкли.*

*Мы – это русский народ. Не этнические русские, а граждане, обитатели России как государства и территории.*

*«Вот такие мы...» – повторял А. Герман без пафоса и разводил руками на сцене фестивального просмотрового зала в Линкольн-центре. Просто констатировал ФАКТ и предъявлял в доказательство фильм, в котором герой – действительно генерал, столичный военный врач-нейрохирург Юрий Кленский, не очень «русский», так как с татаро-монгольской прорезью глаз, – проживает сутки. Выходит утром на работу в госпиталь, сталкивается там со своим двойником-пациентом, после работы успевает на вечеринке у коллеги обронить неаккуратную фразу о здоровье вождя, быть арестованным, садистски изнасилованным уголовниками в милицейском «воронке» и освобожденным!*

*Генерала в срочном порядке привозят на дачу к Сталину, где под надзором Берии генерал безуспешно пытается оказать помощь отходящему вождю и – присутствует при том, как Отец Всех Народов выпускает дух. Отнюдь не носом...*

*Но самое главное и страшное, что успевает генерал, это – не подобрал портов, которые урки разорвали на нем, когда употребляли его во все отверстия, подобострастно исцеловать холодеющие руки своего тирана...*

*Лаврентий Павлович благодарит генерала медицинской службы и отпускает, отдав команду: «Хрусталёв, машину!»*

### **– Почему это вынесено в название?**

*– Просто потому, что это – исторический факт: когда Сталин умер, Берия крикнул: «Хрусталёв, машину!» Это ВСЕ слышали. (Кто «все» – я не спрашиваю: сказал «все» – значит, «все»). Так что никакого тайного значения название не имеет, – объясняет Алексей. – Всего лишь ОДНА секунда и – пошла в другую сторону вся история! Потому что, проживи Сталин ещё лет 10, и мы бы тут не сидели: вместо Манхэттена здесь была бы, например, ядерная воронка или радио бы вело репортаж о неплохом урожае на Вашингтонщине... Мы вообще не очень снимали про 53-й – так уж получилось. Мы хотели разобраться в себе. Например, почему мы такие добрые, что всё прощаем друг другу. Вот Анну Ахматову всё волновало, что будет, когда встретятся Россия, которая*

сидела, с Россией, которая сажала. А потом выпустили эзков, все встретились. Ну что было бы в другой стране? Наверное, резня, а у нас – все сказали «спасибо большое», и всё. Вот такие мы...

*Слушать слова Германа тяжело. Тяжело соглашаться. Не соглашаться – тяжелее. Потому что портрет твой может тебе не нравиться, но зеркало не врёт. Герман подносит зеркало тебе и печалится вместе с тобой по поводу отражения.*

*Примирить с отражением может тезис из посмертной книги российского философа Мераба Мамардашвили (ушедшего в 1990 году): «Сейчас в России критический период в том смысле, что если русский народ сейчас же, каждый по отдельности и по личной своей воле не содрогнется от отвращения к себе, к своему образу, тогда в России ничего не изменится».*

*Чтобы содрогнуться от отвращения к себе, следует, как минимум, себя увидеть. Именно это помогает сделать А. Герман.*

*В картине, как в живописном полотне с лессировкой, множество слоёв. Внешний – сюжетный – самый простой. Дальше – тоньше. Ровно ничего не значащая фраза Берии обретает у Германа космическое звучание, когда видишь, что от неё Алексей ведёт отсчет нового исторического времени: Жизнь после Смерти Дьявола. Новое время жизни – по Герману – наступает в первую очередь для евреев, к депортации которых из Москвы у вождя всё было настолько готово, что остановить неизбежное могла только Смерть. Которая и пришла. Об руку с генералом Кленским.*

– Сталин же себе сам смерть устроил, – говорит Алексей. – Цвет медицины сидел, и он самостоятельно лечился: по медицинскому справочнику. Он же плохо себя почувствовал и пошёл в баню! Вот и инсульт. А были бы врачи – он был бы жив: врачи бы поняли, что у него высокое давление, и они бы его понижали. Так что, как сказала тётя моего приятеля, когда началась история с врачами: «Плохо его дело: он связался с евреями». Совершенно неожиданный поворот, правда?..

*Генерал тревожится о себе не напрасно: он внятно произносит, что следом за евреями пойдут другие нерусские. И небрежно, но прикрывает собой коллег врачей-евреев. Прячет у себя в доме еврейских девочек-кузин, которые скрываются в шкафу, едва кто-то входит в его квартиру. Это родственницы татаро-монгольского генерала, ровесницы его сына-подростка. Мелким бисером сыплются детали, и ближе к концу ленты уже безымянные евреи-переселенцы появляются крупно, во весь рост, в кадре. И проникновенно поют оду жизни, так как чувят, что смерть их миновала: чудо свершилось! В кадре – чистый Пурим.*

*Алексей Герман говорит о себе «я – русский интеллигент», не преминув добавить на сцене «Аллис Тули Холла», что он – «полукровка». И общую беду евреев России принимал и принимает близко к сердцу.*

Следующий слой воссоздает атмосферу тотальной слежки в стране накануне Великого Сдоха. Следят все, следят за всеми и доносят, куда могут. Фильм начинается с кадра с подвыпившим человеком. Он приближается к стоящему автомобилю, который набит агентами наружного наблюдения, и... его хватают, бьют, волокут, арестовывают и сажают. И дальше следят – за иностранцем, идущим по заснеженному городу в дом Кленских.

Слежка становится опоясывающей темой фильма, поскольку повествование идёт от лица сына Кленского – худенького мальчика, восходящего к бурляевскому Ивану Андрея Тарковского.

Генеральский сын, у которого всё есть, в одночасье лишается всего, когда неинтеллигентного вида дядьки в штатском опечатывают комнаты их квартиры, угощают конфетой и оставляют телефон, по которому велют позвонить, когда появится отец. Отец появляется. И сын идет набирать номер... Он не знает, что отца искали, чтобы арестовать, а тот, который пришел, – уже даже реабилитирован. Отец очень буднично бросает сыну, что звонить уже нет нужды. И – проваливается сквозь землю сюжета... «Отца я больше не видел», – заканчивает рассказ мятущийся по ночной улице подросток.

А зрителя Герман одаривает развязкой: в другой реальности 10 лет спустя выходит из зоны подвыпивший идиот, который в первом кадре был арестован. Садится в поезд и видит в нём Кленского! Который пересаживается с каким-то мешком картошки на открытую платформу странного эшелона. И там – свой в компании безликих и безымянных спившихся уродов, бывший генерал со следами шрамов и увечий, зато живой, исполняя трюк: широко расставив ноги и приседая на стыках, чтобы не расплескать, – на пари он держит стакан водки на лысой голове под обидный хохот и понукания. Так и уезжает он в глубину кадра, в глубину страны, в неизвестном направлении с полным стаканом на голове.

Конец ленты. Физический. На метафизическом уровне у этой ленты нет конца прежде всего потому, что в ней скрыто много слоев, а потому у неё много концов. Герман подводит итог «прекрасной» эпохи советского сталинизма. И совершает открытие, что главным в российском аду было внутреннее состояние. Которое такая коварная штука, что проникнуться им можно не только в Москве 1953-го, но даже в Нью-Йорке в конце века. Где угодно – была бы готовность и способность к состраданию. Потому в Каннах фильму не оказалось места: не страдать туда приезжает кинолюди и не сострадать.

– Да и председатель жюри был Мартин Скорсезе, – сказал Алексей. – Было совершенно ясно, что он мне ничего не даст... Я бы, правда, ему тоже ничего не дал...

Перед показом фильма в Америке Алексей старательно пытался что-то дообъяснить, предваряя просмотр.

– Какие-то вещи, которые мы второпях или по высокомерию не разъяснили, – говорил он, травмированный опытом Франции. – Нам казалось, что всё

абсолютно ясно, а оказалось, что французы, например, про нас вообще ничего не знают. Например, мы долго искали Бернию. Нашли на Кавказе очень похожего человека. Долго учили его на артиста, потому что он был певец. Придумали: вот такой Берия. Может, он был другой – откуда я знаю? А оказалось, что из 10 французов 9 вообще не знают, кто такой Берия. Я запросто мог пригласить любую женщину на эту роль. Со Сталиным я тоже путался: мне надо было, чтоб он был НЕ похож и похож одновременно...

Герман полагает, что проблема восприятия ленты в том, что зритель за кордоном России не понимает деталей и подробностей исторического контекста. А дело не в этом. Дело в том, что фильм пропитан болью. Болью героев и болью авторов. А зритель не для того идет в кино, чтобы, сцепив зубы, терпеть БОЛЬ. Сначала – чужую. Потом – свою. Так как Герман беспощадно ввинчивает зрителя, как лампочку в патрон, в эту воронку чужой боли ТАК, что зрителю становится невмочь созерцать чужие муки. Плюс Сталин и Гитлер – две крупнейшие inferнальные фигуры века. И если Гитлера как тему освоили в мировой культуре, то к Сталину до сих пор никто не знает, как подступиться. И это нормально, так как тема Дьявола инфекционна и вызывает естественное и инстинктивное отторжение и опаску. А потому «Сталин–Берия», «мужчина–женщина», «похож – не похож», действительно, пустяк, когда понимаешь, что Герман в паре к РАБУ по имени «русский народ» отливает формучку РАБОВЛАДЕЛЬЦА. Создает второй полюс в действующей модели противостояния ВЛАСТИ и ЛИЧНОСТИ. Человека и Машины. Государственной, бездушной, железной. Колёсиком и винтиком которой надлежит стать законопослушному гражданину. А НЕ стал – тогда ПОД колёса...

Так фильм из камерной трагичной истории генерала перерастает в эпическое полотно о вечном поединке Ланселота с Драконом, поединке с Системой. О дуэте-дуэли Государства и Личности. И в качестве образа, наиболее полно передающего оттенки и переливы этих изменчивых, вибрирующих и напряженных отношений, избран коитус без любви, что я считаю высочайшего уровня адекватом. Любых тоталитарных режимов. На модели безлюбного соития, композиционно помещенного в центр полотна, ярко и доходчиво явлен фундаментальный инстинкт Системы: желание власти, которое наиболее полно реализуется в акте сексуального насилия.

На подступах к этой сцене Герман исследует невероятный спектр нелюбовных сексуальных контактов, следуя за героем с камерой до самого дна его падения. Герой проходит ряд испытаний, и все они ниже пояса: запрещенных приемов у Системы нет...

Фильм начинается с семьи и жены, которой делают прозрачные намеки на то, что муж ей неверен. Из полунамёков создается атмосфера в доме, где любовному соитию нет места: никто никого не любит в семье – «первичной ячейке» Системы. Может быть, только мальчик – бабушку и собаку...

Далее мы становимся свидетелями того, как генерал на службе «отдаётся» своей сотруднице. Отсутствие эмоций на его лице в момент, когда со-

трудница со страстью ласкает языком верхнюю пуговицу его кителя, выдаёт обыденность этого почти ритуального действия. Она спускается ниже и на уровне бедер героя покидает кромку кадра. Понятно, ЧТО происходит вне поля зрения камеры. Важнее генерал, остающийся «в поле», который царственно великодушен: позволяет доставить себе удовольствие.

На патетическом уровне это мета Системы: Система всегда позволяет себя ласкать. И в этой сцене генерал – ещё человек Системы. Пасынок и выкидыш Системы, врач-еврей, как пёс, скребёт лапой под дверь его кабинета в этот момент...

Мимоходом касается Герман темы подросткового онанизма. В одном случае неизвестному мальчишке отец – с грузинским акцентом! – грозитя руки отрубить, в другом – изблбичён сын генерала, подросток. Эта невинная подробность полового созревания становится знаком формирования социальной, гражданской зрелости подростка в эпоху изменившегося Времени и Места. Система дала сбой и явила себя во всей красе собственной деформированности: чертями из табакерки из платяного шкафа вываливаются спрятанные там и забытые всклокоченные кузины-еврейки! С криком: «Мы видели, что ты с пипкой делал!»

Подросток встает на защиту попранной чести и – проигрывает: во время потасовки девочки стаскивают с него штаны... Поверженный и оскорбленный сын – это микромодель, прообраз того, что будет с отцом: насилие. Две кузины – большинство! – загоняют в угол его, одиночку. Равно как один – против группы – будет стоять отец.

По мере того как слышнее становится тяжёлая поступь кованых сапог Системы, нарастает цинизм и бесцеремонность внутри безлюбых соитий.

Спасаясь от ареста, генерал приходит ночевать к прислуге. Та открытым текстом просит его «сделать» ей ребенка. Чем придаёт генералу статус быка-осеменителя. Уродство ситуации несколько сбалансировано здоровой страстью женщины и к генералу, и к продолжению рода, а потому ещё имеет какое-то оправдание: это соитие образованного животного, в котором много рационального инстинктивного желания сохранить ПОРОДУ.

Генерал подчиняется и СНОВА отдаётся. Снова – женщине и снова чужой воле к соитию. Мало того, что происходит откат от роли самца и захватчика, – генерал уступает уже не коллеге, не социальной ровне, а своей прислуге. То есть происходит ещё и снижение на ступеньку по социальной лестнице. С большим трудом – на грани фарса – герой приводит себя в состояние возбуждения. Фактически соглашаясь с тем, что прислуга ПРЯМО говорит ему: что его завтра уничтожат...

В фильме вообще много прямых текстов. Прямоговорение, как прямохождение, становится эволюционным этапом в кино Германа. Само кино встает у Германа с четверенок на две ноги. Маугли среди волков – и герой Германа в этом мире, и сам Герман – в мире кино. Вот главный секрет его киноязыка. Обособляясь, вычленяясь в говорящего таким манером человека, Герман становится иноязыким. Не только в Каннах, но и на родине. Такое уже случалось

в российской культуре: «Она в семье своей родной казалась девочкой чужой»... Так звучать должен был Пушкин после Державина и Карамзина.

Главное – внутрицеховое – событие ленты в том, что Кино как визуальное искусство возвращается из изгнания в Литературу. Возвращается на родину и очерчивает границы своей сакральной территории – территории священнодействия, доступного ТОЛЬКО КИНО. Потому что в каждом кадре видно, что НЕ СЛОВАМИ режиссер ставил задачу перед этими НЕ-актерами.

– Я взял урок, и они мне говорили: «Эй, начальник, тут он так животом не сыграет... Тут надо колено ставить...» А про лопату мне рассказал Илюшка Авербах...

Здесь начинается самое главное и страшное. Следующим уровнем, на который сползает планка соития без любви, становится соитие БЕЗ согласия, то есть – насилие. И Герман дает его.

...Генерала «берут». И в крытый фургон, в котором везут генерала, система запускает кодлу уголовников. Безобразных, деклассированных советских граждан, мобилизованных на уничтожение человека в духе – до отдельной команды, когда прикажут уничтожить в теле. Генерала «опускают»: зажав в грузовике с двух сторон, его насилуют спереди и сзади – в оба отверстия, – большая группа уголовников, по очереди. Насилуют долго, проникновенно и сладострастно – с любовью – не к генералу или сексу – только к Делу насилия. Акт насилия дан внятно, но без натуралистических деталей и подробностей, так как А. Герман исследует модель взаимоотношений «Система–Человек», а не «человек–человек», а уж тем более не «мужчина–мужчина».

Мотивация Системы ясна: генералу, как каждому члену общества, показывают его место. А «место» любого гражданина находится там, где Системе удобнее поставить его на колени, или в просторечии «раком», и употребить в рот и анус. Цинично и беспощадно. Степень гуманности подобной Системы измеряется только бесчеловечностью, которой Система способна достичь по отношению к Личности.

Это единственный в фильме акт с настоящей СТРАСТЬЮ. Потому, что Генерал для Дна – представитель Системы! И это – час реванша: Система держит Дно на коленях, а сейчас они могут ответить Системе взаимностью.

Когда же генерал с остервенением употреблен всеми, представители Дна, смазав чем-то черенок лопаты, используют его, как фаллос... Всаживают в генерала и рвут ему внутренности. Это – апофеоз системы.

О котором охранник минуту спустя насмешливо говорит: «Ну что, порвали тебе жопу?...»

Текст звучит для тех, кто не понял, что было в полутемном кадре.

Генерал ревет, как раненый зверь. Оскорбленный, униженный, изуродованный морально и физически...

В стиснутых рамках кадра, снятого внутри «воронка», Герман даёт оргазм пахана. И оргазм, и сам Пахан одновременно существуют на реальном

*и образном планах. Очевидно, что Пахан – менее всего персона, прежде всего это должность, статус внутри системы. Любой: на зоне или в Кремле. Где бы Пахан ни сидел – суть его одна: подавление личности. И одно отношение к элите: презрение. Именно это символизирует раблезианское сладострастие, с которым Пахан сливает сперму в рот представителя элиты, который ею захлебывается...*

*Герман не щадит зрителя, передавая ЭНЕРГИЮ насилия Власти. Потому что сам хорошо помнит, как Система насильовала его. Теперь его час показать Системе, что он всё про неё знает, помнит и понимает.*

– Это, может, и не обязательно – быть битым. Можно быть талантливым и не битым... Моцарт же как-то существовал без запретов и остался Моцартом, но нас били. Самым битым человеком была Кира Муратова. Ужасно битым был Александр Аскольдов и очень битым был я. Помню, когда «Проверку» клали на полку, сидел напротив меня директор и плакал – всё лицо залито слезами! – и говорил: «Лёша, я сидел. Я страшно сидел: меня били! Теперь меня снимают. Порежь ты эту картину – я тебе другую дам». А я сидел напротив него и тоже плакал и говорил: «Я не могу». А был бы жив мой отец, он бы заставил меня порезать. Потому что он был добрый человек. И не считал, что из-за пучка света надо такую беду навлекать на многих людей. Ужас ведь был!.. И такая же история была с «Двадцатью днями». А на «Лапшине» через два часа редактор была отстранена от должности, а позже телеграмма пришла – «Всех виновных в изготовлении картины строго наказать».

*...После полного морального уничтожения генерала, его – кожаным мешком с костями – выбрасывают из «воронка» за городом, в рожище, на снег. И сообщают, что он реабилитирован... Генерал ползет, сгребая руками снег в кучу, чтобы сесть в него рваной раной... Бросается к полынье, в которой можно ополоснуть рот... Его весело не топнут, а слегка – чтоб подрыгался – притапливает вихорец на радость уркам... И пока генерал возвращает себя к жизни, происходит «душевный» обмен невнятными репликами между уголовниками и охраной. Так открывается степень их близости: через блистательный пустой диалог с единым сленгом. Это самое страшное и опасное открытие картины – собирательный образ Системы. Что делает её актуальной и интернациональной.*

*Обнажается очевидно и безусловно, что всё, проделанное представителем Дна с представителем Элиты, – согласовано со средним звеном: администрацией. Дно сработало чётко в пределах отведенной ему компетенции. Этот момент единения Дна и среднего звена в ненависти к верху, делают Дно и среднее звено взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми. Так утрачивает последний смысл условное разделение на «свободных» и «заключенных» в СССР: законы на воле и в зоне царят одни. Герман лишает зрителя последних иллюзий и повествует о том, что низ, верх и среднее звено в каждой из своих частей не пытаются даже задуматься над тем, что неверна Система. Па-*



*фос героев состоит в том, что они недовольны системой, только когда система насилует ИХ. Когда это делают они – это торжество справедливости. И до тех пор, пока человек приспосабливается к ней с тем, чтобы коитус приносил меньше терзаний, – конца этому не будет. Кто-то должен встать с колен и возразить системе. Предложить Власти мысль о том, что хорошо бы жить в любви. А если не в любви, то хотя бы в согласии. Это будет не рай на земле, но некая принципиально иная форма общественного бытия и сознания. А пока никто ничего не меняет в системе – только в положениях тел, – за человеком остается право побега из Системы и отказ от своей социальной роли, что и делает, в конце концов, генерал...*

*Но прежде он проживает до конца роль генерала. Ему – с разорванными потрохами – здесь же, на снегу у полыни, вохровец возвращает статус и генеральскую шинель, которую набрасывают ему на плечи, и сообщает, что он может продолжать функционировать в прежнем качестве: представителя элиты.*

*Генерала привозят на дачу Вождя. Состояние генерала таково, что он не сразу понял, что перед ним Сталин. Сразу генерал понимает только то, что пациент лежит перед носом у сиделки – в дерьме. Но когда со второго взгляда генерал видит, кто перед ним, – он целует руки пациента, раболепно склоняясь перед Властью. По воле которой с ним было только что проделано всё, чему мы были свидетелями.*

*Герман моделирует ситуацию, в которой его герой фактически целует руки тому, кто порвал ему потроха черенком лопаты не впрямую, а опосредованно: пахан Кремля – через пахана Дна.*

*Это ШОК. «Вот такие мы...» – бормочет Герман и разводит руками.*

*Это не вмещает сознание. Требуется определенное усилие, чтобы проглотить увиденное – вместить. Слов нет. Сила, страсть и мощь этого фильма проявлены в том, КАК слово здесь больше не работает. Есть звук, но не речь. Это шумы ада, в которых различимы отдельные слова. Вникать в них бессмысленно: нужно погружаться в состояние, а не в подробности слов.*

– Это кино может быть понятным, может быть непонятным, но мы настаиваем на том, что оно – понятное, – глухо и убежденно говорит Алексей Герман. – Кино для меня – это искусство пластики, выразительности лиц, игры. Потому и такой звук. Задача у меня стояла такая: чтобы звук переходил в шум. Так что это специально – такое месиво звука...

*Я слушаю и поражаюсь тому, как он прозорлив в своей правоте. Потому что действительно: «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО». Нынче – конец. Конец эпохи. В конце дают картинку. На картинке – Сатана. Его дела. И – смерть Сатаны. Именно в этом оптимистический пафос ленты.*

*А Герман настолько отчаянно уходит в язык кино, что разводит звукоряд и видеоряд. Небрежничает в устной речи: не очень следит за чистотой звука и артикуляцией. Но это небрежение интеллигента: он не уродует язык, а*

*ОТКАЗЫВАЕТСЯ от него. Не может отказаться совсем, потому что это единственное средство коммуникации людей с людьми, но и не скрывает, как тяготеет подобной формой контакта: языком СЛОВ. Язык пластики, ЖЕСТОВ говорит Герману больше. Потому он сам так невыразителен в движениях и жестах: чтобы не выдать тайных мыслей. Его формы внешнего контакта – это контакт человека ДРУГОЙ языковой среды. Так в Тибете существует граница, пересекая которую, паломники приближаются к святому месту на такое близкое расстояние, при котором запрещено говорить на ОБЫЧНОМ языке Людей. Пребывание на сакральной территории Бога требует ТАЙНОГО языка. Например, идущие за солью на священное озеро, переходят на ЯЗЫК СОЛИ. Для Алексея территория кино – сакральна. За воротами «Ленфильма» он переходит на язык своей соли – язык кино.*

### **– Насколько сценарий и фильм историчны?**

– Об историчности скажу словами Ходасевича. Он писал, что история царствования Павла I никогда не будет хорошо известна, потому что писалась его убийцами. Поэтому с историчностью – дело трудное. Но мы просчитали многое: где, когда Сталин умер. У Авторханова получается, что 1 марта. Потому что раздувалось очень сильно «дело врачей», и страна этим просто жила, а 1 марта вдруг – хоп! – это из центральных газет исчезает. Из чего Авторханов делает вывод, что 1 марта Сталина уже нет. Мы встречались с замечательным американским журналистом Солсбери, который жил в то время в Москве. За два дня до того, как Сталин официально умер, Солсбери получил телеграмму о прибавке жалованья. Каждые несколько часов шла такая телеграмма. По договоренности со своим руководством такую телеграмму он должен был получить, только если Генералиссимус «ЁК». И Солсбери метался по Москве и ничего не мог понять: всё было, как всегда. Кроме чёрных машин, которые у меня мечутся по городу... Конечно, это не Солсбери ездит, а Политбюро. Но это та самая тема: «что-то случилось, что-то случилось...» Известно из воспоминаний многое. Если сопоставить, как они все врут, – можно обхохотаться. Один говорит, что Сталин пожал ему руку в последний момент. Другой – что он указал на какого-то ягненочка на картине. Третий – что никакого ягненочка не было, и Сталин просто погрозил кулаком. А есть интересные воспоминания одного из «врачей-убийц» – Раппопорта. Им в камеру в тюрьму принесли и раздали дело неизвестного больного. Они сидели в таких наручниках, что если шевельнёшь рукой, они ещё сильнее сжимают запястья. С них сняли наручники и велели писать, как лечить. Раппопорт, который был не очень практичный человек, прочитав историю болезни анонима, написал: «Необходимо срочно умереть». Так как мозги после инсульта были в таком состоянии, что у Сталина был единственный выход... Так что никакого пожатия рук не было. А то, что там Светлана Аллилуева старательно пишет, так я бы не стал верить ни одному члену этой семьи. Точно известно, что рядом со Сталиным была сиделка с красным лицом, что он лежал в собственном дерьме и что при сём присутствовал ещё какой-то высокий военный – совершенно неизвестно, кто и зачем.

Как тут не вспомнить, что Ингмар Бергман на вопрос о замысле картины «Персона» отвечал, что однажды в кафе увидел двух женщин в одинаковых шляпах и подумал: «А что, если одна из них немая?» А великий роман «В поисках утраченного времени» Марсель Пруст написал, наткнувшись на маленький душистый кусочек бисквита...

«Высокий военный» – вот то, что позволило Герману–Кармалите создать образ генерала Кленского...

– **Насколько личный этот фильм?**

– Мне уже за 60. Время подводить итоги. Света – моложе, но тоже не девочка. Желание делать такую картину дано словами бабушки в кадре: «Я так много помню, так много знаю. Как жаль, что всё это уйдет вместе со мной». Я вырос в семье известного писателя. Света – известного критика. Видели немало. Здесь много из наших биографий. Конечно, нам очень хотелось написать про свое детство, что мы любим, что мы не любим, как мы представляем себе то житьё, и внедрить в это дело сюжет со Сталиным. Что мы и сделали. В фильме это моя семья, наша собака... Это я там ползаю под столом. Конечно, хирург – не мой отец, и я на отца не доносил... Но мы взяли похожую семью, шофёра, домработницу и допустили гипотетическое: «Что бы с нами могло произойти». Это в моей семье появился в доме гость из Швеции – журналист, левак. Он очень дружил с моим дядей, братом моей матери. Евреем и монархистом, как ни странно, который бежал за границу. Дядя дал шведу строжайшие инструкции – как нас найти, как аккуратно узнать, живы мы или нет. А швед выпил и всё забыл. Но нас пронесло. А фильм построен на том, «что было бы, если бы...» Ну, как минимум, отца бы моего расстреляли... Я счастлив, что меня не будет, но будет нечто, чему я был свидетелем. Эта лента – на длинную дистанцию. При всем ужасе, есть любовь к нашему странному народу, который умеет всё прощать. Моя самая лучшая фраза в картине: «Махнемся трубками, генерал? На память!» После изнасилования, после всего – ещё этот чудовищный двойник с такой же трубкой, как у генерала!

Я бы больше не хотел кино снимать. После каждой картины меня увольняли. А на этой – все разваливалось, кончались деньги, нас обманывали... Поэтому всё растянулось на семь лет. Но мы сделали про то, что мы любим. Это не значит, что мы любим Сталина или Берию. Это значит, что ТАМ остались наши родители, их молодость, мы сами. Мы пытались сделать беззлобное кино. Оно всё равно получилось злобное. Но мы старались. Так, что даже газета «Монд», которая напечатала статью «Гора родила мышь», – и та написала, что Герман не определился в своём отношении к Сталину. Как же не определился? Мы понимали, что Сталин – страшный злодей, но и злодей может помирать в собственном дерьме.

**И ЗЛОДЕЙ ПЕРЕД БОГОМ – НИЧТО.**

*Так Алексей Герман окончательно обнажает структуру конфликта, с тизанием демиурга разводя хляби небесные и земные в разные стороны: Бог и Злодей – вот полюса его драматической коллизии. Бог без лица и Злодей с ли-*

цом Сталина. Бог в полном одиночестве в небе над ночной промёрзшей Москвой и Дьявол в собственном дерьме... Вот оно – пространство и время, в котором зажат герой. Так ещё на одну ступеньку поднимается величие и масштаб замысла авторов. И как бы А. Герман и С. Кармалита ни полагали, что они рассказали о том, что ОНИ видели, – они рассказали ещё и ЗА тех, кто уже не может ничего рассказать, но может видеть с неба, что они рассказали все как следует. Герман смог стать устами тех, кто уже никогда не заговорит, и засвидетельствовать, что это БЫЛО. И называлось социализмом, коммунизмом, счастливым детством. Этот кромешный ад, который теперь внутри нас и от которого нет спасения. Фильм – редкий случай эпического полотна, созданного средствами кино. Автор этого эпоса – Зритель. Тот, который никогда не увидит фильма, потому что убит. Десятки миллионов тел уничтоженных граждан выстлали эту Дорогу Ужаса, которой проходит на экране герой Германа. Между Богом и Бесом.

Из всех известных мне сегодня художников Герман единственный, кто чист – чист, как Везувий после извержения. Потому что он смог извергнуть из себя этот ужас. Теперь они разведены – Герман и Ужас, Герман и Власть. И будут жить и умирать отдельно. Ужасу будет очень одиноко без Германа. И отныне ни одна версия того, что с нами было, не найдет себе места, потому что Герман закрывает тему. Закрывает тему ужаса на территории Москвы и СССР в XX веке.

Фильм удивительно снят.

– Существует ли некая внутренняя связь между «Хрусталёвым» и «Лапшиным», или это только зрительская аберрация?

– Есть, конечно, связь. Но если отстраниться, то мне кажется, что эта картина крупнее, чем «Лапшин». В «Лапшине» и задачи стояли простые: про папу-про маму. Я там ребёнок, который ещё не родился... И герой другой: дурак, но надёжный, верный. Другом его иметь хорошо, но встречаться надо пореже... Он и жертва, и палач одновременно. Сам создал тот режим, который его убил. Но он болен, и у него случаются припадки, и тогда он ЧУВСТВУЕТ, что что-то не так. Но усомниться для него – это умереть. Он как муравей – умрёт без муравейника. Он наивнее: в тридцатые годы они все думали, что владеют ключами от счастья, а они ничем не владели – это была ложная идея... А этот герой другой... И задача другая: про русских... Этот фильм будет очень раздражать.

Фильм действительно раздражает. Законченностью. Он в той степени совершенства, когда его можно не показывать. Это свидетельствует о правоте М. Бахтина, который говорил, что «художником движет потребность объективировать себя в творчестве». В этом фильме отныне Германа больше, чем в самом Германе. Ему удалось с невероятной полнотой объективировать себя в этом фильме. И себя-кинорежиссёра, и себя-личность. И если Герман-субъект ограничен во времени и пространстве земной жизни, то

*фильм как Герман-объект будет жить дольше субъекта, создавшего его. И если все предыдущие фильмы были созданы Германо-автором, то автор этого фильма – Создатель, воспользовавшийся Германом как инструментом. Он и придал законченную форму и фильму, и самому А. Герману.*

Это киноверсия эпохи, как был литературной версией века Джойс – в англоязычной культуре, Пруст – во франкоязычной, Музиль – в немецкоязычной. Алексей создал русскоязычный вариант версии – в кино. Но степень мастерства внутри ремесла оказалась абсолютно на уровне, которого достигли гении старшей Музы.

Фильм настолько ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, что может сам по себе жить на белом экране, а зритель – сам по себе. Хоть за стенами кинотеатра. Фильм СУЩЕСТВУЕТ. Бытийствует. Длится. Платформа с героем уезжает и там где-то за стенами кинозала герой стареет. Его сын вырастает, становится зрелым мужчиной, который помнит, как шел к телефону доносить на отца... Умирает не только Сталин, а даже Лаврентий Берия и никому не известный Хрусталев. Остается в живых НОВОЕ ВРЕМЯ, отсчет которого начался с команды «Хрусталёв, машину!», но осознание этого обстоятельства времени пришло много лет спустя и то – не само по себе, а Герман привёл его за руку.

Герои Германа на экране вызывающе независимы и нисколько не нуждаются в зрителе. Той жизни, которой живут герои, – нет. Она миновала. И когда загорается свет и зритель высыпает на улицу – он не встретит нигде этих героев. Не только потому, что зритель – в Америке, а герои – в России. Нет! Герои уехали на поезде. Не в пространстве – во времени: укатили в светлое будущее. Которое и есть МЫ.

*– НОС ВЫТРИ! – диким голосом командует генерал со стаканом на голове случайной подружке, требуя, чтобы она вытерла нос ЕМУ. Это его последнее слово, которое достанется зрителю.*

*Но это еще и авторский окрик залу – не фестивальному в Каннах. Другому: который будет рыдать напролет всю картину по всем городам и весям России, Украины и остальных бесконвойных ныне бывших узников социального лагеря по всей Европе, узнавая всё и всех без авторских пояснений.*

– Это мы... вот такие мы... – бормочет Герман и, мягко ступая, идет на посадку в самолет. Уезжает тоже. Домой – в Россию. Вот такой он.

Как легендарная машинистка Томаса Манна, печатавшая «Иосиф и его братья», я говорю авторам спасибо за то, «что я теперь, наконец, знаю, как все было на самом деле». Спешу вдогонку договорить то, что не успела при встрече, и снимаю шляпу перед их мужеством – что они согласились быть непонятыми во имя единственной цели: не погрешить против собственной правды. Фильм возьмёт своё. Планка, поднятая ими в кинонебе, будет отныне отмечать высоту, на которую смогло подняться искусство кино в XX веке от почти базарного трюкачества.

*Постскриптум:* В Одессе запрещены земельные работы подле горы Чумка, где погребены умершие от чумы. По прошествии сотни лет не исключено, что вибрион чумы можно «разбудить». После просмотра фильма опасно оставаться в зале, опасно дотрагиваться до экрана – такие энергии гуляют по полотну. ТАКОЕ А. Герман вызвал и вернул к жизни. Потому что пока кружат черные машины политбюро по заснеженной Москве – Сталин жив. Даже в Нью-Йорке, даже полстолетия спустя...

*Постскриптум второй:* кинопослание Германа–Кармалиты откликается гулким эхо на предсмертный призыв Мераба Мамардашвили: «Интеллигенция не выполнила свою функцию и роль, которые вовсе не в том, чтобы облаивать компартию... Её долг – видеть процесс разрушения в нации, говорить об этом народу, призывать его на путь очищения. Народ должен внимательно посмотреть на себя в зеркало, устыдиться своего облика, бахвальства и бездельничанья, своих рабских реакций и стереотипов; устыдиться своих умерших и задуматься: кем я был все эти годы? что я делал? кому верил? за кем шёл? Должен содрогнуться от стыда и отвращения, и тогда перед ним откроется путь к свободе, свободе, которую надо построить, так как лишь от прочувствованного стыда родится энергия возрождения. Именно поэтому необходимо, чтобы кто-то каждый день говорил своему народу: захотел вождя – осторожно! Знай – это рабство!»

---

## «ЗА ТАКОЕ КИНО НАДО УБИВАТЬ...»\*

*Александр Гутман. Выпускник ВГИКа, оператор, режиссер-документалист, продюсер. Участвовал в создании таких известных лент, как «Снежная фантазия», «Пирамида», «Русские уши», премированных на самых престижных международных кинофестивалях. Последняя его горькая лента «Три дня и больше никогда» триумфально прошла по экранам мира. И вот – новый фильм.*

«За такое кино надо убивать», – сказала неизвестная мне зрительница, первой покидая зал после просмотра в Нью-Йорке. Смелая женщина – она принесла вслух то, что думала половина зала.

«Путешествие в юность» называется новый фильм Александра Гутмана. За обманчиво-невинным названием – страшная история, к восприятию которой с экрана мало кто готов сегодня. Но завтра снимать ее будет не с кем, и показать заинтересованному зрителю уже не удастся: живых не останется. Потому что в кадре речь о событиях 1944 года. Доблестная Красная Армия с боями пере-

---

\* В новом свете (Нью-Йорк).

секла рубежи фашистской Германии, вошла в Восточную Пруссию и, в числе прочих «актов возмездия», изнасиловала массу немецких женщин всех возрастов – от мала до велика.

Далее – по пакту Ялтинской конференции – женщин загнали в вагоны и эшелоны и погнали на территорию СССР – «для оказания помощи в восстановлении народного хозяйства, разрушенного в годы войны».

Тех, кого довели живыми, расселили в старых и новых сталинских лагерях, где снова насиловали и терзали. Выжившие четыре немецкие женщины 50 лет спустя говорят об этом с экрана. На немецком. Таких фильмов – на всех языках Европы – можно снять сериал: по всем странам, которые освободили советские доблестные войска. Польки, венгерки, румынки, чешки, словачки, болгарки слово в слово могут повторить то же самое. Без такой детали, как вывоз в лагеря СССР. Этот фильм – первый.

Александр Гутман пишет в титрах имена своих героинь на белом снегу Карелии, ибо о карельском лагере речь. Имена замечает поэмка. Этот кадр – и правда жизни, и художественный образ: никто не спрашивал их имен, когда насиловали, угоняли, голыми бросали в ямы братских могил на болоте. Только в титрах они и останутся. В первую очередь главная рассказчица – фрау Кауфман, которая взяла на себя непомерный труд вернуться в Россию вместе со съемочной группой. Снова проехать через Ленинград, где в 1944-м была первая остановка их эшелона и «выгрузили трупы». Снова пройти знакомой дорогой – через жидкий лес, где работали на лесоповале, – к тому месту, где осталась навеки лежать ее младшая сестра, которую закопали живой...

Если случится фильму выйти на экран, вы увидите, как она протащила по просеке простой зеленый венок из лап ели, положила его на мемориальную могилу, созданную в российском лесу на деньги немецкого писателя Генриха Белля, который сам солдатом прошел в лагере войны... Услышите ее рассказ, как тяжело было тащить телеги с трупами через лес. Как убежденно она говорит, что война не нужна никому. Что начинают войны мужчины, а страдают женщины и дети. «Вы заплатили жизнью, мы – телом и душой. Мир вашему праху, мир вашим душам...» – слышно сквозь слезы.

Расскажет она и о том, как молилась в храме обо ВСЕХ невинных жертвах войны и чувствовала, что «с нами Бог»... В этом месте даже у меня – послевоенного ребенка – в памяти всплывает бляха немецкой униформы, на которой многие запомнили надпись «С нами Бог». Трудно.

Вечная тема вины и невинности – непаханая целина морали – встает на дыбы внутри и гонит судить. Всех и немедленно. Уточню сразу: фрау Кауфман было 5 лет, когда Гитлер пришел к власти, и 10, когда началась война. Родители ее были фермерами, верующими людьми. Гитлер не внушал им симпатий, и отец был в ужасе, когда ее брат добровольцем ушел в армию. Он погиб где-то между Смоленском и Оршей... Мама плакала, а отец не вывесил флаг в день рождения Гитлера. Его пришли арестовать, но не тронули, увидев похоронку...

«Нас не убивали в газовых камерах, – говорит фрау Кауфман. – Но шансов умереть у нас было больше, чем выжить. И дневник Анны Франк известен ми-

ру, а мы носим свои дневники в себе»... Тут снова трудно: выдержать сравнение еврейской и немецкой девочки, но... Та и другая попадают в категорию «дети». Фрау Кауфман настаивает, что дети – не виновны. И страдание не имеет национальности. Возразить на это нечего.

Александр Гутман на премьере в Нью-Йорке в кругу профессионалов и друзей процитировал американского поэта Роберта Фроста, формулируя свое отношение к материалу: «Мы приходим в храм просить у Бога прощения, но прежде мы должны сами простить других». Он пытается разомкнуть круг ненависти. Он не первый. До него советские писатели-гуманисты отмечали, что во Второй мировой встретились два близнеца, и один победил другого. Две армии соревновались в надругательствах над противником. И если в послевоенной Германии у нового поколения формировали национальный комплекс вины, то послевоенный СССР создавал культ героя, воина-освободителя, замалчивая его недостойные поступки. Хотя многие знали – и в первую очередь сами воины, – что наряду с Неизвестным солдатом-героем был Неизвестный солдат – мародер и садист. И зачастую это был один и тот же человек.

Тем, кто хотел покаяться, власти затыкали рот... О советском солдате можно было только, как о покойнике: хорошо или ничего. Но минуло полвека. И новое поколение робко делает попытку помянуть жертв обеих сторон. И грех обеих сторон. Он может, но не должен быть замолчан. И если было преступление, то был тот, кто его совершил. Виновен ли солдат, что война пробуждает в человеке зверя, – мне трудно ответить. Но я точно знаю, что всякий преступный режим, преступный приказ, само преступление должны быть осуждены, какими бы высокими целями ни прикрывались главы государств и правительств. Потому что если есть преступление – есть преступник. Он должен быть найден и наказан. Дело не в миллионах убитых. Надругательство над одним человеком достойно наказания ничуть не меньше. И всякий преступник должен знать, что нет тайного, которое не стало бы явным. Справедливость всегда восторжествует. Не всегда успеваешь дожить до этого. И возмездие не в том, чтобы убить убийцу, а в том, чтобы поднести к его лицу зеркало, чтобы он себя увидел. Именно это пытается сделать Александр Гутман.

Его усилия получили признание. В Америке в городе Хьюстон штата Техас на 34-м Международном кинофестивале документального кино картина «Путешествие в юность» получила Главный приз – Платиновую награду.

– **Каких еще наград удостоен фильм?** – спросила я Александра.

– Мне легче ответить, какими фестивалями фильм был отвергнут. Это два десятка европейских и американских МКФ. Я сам выставял фильм, так как я автор фильма, постановщик, сооператор, продюсер и владелец. И все права на фильм у меня. Он был на фестивале ФИПА во Франции, но понимания не нашел. Сейчас выдвинут на «Золотую камеру» в Чикаго.

– **Скажите, что движет евреем, когда он снимает фильм о страданиях немков?**

– Мой папа, которого я боготворю, – Илья Семенович Гутман – фронтовой оператор, прошел всю войну, до Вены. Сделал с Карменом знаменитую серию



из 20 фильмов «Неизвестная война» – для Америки. Из всей команды – 12 режиссеров – сам смонтировал все свои кадры. Он за полгода до смерти, когда я начал снимать, говорил: «Саша, я тебя умоляю, не берись, не делай этого. Немцы уничтожили 6 миллионов евреев. Ты еврей и не должен трогать эту тему. Ты не имеешь права».

– **Он сказал почему?**

– Да: «Нельзя их жалеть после этого». И я сказал: «Папа, мы другое поколение. Нельзя всю жизнь быть в злобе, надо учиться прощать». – «Ты не был на войне, ты не понимаешь, а я не могу тебе этого объяснить», – сказал папа.

– **А папа знал, что советские войны насильствовали девочек?**

– Думаю, что папа знал гораздо больше. Мне не хочется думать, что папа сам в этом участвовал. Но я ничего об этом не знаю. Я не хочу ни в чем его обвинять. И никого вообще. Мой отец для меня – свет в окошке. Но он не хотел обсуждать это со мной. А я не стал его в лоб спрашивать.

– **Как возник замысел?**

– Мой приятель, корреспондент, прислал мне из Карелии, из Петрозаводска, записку, что Фонд Генриха Белля дал деньги на открытие мемориального кладбища концлагеря немецких женщин № 517, где сидели 1001 немка. Из них 522 погибли в первые шесть месяцев существования лагеря. И одна из выживших приехала на могилы своих товарок. Я подумал, что это интересная история. Эта женщина в интервью сказала, что попала в лагерь, когда ей было 16 лет. Не зная ничего, я подумал, что в 16 лет сажать девочку в советский лагерь было не за что. Неважно, немка она, японка, еврейка или русская. Дети – невиновны. Шел 97-й год. Я взял камеру, разыскал эту женщину в городе Золинген, нашел переводчицу и снял первое интервью. Эта женщина – фрау Кауфман – рассказала мне всю свою жизнь. С момента входа советских войск в Восточную Пруссию. Как над ними издевались, как их насильствовали. Потом я поднимал архивы, общался с историками и выяснил, что на Ялтинской конференции были приняты документы, в которых американцы в качестве репараций получали 10 миллиардов немецких марок с замороженных авуаров в американских банках, англичане – еще что-то, французы – еще что-то, а Россия получала право использовать немецкую рабочую силу «для восстановления народного хозяйства, разрушенного войной». Это значит, что Россия могла использовать: «а) военнопленных и б) гражданское население немецкой национальности на занятых территориях, замеченное в связях с нацистами». Женщин от 18 до 30–35 лет и мужчин от 17 до 40 лет. Такие были поставлены нормы в этом международном договоре.

– **И подписи «тройки»?**

– Да, Черчилль, Рузвельт, Сталин.

Как хорошо сказала одна из моих героинь: «Мы все, как вы – в пионерах и комсомоле, были в наших молодежных организациях. Так мы автоматически стали замешанными в связях с нацистами». Потому наши плевали на все и брали детей 13–15 лет. Издевались над ними, насильствовали всех кого ни попадя. Строем.

– Где это можно было делать?

– Хватали девочек, затаскивали в комендатуру и там пропускали через них всех, кто хотел. И не по разу. Потом вызывали на допросы и говорили: «Вы отправили колодцы, чтобы погибла советская армия». Били, заставляли подписывать все, что написано кириллицей. Они ничего не понимали и все подписывали. Она это рассказывает в фильме... После этого их выстраивали и строим – в вагоны и в советские концлагеря. Только из Пруссии было интернировано около 180 тысяч женщин и детей, маленьких и больших.

– Кто вел бухгалтерию, немцы или русские?

– Русские. Я видел эти документы, держал их в руках. Они находятся в госархиве, в карельском архиве. Там есть похоронные книги. Кто где похоронен. По фамилиям, сколько кому лет.

– Когда начинается их жизнь в Карелии?

– Март–апрель 45-го. Мы же Восточную Пруссию взяли раньше.

– Когда вы с папой обсудили замысел?

– Сразу, когда снял эту даму – фрау Кауфман. Она в этом лагере похоронила свою сестру. Другая моя героиня – фрау Зоммер говорит, что она после этого вышла замуж, и муж все говорил: «Забудь об этом». Ей пришлось разойтись, потому что забыть этого нельзя, как она сказала. Я все это рассказал папе.

– Мне как зрителю не вполне ясна ваша авторская позиция. Вы считаете, что акт насилия был делом добровольным или был приказ насилловать немок?

– Приказа такого не было. Не может быть такого приказа...

*Александр Гутман не знает, что приказ такой был. По другой армии. Император Японии Хирохито приказал насилловать и убивать китайских женщин. И самураи выполнили приказ. Груды мертвых женских тел были сняты на пленку скрытой камерой членом американской дипломатической миссии в Китае. И никогда он об этой истории никому не обмолвился. Полвека спустя дети американца нашли в подвале дома умершего отца пленку. А американский режиссер-документалист Кристин Чой сняла фильм «Именем императора», который лет пять назад был показан на правозащитном кинофестивале в Нью-Йорке. Фильм не нашел дистрибьютора и не вышел в прокат. Правительство Японии выразило протест американской стороне по поводу показа. Отрицался сам факт того, что такое было. Но в кадре сидели старые солдаты, которые решили перед смертью покаяться перед Богом и перед камерой.*

– Я разговаривал с заместителем коменданта Берлина по отправке в лагеря. Это профессор Семерягин. Он жив и читает лекции в историко-архивном институте. У меня есть его книжка «Как мы управляли Германией». Он ни слова не говорит о подобных приказах.

– Тогда насилие становится делом добровольным?

– Думаю, что да. Это был некий акт возмездия. Стихийный.

– Как они узнали, что это можно делать? Что за это их не накажут?

– Они – победители! Они делали все, что хотели. И никто их за это не наказывал. Потом уже, в Берлине, была пара, как Семерягин рассказывал, показательных процессов, когда наказали за насилие и мародерство. Но пока мы не победили, никто на это не обращал внимания. А вот когда насильовали в лагерях, за это был наказан даже один замначальника лагеря. Но скорее он был наказан за то, что воровал еду у заключенных. А то, что он насильовал, это было делом побочным. Если бы не воровал, его никто не наказал бы и за то, что он насильовал.

– **Как вы считаете, все солдаты этим занимались?**

– Я ничего не могу считать. Я там не был.

– **Но после того как вы поговорили с этими женщинами и сняли свой фильм...**

– ...БОЛЬШИНСТВО. По крайней мере, многие. Как следует из рассказа моих героинь.

– **Если этот фильм сегодня показать советским воинам-освободителям, я уверена, они скажут, что это – ложь. И немки клеветуют. У вас есть ответ такому потенциальному зрителю и читателю?**

– Я не суд. Я не буду заниматься доказательством.

– **Но вы дали слово человеку, который все это говорит...**

– ...И все это пережил!

– **И вы ему верите. А воин говорит: «Ложь!»**

– Но были экспертизы. И это было доказано.

– **Кем?**

– Приезжали представители Международного Красного Креста в сталинские лагеря. Были жалобы в МКК. От заключенных. И международное сообщество обратилось к Сталину, информировало его о том, что поступают жалобы на советских солдат, которые убивают и насильуют.

– **Откуда у вас эта информация?**

– Из Фонда немцев – узников сталинских лагерей. И Сталин ответил: «Не надо пытаться представить забавы солдат как насилие и издевательство над немецким народом».

– **Где еще были эти лагеря?**

– На Урале, на Беломорско-Балтийском канале, в Карелии. Туда привозили немков...

– **До какого года их держали?**

– Последние пленные покидали СССР в 49-м году, насколько мне известно. Одна из моих героинь называет эту дату. Документов у меня не было.

– **Вам по жизни доводилось встречаться с советским солдатом, который бы сам говорил, что он насильовал немков?**

– Конечно. Был у нас такой дядя Вася в соседнем парадном. Посылал нас, пацанов, за «маленькой». Выпивал и начинал рассказывать, как воевал: «Вошли мы в Венгрию и всех перетрахали. Вошли в Польшу... в Пруссию...»

– **А в Польше насильовали немков или полек?**

– Всех! И детей, и старух. Национальность никого не интересовала. Они сначала насильовали, а потом узнавали, на каком языке она говорит.

**– Тогда это не акт возмездия. Так можно было изнасиловать и собственного ребенка, не опознав. Какова сверхзадача фильма на материале изнасилованных женщин?**

– Нет никакой сверхзадачи. Я хотел рассказать конкретную частную историю четырех несчастных женщин, которые прожили этот кошмарный период своей жизни в сталинских лагерях. Я полагал, что история сама выведет на обобщение. Я пытался ее поднять до обобщения.

**– Ваша формула обобщения?**

– Как ужасна война! И в войне больше всех страдают женщины, дети и старики. Они менее всего причастны и страдают больше всех. Потому что солдаты идут на войну сознательно. Или не идут. И второе: страдание не имеет национальности. Это принципиально важно для меня. Немецкая, польская, французская, русская или еврейская девочка... – неважно. Почему дети должны страдать? Почему должны страдать женщины и старики?

**– Кого вы делаете виноватым в этой истории?**

– Я хотел сделать виноватыми Гитлера, Сталина, Черчилля, Рузвельта. Но тогда это было бы кино про политику. Я не хочу снимать такое кино.

**– А кто же развязывает войны?**

– Пусть люди думают... Сегодня то же самое происходит в Чечне. Буданов насиловал на правах победителя. Сегодня он сильный. Сегодня он поставил раком эту чеченскую деревню. Вот он сегодня и имеет право – так считает Буданов и его солдаты. Да не имеет он права! Потому что в этот момент он становится в один ряд с ублюдками, которые прячутся в горах, грабят, убивают, берут заложников.

**– Вы считаете, что дети не должны отвечать за родителей?**

– Никогда и ни в чем. Вот родители за детей отвечают. Мою героиню девочкой посадили в концлагерь ни за что. Даже если бы ее не насиловали – ее заставили стать рабом! Жизнь каждого человека самоценна! Нельзя сравнивать, сколько тысяч будут страдать за гибель скольких миллионов. Страдания одного человека – трагедия. Эти немки страдали ни за что.

**– Как же «ни за что», когда за причастность к нацистам?**

– Нет, их брали и отправляли в лагерь только за то, что они немки. Так же убивали евреев за то, что они евреи. Так же убивают чеченцев за то, что они чеченцы. Нельзя наказывать человека за то, что он такой, а не другой национальности.

**– Снимая фильм, вы знали, что выходите на минное поле. Как вам сегодня живется на нем?**

– Тяжко. Я вложил все свои накопления в этот фильм. Сегодня мне трудно жить. Не только материально. Я приобрел массу врагов. Моя родная сестра не может мне простить, что я пошел наперекор папиной воле. Так дочери фрау Кауфман не общаются с ней. Считают, что мама пострадала заслуженно, что она ответственна за преступления нацизма. Они уехали в Израиль, выучили иврит. Одна из них служит в Мосаде. Они уверены, что нельзя жалеть этих немецких женщин. И мать в том числе. Так растет новое поколение фашистов, которое знает, что жалеть нельзя. Нельзя сопереживать даже маме. А мне бе-

зумно жалко этих женщин, которых я снимал. Может, я сумасшедший. Я в предыдущей ленте не мог смотреть на монитор, когда шли первые кадры, где мать встречает приговоренного к смерти сына. Оператор снимал, а я выскочил из комнаты: я все равно от слез не видел монитора.

*Напомню, что речь идет о полнометражном документальном фильме «Три дня и больше никогда». Он снят в тюрьме. Это последнее свидание матери с приговоренным к смертной казни сыном. Молодой человек, призванный на службу в армию, был изнасилован. При первой же возможности он расстрелял из табельного оружия своих командиров... Мать плачет, укоряет и все допытывается, прощаясь навеки: «Как же ты мог, сынок?» Он плачет тоже – худой очкарик – и никак не может ей объяснить, что мог...*

*Фильм увидел мир. Но что гораздо важнее – его увидел президент России Б. Н. Ельцин. И услышал ходатайство Комиссии по помилованию... Высшую меру заменили заключением.*

– Когда вы делали «Три дня...», вы знали, что спасете тому парню жизнь?

– Конечно, не знал. А когда это случилось, я был самым счастливым человеком на свете. После этого я считаю, что прожил жизнь не зря. Мне эту новость сказал у гроба отца Володя Двинский, член комиссии по помилованию.

– Экранная драма молодого человека, почерпнутая вами из жизни, вернулась в жизнь, самой жизнью. Что вернется в жизнь из новой ленты?

– Я хотел бы, чтобы эту картину показали в Германии. Это важнее, чем в России. Неонацизм поднимает голову. Говорят, что никаких нацистских лагерей не было... А я хочу, чтобы каждый из них задумался. Чтобы они посмотрели на своих матерей и на своих дочерей, сестер, на своих женщин. Вы-то сегодня – герои, сказал бы я неонацистам, а завтра всех ваших женщин снова трахнут строем победители...

В голосе Гутмана впервые прозвучали нотки угрозы.

– А я бы хотела, чтобы две девочки фрау Кауфман посмотрели кино, вернулись к матери и пожалели ее. Кстати, что сказала ваша мама, посмотрев фильм?

– Она промолчала.

*А моя бы, наверное, плакала вместе со мной весь фильм. Я помню, как она рассказывала мне, как после гестапо и концлагерей, шла весной по разрушенной Германии босая и отдала где-то найденные сапоги первой попавшейся немке. «Немцы очень бедствовали»... – сказала мне она.*

*«А ты?! А ты?!» – хотелось крикнуть мне, но слова застряли в гортани, потому что в маминых глазах стояли слезы... Слёзы сострадания к врагу.*

*Для меня – увы! – это как было, так и остается непостижимым.*





культуролог, доктор философских наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Живет в Москве.

## РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ, РЕВОЛЮЦИЯХ, МЯТЕЖАХ И ДУХОВНОЙ СВОБОДЕ\*

Я не слишком склонен к журнальной полемике, а потому редко и с трудом подвигаюсь на написание текстов публицистического характера. Для этого необходимо, чтобы что-то сильно задело. Вот и на этот раз случилось мне услышать по радио передачу о предательстве. В ней участвовали три человека: ведущая, писатель и, как сегодня полагается, священник. И так эти ребята гладко выступали, так бодро и уверенно излагали проблему предательства, что взяла меня злость.

Как нам объяснили, первый предатель во вселенной – Сатана. И предательство, по существу, есть предательство божественной истины. Слушаю я священника и вижу перед собой работника идеологического отдела ЦК. Схема – один к одному. Есть абсолютная, божественная Истина, есть органическая и естественная верность истине, и есть несчастные, отринувшие эту истину. Они, эти несчастные, и есть предатели. Мне в этой связи вспомнилось определение антикоммунизма, данное в материалах XXII съезда КПСС: «Антикоммунизм есть клевета на марксизм, опорочивание идеалов коммунизма и практики его строительства».

Безнравственность данной позиции в том, что такая трактовка любой (религиозной, идеологической, политической) доктрины напрочь отрицает духовную, а значит, социальную и политическую свободу человеческой личности. А охватившая меня печаль была вызвана следующим – построения батюшки, воспроизводившие эталонную формулу так называемой «морали готтентота», благосклонно воспринимались его собеседниками, и никто из позвонивших в эфир не увидел здесь проблемы.

---

\* Нева. 2006. № 9.

Выше я помянул мораль готтентота. Это понятие принадлежит XIX веку и восходит к разговору миссионера с готтентотом. Отвечая на два ключевых вопроса: «Что такое хорошо?» и «Что такое плохо?» – собеседник миссионера дал примечательные ответы: «Если я уведу у соседа скот и одну из его жен – это хорошо. А если сосед уведет у меня скот или жену – это плохо». По понятным соображениям понятие «мораль готтентота» выпало из отечественного научного и публицистического оборота после 1917 года.

Со всех сторон на нас надвигается старая и бесконечно знакомая песня: «мы» лучше всех. Кругом враги. Нас не любят и нам завидуют. «Наши» всегда правы. В любом внешнеполитическом конфликте «наша» власть заведомо права. Любая попытка поставить этот тезис под вопрос сама по себе есть предательство. Истинно и нравственно то, что идет на пользу «нашей» стране и «нашему» народу. Все, что идет во вред величию образа «нашей» страны и ее народа, есть клевета, распространяемая врагами и предателями. И так далее, и так далее.

Утвердившееся в отечественной культуре понимание таких значимых сущностей, как патриотизм, природа и границы лояльности порядочного человека по отношению к «своим», проблемы соотношения Власти и Закона, нравственной свободы и верности исходным идентичностям, предательства, лежит где-то между родоплеменным и средневековым сознанием. И это не просто печально, это опасно, ибо нравственная дремучесть общества оборачивается для него историческими катастрофами.

Проблема предательства требует исследования. Это имя покрывает глубоко различающиеся сущности. Ярлык «предателя» нельзя использовать в качестве моральной дубины, которой гвоздят идеологических противников. Накатано говорящим о предательстве я предложил бы вспомнить судьбу еврейского праведника Савла, неумоимо громившего христиан в I веке, и жившего в веке X потомственного язычника – киевского князя Владимира Святославича. Первый из этих персонажей стал апостолом Павлом, второй – крестителем Руси.

На обложке журнала «Колокол» Герцен печатал картуш с профилями целой группы предателей, поправших присягу и восставших против законного монарха. Мало того, эти люди обманом втянули в преступное предприятие ничего не смыслящих, безграмотных солдат, вверенных им согласно присяге, которой они изменили. В контексте нашего рассуждения рядом с декабристами непременно должен быть помянут честный солдат, до последнего дня войны сохранивший верность присяге и законно избранному главе своего государства, – генерал-фельдмаршал Кессельринг. Нюрнбергский трибунал приговорил беднягу то ли к двадцати годам, то ли к пожизненному заключению.

Да что далеко ходить. Согласно опросам общественного мнения, сегодня более 60% граждан РФ позиционируют себя в качестве православных. Три четверти этого множества во время оно сдавали экзамен по научному атеизму и разделяли самое передовое мировоззрение. Куда же подевались их убеждения? Где нынче обретаются пламенные борцы с мракобесием? Во что обратилось племя платных проповедников светлого будущего? На то, чтобы все это сгинуло, хватило и пяти лет, и я не вижу здесь оснований для какого-либо оптимиз-

ма, а вижу море безнадежно серого конформизма. Ни о каком предательстве в данном случае говорить не приходится. Одна доминирующая идентичность, освященная Властью предрежащей, сменилась другой, и только.

А куда подевались 18 миллионов членов КПСС и двадцать с гаком миллионов членов ВЛКСМ 19 августа 1991 года? Кто из них вышел на улицы в знак солидарности с ГКЧП? Ведь решалась судьба их идеологии, судьба мира, к которому они принадлежали не рутинно, как всякий советскоподданный, но по собственному выбору. Либо вместе с самыми забубенными авторами таких изданий, как «Советская Россия» и «Завтра», мы должны объявить их предателями и заклеить. Либо надо признать, что существует такое явление, как историческое развитие. Что в ходе такого развития случаются духовные и политические революции. Что люди, которым выпало жить в прекрасное и ужасное время смены исторических эпох, обречены хоронить одних и принимать других богов.

Новое всегда отрицает старое. Это касается и вещей частных, рутинных, и вещей принципиально значимых. Но, как сказал еще Гегель, новое рождается из старого, ибо больше ему появиться неоткуда. В этом отношении вся история человечества есть череда постоянных преодолений освященных веками традиций и отрицаний устоев. Славяне отвозили немощных стариков в лес и оставляли их там. Людоедство, инфантицид, промискуитет и многое, многое другое представляли собой не просто рутинную практику, которой наши с вами предки предавались по неразумению, но действия, освященные традицией, наделенные высшими духовными смыслами, включенные в систему ритуала. Лев Гумилев справедливо замечает, что хан Куря, сделавший из черепа князя Святослава Игоревича чашу, говоря сегодняшним языком, отдавал тем самым дань уважения киевскому князю. Святослав был прославленным воином, разрушившим Хазарский каганат, имя которого гремело по всей Великой степи. Осушая эту чашу, хан Куря приобщался славе и удаче Святослава, обретал духовные энергии, которыми боги одарили павшего героя.

Люди понимали мир таким образом тысячелетия. Однако однажды приходит время, когда вчерашние боги предстают в виде смешных и нелепых демонов, а нормы, которые они завещали, представляются страшными и безнравственными. Тогда и появляются пророки, которые от имени других богов рекнут совершенно иные истины и диктуют другие правила. Но пророки, которые несут людям новую истину, и адепты этой истины родились в старом мире. Отрицая веру отцов, отбрасывая освященную веками практику, они предавали мир, который их вскормил, отрекались от отцов и дедов, разрушали устойчивый космос, который казался вечным и неизменным тем, кто жил прежде.

Предательство может иметь под собой множество мотивов: корысть, моральную деградацию, властолюбие и другие малоприглядные обстоятельства. Истоком предательства могут быть вещи, по-человечески более понятные, но не меняющие моральной оценки происходящего – страх за себя или своих близких, инфантилизм, отсутствие нравственной стойкости, конформизм, неспособность противостоять давлению искушенных провокаторов.

Но рядом со всем этим предательство может вырасти из процессов духов-



ного роста, из напряженной интеллектуальной и нравственной работы, из поисков божественной истины. С первой группой мотивов все достаточно просто и тривиально. Куда важнее и интереснее разобраться со второй. В этой – второй – группе предательство – акт духовный. В предельном случае предательство – маркер духовного преображения. Именно в предательстве реализуется неотъемлемая, богоданная свобода человеческой личности. Для того чтобы, говоря о предательстве, не блуждать в трех соснах, надо развести две сущности – предательство как событие и моральную оценку факта предательства.

*Предательство как событие* имеет объективное измерение. Оно объективируется по формальным основаниям. Только человек, признававший себя частью некоторой общности, значимого социально-культурного целого, может стать субъектом предательства. Здесь надо подчеркнуть, предателем может быть лишь человек, вступивший в некоторую общность сознательно, как говорили в добрые старые времена, «в здравом уме и ясной памяти». Принявший ее нормы и ценности, взявший на себя обязанности и получивший права, вытекающие из этого факта, и осознаваемый другими людьми, прежде всего принадлежащими этому целому как один из «своих». Выход из такой общности, особенно на фоне трудностей, борьбы, противостояния, выход, не предусмотренный нормами этой группы и не санкционированный ее членами, является предательством. Неважно, вышел ли ты «в никуда» или перешел на сторону противника, вне зависимости от мотивов и обстоятельств такого перехода он является предательством по отношению к исходному сообществу.

Мужчина, бросивший жену с малым ребенком на руках, или женщина, оставляющая больного мужа, совершают предательство. Эти люди стояли в храме (или в загсе) и, вне зависимости от формы ритуала, представляют себе смысл института брака и те обязанности, которые налагаются при этом на человека: быть с супругом в горе и в радости. Заметим, что все серьезные социально значимые общности, существование которых требует соблюдения лояльности своих членов, оформляют членство особым ритуалом, таким, как воинская присяга, получение гражданства, вступление в партию, конфирмация, ритуал рукоположения в церковный сан, ритуал пострижения в монашество и т. д. Ритуал вступления в общность фиксирует акт сознательного принятия прав и обязанностей новым членом.

В некоторых ситуациях специального акта наложения взаимных уз не предусмотрено, либо группа складывается «де-факто», минуя формальные процедуры. Однако, воспроизводя устойчивые социальные отношения, находясь в группе, человек подтверждает свою причастность к этой общности. Сотни тысяч, если не миллионы пар существуют, не оформляя брак. Дети не подтверждают формально своего родства с родителями, а по достижении совершеннолетия нормы права освобождают детей и родителей от взаимных обязательств. Эта ситуация сложнее; она менее однозначна, узы тоньше. Повзрослевший человек, создающий собственную семью по своему разумению или уходящий в большой мир против воли родителей, предателем не является, хотя его и могут так называть. Однако одинокие, неприкаянные, больные старики – нравственная проблема для детей.

Что же касается *оценки предательства*, то здесь необходимо специальное рассмотрение каждого конкретного случая.

Начать надо с того, что в предательстве есть неустранимый негативный момент, от которого нельзя отмахнуться. Предатель обманывает доверие людей, считающих его «своим». Но общая оценка не может исчерпываться фиксацией этого негатива. В некоторых ситуациях предательство свидетельствует о нравственном величии, в других – о трусости и человеческой слабости, в третьих – о естественном конфликте роста.

Естественная, тысячелетиями воспитываемая установка на верность «своим», отторжение предательства как нравственного порока и социального зла могут превращаться в механизм закабаления человека. Требование гиперлояльности, которая блокирует общую нравственную оценку ситуации, оценку «своих», своего собственного места в происходящем, фундаментально безнравственно – таково наше глубочайшее убеждение. Тоталитарные секты, радикальные политические группировки, впавшие в патологию властные мамы, уродующие жизнь давно повзрослевшего ребенка, – во всех подобных ситуациях механизмы морально-психологического закабаления используют негативный образ предательства. Человека, участвовавшего в подготовке теракта, но осознавшего ужасные последствия этого акта и «сдавшего» своих поделльников, можно только поздравить, хотя в глазах бывших соратников он останется предателем.

Существует иерархия лояльностей. Есть некоторые, абсолютно непреложные божеские и человеческие законы, нарушение которых не может быть оправдано никакими обстоятельствами, в том числе и верностью любой, самой фундаментальной общности – родине, вере отцов, государству. Эти идеи не только осознаны на уровне нравственной мысли, но закреплены в системе международного права. Понятия преступного приказа и преступления против человечности фиксируют примат универсальных ценностей над любыми локальными конфигурациями – политическими, правовыми, идеологическими.

Предательство – социальное зло. Всякая культура формирует отторжение и профанирует предательство. Это нормально и единственно возможно. Но рядом с пропедевтикой морали и арифметикой социально ценного поведения есть диалектика бытия. На уровне отдельной личности эта диалектика выражается в том, что высшей инстанцией, определяющей поведение человека в ситуации жесткого морального конфликта, является религиозный, философский, нравственный выбор, совершенный всей целостностью человеческой личности. В этом случае можно говорить о духовном преображении. Перед таким выбором все присяги, зарок и лояльности исчезают. Но при этом предательство не перестает быть предательством. И здесь надо говорить об ответственности человека. Ответственности самой разнообразной – моральной, юридической, исторической. Те, кого ты предал, будут ненавидеть и преследовать предателя. Это нормально. Послезавтра они или их внуки могут оценить твоё поведение по-другому. Но это – послезавтра. Хотя совсем не обязательно.

Предприниматель Оскар Шиндлер преступно растрачивал доверенные ему ресурсы своей страны, изнемогавшей под бременем войны, во спасение жиз-

ни и здоровья заключенных. А именно – евреев, женщин, стариков и детей. Именно в результате этого предательства Шиндлер стал святым. Я не имею в виду канонизацию, я говорю о существовании дела, о святости пред лицом Божиим. По всей видимости, в душе Шиндлера жил некоторый предел, некоторый порог, за которым все утрачивало смысл: и собственная безопасность, и присяга, и Германия. Во всяком случае, та Германия, именем которой совершаются такие злодеяния, та присяга, верность которой требует соучастия в таких преступлениях, такая безопасность, которая покупается ценой потери души.

Выше нами высказана объективистская позиция с высоты, так сказать, гегелевского саморазвивающегося духа. В практике этическая оценка предательства предстает в лагере тех, кого предали, – как низкий поступок, в лагере тех, ради кого было совершено предательство, – как акт позитивный. Разница между Россией и остальным цивилизованным миром состоит в том, что «там» понятие предательства трактуется объективированно. Здесь же оно слишком часто трактуется в духе морали готтентота. Предатель – это тот, и только тот, который ушел от «нас».

Приведем одно наблюдение. В последние годы в печати и на телевидении встречаются материалы, посвященные разного рода невозвращенцам и лицам, перешедшим на сторону противника в последние (послесталинские) десятилетия. Речь идет о сотрудниках силовых ведомств и правительственных учреждений (ГРУ, КГБ или МИДа). Все эти материалы имеют одну общую черту – они не просто повествуют о судьбах своих героев, но в обязательном порядке содержат квалификацию самого факта перехода на сторону противника. Квалификация эта совершенно бесспорная, и, называя вещи своими именами, авторы говорят о предательстве и ПРЕДАТЕЛЯХ. В этом не было бы ничего примечательного, если бы понятие «предательства» использовалось симметрично. Речь не идет о советской эпохе, но и в последние годы отечественные авторы, обращающиеся к этой тематике, не в состоянии назвать предателями Кима Филби, супругов Розенберг, Ричарда Эймса и всех других, больших и малых ПРЕДАТЕЛЕЙ своих стран, своей цивилизации, перешедших на сторону противника и работавших на СССР или РФ. В чисто манихейском отечественном сознании отказ от Тьмы и переход на сторону силы Света предательством не может быть по определению.

Существует целый класс ситуаций, связанных с противостоянием непримиримых сил, юридически-правовая, нравственная, общеисторическая оценка которых изнутри процесса в принципе невозможна. Это относится и к поведению отдельных участников исторической драмы. Генерал Вашингтон – предатель английской короны или герой американской революции? А перешедшие на сторону «красных» царские генералы Брусилов и Поливанов? А гетман Мазепа? А маршал Пилсудский?

В таких случаях сколько-нибудь объективная оценка возможна разве что в ретроспективной позиции. Постфактум, когда события завершились, последствия устоялись и новая, утвердившаяся в результате реальность принята обществом, возникает возможность отстраненного и объективного видения. Подчеркнем, всего лишь возможность, которая далеко не всегда реализуется. В ка-

кой мере среднестатистический россиянин готов видеть в Симоне Петлюре героя национально-освободительного движения и одного из создателей Украинского государства? Какой такой герой, если он воевал с «нашей» Красной армией? Герои – это «наши», а у них – бандиты и насильники. Приведенный пример с Петлюрой указывает на простое обстоятельство: общественное сознание России в значительной степени не готово признать распад СССР и независимость Украины как необратимую реальность. Тезис «Генерал Маннергейм – национальный герой Финляндии» вряд ли вызовет массовые возражения. Итак, изнутри событий оценки полярны и заданы принадлежностью к одной из сторон, а по их завершении оценка, как правило, диктуется победителем. И только потом наступает время более или менее взвешенных и отстраненных оценок.

Наступит ли это время хоть когда-нибудь на отечественных просторах? Почему члены организации «Красная капелла», добровольно работавшие на противников Германии в ходе Второй мировой войны, – герои-антифашисты, а полковник Олег Пеньковский, также добровольно, по собственному почину работавший на разведки Англии и США в начале шестидесятых годов, – презренный предатель нашей советской родины? Члены «Красной капеллы» и Пеньковский – предатели в равной степени. Разница между ними состоит в том, что люди из «Красной капеллы» – солдаты великой армии мирового антифашистского движения, а Пеньковский – солдат не менее великой армии мирового антикоммунистического движения. Каждый из них совершил свой выбор и прошел избранный путь до конца.

В тоталитарном СССР православная точка зрения была представлена в «Журнале Московской патриархии» и «Православном календаре»; периодически выходили «Богословские труды». На всем остальном печатном пространстве царствовал казенный атеизм. Кто ответит мне на вопрос: где в современной России, записавшей гарантии прав и свобод своих граждан в первые параграфы Конституции, систематически представлена позиция атеистов? Я не знаю о таком издании (во всяком случае, в бумажном формате). В нашей стране вывелись и вымерли атеисты? Тогда демократической России за 14 лет удалось то, чего за 73 года не смогли добиться большевики. Либо немногие темные люди, которые не расстались еще с атеистическими предрассудками, дезориентированы: у них отшибло язык, исчезли духовные потребности. Доживают бедняги свой век в скорбном одиночестве, созерцая сокрушительный рост православной духовности...

Это не просто печально или тревожно. Это страшно. Мы живем в глубинно тоталитарном обществе. Обществе, жаждущем единомыслия. И власть в данном случае ни при чем. Она лишь улавливает общественные настроения и использует их в своих целях.

Зафиксируем одну печальную закономерность: феномены, имеющие идеологическое измерение – политические режимы, идеологии, конфессии, – сплошь и рядом демонстрируют склонность к закабалению человека. Утверждаясь на волне политической или духовной революции, они поразительно быстро окостеневают. Их утверждение, которое объективно было отказом от предшествующей традиции, системы ценностей, попранием веры, разрушени-

ем укорененных в традиции институтов, трактуется как великая духовная, политическая, социальная революция, как обретение божественной истины, выход на дорогу добра и справедливости. Далее обретенная истина объявляется окончательной и сакрализуется в этом качестве. А любое движение за ее рамки трактуется как предательство Бога (божественной истины, светлого будущего всего человечества) со всеми вытекающими моральными, политическими и юридическими последствиями.

С момента возникновения христианства верующие отстаивали свое законное право на свободу вероисповедания. Миланский эдикт «О веротерпимости» императоров Константина и Лициния 313 года решил эту проблему. С позиций либерала на этом можно было бы поставить точку. Истина христианства (если она действительно истина) сама по себе должна была победить язычество в честной конкуренции. Однако фундаменталисты думают иначе. История идейной и политической борьбы христианской церкви не завершилась Миланским эдиктом. Произошла смена политических целей. Церковь взяла курс на тотальное доминирование и срастание с государством. На смену так называемым «апологетам» – христианским писателям II–IV веков, аргументированно, в честной, интеллектуально добросовестной полемике защищавшим доктрины христианства и вдохновенно отстаивавшим право на свободу вероисповедания, – приходят совсем другие персонажи. Запрещающий языческие культы эдикт императора Феодосия «Да сгинут суеверия» 391 года ознаменовал наступление эпохи *насаждения христианства и насильственного искоренения инакомыслия*. Железных ломиков и бейсбольных бит в то время не было. Вооружившись камнями, факелами и подручным строительным инструментом, верующие громили статуи античных богов, поджигали хранящие языческую мудрость библиотеки, забивали камнями самых ярких и стойких носителей языческой культуры. Античность кончилась, началось средневековье.

Для массового человека понятие «средневековье» звучит пустой, далекой от сегодняшней жизни абстракцией. К сожалению, это не так. Средневековье гораздо ближе к каждому из нас, чем это кажется на первый взгляд. Когда вы видите по телевизору неистовства исламской улицы по поводу карикатурного скандала или слышите по радио рев толпы фанатиков, призывающих к смертной казни «вероотступника» Абдулы Рахмана – гражданина Афганистана, перешедшего в христианство, – вы наблюдаете живое средневековье.

Реформация, кровавые войны Контрреформации, Великая Французская революция, борьба с клерикализмом, вылившаяся в борьбу за уничтожение католической церкви, знаменитый призыв «Раздавите гадину!» – все это и многое-многое другое – прямые исторические последствия эдикта Феодосия и той исторической практики, которая выросла на поле христианской идеократии. В результате на фоне драматических, но абсолютно неизбежных процессов в Европе был выношен и выстрадан идеал секулярного общества. Общества, возвращающего человека к нормальному порядку вещей, отдающего задачу спасения души в руки его самого, делающего веру делом свободного, лишнего какого бы то ни было принуждения выбора.

Западно-европейская цивилизация выработала иммунитет от перерождения вчерашней революционной Истины в духовные оковы сегодняшнего дня. В самом широком смысле это – либеральные ценности: духовная независимость, свобода, плюрализм, право на сомнение, толерантность к иному, отторжение фанатизма, высокий статус дискуссии в культуре и так далее. Печаль в том, что эти ценности отторгаются отечественной реальностью. Российское общество дрейфует в сторону единомыслия.

Эпоха разброда, шатаний и не свойственного отечественному климату плюрализма сгинула вместе с концом девяностых. Ныне востребованы «здоровый консерватизм» и «просвещенный традиционализм», верность «историческим началам и истокам», антизападничество и прочие проверенные временем добродетели. В результате складывается примечательная картина культурной и общественной жизни. Тоскливое, непобедимо примитивное телевидение, утрачивающая остатки живого содержания борьба политических партий, обложенные со всех сторон правозащитники и прочие общественные организации, гламурная тусовка, полторы приличные газеты, пара радиостанций и несколько пристойных журналов с крошечными тиражами. Это одна сторона картины. Не менее интересна и эволюция общественных настроений. На нас наступают спесь и национальное самодовольство, агрессивная нетерпимость к Другому (политически, конфессионально, этнически), растущая тенденция изоляционизма, имперская ностальгия.

Меня не интересуют те силы, которые заказывают и формируют описанную идейную конъюнктуру. Это абсолютно прагматичные и циничные люди, действующие в тактическое временное горизонте. С ними все в порядке. Меня интересуют столичные и провинциальные интеллигенты, с энтузиазмом включившиеся в эту компанию. Я говорю о тех, за чьей спиной не просматриваются вклады на Каймановых островах и недвижимость на Средиземноморском побережье, а таких большинство. Они что, не понимают, чем все это кончится? Не задумываются о будущем своих детей?

Россию подмораживают. Призраки Суслова, Константина Леонтьева и Победоносцева отчетливо просматриваются в контурах наступившей эпохи. Тут мы возвращаемся к исходной теме. Понятно, что при подобном развороте событий тема духовной свободы оказывается категорически не ко двору. Голосами второго плана в разной аранжировке озвучивается тезис «Русский – значит православный». Верность вере отцов подается как магистральная добродетель. Реальные отцы, а зачастую и деды припадающих ныне к живительным истокам, прониклись «красной» идеей и решительно порвали с религиозными предрассудками, но сегодня об этом положено молчать. Традиционное для России православие выступает как единственная возможность духовного выбора для этнически русского.

Авторитет сакрализованной традиции подпирается авторитетом церковной иерархии, которая сплошь и рядом представляет доктрины веры в одеяниях объективного (научного, бесспорного, безусловного) знания. Здесь мы касаемся важной проблемы. Дело в том, что изложение доктрин веры в логических и

грамматических конструкциях, описывающих позитивную истину, то есть представление веры в качестве знания, – опасный род интеллектуального жульничества. Когда священнослужитель говорит относительно доктрин веры: «Я знаю то-то и то-то», – он использует богословское невежество российского общества. Знают нечто про Бога гностики – люди, принадлежащие к одной из самых опасных сект, с которой христианство боролось не на жизнь, а на смерть в II–IV веках. Христиане же – *веруют* («Мы, православные, веруем в то, что...»). Казалось бы, какая разница? А разница кардинальная. Против объективной истины не попрешь. Впадает Волга в Каспийское море, и все тут. Что же касается веры, *то истина веры субъективна*. То обстоятельство, что одни люди веруют определенным образом, с необходимостью предполагает, что рядом с ними могут быть люди, разделяющие иные религиозные доктрины.

Я уже не говорю о том, что безоглядная вера – достояние фанатиков и примитивных субъектов с узким кругозором. Любая вера, сколь бы твердой она ни была, предполагает сомнение. Не сомнение на этапе обретения веры, а сомнение постоянное, постоянную внутреннюю потребность в критическом отношении к исповедуемым ценностям и постулатам. Это коренится в природе человеческой психики и никак не связано с силой убеждений. Человек может не отдавать себе отчета в описываемой стороне собственной интеллектуальной и духовной жизни, но она существует. Внешний круг сознания непрестанно ищет подтверждения собственным убеждениям. Просто человек глубоко верующий все время находит такие подтверждения, а все сомнения разрешаются в пользу исходных установок. Человек колеблющийся находит в бытии факты и обстоятельства, которые не укладываются в доктрину; и тогда он пытается как-то согласовать реальность и доктрину, объяснить самому себе эти расхождения. А тот, кому не удастся согласовать растущий массив фактов, соображений, обстоятельств с исходными убеждениями, рано или поздно отходит от исповедуемых догматов.

Последний сюжет, которого хотелось бы коснуться, касается открытого политического конфликта между гражданином и государством. Я имею в виду радикальные движения и идеи насильственного изменения политического и общественного строя.

Начнем с того, что государство – одно из величайших завоеваний цивилизации. Разумеется, речь идет не о конкретном политическом режиме (который может быть чудовищным) и не о конкретной традиции государственности (которая может быть в высшей степени несимпатичной), но о государстве как субстанции, государстве как альтернативе анархии, варварству и хаосу. Всякая насильственная смена власти толкает общество к краю пропасти, будит демонов хаоса и разрушения. Поэтому всякий, кто толкает общество к насильственному изменению политического строя, не только совершает серьезное уголовное преступление, но и встает на морально опасный путь. В голове нормального, зрелого, этически и интеллектуально вмняемого человека идея насильственной смены власти может возникнуть только на фоне абсолютной убежденности в нетерпимости правительственного курса, губительности его для нации и полной невозможности изменить порочное положение вещей в рамках мирного политического процесса.

Любая власть имеет юридическое и моральное право репрессировать всех и всяческих путчиков и революционеров в соответствии с законом. Если же она этого не делает, то это власть при последнем издыхании, утратившая поддержку общества, маневрирующая и доживающая свои дни. Власть, лишенная воли к жизни, и слова доброго не стоит. В глазах власти всякий радикал, работающий на насильственную смену политического режима, – опасный государственный преступник. А в глазах общества? Оказывается, что на этот вопрос ответить не так просто.

Обратимся к конкретному примеру. Передо мною лежит номер газеты «Завтра» (2005, № 48), в котором напечатано интервью полковника Владимира Квачкова, обвиняемого в покушении на жизнь Анатолия Чубайса. Полковник умудряется давать заочные интервью, находясь в тюрьме, и это само по себе примечательно. Но главное в другом. Квачков призывает к «национальному восстанию» во имя спасения России. Расставим акценты. Обозначенный полковник мне глубоко несимпатичен. Я убежден, что он должен предстать перед судом и, если суд установит, что Квачков виновен в инкриминируемых ему преступлениях, должен быть осужден в соответствии с законом. Я не постигаю, каким образом в официально зарегистрированной и легально распространяемой общероссийской газете печатается призыв к насильственному свержению законной власти и изменению общественного строя. Не понимаю, куда смотрит генеральная прокуратура и почему бездействует наш суд, самый басманный в мире. Но вместе с тем я не могу не признать за полковником Квачковым *морального права* призвать сограждан к оружию. Права, которое неотделимо от моральной, юридической и исторической ответственности, лежащей на плечи каждого, призывающего общество к насилию.

Нормальная власть отвечает на подобные призывы репрессиями, а если репрессии не следуют – мы имеем дело с политическими играми. Но это – частности. Главное же – реакция сограждан. Все помнят блистательный афоризм: «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе». По своему существу любые массовые вооруженные выступления против власти есть заявка на революцию. А революция – это особая форма внеочередного референдума о доверии общества к существующему режиму. Формулировка «антинародный режим» – идеологический штамп, не имеющий отношения к исторической реальности. Не пользующиеся поддержкой большинства населения режимы могут быть стабильны только в случае иностранного военного вмешательства. Антинародными были режимы князей, правящих на основании татарского ярлыка и вышибавших из народа ордынскую дань, или просоветские режимы в Восточной Европе, насаждавшие чуждый восточноевропейцам экономический и общественный строй. И то в развернутой перспективе логика исторического развития двигает режимы ставленников внешних сил к защите собственных национальных интересов и обретению независимости. Можно привести совсем другие примеры, назвав ставленников революционной Франции, фашистской Германии или США; дело не в этом. В общем случае любая суверенная власть устойчива



постольку и существует до тех пор, пока опирается на поддержку большинства населения.

По всему этому власть, пользующаяся доверием общества, не страшится призывов к насилию и спокойно откручивает голову любым радикальным маргиналам. Власть, утратившая такую поддержку, маневрирует, от жестких репрессий переходит к широким обещаниям, послаблениям и частным компромиссам. Убеждает, что худой мир лучше доброй ссоры. Однако маневры власти только воодушевляют непримиримых. Учув слабость правящего режима, они с энтузиазмом толкают общество к силовому конфликту. Тот, кто призывает к насилию или выходит на улицу с оружием в руках, рассчитывает на широкую общественную поддержку и, если этот расчет оправдался, обретает шанс быть похороненным в пантеоне павших героев или возглавить победоносную борьбу. А если этот расчет не оправдался? Тогда перед путчистами и неудавшимися революционерами открывается перспектива военно-полевого суда и скорого исполнения приговора. Такова жесткая диалектика истории. Других способов установления истины в вопросе о доверии общества к правящему режиму, который представляется искренним радикалам богомерзким и чудовищным, не существует.

Я недолюбливаю всех и всяческих революционеров. Это – личное. Мне вообще не симпатичны люди с горящими глазами. Присущая им картина мира представляется примитивной, упования на волшебное преобразование реальности в случае утверждения исповедуемой истины – утопическими, а предлагаемые способы решения общественных проблем – контрпродуктивными. Но как историк культуры я знаю волшебную силу общественных иллюзий. Я знаю, что для искренних адептов новой революция – пространство идеального бытия. Переживание огромной силы, которое охватывает однажды миллионы людей. Событие, о котором до последнего вздоха помнят его прямые участники. Я знаю, что европейская культура Нового времени родилась и выросла в революциях. Что дух Революции (социальной, духовной, политической) породнился однажды с духом Свободы.

Вопреки либерально-интеллигентской мифологии свобода не является безусловной ценностью и вожделенной мечтой каждого человека во все времена. Свобода – это бремя. Масса людей не готова к свободе, не способна жить в условиях свободы, не желает этого и делает все, что в ее силах, для сохранения собственного подъяремного состояния. Этих людей можно понять. В мире, где утвердились принципы свободы, у них нет будущего, а настоящее свободное общество – тягостно и противоестественно. Тем не менее, вектор исторического развития лежит в направлении наращивания пространства свободы. Через возвраты, застои, попятные движения человечество движется именно в этом направлении. В практическом плане это означает, что общества, которые упорствуют в борьбе за сохранение власти традиции, патернализма, единомыслия, готовят себе большие потрясения. Потрясения эти гарантированы и превышают историческую цену принятия нового порядка вещей уже сегодня. Общества либо изменяются и попадают в будущее, либо остаются неизменными и сходят с исторической арены.



кандидат филологических наук, публицист, обозреватель журнала «Новое время». Живет в России.

## ГЛОКАЯ КУЗДРА ОБЩЕЙ СУДЬБЫ\*

Как нам обустраивают Россию, которую мы вечно теряем

– Задача простая, – сказал Вовчик. – Напиши мне русскую идею размером примерно страниц на пять.

И короткую версию на страницу. Чтоб чисто реально было изложено, без зауми. И чтобы я любого импортного пидора – бизнесмена там, певицу или кого угодно – мог по ней развести...

Чтобы такую духовность чувствовали, бляди, как в сорок пятом под Сталинградом, понял?

*В. Пелевин. Generation П*

Сто двадцать лет назад, в эпоху последнего расцвета наднациональных империй и на заре золотого века русской философии, один из ее подвижников Владимир Соловьев сформулировал (что любопытно, не на родном языке, а на тогдашнем общекультурном «койне» – французском) мысль, которая звучит сегодня как предостережение многим политикам самого разного толка: «Идея нации есть не то, что она думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности».

Религиозный мыслитель имел, надо понимать, развитые представления и о том, что творится в этой самой вечности, и о том, как могут выглядеть думы Бога. Большинство верующих на такие глубины не замахивается. Для них более внятна осторожная максима немецкого коллеги Соловьева, жившего за сто

---

\* Новое время.

лет до него, – Иоганна Готлиба Фихте: «Нацию воспитывает Бог. Он поручает нации историческую миссию, и та выполняет ее или не выполняет». Впрочем, современники пафос Фихте явно недооценили: предтечу гегельянства изгнали с университетской кафедры по обвинению... в атеизме.

Неудивительно, что в повседневной жизни люди предпочитают судить о той или иной национальной идее, исходя из упрощенного сочетания двух постулатов: что народ «думает о себе» и как он сумел «выполнить миссию». Иными словами, насколько он «поддается воспитанию» историей?

### **Сочтено, измерено, взвешено**

Простейший и самый доступный способ – установить соотношение «чистой» национальной самооценки с эмпирическим успехом этих представлений.

Многим известна, например, национальная идея Китая. Согласно ей народ хань занимает уникальное положение в «срединном пространстве» Земли. Он, безусловно, отличается от прочих тем, что два тысячелетия сохранял свою «самость», цивилизационную тождественность и общинный солидаризм вопреки бесконечным набегам варваров. В итоге китайцы поглотили и ассимилировали все волны завоевателей, а их естества никто переделать не смог. Не потому ли сейчас их нация самая многочисленная в мире? (Индия, близкая численностью населения, делится внутри по множеству этнических и религиозных признаков, а тамошний «государствообразующий», как любят выражаться у нас, народ – индусы, говорящие на хинди, насчитывают под 300 млн душ. Это и есть примерная разница в количестве индийских и китайских граждан, а в КНР хоть не все жители китайцы, но 95%.) Китай вовлек в свою умственную орбиту без малого весь Дальний Восток, передав ему не только передовые по ранним временам технические приемы, но и дар «пиктографического мышления», благодаря которому любой мало-мальски грамотный китаец может свободно общаться, скажем, с носителем совсем непохожего японского языка, просто рисуя пальцем иероглифы в воздухе или на ладони. Но при этом сам Китай – не как памятное нам государственное образование в марксистско-маоистском гриме, а именно как национально-исторический континуум – подчеркнуто не навязывает никому свои истины, отстраняясь от грохота идейных и геополитических разборок меж чуждадельными «варварами». Лишь аккуратно, что называется, тихой сапой столбит отдельные уголки и целые ниши в занятом ими пространстве. Такой подход к своей «национальной вечности» позволяет китайцам стоически переносить любые кризисы и падения в ожидании неминуемого, по их понятиям, нового взлета. Кажется, нечто подобное и наблюдаем сейчас...

Если Китай «замкнул на себе», то национальная идея США, она же Великая Американская Мечта, знакома практически каждому в современном мире как раз из-за своей крайней экспансивности и вообще полной противоположности принципов. Американцы редко тушуются, гораздо охотнее гордятся тем, что их история насчитывает не две тысячи, а всего двести лет с неболь-

шим. Поскольку убеждены, что именно начало с чистого листа избавило страну от множества ветхих предрассудков, тормозящих прогресс. В результате только у них, прямо унаследовавших немалую часть «самости» британской – от демократического парламентаризма до технократии с ее универсальным языком общения, – впервые смог реализоваться во всей полноте культ равных возможностей, индивидуальной свободы и личного богатства в рамках единого для всех закона. А благодаря этому к нашим дням обрели второе дыхание такие элементы старой островной идеи, как «владычество над морями» и «бремя белого человека».

Так ведь правомерность всякой «думки о себе» что в Штатах, что в Китае каждый может отследить и взвесить по любому мыслимому параметру. И убедиться, что в большинстве случаев их самооценки не расходятся с действительностью. Даже самый спорный из всех момент – порыв американских идеалистов, не стеснясь в средствах, нести земному шару свободу и стремление к счастью на основе простых процедур – нельзя признать провальным целиком и полностью. Да, не получилось во Вьетнаме, почти нигде в бывшем СССР, еще хуже обстоят дела на Ближнем Востоке. Латинская Америка не подает больших надежд, да и на юге Кореи разве что фифти-фифти. Но идея вполне оправдала себя в таких ключевых точках мира, как Германия и Япония, после Второй мировой войны. И у посткоммунистической Восточной Европы перспективы в общем надежные, невзирая на все замешательство переходного периода. (Сейчас мало кто, кроме профессионалов и любителей истории, представляет себе, какой бардак с разбоем и коррупцией творился в самих Штатах в первые двадцать лет независимости от британской короны – на три нынешних России хватило бы при том, что американский народ тогда был совсем невелик.)

### Сермяжное дежавю

А как же та несравненная российская уникальность, о которой без конца твердят патриоты-государственники, в чем вообще она проявляет себя после отказа от задач мировой революции и построения коммунизма? Кроме, конечно, размеров территории (обжитой вплоть до наших дней крайне плохо и недостаточно) – да и то сказать, среди известных в истории континентальных держав ей вряд ли уступали владения Чингисхана, а колониальная Британская империя обогнала наполовину.

Последняя вдобавок прочно закрепилась в бывших колониях. Прежде всего, родной речью – у одних английский основной материнский язык, другим, как той же миллиардной Индии или 130-миллионной Нигерии, он служит универсальным средством для взаимопонимания разношерстных местных элит, образовавших многонациональные государства. Русский же стремительно уходит из обращения, по крайней мере, в азиатских странах СНГ; Закавказье на очереди. В молодом поколении им более-менее сносно владеют фактически только те, кто регулярно ездит на заработки в Россию. Ну так в этих видах и любой вьетнамец научится.

А в самом отечестве успела подрасти целая генерация людей, ни разу не бывавших в Москве и не очень-то заинтересованных туда попасть: для них и ближе, и важнее Варшава, Саппоро или вовсе какой-нибудь Муданьцзян. В общем, создается впечатление, как писал один питерский историк, что все первопроходцы и завоеватели попросту «размазали культуру по необозримым просторам», совсем скоро сгинут их следы...

Но у государственников ответ наготове: наше неповторимое все – это особая духовность русского народа. И вот в ходе дальнейших разъяснений начинается самое интересное. Или самое безотрадное – это как посмотреть. На дворе давно не первый день третьего тысячелетия, а данная идея словно мертво припаялась тылом к тем позициям, что были умственно отстроены славянофилами и почвенниками за вторую половину XIX века.

Поскольку оригинальные труды основоположников этого течения сегодня перечитывают опять-таки одни специалисты с энтузиастами, стоит, наверное, напомнить вкратце основные тезисы. Российское государство как возникло, так и развивалось мирным, благодетельным путем «симфонии» народа и власти – в противоположность Западной Европе с ее бесчисленными завоеваниями, переворотами и революциями. Русские непритязательны и скромны в своем общинно-артельном быту, всеми помыслами устремлены к высокому, тогда как Запад поклоняется мамоне и поглощен приобретательством. Наши семьи сплочены, их – разобщены. Там все это регулирует бездушный писанный закон, а в России людские поступки судит обычай, основанный на совести. Ей, в свою очередь, служит порукой «внутренний стержень» православной веры, имеющийся у каждого соборянина; западное же христианство давно обмирщено, утратило духовные начала и «смешалось с государством». Их человек не желает поступаться ничем, наш добровольно уступает государю и уполномоченным лицам свои права участвовать в тягостной суете, именуемой политической жизнью. Отсюда в Европе культ персональной свободы, эгоизм и бунтарство, непрерывные душевные кризисы, а здесь – самопожертвование во имя общих целей как высшая ступень внутренней свободы.

Старые славянофилы, конечно, были недюжинные умы, и пресловутая их реакционность – по большей части выдумка идеологов советской эпохи. Они как раз не стеснялись в критике самодержавия, которое упорно не желало соответствовать идеалу. Но у теории имелся один коренной недостаток: вся она, в сущности, вторична по отношению к тому самому Западу, коему столь настойчиво стремилась противопоставить себя. В главных чертах даже прямо заимствована из немецкой философии романтизма (только для той пострадавшим оппонентом была бездушная деспотия собственного «Ближнего Запада» в лице бонапартистского режима; а, к примеру, для романтизма польского образца таковым служила сама российская «империя добра»).

Если же копать еще глубже, то вторичность или, говоря деликатно, недостаток оригинальности в «исконно русских» идеях обнаруживается буквально на каждом шагу. Как думаете, в скольких экземплярах был объявлен Третий Рим? Минимум дважды: параллельно с русским иноком Филофеем идея осеняла его

католических собратьев в Кракове. Но позже столица Речи Посполитой переехала в Варшаву, где дух истории витал слабей, зато Висла судоходна. И сама Польша обо всем запаматовала, резонно рассудив: довольно Рима того, что стоит на холмах в Италии. Оттуда же родом метафора новозаветной богоизбранности одной отдельно взятой славянской нации: она-де есть «Христос народов», призванный искупить своими муками грехи человечества. Из знаменитых поляков последним адептом такого мессианства был, судя по всему, Адам Мицкевич, все остальные – сектанты-маргиналы. Соответственно после смерти великого поэта благополучно забылось и оно.

Даже популярное мотто, что, мол, нет у империи друзей и союзников, кроме ее военного флота, первым провозгласил испанец XVII века Франсиско Кеведо-и-Вильегас. Правда, слава того флота уже была прошлым: будущему политическому писателю исполнилось лишь восемь в год гибели Непобедимой армады.

### **Неощутимое нечто: Out of sight, always in mind**

С тех пор, как сказано, ничего существенно нового не прибавилось. Нынешние госпатриоты из тех, что поприличней, лишь повторяют на разные лады первую (также наиболее респектабельную) генерацию славянофилов – Хомякова, братьев Аксаковых и Киреевских. Вторят либо так взволнованно-невнятно, как бывший добротный литературовед, ныне генератор православного пафоса Валентин Непомнящий на прошлогодней конференции в Фонде Солженицына: «Нас записывают в рабы, что у народа рабское сознание. Хотя это сознание свободного человека, который просто сам не умеет ограничить свою свободу (в мире бездуховности и безнравственности именно такого человека называют социопатом или же попросту невменяемым. – М. Г.)... Дело в том, что при всей мерзости Советского Союза он никого особенно не завоевывал. Ну послали танки в Будапешт, ну послали в Прагу, да. Да, это было ужасно, но мы не истребляли...»

Либо не без выверенного изящества, как писатель Вячеслав Рыбаков: «Православная цивилизация оказалась единственной в мире целенаправленной цивилизацией. Вся структура стимулов, ценностей, поведенческих стереотипов сложилась так, что в фокусе всегда – некая общая духовная цель, формулируемая идеологией и реализуемая государственной машиной. Ради достижения цели можно и даже рекомендуется отринуть все земное. Достаток, комфорт, личная безопасность по сравнению с продвижением к цели – пренебрежимы». Все другие деноминации христианства этот автор определяет (и ведь не в шутку, похоже!) как «левославие и кривославие, бесчинствующее по ту сторону всех без исключения государственных границ».

Известная пикантность момента в том, что собственные убеждения г-на Рыбакова явно не столь близки православию, как... конфуцианству. Сдается, что он, посвятив долгие годы занятиям синологией, в конце концов, и христианскую проблематику стал рассматривать с позиций истинного сына Чжунхуа Минго.

И у него, заметьте, высшая духовная цель – всего лишь некая. Если даже согласимся, что народы делятся на более и менее одухотворенные, то можно ли представить хоть сколько-нибудь убедительно понятие «особой духовности»? В чем она должна заключаться и каким образом проявляет себя, покуда ее предполагаемые носители еще обречены, согласно Божьему замыслу, на пребывание в вешнем мире?

Ну не соглашаться же всерьез, что эта духовность – бормотание за столиком в пивной лишь бы о чем-то эдаком, с заворотами поглобальней да покосмичней. Плюс нетрезвое умиление всем сущим, с закономерной легкостью сменяющееся злобными истериками вплоть до «случайных» смертоубийств.

Быть может, духовность в отрешении от всех низменных забот? Но если вы такие возвышенные, тогда почему столько плачетесь на бедность, «недостойную человека», и постоянно требуете, чтобы кто-то для вас отнял у богатых? Вот бы и жили себе как птицы небесные. Или как индийские йоги.

Нет, уж если назвалась духовность «особой», то ей скорее всего прочего следовало бы выражаться в трепетном отношении к человеку, к ближним. Хотя бы в таких пределах, как описал еще один старый философ, англичанин Джон Стюарт Милль: «Входящие в [нацию] люди объединены общими чувствами, каковых нет между ними и другими людьми».

Ну и каковы эти чувства у граждан России?

На упомянутой конференции, которая целиком посвящалась национальной идее, политолог Николай Злобин, много лет работающий в США, представил тему в совершенно нетипичном, даже, можно сказать, неожиданном ракурсе: «У меня уже несколько лет такое впечатление, что люди, всю жизнь занимающиеся Россией профессионально, ее не любят... Как-то мы сидели, хорошо выпили, и я им сказал об этом. Они ответили, что Россию-то любят – ту, которую изучали в университетах. В Россию тогда ездить было нельзя. А когда стали ездить, поняли огромную разницу между тем, что написано в книгах, и реальной страной. "Это наше разочарование, нас Россия обманула. Поманила своей культурой, величием своей души, Достоевским, Чеховым, Тургеневым, а потом мы столкнулись с тем, что она совсем не такая, как в книжках". Я спрашиваю: а что же не так? Отвечают, что не видели в мире более эгоистичной культуры, более эгоистичного народа, чем российский... То есть какие-то вещи, к которым мы привыкли и воспринимаем совершенно нормально, со стороны выглядят дико и не поддаются разумному анализу».

Это, впрочем, не единственная трудность при переводе с русского на бездуховный «общечеловеческий». У старых компьютерщиков была шутка про тест одной из первых систем электронной лингвистики. Засунули туда перфокарту с двоичной записью пословицы «С глаз долой – из сердца вон». Машина, занимавшая по тем временам пол-этажа, покряхтев, выдала вполне корректный английский аналог: *Out of sight, out of mind* (в буквальном прочтении – «Вне поля зрения, вне разума»). Для очистки совести заказали еще перевод вторичный, обратный. И получили... «Невидимка-идиот».

Вот такой, принципиально неосязаемой и притом абсолютно внеразумной

сущностью, только совсем даже не out, но always in mind – намертво засевшей в мозгах, – и является наша идея особой духовности. Точь-в-точь как та «куздра глокая» из еще более древней придумки академика Щербы, объяснявшего студентам разницу между лексикой и грамматикой. Тем и милы подобные существа, что под недоказанный факт их обитания в природе подверстать можно любые малопочтенные нужды идеологов и политиков.

### **Против кого народ един?**

Но любые высокие соображения мечтателей и мыслителей насчет национальной идеи теряют себя, когда на государственную сцену является статусный люмпен – плод тупикового развития социума, в XX веке породившего многие народные движения и созданные ими тоталитарные или теократические режимы. Тут уже всякий «позитив» неотвратимо подменяется «единством "против"». Неважно даже, против кого и чего: никакое созидание не выживает в этой среде. Собственно, в таком режиме просуществовал весь свой срок Советский Союз; по схожим законам арабская национальная идея, расцветшая было в прошлом столетии, оборачивается мраком «политислама». И сейчас, после десятилетних попыток вырваться из порочной колеи, в нее окончательно скатывается Россия.

В полном соответствии с этим изобретался абсурдный праздник народного единения по какому угодно поводу, лишь бы без коммунизма. Дело даже не в том, что после ухода польского войска из Кремля в 1612-м война длилась еще шесть лет и итог ее оказался не слишком почетным для Москвы. А в том, что никакого нового исторического качества конец Великой смуты не создал: сменилась царская династия, но не основы общежития сословий и народностей. Большинство попросту не заметило перемен, продолжая разбегаться от непосильных государевых податей и наездов тогдашних «рейдеров».

Однако в 2005 году мотив «против поляков» наши нынешние мыслители сочли идеальным: межгосударственные отношения портила полемика вокруг 60-летия победы над фашизмом. Они и сегодня неблагоприятны; только, как пронизательно заметил историк Борис Соколов, «поводов для новой антипольской кампании нет, поскольку все силы ушли на кампанию антигрузинскую». Тут уже не найти подходящей даты «к случаю»: ведь ни разу в истории войнство грузин не захватывало ни пяди исконно русской земли...

Вот и живут с разрухой в головах.

---





подполковник СВР в отставке. Живет в России.

## **ПОРОЖДЕНИЕ ВЗАИМНОГО СТРАХА\***

От всякого, решившегося выступить по столь популярной, да еще и изрядно заезженной теме, аудитория вправе ожидать разъяснений: откуда информация и где источники личного опыта, легшего в основу авторских оценок?

### **Центр в центре**

Упреждаю такие вопросы: годы, в которые завершилась холодная война, канул в лету Советский Союз и совершала первые шаги посткоммунистическая Россия, мне довелось провести в том самом аналитическом управлении ПГУ (внешняя разведка) КГБ СССР, которое в разное время возглавляли генералы Николай Леонов, Леонид Шебаршин и другие. Из штаб-квартиры в Ясенево я также отправлялся в качестве аналитика в резидентуры в Брюссель (1987 год) и Вену (1988–1992 годы).

Не могу сказать, как обстояли дела в других отделах названного управления, но наш, числом около 25 человек (в основном военные профессионалы), снабжался в больших количествах вполне реальной развединформацией, в том числе документами. Если вспоминать только об источниках, достоверно прекративших свое существование как таковые (с несколькими бывшими агентами после арестов и судов я впоследствии встречался сам), то мое регулярное чтение включало иностранную дипломатическую переписку, материалы западных спецслужб, целые ворохи планов, отчетов и агентурных сообщений из штаб-квартиры НАТО и так далее.

Все это информационное изобилие трансформировалось в «обезличенные»

---

\* Независимое военное обозрение.

сообщения и переводы и отправлялось в Инстанцию, то есть в политбюро и секретариат ЦК КПСС, а также в Генштаб, Минобороны, другие структуры КГБ и, наконец, союзникам по ОВД. В свою очередь, с самого «верха» поступали задания и ориентировки, как стратегически постановочные, так и очень конкретные, вероятно, порожденные внезапными движениями мысли начальства. «Так сколько ядерных бомб и когда может произвести ФРГ?» – вдруг обрушивался сверхсрочный запрос из Кремля после очередной дружеской встречи Михаила Горбачева с канцлером Хельмутом Колем.

Надо отдать должное руководству управления: у нас чередой шли встречи не только с представителями подразделений и разного рода специальных групп, которыми был столь богат КГБ, но и с офицерами «действующего резерва» и так называемыми «друзьями» из правительства, Академии наук, учреждений культуры. Приходили партийные начальники, люди из ГРУ и МИД – также с актуальной, а главное неотфильтрованной информацией. Разветвленность кадровых позиций и связей КГБ впечатляла. Ресурс влияния и прочности всей этой корпорации выглядел достаточным, чтобы выдержать самые грозные испытания, не исключая мировую или гражданскую войну.

Разведчики-аналитики вовсе не сидели по кабинетам, скрывая друг от друга оценки и идеи. Напротив, в управлении то и дело проводились совещания в формате «ситуационного анализа» и мозговые штурмы по самым насущным проблемам. Творческая искра высекалась также в различных целевых коллективах, где, скажем, спецы по внутренней политике США, международным финансам и мировому масонству могли сойтись с бывалым нелегалом, асом вербовки и близким знакомцем палестинских главарей.

Словом, это был крупный и важный мозговой центр позднесоветской поры. Предполагаю, что его основным конкурентом являлись аналогичные структуры Генштаба и ГРУ. Не исключено, что общий уровень прогнозно-аналитической работы там был повыше благодаря наличию военно-научной школы, большей нацеленности на конкретные результаты (прежде всего добывание образцов оружия и техники) и меньшей вовлеченности в аппаратные интриги.

### **«Даёшь Преторию! Даёшь Гренаду!»**

Хотя главным участком моей работы был блок НАТО, первым материалом, попавшим мне на обработку в феврале 1985 года, оказался подробный отчет некоего правительственного центра из ЮАР о возможных последствиях установления советской гегемонии в Южно-Африканском регионе. Оценки были достаточно алармистские: русские, их союзники, а также подопечные партизанские движения укрепляются в Анголе и Мозамбике, расшатывают ситуацию в самой ЮАР и Намибии. Если не принять энергичных контрмер, то юг Африки вместе с жизненно важными источниками сырья и инфраструктурой (особенно, военно-морской) попадет под контроль Москвы. Аргументация и сам настрой тогдашних южно-африканских аналитиков взывали: либо Запад решительно вмешается, либо ЮАР пойдет ко дну, но перед этим подвергнется

искушению использовать все имеющиеся у нее военные средства, включая самые крайние. Ядерный конфликт, оказывается, мог или должен был начаться в середине 1980-х годов, кроме прочего, еще и где-то в Южном полушарии.

Конфронтация между СССР и США с участием союзников, сателлитов и целых шлейфов из разнокалиберных клиентов нарастала в то время сразу в дюжине регионов Африки, в Центральной Америке и, конечно, на Ближнем Востоке и в Афганистане. Как правило, втянутыми оказывались сопредельные государства, из-за чего зоны конфликтов, не скованных никакими жесткими международными рамками и просто госграницами, разрастались. Особое взаимное остервенение вспыхивало по поводу небольших островов посреди океана – бесценных для обеспечения стратегических воздушных мостов, опутавших полпланеты.

Мировая война, по сути, разгоралась под жупелами, соответственно, «нео-глобалистской политики Рейгана» и «поддержки Советами международного терроризма». «Ситуационный анализ» в управлении раз за разом фиксировал «усиление угрозы глобального военного конфликта между СССР и США», и это была чистая правда.

От близких родственников, занятых в сфере информационного обеспечения высших органов власти и в космических исследованиях, я также знал о спешных военных приготовлениях вроде обустройства гигантских командных пунктов где-то под Уральскими горами и о выводе все новых разведывательных, командных и боевых комплексов в околоземное пространство. «Маршал сказал, что дело идет к войне», – проговорился тесть, отправив вместе с коллегами очередной экипаж на космическую вахту.

Ветераны ПГУ подтверждали: Карибский кризис 1962 года по масштабам и реальности угрозы остался далеко позади. Все шло к какой-то развязке, и о накале этого процесса свидетельствовала волна измен, окатившая советскую разведку в 1984–1986 годах. Схватка с ЦРУ и другими спецслужбами вполне зримо пробилась за ясеневский четырехрядный забор. Арестованных почти всех расстреливали, иногда после показательных судов, и Крючков требовал на собраниях беспощадности к врагам. Кажется, не меньше было тех, кто «ушел», то есть благополучно перебежал к противнику, оставляя после себя серии провалов и меры по локализации ущерба. Крючков комментировал: «Идет война и есть потери». Через несколько лет, когда он сам оказался в лефортовской камере, в подразделениях стали прорываться вопросы: «Так за что ребят постреляли?» Другими словами: чем же завершилась война?

## **НАТО как на ладони**

В обвинительном заключении совсем другого рода – в земельном суде в Дюссельдорфе в 1994 году – говорилось, что германский гражданин Райнер Рупп мог своими действиями «оказать решающее влияние на ход войны». Нам и самим казалось, что через Руппа, бывшего более десяти лет креду нашим главным источником в НАТО, в Восточный Берлин и Москву поступали

едва ли не все секреты, которые успевала генерировать натовская штаб-квартира под Брюсселем. Работал он столь стабильно (одно время даже вместе со своей женой-англичанкой – сотрудницей британского представительства там же, в НАТО), что возникала мысль, а не «сливает» ли нам «главный противник» все это грифованное чтиво. Но вроде нет – периодические проверки по другим каналам подтверждали аутентичность документальной и прочей информации от Руппа.

Короче говоря, деятельность, стратегия и планы НАТО в Европе представляли почти как на ладони. Как военный блок это было, конечно, оборонительное и довольно рыхлое образование. Реально боеспособными считались американцы, а также немцы, англичане и еще, кажется, турки. Остальные выглядели обузой и едва ли не помехой для этого ядра. Греки, португальцы, датчане и прочие постоянно норовили уклониться от своих обязательств, а то и вставить палки в колеса главным бойцам. Воля к бескомпромиссной обороне у них не просматривалась, о позовах развязать войну и говорить нечего. Так что ПГУ по дружеской просьбе Генштаба потихоньку «корректировало» вверх данные о военных приготовлениях НАТО, для чего даже имелась особая методика, основанная на манипулировании разными способами подсчета физических и финансовых показателей. Иначе Инстанция и другие ресурсодатели, не обязательно владевшие картиной в целом, чего доброго, стали бы отвлекаться на нехарактерные детали.

Ключевым вопросом для руководства ПГУ было: намерены ли американцы нанести в Европе удар первыми? Насколько я мог уяснить себе взгляды Инстанции, в принципе следовало исходить именно из такого варианта и делать четкий вывод: кто войну начнет, тот получит больше шансов победить. Этому нас, кроме прочего, «учил 41-й год».

Рупп мне говорил позднее, что на рабочих заседаниях в органах НАТО воинственность исходила только от представителей США. Он, ответственный сотрудник экономического и политического департаментов, считал, что и в коалиционные военные структуры американцы встроили подконтрольные лишь им инструменты агрессии. В интервью под диктофон Райнер рассказал мне еще о том, как высокопоставленный западный политик однажды прервал его рассуждения о неисчерпаемости нефтегазовых ресурсов Сибири: «Бросьте, дружище; придет день, и все это станет нашим».

Ведущие эксперты аналитического управления (а были люди, прекрасно знавшие НАТО изнутри) сомневались также в замысле важнейших учений *Reforger*, широковещательно отрабатывавших трансатлантические переброски американских сил в Европу на случай войны. По ряду признаков выглядело так, что янки учились, как им в критической ситуации (или накануне таковой?) ретироваться домой.

Как-то после удачных лекционных гастролей в британских резервных штабах под Лидсом я поставил тот же вопрос перед Крисом Доннелли – «правой рукой» генсека НАТО по вопросам бывшего Восточного блока, а по некоторым оценкам, еще и координатором натовских разведок. Уйдя на пару мгновений в

себя, он затем ответил, что да, такие срочные эвакуации планировались и отработывались, но лишь для жен и детей американских военных: «тогда мужья сражались бы более уверенно». Спонтанный вопрос о безопасности семей и «уверенности» солдат и офицеров того же бундесвера Крис замял.

Возвращаясь в середину 1980-х годов, подытожу: не только мы, но, по-видимому, и европейские лидеры не знали наверняка, могут ли американцы начать войну, с какими целями и с каким размахом. Зато европейцы прекрасно понимали, что прекратить дальнейшую эскалацию можно лишь через победу в холодной войне. Важно лишь, чтобы наиболее опасная часть такой победы была достигнута где-то подальше от европейского «санктуариума» – там, где Советам можно было нанести не обязательно самый разрушительный, но зато самый точный удар.

### **Что же было в «особых папках»?**

Ритм работы был таков, что мне пришлось в середине 1980-х – начале 1990-х годов ознакомиться, вероятно, с несколькими тысячами закрытых материалов советского (плюс восточно-германского и так далее) и западного происхождения. Общее впечатление: подавляющая часть внимания Запада, по крайней мере, вплоть до формирования ельцинской власти, была сосредоточена на военном противостоянии с Москвой. Особенно убедительными в этом плане являлись установки и задания натовских спецслужб, отражавшие, как здраво считалось, критически важные устремления их правительств. Экономические, политические, да и идеологические процессы в СССР и странах ОВД рассматривались в конечном итоге через призму военно-политического противостояния. Не так сильно интересовали сами «реформы» – интересовало, как они могут повлиять на «советскую угрозу».

Это может говорить лишь об одном: в обеспечении своих главных интересов Запад полагался, прежде всего, на силовые средства и его, естественно, приоритетно интересовал силовой потенциал другой стороны. Даже в полный освободительной эйфории период после 1988 года страны НАТО нацеливали свой разведаппарат главным образом на демонтаж советских военной машины и военного присутствия по всему миру.

В конце 1990-х действующий сотрудник БНД (я как раз завершил в составе телесъемочной группы ОРТ работы в Пуллахе) сообщил мне их взгляд на путч в Москве в августе 1991 года: это было последствием решения об ускоренном выводе советских войск из ГДР. Начало ликвидации ЗГВ вызвало шок во всем советском оборонном истеблишменте, который и отреагировал указанным образом. Когда же я попытался «раскрутить» его на оценку известной идейно-политической версии тех событий, немец-профессионал лишь отмахнулся: «Я не специалист».

Советская разведка была глубоко вплетена в различные переговоры по ограничению и сокращению вооружений. Наш отдел в ряду с прочими структурами КГБ и других ведомств участвовал в этой работе. Из анализа поступав-

шей информации было достаточно ясно: строительство «стратегических балансов» и «взаимной безопасности» – лишь попытки вогнать СССР в роковую для него эндшпиль. Конечно, обе стороны стремились в 1980-е годы, как и раньше, уменьшить риск несанкционированного столкновения. Технически в этом смысле было сделано немало. Но главным оставалось – сковать и подорвать военно-политические и военно-промышленные возможности противника. Юлий Квицинский и другие советские переговорщики, не раз выступавшие в ПГУ, рассказывали, что за дипломатическим столом американцы для начала (ради пушечей ясности?) прямо высказывали желание уничтожить всех советских коммунистов. Но поскольку инструкции из Госдепа пока что иные – что ж, будем переговариваться.

Куда более жесткое давление – близкое к ультиматумам – не раз оказывалось, по моим сведениям, на Горбачева и других советских лидеров. Аргументы приводились более чем конкретные. Не следует думать, что «сдача позиций» на тогдашних саммитах вытекала лишь из недомыслия и трусости (хотя бывало и это): СССР проиграл войну и подвергался аннексиям, если не сказать контрибуциям. Другое дело, что обе стороны предпочли избрать публичный сценарий, близкий к идеям Андрея Сахарова о конвергенции.

Процесс в то время принимал обвальный характер. Едва, например, новые политики стран Балтии или Польши отрывались на достаточную дистанцию от Москвы, как они тут же заявляли себя сторонниками вступления своих стран в НАТО. Из Вашингтона и Брюсселя им шли на этот счет корректные одергивания, означавшие лишь, что основной риск раздражить напоследок русского медведя возлагался на тех, кто так рвался в постсоветские политические элиты. За московским мятежом в октябре 1993 года Вашингтон видел силы, намеренные замедлить вывод российских войск из Германии и стран Балтии. Несомненно, это дополнительно побудило его форсировать расширение НАТО на восток.

Распад ОВД, а затем и СССР воспринимался западными стратегами вовсе не как «конец истории», а как гигантский успех, который следовало закрепить и тут же развить, «переваривая» его затем как-нибудь на ходу. Это и понятно: в сфере военного противоборства утрата инициативы чревата потерями и поражениями.

---



кандидат физико-математических наук, прозаик, публицист и литературный критик. Член российского отделения ПЕН-клуба, зам. гл. редактора журнала «Нева». Живет в России.

## **АПОЛЛОНИЙЦЫ И МЕРКУРИАНЦЫ\***

### **Кто они и как им жить вместе**

С чего начинается родина? С обмана, отвечают марксисты и либералы. Для первых родина – это ширма, под прикрытием которой обдeldывает свои делишки буржуазия. Для вторых (для самой буржуазии) родина – это ширма, под прикрытием которой обдeldывает свои делишки некое антропоморфное «государство». И все-таки я, безродный космополит, дерзну возразить: родина, эмоциональное отождествление себя с каким-то народом, дарует человеку три важнейшие иллюзии, без которых он обречен на беспросветное уныние, – это иллюзия могущества, иллюзия красоты и иллюзия бессмертия. Ибо примерно этими иллюзиями и создаются нации. Кто красивее? – вот тот главный роковой вопрос, из-за которого народы будут еще долго истреблять друг друга.

Недавно сначала в Америке, а затем и у нас наделала некоторого шума книга Юрия Слезкина «Эра Меркурия. Евреи в современном мире» (М.: НЛО, 2005). Еврейский вопрос Ю. Слезкин помещает в контекст настолько широкий, что он почти утрачивает свою пикантную специфику. Общая схема его примерно такова: народы делятся на аполлонийцев и меркурианцев – одним покровительствует заведующий скотоводством и земледелием благородный Аполлон, другим – шустрый и жуликоватый Меркурий. Первые обеспечивают «базис», вторые «надстройку» общества, и едва ли не во всех уголках земли при каждом аполлонийском народе имеются собственные евреи, которые носят свои экзотические имена с таким же достоинством, с каким владыки базиса носят свои. Серьезное недовольство возникает только тогда, когда у наибо-

---

\* Новое время.

лее эмансипированных меркурианцев появляется желание войти в аполлонийское общество, в которое их принимают с объятиями, не настолько широко распростертыми, как им хотелось бы.

Тогда-то наиболее оскорбленными себя и почувствовали отнюдь не самые сырые и убогие, но, прежде всего, те, кто имел наилучшие шансы хорошо устроиться, – именно для них было невыносимо ощущать себя людьми второго сорта пускай в одном, но очень важном пункте – национальном. То есть именно в том, в котором люди обычно черпают свои важнейшие иллюзии. Можно было бы, конечно, предложить им быть поскромнее, но бог не создал человека скромным, он создал его по своему образу и подобию...

Выйти из нестерпимого для пассионариев унижения можно было разными путями: можно было завести собственный аполлонийский клуб (сионизм), можно было дойти до полной самоотверженности по отношению к тому престижному хозяйскому клубу, куда тебя не пускают, то есть сделаться аполлонийцем из аполлонийцев, но можно было попытаться и разрушить этот клуб.

Это, в свою очередь, можно было сделать двумя путями: объединить все клубы (народы) в один – путь коммунизма – или, напротив, разложить все престижные национальные общности на атомы – путь либерализма. И вот тогда-то во всех общественных движениях, направленных на разрушение традиционных укладов (и в первую очередь своего, еврейского), евреи оказались едва ли не самой активной национальной группой.

Национальное аполлонийство реагировало просто – ненавистью, ограничениями, а в самых крайних случаях попытками уничтожить хотя бы национально выделенную часть своих противников. С коммунистическим же аполлонийством, в теории считавшим нации временным пережитком до их слияния в одну, все оказалось гораздо сложнее. Ленинская национальная политика была задумана с большим умом. «Наш», «пролетарский», лагерь должен был быть предельно монолитным, «их», «буржуазный», – максимально раздробленным; поэтому в чужом лагере все национальные движения следовало максимально стимулировать, а в своем – максимально подавлять; однако делать это так, чтобы зарубежные «националисты» до поры до времени не догадались, что их ждет.

Но невозможно ведь уничтожать патриотически настроенных представителей собственных национальных меньшинств и большинств так, чтобы чужие этого не заметили. Приходилось в пропаганде все национальное поддерживать – на деле выжигать каленым железом. Сталин, правда, с самого начала был склонен ставить на самую сильную лошадь – русскую, но, обруганный великорусским шовинистом, отступил практически до начала войны, когда вновь решил ставить не на новомодную интернациональную выдумку, а на проверенную веками и испытаниями национальную сказку.

Тогда-то и завершилось медовое двадцатилетие евреев и советской власти: советская власть начала расшатывать иллюзию общей судьбы русских и евреев, больше воспевая классических аполлонийцев как действительно наиболее могучих и не акцентируя отдельно взятые подвиги и страдания аполлонийцев ленинского призыва. И оказалось, что страдания важнее, чем подвиги. Холо-



кост пробудил национальное чувство в самых что ни на есть беззаветных комсомольцах-добровольцах, казалось бы, окончательно ассимилированных как в пролетарском интернационализме, так и в его будущем физическом теле – русском народе. А тут, наконец, подспела и вторая важнейшая компонента национальной идентичности – возможность гордиться подвигами своего народа...

Героическое возрождение Израиля на древней Земле обетованной вывело сионистскую грезу в серьезные конкуренты русско-пролетарскому коктейлю. Быть может, еще и можно было бы как-то примирить две эти сказки, но Сталин желал монополии. Удар по «космополитам» все равно надолго породил бы взаимное недоверие между аполлонийством и меркурианством, если бы даже советская власть вновь вернулась от политики кнута к политике пряника. Но она предпочла не переманивать сомнительных, но, напротив, отделить их от наиболее надежных...

Результат мы все видели сами, а кое-кто испытал и на себе. И хуже всех снова пришлось тем, кто в одностороннем порядке вообразил себя полноправным членом хозяйского клуба. И какие же способы прорыва из гетто Ю. Слезкин рисует как наиболее удавшиеся из четырех главных – бегство в интернационализм, бегство в русскую культуру, бегство в либерализм или бегство в собственную аполлонийскую историю?

Интернационализм, очевидно, приказал долго жить – он, по-видимому, вообще нежизнеспособен, поскольку неясно, каким образом он может воспроизводиться в веках. Ведь интернационалисты не составляют какого-то древнего влиятельного ордена, а чтобы такой орден мог возникнуть, они должны приобрести все признаки нации: грезу о собственной избранности, единые внешние признаки вплоть до языка и ритуалы, позволяющие отличать своих от чужих, дабы вступать в брачные союзы преимущественно друг с другом и воспитывать в детях это же предпочтение...

Либерализм тоже не может создать самостоятельный социум, ибо не может существовать такое общество, которое прямо бы воспитывало в своих членах неприязнь и недоверие к себе. Либеральное меркурианство может жить и процветать лишь при каком-то аполлонийстве, которое станет обеспечивать физическое выживание в веках. Удачный пример – сегодняшняя еврейская община на берегах Гудзона, приносящая Америке огромную пользу на всех верхних этажах той пирамиды, которой издавна уподобляют систему разделения общественного труда.

Похоже, эта община по-своему даже патриотична по отношению к аполлонийской Америке, что не мешает ей издали любить и поддерживать Израиль, сделавшийся родиной некоего нового просвещенного аполлонийства. Возможно, не будь советская власть такой ревнивой, нечто подобное могло бы сложиться и у нас в России. Впрочем, оно отчасти и сложилось, но уж в очень мизерных и на глазах иссякающих размерах.

Бегство евреев в русскую культуру в ее утопической, чисто духовной форме тоже не может воспроизводиться особенно долго, особенно в сугубо либеральной версии: я-де люблю русский язык, русскую литературу и ненавижу русское

государство, люблю поэму «Медный всадник» и ненавижу предметы, которые она воспевает, – на такой совсем уж неземной, отрицающей свои истоки и свое собственное физическое тело сказке тоже долго не продержаться. Другое дело те евреи, которые ощущают своей родиной Россию, невзирая на все прошлые и неизбежные будущие осложнения, но они в большинстве своем мало чем отличаются от обычной русской интеллигенции, соединенные с еврейством, главным образом, чувством личного достоинства да общей болью. Дети же их, а особенно внуки, практически уже ничем не отличаются от русских.

Впрочем, за пределами главной Земли обетованной еврейская греза, похоже, иссякает всюду. В 1940 году, пишет Ю. Слезкин, в смешанных браках состояло три процента американских евреев, а к 1990 году их доля превысила половину. Политика пряника все-таки оказалась эффективнее политики кнута, соблазн сильнее угрозы.

Сегодня в российских городах происходит становление «кавказского» и «среднеазиатского» меркурианства, наиболее продвинутые представители которого стремятся войти в аполлонийское общество. Можно отнестись к ним построже, заставляя сдавать такие экзамены на нравственность и хорошие манеры, которые способны выдержать лишь избранные аполлонийцы; но можно быть и потолерантнее, памятуя, что даже и малосимпатичный прагматик все-таки лучше, чем благородный разрушитель.

История европейского еврейства подталкивает ко второму варианту. Однако вековая история бегства из гетто российского еврейства заставляет задуматься о проблеме, грозящей сделаться еще более масштабной. В последние годы обитателями некоего гетто на обочине цивилизованного Запада начинают ощущать себя уже не евреи, а русские. При этом намечаются ровно те же способы разорвать унизительную границу, которая ощущается ничуть не менее болезненно даже в тех случаях, когда она существует исключительно в воображении (человек и может жить только в воображаемом мире).

Первый способ – перешагнуть границу, сделаться европейцами из европейцев, в преданности западной культуре превзойти немцев и американцев. Второй – объявить границу несуществующей, существует, мол, единое человечество, общечеловеческие ценности. Третий – провозгласить свое гетто истинным центром мира, власть в экзальтированное почвенничество. И четвертый, самый опасный, – попытаться разрушить тот клуб, куда тебя не пускают.

Евреев, как мы видели, сумел умиротворить только пряник. Но что-то, к сожалению, не видно мудрецов, которые приложили бы эти уроки к России...





## ГЛАВНАЯ ОЧЕРЕДЬ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ\*

На протяжении поколений советских людей самой желанной (при том, что купить ее было недоступно) книгой была «Книга о вкусной и здоровой пище». Первое издание вышло еще в сталинские довоенные времена, предисловие к ней написал нарком пищевой промышленности Анастас Микоян. Читая ее, люди попадали в сказку: тех продуктов, из которых рекомендовалось готовить вкусную и здоровую пищу, в помине не было. А в Елисеевский магазин все же попадало кое-что из этой сказки – продукты, которые обыватель знал порой только по названиям.

Ну совсем как на ВДНХ, где в павильонах были выставлены товары, которые не производились, не продавались и не покупались. Большая Советская Мечта.

Отправляясь из Москвы на каникулы к родным в Киев, я, например, мог купить в подарок маме волжский залом. Она родилась в Астрахани и очень любила залом. Вам приходилось когда-нибудь лакомиться лоснящимся, нежным, золотистого цвета заломом? То-то. (Мне с тех пор, между прочим, тоже.) Сестра любила засахаренный арахис, козинаки... Легко было угодить родным, зайдя перед дорогой за гостинцами в этот магазин. Когда я рассказывал в Киеве, что там «дают», мне не верили.

Свободно продавалась дунайская селедочка. Интересно, ловят сегодня в Дунае селедку или окончательно реку отравили? Не переводились осетрина, стерлядь, севрюга. «Птичье молоко» соседствовало с клюквой в сахаре. Трюфели, грильяж. «Раковых шеек» – горы! Однажды, отправляясь в Тарту к знакомой, которая любила простенькую карамельку, я попросил взвесить грамм по сто всех имевшихся в продаже сортов, и в результате получился четырехкилограммовый пакет! В таком ассортименте конфет нигде больше не было.

---

\* Новое время.

Мне как-то довелось работать переводчиком со знаменитым в ту пору в Англии комическим актером Джимми Эдвардсом, звездой британского телевидения, и он в предвкушении своего дня рождения захотел привезти из Москвы в Лондон черной икры для банкета. Пораженный обилием ее сортов, он решил взять разной, причем помногу. Сперва мы задержали очередь в кассу, выбивая трехметровый чек (по длине – как многоразовый билет вокруг земного шара через Северный и Южный полюса, сострил Эдвардс), потом долго паковали трехкилограммовые жестянки и маленькие баночки в пакеты.

За такую покупку дома я отдал бы состояние, объяснял он, а в России плачу сущие гроши... Конечно, я понимал, что русские гроши проигрывают по покупательной способности английским, но все равно мне, студенту, было приятно, что в плане черной икры мы живем лучше, чем Англия.

Это было давно, когда окружавший мир ничего из советских товаров не покупал из принципа, наказывая за факт существования принудительного труда (концлагерей) в СССР. Даже водку, даже икру. Полное эмбарго. Этот бойкот вынуждал власть продавать икру на внутреннем рынке: а куда было ее еще девать, другого-то рынка не было. (Потом, когда эмбарго сняли, она стала исключительно предметом экспорта.) Но зарплаты были нищенскими, а деревенскому народу, составлявшему чуть не половину населения, вообще не платили деньгами по трудовым. На что покупать икру? Отсюда и фантастическая картина изобилия икры в Елисеевском магазине, отложившаяся в памяти людей моего возраста как времечко золотое. И казалось тогда, что жизнь не так уж плоха.

Знал бы я в ту пору, сколько раз в течение моей последующей жизни будут позорно трещать, разваливаться официальные продовольственные программы (догоним Америку по мясу и молоку!); какие длинные вырастут очереди за хлебом и молоком, а также за водкой (потребность в этом товаре в России едва ли не выше, чем нужда в хлебе); что настанет день, когда табак и вовсе исчезнет из продажи, и люди будут поднимать из пыли и продавать вонючие окурочки, а водку будут давать по талонам...

### **Все лучшее – столице**

Содержимое полок «гастронома номер один», как горделиво назывался Елисеевский магазин, менялось со временем. Полки то резко скудели, то заставлялись вновь. Очереди то разрастались до умопомрачения, то съеживались, как шагреневая кожа. Впрочем, они не пропадали никогда, кроме одного случая. Во время Олимпийских игр, когда допуск в Москву иногородним соотечественникам был отменен, а москвичей принудили разъехаться кого куда, я увидел этот магазин без очередей. Сюрреалистическая картина. Как часы без стрелок в «Земляничной поляне».

Хорошо вам, москвичам, ленинградцам, говорил житель Херсона. У вас – «Мосхлеб», «Мосмолоко». Или «Ленмясо», «Леновош»... А у нас «Хермолоко», «Хермясо», «Херовош»...

Большинству москвичей, уж не говоря о жителях других городов, было не-

ведомо, что в Ленинграде есть свой Елисеевский магазин, выстроенный тем же купцом-миллионщиком Елисеевым в том же купеческом стиле, с богатством декора, бьющей в глаза роскошью.

Петербургский магазин был еще больше, еще шикарнее, поскольку столицей в бытность его строительства был все же Петербург, не Москва.

Через Москву проходили все торговые пути, в нее стекалась кровь страны по всем артериям. До самых до окраин страна работала на столицу, которая поглощала все лучшее, все, что можно было урвать, и в количестве, недоступном другим городам.

Снабжение городов и республик официально осуществлялось тогда по категориям. Москва и Питер принадлежали к разным категориям снабжения, и контраст между богатством столицы и бедностью остальных городов, не исключая Ленинграда, был разительным. В стране величайшей централизации власти все лучшее полагалось иметь – в единственном числе – только в столице.

Рассказывали, будто приехал из Америки внук Елисеева, чтобы посмотреть, как выглядит построенное дедом предприятие. Власти постарались не ударить в грязь лицом. Видите, сказали ему, все те же роскошные вазы, люстры небывалой стоимости и красоты, мраморные стены? Внук пожал плечами: «Но, между прочим, как сейчас помню, в этом углу при деду лежали горкой ананасы, в том – рябчики да фазаны. Скажите, ну кому это мешало?»

### **Язык без ананаса**

Конечно, дореволюционный уровень снабжения был коммунистам не по плечу, и все об этом знали или догадывались. Девяностолетняя актриса Яблочкина на политзанятии в Малом театре на вопрос, как будет выглядеть жизнь при коммунизме, будто бы ответила: «Ну не знаю. Как при царе». Но кто знал, как именно было «при царе». Как у Оруэлла: жизнь на ферме при старых хозяевах помнил только старый конь, но и тот молчал.

Советский человек не только ананасы и рябчики знал разве что по стихам Маяковского. О существовании многих фруктов, овощей, сыров, колбас, сортов кофе и чая, уж не говоря о знаменитых марках вин, он если и знал, то по воспоминаниям Гиляровского. Слово «телятина» исчезло из обихода, дети в школе не могли его объяснить. Возник язык, в котором отсутствовали многие дореволюционные слова.

Когда впервые появились в продаже ананасы, многие не знали, что это, как это называется, спрашивали у продавца: «Почем ваши лохматки?» Никто в глаза не видел спаржу и артишоки. Осьминогов видели только на картинках. А как выглядят миноги и омары, пармезан и моцарелла, бриоши и круассаны, брюссельская капуста, никто понятия не имел. Неведомо было большинство названий специй.

О любимых Осипом Мандельштамом винах мы знали только по его стихам: «Я пью, но еще не придумал, из двух выбираю одно: веселое асти-спуманте или папского замка вино!» За любовь к этим недоступным советскому челове-

ку винам, а также к «музыке сосен савойских, полей Елисейских, бензину, маслу парижских картин, бискайским волнам, кувшину сливок "альпийских"» – приметам запретной, начисто отрезанной мировой культуры всю жизнь укоряли Мандельштама, а потом уничтожили. Литературоведы, исследователи его творчества, конечно, верили, что вина замечательные, но как хотелось попробовать глоточек «веселого асти-спуманте»! Но шиш вам.

А как насчет мальвазии, в которой топили в Тауэре героев шекспировских драм, или «бочонка амонтильядо», вина, в котором утонул герой Эдгара По?

Это были не просто напитки, отсутствовавшие в магазинах. За ними стояли целые пласты культуры, история цивилизации. Но мы не могли их ощутить небом, кончиком языка. Не могли с их помощью прикоснуться к истории. Для нас они были, как обратная сторона Луны.

Только по названию мы знали кьянти и роху. Кальвадос пили герои Ремарка и Хемингуэя (студенты моего поколения водку нежно и романтично называли кальвадосом). Абсент грустно поглощали герои Пикассо. Мы читали, что мексиканцы пьют текилу, американцы и англичане – виски и джин, японцы – саке.

В романах, пьесах, кинофильмах, на холстах великих художников герои ели блюда и пили напитки обыкновенные, простонародные (национальные), но мы даже этого не понимали. Наши переводчики, со слов которых мы полюбили Александра Дюма, забыли нам сообщить, что знаменитая пулярка трех мушкетеров и их товарищей всего-навсего курятина.

Да что говорить, если миллионы людей в СССР ни разу в жизни не держали в руках живой апельсин.

А вот у Елисеева иногда можно было купить кое-что из непостижимого и легендарного. То «выбросят» лондонский джин («Бифитер») или настоящий шотландский виски («Катти Сарк»), то вдруг затрещат полки от обилия неподдельных португальских хересов и портвейнов. На наш портвешок эти благородные и богатые вкусом напитки были похожи не больше, чем плодово-ягодный вермут (с ударением на «у») на итальянский вермут «Чинзано». Этот напиток тоже на короткое время появился в продаже в магазине, дав тему Людмиле Петрушевской для замечательно горькой и смешной пьесы под одноименным названием.

Вкусностью торговали в Елисеевском неделю, месяц, пока не иссякнет запас. И забудьте.

Я работал в журнале, который помещался на Пушкинской площади, и часто покупал на обед в Елисеевском магазине замечательные пирожки с мясом, а также ватрушки, горячие, дешевые, вкусные (слюнки текут от воспоминаний). По дороге за пирожками заглядывал в винный отдел и, когда там появлялось что-то необыкновенное, извещал коллег: «"Бифитер" дают!»

И небольшая колонна сотрудников академического журнала «США – экономика, политика, идеология», мужчины и женщины, во главе с главным направлялась в Елисеевский, чтобы истратить все, что в кармане. Живя в СССР, другого шанса запастись джином или виски не было. К тому же и стоила почти двухлитровая бутылка до смешного мало, если в пересчете на литр, то де-

шевле низкосортной водки. Так что покупали столько, сколько руки унесут. Все в магазине и на улице в недоумении оборачивались. Мы запасались на всю оставшуюся жизнь.

### Тушенка на заказ

Одна наша коллега, успех которой мы высоко оценили, сумела подписать у начальников бумаги, и на какое-то время нас, сотрудников упомянутого журнала, «прикрепили» к Елисеевскому магазину. По праздникам, несколько раз в году, нам теперь давали «заказы». Конечно, подачки минимальные, низшего уровня, но все-таки... Душа радовалась и пачке индийского чая со слоником, и баночке сгущенки, и растворимому кофе, тушенке, бычкам в томате, сыру «Виола». На праздник!

О существовании елисеевского распределителя мало кто знал, хотя и помещался он в самом магазине. Но не в основной его части, а в неприметном помещении на противоположной стороне Козицкого переулка, в следующем по улице Горького доме. Назывался «Стол заказов».

Иногда случайный прохожий открывал двери и спрашивал: «Чем торгуете?» – «Заказами». Ему давали в руки список недефицитных, ходовых продуктов, которые можно было купить и без всяких заказов в основном здании. Но там стояла очередь (сперва выбрать товар у прилавка, взвесить, потом постоять в кассу, потом – снова у прилавка, чтобы получить товар, и так в каждом отделе).

Потому предпочтительнее было заказать продукты без очереди и получить их через пару дней в аккуратно завернутом виде. Клиенты подходили к прилавку «Стол заказов» с квитанцией, называли номер, получали пакет... И не подозревали, что в точно таких же по виду, аккуратно завернутых пакетах лежат «блатные» продукты, ничего не имевшие общего с теми, что предназначались для простолюдинов. С совершенно другой начинкой. Большой штат людей их паковал. Сотрудники Елисеевского берегли государственную и военную тайну, сам факт существования параллельной системы распределения.

Двойная система была выгодна власти. Разделяй и властвуй. Тот, кто не имел привилегий, завидовал тому, кто имел. И те, и другие готовы были продать душу дьяволу за принадлежность к кормушке. Цековцы из обслуживающего звена, секретарши да шофера, получавшие в заказе по две баночки простой красной икры, завидовали тем, кто получал три баночки, и тем более счастливым, потреблявшим паюсную, зернистую. Дистанция в их социальном статусе была «огромного размера», как сказал бы полковник Скалозуб.

У Владимира Войновича есть сатирический рассказ о том, как один советский писатель боролся, чтобы ему разрешили по спецзаказу получить шапку из хорошего, натурального меха, не кроличью дешевку. То был вопрос жизни.

Регулярные заказы из Елисеевского возвышали советского человека, подчеркивали его престиж и давали ему ощущение собственной значимости.

Иногда дефицит все-таки «выбрасывали», причем не только в Елисеевском, но и еще в нескольких лучших магазинах Москвы. К дню выборов, на револю-

ционный праздник. Занимался этим непосредственно райком. Хватало продуктов лишь на несколько часов, очереди выстраивались фантастические.

Технологию распределения дефицита мне раскрыл однажды Торнике Копалейшвили, мой друг, который тогда работал директором ресторана в Доме художника. Его, как и других руководителей предприятий обслуживания и торговли, пригласили перед праздниками в райком на инструктаж. Директоров магазинов на совещании предупредили, что к празднику «выбросят» колбасу. По паре тонн на магазин. И растянуть эту колбасу нужно на пару-тройку дней, чтобы все видели ее на прилавках, чтобы труженики потом с гордостью говорили: «А у нас к празднику колбасу давали!» И хвалили бы советскую власть. «Но ведь двух тонн не хватит, это же часа на два, а не на два-три дня», – заметил с сомнением кто-то из директоров.

«Разве мне вас учить! – возмутился секретарь. – Вы разве не знаете, как это делать? Нарезайте медленно, тоненько, больше чем по полкило в одни руки не давайте и тяните время, пусть работает один продавец вместо трех, пусть подлогу завертывает в бумагу».

Теперь понятно, почему мы жили в стране очередей?

### **Подземные яства**

Со временем у Елисеевского появился конкурент – гастронм «Новоарбатский». Хрущев решил показать миру, как будет выглядеть Москва при коммунизме. Снесли замечательный район кривых арбатских переулков с трогательным названием Собачья площадка, и на этом месте построили улицу со стандартными многоэтажными зданиями, которую народ тут же окрестил иронически «вставная челюсть Москвы». И в самом начале улицы, которая олицетворяла будущее, воздвигли гигантский продовольственный магазин.

Страна ничего подобного еще не знала. Магазин уходил вглубь, под землю, на много этажей (там помещались склады и подсобки), а торговые помещения занимали два этажа. Закупили новейшее торговое оборудование. Люстр, мрамора, китайских ваз, конечно, не было, однако уровня ГДР, как я понимаю, достигли, а это уже была сказка.

Я жил тогда рядом, на Гоголевском бульваре, и часто ходил в «Новоарбатский» за продуктами. Однажды я заметил, в какую из дверей деловито заходят какие-то важные господа, и юркнул вслед. Охранник чем-то отвлекся. Приняв вид самостоятельный и важный, я стал спускаться по лестнице. Второй, третий, четвертый этаж. Дошел до конца, стал озиаться. И тут понял, что ничего более сказочного я в своей жизни не видел и не увижу.

Рабочие в синих халатах катили тележки с ящиками, коробками, на которых красовались иностранные надписи, названия мировых фирм. Их содержимое можно было увидеть на бесконечных полках за металлическими решетками. (В этом подземелье боялись, однако, воровства.)

Стараясь не привлекать к себе внимания, я стал изучать этикетки. Каким же было содержимое этих консервных коробок, банок, бутылок? Я листал на ра-



боте американские журналы и был более или менее осведомлен теоретически что к чему. Но даже во сне я не смог бы представить себе изысканность, изысканность, прихотливость вкуса высокого начальства, которое питалось из этих подвалов. Отборные греческие маслины и самое дорогое оливковое масло из Италии, швейцарский шоколад, а какие сигареты и вина! Голова кружилась от тысяч надписей, этикеток, причем ни одного товара из числа тех, что продавались – даже по благу! – в лучших магазинах Москвы. Все виденное мною прежде в жизни блекло.

Под землей помещался целый город. Фантастический мир необъятных размеров.

## Приговор – икра

Но вернемся к Елисеевскому и зернистой икре.

Целая армия людей в СССР следила за ловом осетровых, боролась с браконьерами, отбирала на базарах баночки с драгоценными икринками. Наверное, так охранялись только золотые и алмазные прииски. Но разве остановишь тех, кто хочет нажиться?

Министр рыбного хозяйства Ишков нашел на Западе людей, которым он посылал трехкилограммовые жестянки с лучшей в мире икрой, замаскированной под селедку. Поставки осуществлялись полномасштабно. Но однажды матрос уронил такую «селедочную» банку, она упала, открылась: внутри вместо селедок была замечательная икра. Вскрыли другую, третью – то же самое.

Но министру повезло. Его лишь отправили на пенсию. Приговором же икра стала директору Елисеевского магазина Юрию Соколову.

Икру, которая ему полагалась по разнарядке для распределения среди начальства и на случай редких продаж по праздникам, он отдавал директору магазина «Березка», и тот продавал неучтенный товар иностранцам. (С иностранцев брали высокую цену, в валюте.) Получив свою долю долларов, вносил в кассу своего магазина мало стоившие рубли, как если бы он продал икру населению. По документам все сходило, взятки гладки. Прибыль колоссальная.

Когда директора «брали», у него в приемной сидел какой-то очень высокий милицейский начальник, приехавший к Соколову за той же, вероятно, икрой. Приехал бы на полчаса раньше или позже, обошлось бы, а так поплатился местом. Соколова же расстреляли. Уж слишком сильно высунулся. Он сидел на очень крупном месте, к нему в ноги падали многие великие мира сего. Ведь все любят икру.

העמותה לקניית עליה בהיפ  
רח"ל ל פרץ 20 תשס"ד 33047  
ספריות  
8447

## NOTA BENE

Литературно-публицистический журнал

Главный редактор **Эдуард Кузнецов**  
Заместитель редактора **Рафаил Нудельман**  
Заведующая редакцией **Елена Вайнштейн**  
Корректор **Лена Драгичкая**  
Полиграфические услуги **«Клик» (Иерусалим)**

Адрес редакции:

POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel

Тел. 02-5325931. Факс 02-5324863

Электронный адрес: [omegag@bezeqint.net](mailto:omegag@bezeqint.net)

OCR Давид Титиевский, апрель 2019 г., Хайфа

## NOTA BENE

Literary-Publicistic Magazine

Editor-in-Chief **Eduard Kuznetsov**  
Deputy-editor **Rafael Nudelman**  
Manager **Lena Wainstein**  
Printing-house **«Click» (Jerusalem)**

The Magazine's Address:

POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel

Tel: 02-5325931. Fax: 02-5324863

E-mail: [omegag@bezeqint.net](mailto:omegag@bezeqint.net)

## NOTA BENE

כתב-עת ספרותי פובליציסטי

אדוארד קוזניצוב עורך ראשי

רפאל נודלמן סגן העורך

לנה ויינשטיין מנהלת אדמיניסטרטיבית

הדפסה סטודיו "קליק" ירושלים

כתובת:

ת.ד. 45156, הר-חצובים, ירושלים 91450, ישראל

02-5325931 :טל

02-5324863 :פקס

E-mail: [omegag@bezeqint.net](mailto:omegag@bezeqint.net)

Nota Bene (NB) © Э. Кузнецов



# Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Использование материалов журнала без ведома и согласия редакции не разрешается.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.



номеров,  
включая  
доставку

Журнал  
выходит раз  
в два месяца

### СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ\*

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| В Израиле (почтой)    | ₪ 210 |
| В России (авиапочтой) | \$65  |
| В Европе (авиапочтой) | € 55  |
| В США (авиапочтой)    | \$70  |

\* Цена включает доставку и НДС

Телефон для справок: 02-5325931

### РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| В Израиле:                        |      |
| в магазине                        | ₪ 40 |
| в редакции (вкл. доставку почтой) | ₪ 35 |
| В России (авиапочтой)             | \$11 |
| В Европе                          | € 9  |
| В США                             | \$12 |

Желающие оформить подписку могут выслать чек, выписанный на имя компании «Journal Omega», по адресу редакции

**Журнал  
можно приобрести  
в книжных магазинах:**

- **Афула:** ● «Арбат», ул. Арлозоров, 13  
■ **Ашдод:** ● «Спутник», Мерказ Сити, ул. Ха-Клита, 3/6; Мерказ «Йуд», ул. Ха-Невиим, 7 ■ **Бат-Ям:**  
● «Книжный мир», ул. Бальфур, 49 ● «Спутник», ул. Бальфур, 74 ■ **Беэр-Шева:** ● «Радость», ул. Гистадрут, 37  
● «Спутник», ул. Яир, 33; ул. Гистадрут, 55/4 ■ **Ганей-Авив:**  
● «Спутник», ул. Арбаа Онот, 14 ■ **Герцлия-Питуах:** ● «Меркурий», Каньон Мерказим 2001 (напротив «Моторолы») ■ **Иерусалим:**  
● «Золотая карета», ул. Яффо, 129; ул. Агрипас, 3 ● «Гешарим», ул. Агрипас, 10 ● «Аквариум», ул. Бен-Йегуда, 34 ● «Меркурий», ул. Кинг Джордж, 20 (или ул. Элиаш, 6) ● «Спутник», ул. Яффо, 91  
■ **Кармизель:** ● «Альтернатива», ул. Ха-Галиль, 2 ■ **Кфар-Саба:**  
● «Арлекин», ул. Вейцман, 72 ● «Спутник», ул. Вейцман, 148  
■ **Нагария:** ● «Альтернатива», ул. Геатон, 2 ■ **Нацрат-Илит:**  
● «Арбат», Мерказ Раско ● «Альтернатива», Мерказ Раско ■ **Петах-Тиква:** ● «Пегас», ул. Хаим Озер, 13 ● «Спутник», ул. Хагана, 14 ● «Светлана», ул. Пинскер, 9 ■ **Рамат-Ган:** ● «Спутник», ул. Герцль, 67 ■ **Реховот:**  
● «Рая», ул. Герцль, 175 ● «Спутник», Пассаж Фарлан, ул. Герцль, 161  
■ **Ришон ле-Цион:** ● «Элла», ул. Ротшильд, 82 ■ **Тель-Авив:**  
● «Дон-Кихот», ул. Алленби, 98 ■ **Хайфа:** ● «Дон-Кихот», ул. Герцль, 59 ● «Здесь!», ул. Ха-Невиим, 23 ● «Азбука», ул. Хаим, 4 ● «Колизей», ул. Ха-Невиим, 24 ● «Улыбка», ул. Халуц, 55 ● «Адар», ул. Герцль, 48  
● «Альтернатива», ул. Халуц, 42 ● «Спутник», ул. Ханита, 40 ■ **Холон:** ● «Спутник», Кикар Вейцман, 13